

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ СТРАН

ГЕНРИ В. МОРТОН

ПРОГУЛКИ ПО ИСПАНИИ

ОТ ПИРЕНЕЕВ ДО ГИБРАЛТАРА



Annotation

Как и едва ли не для каждой страны, для Испании существует свой стереотип: коррида, фламенко, вино, Кармен... И, разумеется, этими образами Испания не только не исчерпывается, но даже и не начинается. Она удивительно красива и многолика, эта страна между Пиренеями и морем.

Неутомимый путешественник Генри Мортон приехал в Испанию не за стереотипами — он хотел увидеть страну изнутри, окинуть ее взглядом «доброжелательного постороннего», чтобы понять, принять и восхититься. «Испания» Мортонa — книга такая же разноликая, контрастная, солнечная и сумрачная, величественная и карнавальная, чинная и вольная, как и страна, которой она посвящена.

- [Генри В. Мортон](#)
 -
 - [Разноцветная Испания](#)
 - [Генри В. Мортон](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Благодарности](#)
 - [Фотографии](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)

- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)

- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)

- [145](#)
 - [146](#)
 - [147](#)
 - [148](#)
 - [149](#)
 - [150](#)
 - [151](#)
 - [152](#)
 - [153](#)
 - [154](#)
 - [155](#)
 - [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
-

Генри В. Мортон

Прогулки по Испании

От Пиренеев до Гибралтара

Известный журналист, прославившийся репортажами о раскопках гробницы Тутанхамона, Мортон много путешествовал по миру и из каждой поездки возвращался с материалами и наблюдениями, ложившимися в основу новой книги. Репортерская наблюдательность вкупе с культурным багажом, полученным благодаря безупречному классическому образованию, отменным чувством стиля и отточенным слогом — вот те особенности произведений Мортона, которые принесли им заслуженную популярность у читателей и сделали их автора признанным классиком travel writing — литературы о путешествиях.

Книга «Прогулки по Испании. От Пиренеев до Гибралтара» станет верным спутником или спутницей, гарантией ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Ни самый квалифицированный гид, ни

*самый подробный путеводитель
не сделает для вас большего.*

ГЕНРИ В. МОРТОН.

ПРОГУЛКИ ПО ИСПАНИИ

ОТ ПИРЕНЕЕВ
ДО ГИБРАЛТАРА



КСМО
Москва
МИДГАРД
Санкт-Петербург
2011

Разноцветная Испания

С высоты одиннадцати тысяч метров Испания кажется безжизненной: сплошная коричнево-красная земля, волнами катящаяся в направлении океана, переход от таких же красновато-коричневых кряжей Пиренеев к холмистым равнинам Каталонии, Ла-Манчи и Эстремадуры почти незаметен. Но когда самолет начинает снижаться, ландшафт, словно по волшебству, обретает жизнь: появляются реки — полноводные Тахо, Эбро и Дуэро, которые сверху почему-то неразличимы, к коричневому и красному добавляются многочисленные другие цвета и оттенки, вспыхивает настоящее буйство красок; а когда лайнер останавливается и распаивается люк, первый же глоток свежего воздуха, щедро напоенного солнцем, со всей определенностью дает понять: здесь — настоящее изобилие жизни во всех ее проявлениях.

Как и едва ли не для каждой страны, для Испании в массовом сознании существует свой стереотип: коррида, фламенко, вино, Кармен... И, разумеется, как со всяким стереотипом, этими образами Испания не только не исчерпывается, но даже и не начинается. Она удивительно красива и многолика, эта страна между Пиренеями и морем: практичная, немного чопорная Каталония с ее бесшабашной столицей — Барселоной, строгий и дождливый север, протянувшийся от Наварры и Страны басков до Галисийского побережья (уже океана, не моря), чинный Арагон, «официальная Испания» — Кастилия и Леон и Кастилия — Ла-Манча, апельсиновая Валенсия, томящаяся от зноя Эстремадура и во многом по-прежнему мавританская Андалусия... А ведь есть еще острова — Балеарские, где неожиданно будто снова оказываешься в Каталонии,

особенно на Майорке, и Канарские, этот кусочек Африки, волею судеб «притянутый» к Европе и совсем на нее не похожий. Совершенно одинаковая в иллюминаторе самолета, Испания на самом деле вся состоит из контрастов: вот Коста-Брава с ее уютными бухточками — и вот потрясающий массив Монтсеррата, вот словно затянутый в мундир Мадрид — и вот приволье Ла-Манчи, а рядом Толедо, картинка из истории Средних веков, вот Саламанка и знаменитый университет (шедевр, вычурный до помпезности) — и вот крошечный Бурго де Осмо, с замком на холме и грандиозным монастырем по соседству с современной автострадой... Какие стереотипы способны охватить это разнообразие, передать хотя бы толику очарования Испании и той радости полноценной жизни, которая тут ощущается во всем?

Неутомимый путешественник Генри Мортон приехал в Испанию не за стереотипами — как и во всех прочих своих поездках и походах, от поисков Лондона до путешествия по Святой Земле, он хотел увидеть страну изнутри, окинуть ее взглядом «доброжелательного постороннего», не для того, чтобы укорять, критиковать, высмеивать чужие нравы и порядки, но чтобы понять, принять и восхититься. «Испания» Мортонa — книга такая же разноликая, контрастная, солнечная и сумрачная, величественная и карнавальная, чинная и вольная, как и страна, которой она посвящена.

Приятных прогулок по Испании!

Кирилл Королев

Генри В. Мортон
ПРОГУЛКИ ПО ИСПАНИИ



Глава первая

Мадрид

Прибытие в Мадрид. — Испанские обычаи, этикет и красота. — Викторианство в Испании. — Посещение Королевского дворца. — Рыцари Королевской оружейной палаты. — Пласа Майор. — Неудачная испанская свадьба. — Принц Уэльский в Мадриде. — Он посещает бои быков и перелезает через садовую ограду.

§ 1

Самолет снижался над ландшафтом, оказавшимся именно таким, каким я предполагал его увидеть. Деревья здесь исчезли века назад, большая часть верхнего слоя почвы сошла, и остов земли лежал под нами обнаженный и пустынный, окрашенные во все оттенки бурого. Этот пейзаж обладал неким унылым достоинством, присущим почти всем обширным и однообразным пространствам, а далеко-далеко, на краю небес, вставали сине-фиолетовые горы. Три или четыре облачных перышка — характерная особенность Кастилии, как мне предстояло узнать — висели в небе, словно клубы дыма, выдохнутые локомотивом; однако, возможно, это слишком приземленная метафора, ибо они также наводили на мысли о крыльях херувимов и серафимов. На фоне этой волнистой равнины Мадридский аэропорт имел вид задорный и нахальный — словно увеселительный пароходик на темных водах мрачного озера.

Стеклянная перегородка и дверь, охраняемая двумя вооруженными мужчинами в форме цвета хаки и черных лакированных кожаных шляпах, чей фасон навевал воспоминания о Наполеоне, отделяли путешественников от кафе, перетекавшего в полосу газона и белые ограждения. Здесь испанцы потягивали напитки и указывали на небо, когда алюминиевые скорлупки появлялись там и скользили вниз, к земле — из Лиссабона, Парижа и Рима. В здании таможни пахло, как в ночном клубе. Только что приземлился самолет из Южной Америки, и какая-то крикливая, роскошно одетая женщина открывала свой саквояж под взглядами двух волооких и меланхоличных представителей Гуардия Сивил.

Меня поразили белые хлопчатобумажные перчатки, которые таможенники натянули перед тем, как осматривать багаж. Скоро я понял, что белые перчатки являются символом испанского чувства приличия. Перчатка — символ аристократический, когда-то их носили только короли и епископы. Поскольку мир становится все более демократичным, перчаток мы видим все меньше, а сжатый кулак, конечно же, всегда гол.

В очереди в паспортное окошко стояли мексиканцы, перуанцы и другие южноамериканцы — *conquistadores* наоборот, вернувшиеся навестить старушку-родину; а я разглядывал их, размышляя о том, что Испания — одно из немногих мест, где «Америка» не означает непременно «Соединенные Штаты». Все *Americanos* были, разумеется, туристами — как и я. Слово «*turista*» в современной Испании значит примерно то же, что «*peregrino*» — паломник — в средние века. Оно описывает и охватывает все.

— Зачем вы приехали в Испанию?

— *Turista*!

На паспорт немедленно падает печать, вас печально оглядывает пара темных глаз, исполненных неистребимой меланхолии, как у всех, кому приходится работать с людьми; теперь вы свободны и можете вступить в Испанию.

§ 2

Мои комнаты оказались совершенно безликими и могли бы находиться в Лондоне, Париже или Риме — в самом деле, единственным свидетельством испанского духа было изображение распятия над кроватью. Полуденное солнце ворвалось в комнату и завладело ею, когда я, после сражения с хитроумной веревочной системой, незнакомой менее солнечным странам, наконец приподнял деревянные ставни на ярд или два, открывая вид за окном. Я увидел столпотворение невысоких крыш, крытых красивой темно-красной черепицей удлиненной полукруглой формы — такая встречается в церквях византийской постройки по всей Греции. Чуть поодаль стоял уродливый бетонный многоквартирный дом, все окна его были закрыты: наверняка в каждой комнате предавался полуденной дреме какой-нибудь испанец. Слева располагалась, по всей видимости, большая семинария, где по галерее медленно ходил одинокий священник с требником в руке — единственный признак жизни посреди мадридской *siesta*, точнее, той ее части, что открывалась перед моим окном. Священник беззвучно шевелил губами. Он был молод, бледен и одет в новую, прекрасно сшитую сутану — вероятно, лучшую, какую можно купить. Очевидно, его недавно рукоположили — к вящей гордости семьи, которая собралась послушать, как он служит свою первую мессу. Черная фигура, расхаживающая туда-сюда, стала для меня символом

Испании: неутомимый дух церкви, с презрением отвергающий покой и отдых даже в жаркий солнечный день. Этот священник мог бы так расхаживать перед еретиком, и так Филипп II мерил шагами коридоры Эскориала.

Я несколько раз тянулся к телефону, но, вспомнив, в какой стране нахожусь, отдергивал руку. Испортить другу *siesta* было бы чудовищным нарушением приличий! Пройдет еще час, прежде чем я смогу кому-нибудь позвонить. Чем же пока заняться? Может, прогуляться по теневой стороне улицы, вдоль закрытых ставнями витрин магазинов? Но нет: летаргическая несуетливость, первый дар Испании путешественнику, уже брала верх, и я решил, что лучше всего выкурить сигарету и подождать, пока Мадрид снова поднимется на ноги.

Я иногда размышлял, настолько ли несведущи другие нации в нашей истории, как мы — в их истории. История Испании, столь непохожая на историю любой другой европейской страны, неизвестна в Англии почти никому, кроме разве что студентов. Но даже те, кто лучше знакомы с испанской культурой, кто читал Сервантеса и слышал музыку Мануэля де Фальи, кто видел картины Веласкеса и Эль Греко, а может, даже репродукции Гойи, вряд ли смогут рассказать вам что-нибудь об истории Испании, кроме одного или двух моментов, касающихся и нашей страны: как Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, а Филипп II пытался завоевать елизаветинскую Англию с помощью Непобедимой армады. Удивительно вдруг осознать, что бабушка великого Фердинанда Кастильского, столь яростно сражавшегося с маврами, была англичанкой или что Эдуарда II, первого принца Уэльского, родила испанка; что Черный Принц привез из Испании огромный рубин, сейчас находящийся в государственной короне Англии; что Джон Гонт имел

обыкновение именоваться Монсеньором Испанским и воображал себя королем Кастилии; что испанская кровь текла в жилах Ричарда III, Эдуарда IV, Елизаветы Йоркской и — несомненно, уже сильно разбавленная — в жилах Генриха VIII и его дочери Елизаветы...



Зазвонил телефон. *Siesta* окончилась. Снова зазвучат свистки полисменов-регулирующих, переполненные трамваи и старые такси опять поедут по дорогам; стальные ставни опустятся с витрин магазинов.

— Привет, — сказал голос друга. — Добро пожаловать в Испанию! Ты поужинаешь со мной сегодня? Отлично! Тогда я зайду за тобой около десяти.

— Около десяти?

— Ну да, или рановато?

— Да нет, буду ждать.

И я, полагающий одним из величайших жизненных удовольствий в десять вечера отправляться в постель,

мысленно застонал.

§ 3

Я вышел на разогретые солнцем улицы. Все незнакомые города кажутся огромными, пока не узнаешь их поближе, и Мадрид не исключение. Улица Алькала показалась мне одним из красивейших проспектов Европы. Ось «мадридского колеса» — площадь Пуэрта-дель-Соль, Солнечные ворота мавританского Мадрида. Поначалу она смущает и запутывает, но, когда вы лучше узнаете город, все больше очаровывает. Эта площадь — как магнит: непонятным образом все время оказываешься здесь; если вы заблудились, нужно просто прийти сюда и проложить новый курс.

Было восхитительно прогуливаться в толпе людей, пока летний день подходил к концу, заглядывать в красивые витрины магазинов — особенно восхитительны обувные лавки — и слышать вокруг неумолчный поток разговоров на кастильском. Насколько иначе звучит язык в его родной стране, когда на нем говорят быстро, громко, уверенно и свободно! Я занял кресло на тротуаре около кафе и заказал *café con leche* — кофе с молоком. Мимо прогуливались хорошо одетые люди. Многие мужчины носили солнечные очки, а еще я с любопытством отметил привычку испанцев набрасывать пиджак на плечи, не продевая руки в рукава, — вероятно, это некий пережиток накидки. Женщины были без шляп, зато с великолепными прическами. Все эти люди определенно заботились о себе. Они не выряджались как на парад, не выглядели богачами с Бонд-стрит — они просто жили в соответствии с определенными стандартами приличий.

Разглядывая их, я вспомнил о белых перчатках таможенников.

Допив кофе, я медленно пошел по проспекту Хосе Антонио, где толпы были многолюднее, витрины длиннее, а запах бензина и масла от самых старых в мире работающих моторов — сильнее и навязчивее. Хосе Антонио! Это имя меня просто преследовало: им названы сотни улиц. Оно написано огромными буквами над памятниками войны, рядом с церквями, оно везде. Невозможно провести несколько дней в Испании и ни разу не встретить это имя. У каждого иностранца здесь неизбежно наступает момент, когда он, не в силах больше выносить эту муку, подходит к первому встречному испанцу и спрашивает: «Да кто такой ваш Хосе Антонио?» А ответ обескураживающе прост: это пока не канонизированный святой националистической Испании, сын генерала Примо де Риверы. Он организовал движение фалангистов и был расстрелян коммунистами через восемнадцать лет после гражданской войны.

Я продолжал прогуливаться, разглядывая витрины магазинов и удивляясь, кому могла бы понадобиться маленькая скульптура *banderillero*, вонзающего дротик в быка, как вдруг ко мне будто бы случайно приблизился молодой человек и пошел рядом, что-то нашептывая. Приняв его за коммивояжера, я сурово велел ему убираться на языке, который полагал хорошим кастильским, и был изрядно оскорблен, когда он ответил мне по-английски и попросил купить вечное перо, которое украдкой выудил из нагрудного кармана. Такие пероразносчики-шептуны все время попадаются на улицах Мадрида. Перья, которые они предлагают, выглядят совершенно идентичными американским, но сделаны в Барселоне. Люди с перьями никогда не бывают грубыми и назойливыми, их легко отогнать. Они просто возвращают вечное перо в нагрудный карман и с

философическим вздохом, словно занимаются этим исключительно ради какого-то пари, растворяются в толпе. Но скоро вы к ним привыкаете, а они начинают вас узнавать.

Эти люди, а также водители такси и носильщики в отелях становятся для путешественника первыми знакомцами в столице чужой страны. И я не могу не вспомнить замечательных продавщиц черного рынка Мадрида, весьма почтенных маленьких старушек в черных платьях и передниках, которые несут свою вахту на улицах с лотками, полными американских сигарет. Во всех этих людях нет никакой скрытности. Они продадут вам свои официально запрещенные товары даже под взглядом полицейского.

Когда спустилась темнота, гуляющий Мадрид начал рассаживаться, словно чтобы наблюдать за ночным шествием или процессией, — каждый стул на тротуаре был занят. Офисы и магазины закрыли ставни, рабочий день окончился. Затем на главных проспектах появились тысячи мужчин и женщин: они вышли из сотен боковых улочек, из подземки, автобусов и начали прогуливаться туда и обратно, туда и обратно. Этот вечерний променад (paseo) — любопытный пережиток семнадцатого века, когда аристократы совершали вечерами прогулки по аллее Прадо. То же самое происходило в восемнадцатом веке в Сент-Джеймс-парке, там можно было увидеть все лондонское общество в вечерних нарядах, фланирующее по аллеям. Я прошел шесть или семь кафе, прежде чем сумел найти свободный стул, с которого мог наблюдать этот своеобразный парад. Гуляющие сильно отличались от вечно голодных, жадных толп, шатающихся по Пикадилли к Лестер-сквер. Здешняя толпа была более приличной: множество людей, красиво одетых «к случаю», напомнили мне старомодное церковное шествие.

Было весьма удивительно наблюдать, как большая часть населения современного города проводит время подобным образом, но я нашел это зрелище приятным. В нем не было ничего вульгарного, никаких улюлюканий, свиста или стычек; с другой стороны, ни одна женщина не надела бы такого короткого нарядного платья, черных лакированных туфель, не стала бы так тщательно укладывать волосы, если бы не ожидала, что ее заметят и будут восхищаться. Несомненно, цель достигалась, но женщины словно бы не замечали этого. Они не оборачивались и не улыбались в ответ на комплименты: они просто прогуливались в свете ламп, нередко по трое или четверо, с высоко поднятыми головами, прямыми спинами, полные серьезности и достоинства.

Целую неделю я привыкал к фантастическому режиму питания. В двадцатых годах Примо де Ривера попытался заставить Испанию есть в европейское время, но даже диктатор потерпел поражение. Когда возникла эта привычка, я не знаю, но сомневаюсь, что очень давно. В 1786 году, когда доктор Таунсенд, священник прихода Пьюси в Уилтшире, посетил Испанию, король и члены королевской семьи обедали около полудня, более старомодные придворные — около половины второго, а более передовые — в два часа пополудни. Немец по фамилии Фишер, путешествовавший по Испании примерно десять лет спустя и любивший замечать такие вещи, не упоминает необычного времени трапез, как и английский путешественник Ричард Форд, не пропустивший ни одной испанской особенности. Невозможно представить себе столь поздние ужины в любом городе до появления уличного освещения, так что, полагаю, испанская привычка ужинать в десять никак не старше газовой лампы.

К тому времени, как мой друг зашел за мной в гостиницу, я уже настолько устал, что предпочел бы съесть сэндвич и отправиться в кровать. Но для него вечер только начинался; в его жизнерадостном обществе я слегка ожил, и мы пошли ужинать.

§ 4

Мы поели неподалеку от гостиницы, в маленьком ресторанчике, смутно напоминавшем старое «Кафе Рояль», — он принадлежал к той же эре ресторанного декора, эре красного плюша и золоченых купидончиков. Здесь были массивные буфеты, зеркала в позолоченных рамах, серебряные подсвечники и официанты, очевидно специально отобранные, чтобы соответствовать атмосфере. Мне показали маленькую комнату в задней части дома, выполненную в китайском стиле, в которую, как считается, скандально известная королева Изабелла II иногда приходила по черной лестнице для встреч со своим последним любовником.

Мы заказали *langostinos* (холодные норвежские креветки под майонезом), *tournedos* — говяжье филе с грибами и соусом из портвейна и *fraises du bois* (лесную землянику) с апельсиновым соком. Пили мы белое сухое шерри и красное вино из Риохи.

— Я не видел таких хорошо одетых людей ни в одной европейской столице со времен последней войны, — сказал я.

— Ну да, но вспомни, — ответил мой друг, — что каждый испанец в душе гранд; и последние деньги потратит, чтобы прилично выглядеть. Тысячи хорошо одетых людей, которых ты видел вечером, в костюмах прекрасного покроя и туфлях ручной работы с Майорки, имеют только один костюм и возвращаются после прогулки в каморки. В Испании можно быть бедным как

церковная мышь, но хорошо выглядеть надо непременно. И с девушками то же самое: они одеты недорого, но аккуратно и изящно. Зарплаты здесь отчаянно низкие — настолько, что тем из испанцев, кому не удалось ввязаться в какое-нибудь сомнительное предприятие или найти синекуру, приходится работать и в свободное время: учить языкам, например. Я знаю человека, который работает на шести разных работах! Говорят, что испанцы ленивы. Но надо своими глазами увидеть, как они работают! Поскольку испанцев никогда нет на рабочем месте, иностранец сразу приходит к выводу, что они до сих пор валяются в постели, но на самом деле они, скорее всего, пытаются заработать свою песету где-нибудь еще.

— Я увижу здесь чудовищную нищету, о которой толкуют англичане?

— Нет, не в этом году. Понимаешь, мы собрали два хороших урожая. Главная беда Испании — что у нее никогда нет жирка про запас. Она живет от урожая до урожая. Плохой урожай — и страна уже на грани голода. Рассказы о нищете, которые все читали, были записаны два года назад, после нескольких плохих урожаев. Кроме того, европейская пресса любит преувеличивать испанские трудности. Поэтому невозможно убедить среднего испанца, что иностранные издатели некоторых известнейших английских газет — не тайные коммунисты.

— Франко популярен?

— В Испании никто не бывает популярным — таков старинный обычай. Франко уважают за то, что он закончил гражданскую войну и заставил Испанию снова жить и работать; а по мне, его успешное управление страной в послевоенной Европе — это настоящее чудо. Полагаю, будет правильным сказать, что средний человек восхищается Франко — насколько один

испанец способен восхищаться другим — как честным и порядочным руководителем; но, как всегда в Испании, окружение Франко, начинавшее когда-то с принесения добра всем, принесло его в основном себе. Все правительства в этой стране занимаются утеплением своих гнездышек, и каждый испанец об этом знает.

— А каков вообще Франко?

— Он воин, солдат, причем богобоязненный — как Кромвель. В одной руке меч, в другой — священная реликвия. На самом деле он был бы абсолютно счастлив в гарнизонном городишке. У него нет династических амбиций, нет сына. Его единственная дочь замужем, а сам он живет тихой домашней жизнью в старом дворце Пардо примерно в шестнадцать милях от Мадрида. Он вовсе не диктатор в европейском смысле этого слова. Он просто солдат, который подавил восстание, ввел военное положение и намерен блюсти закон.

— Что ты думаешь о будущем?

— Да кто вообще может думать о будущем? Насчет будущего Испании можно только строить догадки. В Англии и Америке не понимают, что последний король, дон Альфонсо XIII, не отрекался от престола: он просто сбежал, уехал в ссылку. Испания сейчас — монархия без короля. Франко — глава государства, и предполагается, что когда-нибудь он вернет стране короля. Если что-нибудь случится с Франко — и страна при этом не взбунтуется, — ему будет наследовать регентский совет, преследующий ту же цель. Так было решено на референдуме, проводившемся в 1947 году, когда за возвращение монархии проголосовали четырнадцать миллионов против одного.

— А кто будет новым королем Испании?

— Ну, точно никто не знает. У дона Альфонсо остался сын, дон Хуан, — он сейчас в средних годах, живет в Португалии. У него есть сын шестнадцати лет

по имени Хуан Карлос, обучающийся у иезуитов, и большинство считает, что королем будет выбран он.

— А потом?

Мой друг воздел руки, как настоящий испанец, и уронил их с бессилием и отчаянием.

— Да кто может сказать? Есть люди, которые верят, что Испания — монархическая страна по самой своей природе; и есть те, кто считает, что возвращение в страну короля — любого короля — станет началом новой гражданской войны. Но кто знает?

Мы обсудили американскую помощь и потребности Испании в сельскохозяйственных машинах и многом другом. Друг сказал, что некоторые испанцы были против американской помощи. Они боялись, что Испания, избежав двух мировых войн, будет втянута в третью.

Мы сменили тему и заговорили об испанских женщинах. Я сказал, что тысячи испанских *señoritas*, которых я видел вечером свободно гуляющими по улицам, как-то не вяжутся с устоявшейся идеей, что женщин в Испании крепко стерегут.

— Все началось во времена республики, — объяснил мой друг, — а гражданская война закончила дело. Однажды во время войны, когда войска Франко осаждали Мадрид, на них вышел батальон женщин и открыл огонь из винтовок и пулеметов.

— Что же случилось со старинной испанской галантностью?

— Ну, на самом деле, — сказал он, — я не думаю, что по девчонкам стреляли, когда они бросились бежать! Я упомянул об этом, чтобы показать тебе, что страна не может пройти через то, через что прошла Испания, и продолжать держать женщин взаперти. Женщины получили право голоса и до сих пор им обладают. Республика разрешила разводы, но церковь, конечно, быстренько это свернула. *Duennas* вроде как

осуждаются духовенством, теперь они что-то вроде привидений. Я бы сказал, что испанки сейчас очень похожи на женщин викторианской Англии — когда считалось неприличным обедать наедине с мужчиной или ездить с ним вдвоем в коляске. Здесь почти так же. Девушки хорошо воспитаны и ведут себя сообразно приличиям. Они знают, что если не будут хорошо себя вести, то никто на них не женится! А замужество и большая семья — мечта любой нормальной испанской женщины. Выйдя замуж, женщина исчезает из общественной жизни и начинает править семьей. Могушественнее матерей в Испании только бабушки.

— А скажи, — попросил я, — почему ко многим балконам Мадрида привязаны сухие пальмовые листья?

— Это просто. Они с финиковых пальм из Эльче, это на юго-востоке, около Аликанте. Каждую Пасху их связывают в букеты, освящают и продают по всей Испании как защиту от молнии.

Мой друг сорвался еще на какую-то вечеринку — было уже за полночь. Я пошел обратно через Пуэрта-дель-Соль, на которой толпилось не меньше народу, чем днем. Свистки полицейских прорезали ночь. Сотни старых машин переключали передачи и шумно выпускали выхлопные газы. Я не мог себе представить, как в этой части Мадрида кто-то может сейчас спать. Мне встретилось довольно много маленьких детей, одетых словно для вечеринки и до крайности утомленных, — их тянули за собой родители. Тогда впервые я отметил пылкую любовь испанцев к *los niños*, детям, — этим бледнолицым маленьким существам, которым следовало быть в постели еще часов пять назад. Я заметил отца, несущего на руках маленького крепко спящего мальчика. Лицо мужчины сияло обожанием, он поцелуями разбудил ребенка. Мальчик с трудом сфокусировал взгляд, попытался улыбнуться и снова уронил головку на плечо отца. В Испании с

детьми обращаются не то как с куклами, не то как со взрослыми.

Подойдя к гостинице, я заметил рядом шепчущую тень, и в воздухе передо мной повисло очередное вечное перо.

§ 5

Однажды утром я отправился в Королевский дворец Мадрида, который стоит на площадке, круто обрывающейся в долину реки Мансанарес. Из задних окон своего дворца короли Испании смотрели через пустынное и неприветливое плато на горы Сьерра-де-Гвадаррама, которые в это утро были нежного оттенка мышиного гиацинта. Сам дворец громаден и кремово-бел, и сотни его окон глядят через обширную площадь на прелестный садик, весь в живых изгородях и цветочных клумбах, где над центральным фонтаном возвышается на огромном боевом коне Филипп IV с жезлом в руке.

Этот король хорошо нам знаком по портретам Веласкеса: бледное лицо с чертами вырождения, затравленный взгляд — и восхитительные загнутые кверху усы, на которые он, по слухам, надевал по ночам маленькие ароматизированные кожаные футлярчики, называемые *bigoteras*. Глядя на его горделивую посадку в седле, невозможно поверить, насколько на самом деле был несчастен этот человек: его преследовали неудачи и смерть, он часто приходил рыдать и молиться в родовую усыпальницу, а мысли и горести поверял одной скромной монахине.

Путешественник-англичанин, впервые видя Королевский дворец Мадрида, сравнивает его с Букингемским дворцом и признает, что первый раз в десять больше — и это чистая правда. Но следует

помнить, что Букингемский дворец — всего лишь разросшийся частный дом, а дворец королей Испании строился не только как резиденция королевской семьи, но и для того, чтобы вмещать под своей крышей все министерства и ведомства государства. Само здание не слишком старое: заложенное в 1738 году и оконченное двадцать шесть лет спустя, оно заменило собой великолепный старинный дворец, который достраивали, реконструировали и подновляли все короли Испании с XI века. Это было неопишное столпотворение разновозрастных строений, с деревянными лестницами и двориками, обрамленными галереями, — и все вспыхнуло и сгорело в рождественскую ночь 1734 года.

История этого дворца — история самого Мадрида. Когда арабы вторглись в Испанию в 711 году, они обосновались на богатом и солнечном юге, в Андалусии, предоставив христианам искать спасения в горах севера, откуда и началось впоследствии движение сопротивления. Мадрид был одной из крепостей, которые арабы основали на ничейной полосе, — и как старые замки становились центрами многих английских городов, так *kasr*, или форт, называемый испанцами *Alcazar*, всегда был центром таких арабских твердынь. Алькасар Маджирита, как поначалу назывался Мадрид, построили на уступе скалы, глядящей на север, на незавоеванную Испанию. Он пал в числе других крепостей, когда христиане в XI веке собрались с силами и перешли в наступление; арабы больше никогда его не захватывали. Глядя сегодня на унылый и пустынный окружающий пейзаж, странно вспоминать о том, что когда-то эта территория была покрыта густыми лесами, полными диких кабанов и медведей. Первые короли Кастилии превратили алькасар в охотничий замок и время от времени его достраивали. В XV веке он был перестроен полностью, и когда Филипп II в 1561 году сделал Мадрид столицей Испании, дворец стал

местом заседаний самого могущественного суда и правительства в мире. Все последующие испанские Габсбурги держали здесь свой двор, регулируемый самыми жесткими в Европе правилами этикета.

Современный дворец — памятник Испании Бурбонов; и можно с уверенностью предположить, что молодой Филипп V, первый из испанских Бурбонов, не слишком огорчился, увидев, как ветхий дворец Габсбургов горит ярким пламенем. Я прошел в огромный внутренний двор, где в былые дни происходила смена караулов, с оркестром и батальоном конной артиллерии в парадной форме, — должно быть, великолепнейшее зрелище мадридского утра. Главный момент церемонии наступал, когда гремели все пушки, а оркестр взрывался «Королевским маршем» — гренадерским маршем, авторства, как гласит традиция, Фридриха Великого, подарком прусского короля Фердинанду VI Испанскому, первоначально предполагавшимся для исполнения на шести серебряных флейтах. Оба этих короля были музыкантами-любителями: Фридрих играл на флейте, а Фердинанд — на скрипке.

Я сел в сводчатом зале напротив парадной лестницы, рядом с группой туристов и, пока мы ждали появления гида, с любопытством разглядывал дворцовых слуг. Они, судя по всему, продолжают носить старую королевскую ливрею: синий камзол, перехваченный медными пуговицами, как у пехотинцев герцога Мальборо. Возраст большинства слуг предполагал, что, когда Альфонсо XIII покинул свою страну двадцать три года назад, им было лет по двадцать-тридцать. Без сомнения, некоторые из них работали здесь в тот апрельский день, когда во дворце были слышны крики толпы, требовавшей республики. Поскольку демонстранты становились все более дерзкими, король, как говорят, предпочел покинуть

страну, но не приказывать страже стрелять в толпу. Плачущие слуги и придворные видели, как он вышел через большое французское окно на террасу и сел в свою машину, которую сам довел до Картахены, где его ждал крейсер под парами. Король высадился без всяких торжественных церемоний в Марселе и взял с собой вместо плаща флаг крейсера — весьма испанский по стилю поступок; и по сию пору он лежит, завернутый в этот флаг, в своем гробу в Риме. Я смотрел, как лакеи, полные достоинства, суровые, как священники, двигаются по опустевшему дворцу, не имея теперь почти никаких занятий — только заводить сотни часов и подметать ковры и коврики. Мечтают ли они когда-нибудь снова подготовить королевскую опочивальню или навести блеск в тронном зале?

Мы поднялись по мраморным ступеням вслед за гидом, и нашему взору представилась унылая вереница огромных залов, где под потолками, высоко над золочеными стульями и креслами, резвились купидоны и богини, а тяжелые хрустальные люстры по мере удаления казались все меньше и меньше. Некоторые из этих залов были неописуемо уродливы, словно их создавали для того, чтобы приводить зрителя в ужас; а иногда после разнузданной роскоши китайской комнаты мы оказывались в обширном аудиенц-зале с совсем уж огромными люстрами, где художники, будто в приступе безумия, вызолотили все, что только могли, и устроили на потолке мифологический переполох. Иногда из золоченых рам сурово смотрели на нас король или королева; здесь я впервые увидел Марию Луизу, любвеобильную супругу Карла IV, написанную Гойей, и поразился тому, что придворному художнику позволили изобразить столь правдоподобно эту королевскую амазонку. Портреты королей пишутся не для добрых друзей и всепрощающих родственников, но для

последующих поколений — а это изображение королевы, как мне показалось, нарушало все традиции.

Мы вошли в тронный зал, где короли династии Бурбонов давали аудиенции и проводили приемы, известные как *besamanos* — целование рук, — и где они после смерти возлежали до торжественных похорон. В этом зале Ричард Форд видел тело Фердинанда VII, «мертвого и облаченного в парадный мундир: на голове треуголка, в руке трость, — его лицо, уродливое при жизни, сейчас было пурпурным, как спелый инжир». В тронном зале предыдущего дворца, дворца Габсбургов, еще одна представительница Англии, леди Фэншоу, видела торжественное прощание с телом Филиппа IV: «Его голова лежит на подушке, на ней касторовая шляпа, волосы уложены, борода подстрижена, лицо и руки подкрашены». Таким было последнее впечатление от лица, которое до сих пор продолжает жить на полотнах Веласкеса.

Невозможно равнодушно смотреть на громадный золотой трон, престол всех испанцев. Он покоится на возвышении в огромнейшем зеркальном зале под балдахином в стиле барокко и охраняется четырьмя львами — скульптурами в натуральную величину, — которые стоят, положив одну лапу на шар и глядя на зрителей. Гид сказал, что тронный зал сейчас используется, только когда Франко принимает иноземных послов. Кто-то из группы спросил, занимает ли Франко в этих случаях трон.

— Нет, никогда! — был ответ. — *Caudillo* никогда этого не делал! Это было бы неподобающе.

Я ждал вопроса, будет ли трон когда-нибудь занят снова, но никто его так и не задал. Трон стоял пустой, покинутый, но в то же время, думаю, все мы ощущали его величие. Я с сочувствием подумал о мальчике, которого обучают иезуиты. Трон Испании больше по размеру, чем нормальное кресло, и не выглядит

особенно удобным. Без сомнения, удивительная организация, когда-то окружавшая и обслуживавшая его, могла быть возрождена: *mayordomos*, *alabarderos*, придворные (*gentile hombres de casa y boca*), егеря-*monteros*, лакеи и прочие, веками соблюдавшие сложнейшие формальности испанского двора. Полагаю, из всей челяди самыми интересными были *monteros de Espinosa*, егеря из Эспиносы. В далекие времена охотник из Эспиносы, маленькой деревушки на севере Испании, спас жизнь королю, и в награду за это жители деревни получили привилегию охранять короля по ночам. В отличие от наших английских телохранителей короля, которые стелили королю постель во времена Тюдоров, *monteros* были только караульщиками, расхаживающими взад и вперед у дверей королевской опочивальни. Сначала в эти войска брали только рожденных в Эспиносе, и жены солдат благоразумно отправлялись рожать в эту деревню, но позже, я думаю, *monteros* стали набирать из отставных офицеров. При монархии в Испании каждый вечер в одиннадцать часов по парадной лестнице дворца спускалась процессия, каждая дверь запиралась чиновником в старинном костюме и треуголке, носившим невероятную связку ключей, и с этого момента за дворец отвечали *monteros de Espinosa*. Двое гвардейцев занимали место за дверьми королевской спальни. Они ни с кем не разговаривали и не садились отдохнуть, неторопливо расхаживали туда-сюда, пока рассвет не освобождал их от дежурства.

Политики могут сколько угодно разглагольствовать о проблемах возрождения монархии в Испании, но, пожалуй, не менее интересно пофантазировать, насколько полно будет возрожден сложный дворцовый этикет, если это все-таки случится. В отличие от прочих королей, ни один король Испании не подписывался своим именем. Личные письма и государственные

документы подписывались просто: «Yo, el Rey» — «Я, король». Некоторые придворные обладали привилегией не снимать шляпы в присутствии короля, другие могли их надевать во время разговора с ним, а третьи — только по окончании беседы. До появления автомобилей в начале века в королевских конюшнях и каретных сараях работали шестьсот тридцать семь человек, и по торжественным случаям король выезжал в карете, запряженной восемью лошадьми, украшенными красно-желтыми плюмажами из страусовых перьев и ниспадающими до земли расшитыми попонами. Единственную торжественную церемонию в Испании Франко можно наблюдать, когда иностранный посол представляет верительные грамоты *Caudillo*. Тогда народ видит — и кто знает, какая наследственная память просыпается в нем — проезжающий по улицам великолепный мавританский эскадрон на лошадях с раззолоченными копытами.

§ 6

Куда более интересной, чем мертвый и печальный дворец, оказалась Королевская оружейная палата в углу внутреннего двора. Судя по всему, испанцы лучше нас знают, как показывать оружие. Мы просто вешаем доспех, словно это пустая жестянка, а испанцы любят придавать ему человеческую форму, одевать манекены в кожаные жилеты, нижнее белье, сапоги и все прочее, что человек того времени носил под доспехом. То же самое они делают с лошадьми. Животные выглядят покрытыми броней — лучше сказать «закованными», — как американские броненосцы, но и на них все полагающиеся пышные поддоспешные облачения: расшитые попоны, роскошно и романтично украшенные

гербами, причем спадающие до копыт, настолько низко, что они, вероятно, мешали во время езды.

Меня рассмешило выражение лиц группы посетителей, которые прогуливались по центральному залу, готовые скучать, когда они вдруг увидели перед собой двадцать вооруженных рыцарей на конях, стоящих в два ряда друг против друга и указывающих в потолок длинными турнирными копьями. Рыцари выглядели настолько настоящими, что все время казалось: они вот-вот шевельнутся, погрохатывая, лошадь склонит бронированную голову, всадник обернется и поднимет забрало или поправит шлем. Эти фигуры уносят воображение к полям, где на траве разбиты маленькие пестрые островерхие шатры, где гремят трубы, толпится и кричит народ, а дамы в волнении перегибаются через перила трибун, когда герольды выезжают на поле.

Интересно отметить, что, хотя большинство рыцарей сидели в седле *la brida*, то есть с длинными стремянами, — обычная посадка европейских рыцарей, — некоторые «скакали» *a la gineta*, с короткими стремянами, — посадка, которую испанцы переняли у мавров. Испанские рыцари ездили с короткими мавританскими стремянами во время боя быков или участвуя в живописном заезде с копьями, известными как «турнир пик». Однажды это представление было показано на ристалище старого дворца Уайтхолл Филиппом II и его свитой для увеселения английского двора.

Выставленная здесь броня сделана во времена, когда оружейники Аугсбурга и Милана постоянно соперничали между собой, и является, наверное, лучшей в мире. Первоклассный оружейник столь же ценился королями и рыцарскими кругами, как первоклассный портной у нас в эпоху принца-регента. И как эти оружейники льстили мужскому телу: сколь

тонкие талии, крепкие бедра и прекрасно очерченные икры! Даже самый неприглядный мужчина наверняка выглядел в этих доспехах неотразимым; а многие девы испытали жестокое потрясение после турнира, увидев своего идеального рыцаря в обычной одежде! Сейчас вряд ли кто-нибудь считает, что доспехи могут украшать, но когда-то это несомненно было так. Также мы знаем, что первоклассный оружейник подписывал свои доспехи и ставил на них дату, как художник подписывает картину, и дорогой доспех всегда поставлялся с коробкой запасных частей, которые при необходимости можно было прикрутить или прицепить для создания дополнительной защиты. На этой великолепной выставке очень много узнаешь об оружии и доспехах.

Мог бы получиться хороший вопрос для викторины: с какой стороны друг от друга проезжали рыцари во время турнирного поединка? Я склонен думать, многие сказали бы, что они съезжались правым боком к правому, и я абсолютно точно видел картины, на которых так и делают. Но это неправильно, и те фигуры в мадридской Оружейной палате, копья которых в боевом положении, доказывают, что рыцарь держал копье над левым ухом лошади — и съезжались противники левый к левому, то есть левыми руками, держащими поводья.

Весьма пугающей получается встреча с императором Карлом V, именно таким, какой изображен на полотнах Тициана: на коне, с копьем в руке — перед битвой при Мюльберге. Это тот самый доспех, который Тициан нарисовал на своей великолепной картине. А маленькие латы, сделанные для дона Карлоса, сына Филиппа II, чья смерть до сих пор остается одной из тайн испанской истории, показывают, что тело мальчика, как и подозревали, было немного деформировано: оплечья лат отличаются по размеру.

Полагаю, одно из самых запоминающихся зрелищ в Оружейной палате — это собака в броне, возможно, из породы мастифов, натасканных для нападения на людей и пугания лошадей. Для защиты головы на нее надета маленькая плоская стальная шапочка, в которую воткнуто красное страусовое перо. Шея, грудь и плечи собаки покрыты кольчужной сеткой, которая удерживается латным воротником, проходящим между передними лапами и крепящимся к нижней части спинной попоны, усеянной сверху стальными шипами. Собака выглядит совершенно неуязвимой — кроме лап. Всякий, кто пытался соорудить одежду для больной собаки, чтобы удерживать ее в определенном положении, восхитится изобретательности создателей этого собачьего доспеха. Я припомнил великолепную историю, рассказанную Берналем Диасом, о боевых собаках, которых Кортес вез с собой во время завоевания Мексики. Однажды, когда партия испанских исследователей бросила якорь в маленькой бухте около пустынного островка, они с удивлением увидели, как на берегу появилась собака, бросилась к воде и стала бегать туда-сюда, демонстрируя бурный восторг. Моряки выяснили, что это испанская боевая собака, потерянная предыдущей партией восемнадцать месяцев назад. Собака была упитанная, прекрасно себя чувствовала и, как большинство Робинзонов Крузо, видимо, постоянно разглядывала горизонт в поисках дружелюбного паруса.

Потертые старые носилки, или паланкин, в котором императора Карла V несли, когда его мучила подагра, — один из лучших экспонатов Оружейной палаты. Считается, что паланкин попал в Мадрид из монастыря Юсте, куда сей испанский Диоклетиан ушел от мира и где провел свои последние годы за починкой карманных и настенных часов и выращиванием цветов. Двумя главными его придворными были попугай и кот.

После смерти императора его любимцев посадили в императорский паланкин и отправили ко двору, который тогда находился в Вальядолиде; и можно представить, как изумлялись деревеньки и города на пути, видя столь странных пассажиров в носилках человека, который когда-то был хозяином мира.

Сначала меня смутили пулевые отверстия, которые я заметил на большинстве доспехов, и человеческих, и конских. Если бы я не был так очарован прекрасными и удивительными вещами, увиденными здесь, я бы сразу вспомнил тот факт, что короли, принцы и рыцари во время гражданской войны сражались под пулеметным и винтовочным огнем. Современные пули пробивали лучшую сталь Аугсбурга, как картон.

§ 7

На полицейском были белый шлем, белая куртка с поясом, похожая на спортивную рубашку, и синие брюки. Страж порядка открыл пляжный зонтик веселой расцветки и, зафиксировав конец трости в специальном отверстии на дороге, натянул белые перчатки. Теперь он был готов приступить к работе. Вытащив из кармана свисток, он выдул пронзительную трель, и все движение остановилось. Несколько сотен испанцев, ожидавших по обеим сторонам улицы, пошли через дорогу. Еще одна леденящая кровь нота — и движение возобновилось. Иногда несведущий иностранец или непочтительный к закону испанец пытались перейти улицу в неположенное время; тогда свист раздавался яростный, и нарушитель юркал обратно, в безопасность. Между этими двумя звуками чувствовалась огромная разница: один, долгий, словно успокаивал и обещал защиту, а другой, резкий, походил на ругательство — хотя оба были всего лишь свистками.

Я наблюдал эту сцену каждое утро из «Американского кафе», где мог без вопросов и объяснений получить яичницу с беконом — обычный мой первый заказ в незнакомом городе. Испанский завтрак столь же прискорбен, как французский: колечки из теста, обжаренные в масле и называемые *churros*, и чашка кофе или шоколада. В результате утро напролет испанцы грызут креветки, маленькие кусочки ветчины и все, что могут достать, в попытках утолить голод — до самого обеда в два часа дня.

После завтрака я ждал, пока откроется Прадо — странно, что кино, взяв в оборот названия «Альгамбра» и «Пласа», не воспользовалось, насколько я знаю, именем величайшей картинной галереи в мире, — или просто бродил по улицам. За Пуэрта-дель-Соль я обнаружил Мадрид куда более привлекательный для меня, чем Мадрид главных бульваров, — город XVII века, город увешанных балкончиками высоких домов, сейчас превратившихся в трущобы или в лавки, многие из них принадлежат Мадриду Веласкеса, и все — Мадриду Гойи. Сердце этого старого города — величественная площадь XVII века Пласа Майор. Хотя она и потеряла в общественном статусе, но все еще цела и невредима; четыре ее стороны образуют высокие, полные достоинства дома, выстроенные над колоннадами, — и на каждом железный балкон. На этих балконах придворные и аристократия собирались, чтобы наблюдать за боями быков, «турнирами пик» и *auto-de-fe*, поскольку здания инквизиции удобно располагались тут же, за углом. В наши дни балконы на Пласа Майор завешаны бельем, и иногда можно видеть простыни, полощущиеся в воздухе на солнце. На северной стороне площади стоит дом, выглядящий намного более важным, чем остальные. Он украшен фресками и увенчан двумя башенками с тонкими шпилями. Его до сих пор называют «королевской

булочной», поскольку он стоит на месте муниципальной пекарни (*panaderia*) старого Мадрида, и с балкона в этом доме короли и королевы Испании наблюдали за публичными зрелищами. В центре Пласа Майор возвышается прекрасная конная статуя Филиппа III, во время правления которого была создана эта площадь, а также несколько массивных каменных скамей, на которые любой может сесть и рассмотреть это великолепное произведение городской архитектуры XVII века. Здесь легко заметить, что матерью Пласа Майор была Пляс-Рояль — теперь площадь Вогезов — в Париже, а испанская пласа стала, по странному стечению обстоятельств, если не родительницей, то крестной старой площади Ковент-Гарден.

Генрих IV Французский построил Пляс-Рояль в 1610 году. Это была первая большая площадь-*piazza* за пределами Италии: огромное открытое пространство, окруженное единообразными домами для придворных и колоннадами, центр которого использовался для парадов и турниров. Десятью годами позже Филипп III создал копию этой площади в Мадриде. Через тринадцать лет на Пласа Майор были проведены первые бои быков в честь Чарльза, принца Уэльского — впоследствии Карла I, — который совершал романтический визит ко двору инфанты. Когда Карл стал королем Англии и в 1631 году начал строить Ковент-Гарден, он часто приезжал посмотреть, как идут работы, и несомненно вспоминал Пласа Майор.

После утра, проведенного в столь восхитительных размышлениях, было приятно найти кафе на одной из главных улиц и заказать *granizada* — напиток, состоящий из ледяной крошки и подслащенного лимонного сока или кофе. Консистенция льда определяет, превосходная это *granizada* или просто хорошая. Лед должен быть похож на снег во время оттепели, когда можно скатать его в плотный снежок;

но если он слишком водянистый, в результате получается некий малопривлекательный шербет. Напиток, видимо, нелегко готовить, и он сильно разнится от места к месту. А пока иностранец поедает ложкой *granizada* на улице Алькала, его взгляд непременно привлечет толпа.

Не знаю, человеческая раса становится менее красивой или я более требовательным, но я замечаю, что реже, чем привык, вижу действительно поражающее взгляд человеческое существо. Испанцы в целом — невысокий смуглый народ, хотя есть и высокие и крепкие синеглазые люди — северяне. Поскольку Мадрид — в большей степени национальная столица, чем интернациональная, как Лондон и Париж, вы можете быть уверены, что из сотни людей, проходящих мимо вас на улице, девяносто девять — испанцы; и поэтому, они демонстрируют чрезвычайно широкий спектр расовых различий. Когда вы смотрите на людей на улицах, вас могут поразить некоторые лица, словно написанные Веласкесом, и великое множество натур для Гойи и Эль Греко. Десять минут в любом кафе Мадрида покажут, сколь точно Эль Греко уловил образ высокого, тонкого и бледного испанца из «черной легенды», в лучшем случае сумрачного вельможи, в худшем — негодяя из мелодрамы. Гойя же находил для себя модели везде, и действительно, лиц от Гойи, кажется, больше, чем от Эль-Греко. Никакие два национальных типажа не могут различаться больше, чем унылый испанец, будто размышляющий о собственных похоронах, и круглолицый полноватый человек, который, кажется, только что пришел с чужих. Полагаю, это два основных типа: рыцарь и оруженосец, Дон Кихот и Санчо Панса.

Теперь испанская женщина. Можно только удивляться, откуда в других странах возникло традиционное представление, что она высокая,

стройная и змееподобная. Обычно же она невысока и почти всегда смугла, склонна к полноте, и самый фотогеничный ее возраст — между пятнадцатью и двадцатью. Три главных секрета ее красоты — это глаза, полные ума и жизненной энергии, волосы, всегда отменно причесанные, и походка — вероятно, самая замечательная особенность из всех. Испанка всегда прекрасно обута. И когда бы я ни подумал об испанских женщинах, я вспоминаю их походку — голова высоко вскинута, плечи отведены назад, ступни ставятся твердо и уверенно, никаких семенящих или скользящих шажков.

Даже самый ненаблюдательный посетитель Испании должен заметить, что здесь женщины и женские дела не доминируют в пейзаже, как в Англии и Америке, где пришелец с другой планеты мог бы счесть, что основная деятельность нашей цивилизации заключается в одевании своих дам и обеспечении их широким выбором косметики. Здесь же секреты женского гардероба не раскрываются на рекламах или витринах — выставлять такое испанцы сочли бы нескромным, — а откровенность между полами, которая нами предполагается ведущей к пониманию, совсем не проявляется. Очевидно, напротив, что мужчины и женщины живут в отдельных мирах. Мистер В. С. Притчетт говорит в «Испанском характере»:

Женщины Мадрида, когда они проходят мимо парами и тройками, и редко с мужчиной, имеют воинственный, церемонный, чопорный вид. Общительные и даже болтливые — все испанцы любят поговорить просто ради разговора, — женщины приучены к двойной роли: они демонстрируют, подают себя, обладая огромной личной гордостью; но при этом, когда проходят по улице, даже на единый миг не

позволяют своим глазам встретиться с глазами мужчины. Благопристойность полная и отчетливо викторианская... Когда испанки проходят мимо, так тщательно и красиво себя неся, они — весьма сдержанная, весьма суровая женская раса. При всей властной внешности — а они явно властвуют над мужчинами, имея в жизни четко очерченную роль, очень мало пересекающуюся с мужской, — эти женщины обладают репутацией существ домашних, невинных и чувствительных. Они страстные любительницы детей: в глазах каждой видны замужество и восемь отпрысков.

Вероятно, ярче всего викторианство Испании отражается на детях, и лучшее место понаблюдать за ними — великолепный парк Ретиро, сад при дворце XVII века, с величественными аллеями и гротами по берегам озер. Однажды утром я сидел там, разбираясь в своих первых впечатлениях от Мадрида и наслаждаясь звуками садовничьего шланга, скользящего по жестким листьям канн, и услышал детский голос, где-то далеко за деревьями: «Хуанита!» — и затем более повелительно: «Хуан-ит-а!», а потом некий предмет пронесся через тропинку и врезался в мои колени. Я обнаружил, что держу деревянный обруч, и не смог припомнить, когда я видел такой в последний раз. Владелец обруча появился почти сразу же. Это был мальчик лет девяти, одетый в белый матросский костюмчик с якорями, вышитыми по воротнику; на его голове была широкополая соломенная шляпа, заломленная над умненьким личиком. Он подошел прямо ко мне, сделал небольшой поклон, забрал свой обруч и, сказав по-испански «спасибо», исчез. Вполне сложившийся юный дон.

Он появился снова через несколько секунд с пожилой дамой, очевидно, Хуанитой, которая держала за руку изящную восковую куколку — девочку лет шести. На ней было платье из крахмальной кисеи с оборками над плечами и голубым поясом, завязанным сзади на бант. На темных кудрях красовался накрахмаленный кисейный чепчик, а на ножках — белые детские туфельки с помпонами. Эти брат и сестра словно сошли со страниц романов Дафны дю Морье, а еще они напомнили мне выцветшие до бурого фотокарточки в семейных альбомах и, конечно, мое собственное детство.

Хуанита тоже заинтересовала меня. Это была пожилая крестьянка, над чьим орехово-смуглым лицом изрядно потрудились время и солнце — на нем вряд ли нашлась бы хоть пара дюймов, не отмеченных глубокими и мелкими морщинками. На Хуаните красовались чепец с лентами и пышное черное платье, и я бы сказал, что передо мной старая семейная нянька, которая вернулась окончить свои дни на домашней службе.

Мальчик с обручем, его сестра в кисейном платьице и старая нянька образовывали группу, достаточно старомодную, чтобы писать с них историческую картину, и напоминающую — на английский взгляд — сады Кенсингтон-Гарденз около 1900 года. В Мадриде можно увидеть сотни таких групп, сотни маленьких беленьких морячков, сотни кисейных куколок, и всякий преисполняется изумлением при мысли, что испанские дети соглашались носить одежду, которая вызвала бы бунт в любой английской или американской семье. Тогда посмотрите на испанский магазин игрушек. Здесь вы увидите обручи, красивые шарики из цветного стекла, обезьянок, бегающих вверх и вниз по палочке, картонные театры и страшноватых кукол-негритят — все игрушки из прошлого.

Старички и старушки возят по улицам маленькие тележки, к которым привязаны цветные воздушные шары, и эти ручные тележки утыканы всевозможными старомодными сладостями, которые я считал давно исчезнувшими: анисовое драже, лакрица, леденцы-крыжовник, розовые и белые сахарные свинки, марципановые «морские камушки» и маленькие кисейные мешочки с шоколадными монетками. Восхитительно смотреть, как дети бегут за этими тележками в матросских костюмчиках и кисейных платьицах, чтобы встать на цыпочки и серьезно и торжественно совершить покупку, а затем пойти прочь с пакетами, крепко прижатыми к себе и неоткрытыми, поскольку в Испании есть на улице считается дурной манерой, как когда-то и в Англии.

Но из всех видов, очаровывавших меня в Мадриде, больше всего мне нравились маленькие девочки в платьицах для первого причастия. Вы натываетесь на эти крошечные, похожие на невест фигурки обычно по воскресеньям; они всегда одеты с одинаковой тщательной и придирчивой заботой, и каждая похожа на всех других: белая вуаль, накрахмаленное белое платье, спадающее до белых туфель, требник, обернутый в белое, зажат парой маленьких беленьких перчаток, а правое запястье обвивают четки с серебряным крестом. Эти очаровательные фигурки шествуют среди полноразмерных человеческих существ с полным осознанием важности момента в их жизни, их личики — совершенный пример испанской серьезности, торжественности и благопристойности.

§ 8

Я бродил по Мадриду в поисках Дома семи каминных труб — *Casa de las siete Chimeneas*. Ни один из

моих друзей прежде не слышал о нем. Наконец я нашел его на улице де лас Инфантас, второй поворот направо от того места, где улица Пелайо вливается в проспект Хосе Антонио. Улочка узкая, и старые дома сейчас превращены в магазины и офисы. Дом, чьи семь труб, вероятно, делали его одним из ориентиров в XVII веке, до сих пор известен под этим старым именем. Во времена Филиппа IV это была резиденция английского посла.

Здесь вечером 7 марта 1623 года слуга доложил своему хозяину Джону Дигби, графу Бристольскому, что англичанин, называющий себя Томасом Смитом, хочет его видеть. Хотя загадочный гость не сообщил своего дела, в конце концов его представили послу. Когда этот незнакомец, высокий, закутанный в плащ, показал вализу дипломата и открыл лицо, граф Бристольский с удивлением увидел красивые и наглые черты Джорджа Вильерса, герцога Бэкингема, фаворита короля Якова. Бэкингом сказал, что оставил принца Уэльского (впоследствии Карла I) на улице снаружи держать лошадей. Посол поспешил на улицу и, «пребывая в изумлении», привел принца в свой дом и выслушал фантастическую историю, рассказанную путешественниками. Оказалось, что они тайно покинули Лондон две недели назад, принц назвался Джоном Брауном, а Бэкингом Томом Смитом — воистину высокий полет фантазии! Они пересекли Ла-Манш и поехали верхом в Париж, где, смешавшись с толпой, неузнанными наблюдали репетицию маскарада, на которой прекрасная юная королева Франции Анна Австрийская танцевала с Генриеттой-Марией — тогда девочкой четырнадцати лет. Принц смотрел на нее, не подозревая, что видит свою будущую королеву. Потом принц и герцог с еще двумя компаньонами пересекли верхом всю Европу, проезжая по шестьдесят миль в день, а в дневном переходе от Мадрида принц и

Бэкингом пришпорили лошадей и вырвались вперед, оставив товарищей догонять себя. Цель их путешествия была послу абсолютно очевидна: принц приехал свататься к инфанте Испании, подстрекаемый Бэкингом, и два «милых мальчика», как называл их впадающий в старческое слабоумие Яков I, получили королевскую санкцию на эту миссию. Принцу было двадцать три года, а Бэкингу тридцать один — достаточно, чтобы понимать, что делаешь.

Визит Карла в Мадрид — единственный забавный эпизод в жизни короля-мученика, и довольно странно сознавать, что самый донкихотский поступок в англо-испанской истории был совершен на испанской земле принцем Уэльским! Все началось около двенадцати лет назад, когда у Якова I — под влиянием испанской партии в Англии, а также испанского посла — зародилась идея об испанском браке как выгодном политическом вложении. К немалому веселью прочих стран, он видел себя свекром счастливой Европы. Схема строилась на протяжении всего правления Филиппа III, когда стало ясно, что такой брак будет зависеть от возвращения Англии под крылышко римского католичества. И когда умер принц Генрих, матримониальные планы перешли по наследству к его брату, принцу Чарльзу. Затем советники предположили, что дипломаты ничего не добьются, а молодой Филипп IV, унаследовавший испанскую корону, не сможет устоять против такой чести, как личный визит принца Уэльского, просящего руки его сестры. Инфанте донье Марии тогда был двадцать один год, и она угрожала уйти в монастырь, если ее заставят выйти замуж за еретика.

Такова была ситуация, когда принц и Бэкингом решили переодетыми отправиться в Испанию. Яков писал о них благоглупости: «Милые мальчики и отважные рыцари, достойные быть увековеченными в

новых романах». Если рассматривать этот поступок не как политический акт, но с точки зрения человеческого поведения, получается действительно романтическое и необычное событие. Доселе только в сказках принц отправлялся завоевывать любовь принцессы; в реальной жизни он без всякого энтузиазма принимал невесту, выбранную для него министерством иностранных дел, и иногда не видел свою суженую до самого дня венчания. Из этого правила редко бывали исключения, но, как ни странно, одно из них случилось в семье Стюартов меньше чем за век до Карла, когда Яков V Шотландский отправился в Париж инкогнито, чтобы посмотреть на вероятную невесту. Хотя он считал свою маскировку абсолютной и ходил за покупками на рынки, мы знаем, что «каждый извозчик указывал на него пальцем: “Вон король Шотландии!”» Возможно, для другого Стюарта это стало прецедентом, побудившим его отправиться в Мадрид.

Когда граф Бристольский пришел в себя от замешательства, он понял: единственное, что можно сделать, — это объявить о прибытии принца к испанскому двору. Он знал, что в Мадриде секрет не продержится и дня. Прибытие принца Уэльского вызвало ужас — такого не случалось за всю историю Испании. Неслыханное дело, чтобы к инфанте отнеслись как к обычной женщине, и граф-герцог Оливарес, премьер-министр Испании, всю ночь обдумывал возможные действия. Говорят, когда Филипп IV услышал новость, он как раз собирался отойти ко сну. Король подошел к распятию в изголовье постели и, поцеловав ноги Христа, воскликнул, что даже папа не заставит его согласиться выдать сестру замуж за еретика. Но на публике следовало держать лицо, и когда о прибытии принца было объявлено в Мадриде, толпы обезумели от радости, уверовав, что принц Уэльский явился в Испанию, чтобы стать добрым

католиком, и что там, где проиграла Армада, победят свадебные колокола.

Принц, видимо, находился в таком эмоциональном напряжении, что не мог дождаться встречи с инфантой. Его пришлось убеждать, что ничего нельзя делать вне жестких рамок испанского этикета и с официальной точки зрения его пока еще нет в Мадриде! Перво-наперво следовало назначить встречу Бэкингема и Оливареса, а затем принца и Филиппа. Обговорили любопытную имитацию случайной встречи. Решили, что Бэкингом и Оливарес съедутся в назначенное время, их кареты должны остановиться одновременно, тогда премьер-министры выйдут из карет на середину улицы и обменяются любезностями. Вечером следующего дня зеваки и все прочие на берегах Мансанареса, под старым алькасаром, видели, как огромная золоченая карета первого министра, влекомая шестью мулами в роскошной сбруе и сопровождаемая толпами пажей и лакеев, ездил в зад и вперед, пока с другой стороны не появилась карета английского посла, в которой сидели граф Бристольский и герцог Бэкингем.

Процедура была соблюдена, затем Бэкингом пересел в испанскую карету, и, проехав туда и сюда около часа, обе кареты покати по крутой дороге к алькасару, где Бэкингема неофициально принял Филипп VI. Когда аудиенция окончилась, Оливарес сел в английскую карету и был привезен в Дом семи каминных труб, где его представили принцу. Встреча состоялась с соблюдением всех формальностей и приличий.

Впрочем, во время встречи с Оливаресом принц нарушил правила, прямо спросив, когда он сможет увидеть инфанту. Он был так настойчив, что министру пришлось действовать, и так появился новый маленький план. В воскресенье — на следующий день — королевская семья обычно выезжала в полдень и

присоединялась к *paseo* на аллее Прадо, и Оливарес условился, что на руке инфанты будет голубая лента, а принц сможет наблюдать за процессией из посольской кареты с боковой улочки. Все прошло удачно. Золоченые кареты катались по улице, король поклонился графу Бристольскому, а принц жадно смотрел на выезд, оставаясь официально невидимым.

Следующим шагом стал торжественный въезд принца в Мадрид и его переезд из Дома семи труб во дворец, где на первом этаже для него были заново отделаны несколько комнат. Тем не менее перед тем, как это произошло, принц удостоился неофициальной аудиенции у Филиппа. Бэкингом писал Якову I:

На следующий день наш Малыш пожелал поцеловать руку короля с глазу на глаз во дворце, что было ему позволено и исполнено. Однако король не пожелал позволить принцу войти в его кабинет, но встретил его у подножья лестницы, затем пригласил в карету и прогулялся с ним по парку. Самое большее, что произошло между ними, — это обмен любезностями.

Курьеры скакали по Европе с письмами «дорогому папе и сплетнику», как Яков любил, чтобы его называли, от «Малыша Чарли» и «Вашего верного пса Стини» — так подписывался Бэкингом.

Через неделю с небольшим после прибытия принц въехал в Мадрид с помпой, и столица, всегда готовая к празднику, предалась радости и увеселениям. Торжественное, сверкающее великолепие испанского двора потекло по улицам под звуки барабанов, труб и волынок. В конце кавалькады, которой потребовалось три часа, чтобы пройти одну милю, ехали Филипп и принц Уэльский — бок о бок, под белым балдахином, чьи

серебряные шесты несли шестеро офицеров. Они оба были превосходными наездниками, оба молоды, красивы и величественны. Испанский хронист записал, что Карл был в прекрасной форме — *bizarro en el talle*^[1], и толпа отметила с удовольствием, что всякий раз, когда Филипп снимал шляпу, проезжая мимо церкви или часовни, принц делал то же самое. Прибыв во дворец, принц был представлен королеве, прелестной Изабелле Бурбон, дочери Генриха IV Французского и Марии де Медичи и сестре девушки, на которой он впоследствии женится, — Генриетты-Марии. Граф Бристольский, стоя на коленях, исполнял роль переводчика, и позже тем же вечером королева послала гостю полезный, но довольно необычный подарок: некоторое количество нижнего белья, столовое белье и надушенную шкатулку, полную туалетных принадлежностей.

На следующий день принц стал почетным гостем на королевском бое быков на Пласа Майор. Огромная старая площадь была тогда совсем новой. Балконы пестрели алыми и золотыми полотнищами и геральдическими щитами. Народ толпился в аркадах, аристократия — на балконах над ними. Придворные прибывали в парадных каретах, запряженных шестью мулами или лошадьми, с конным эскортом и пешими лакеями, пажами и капельдинерами. Процессия королевы — череда качающихся на кожаных ремнях тяжелых паланкинов с кожаными занавесями, поднятыми и открывающими взору накрашенных и напудренных красавиц, — выстроилась напротив пекарни; королева Изабелла вместе с инфантой Марией, обе в темных шелках и со сверкающими бриллиантами в волосах, взошли вместе со своими дамами в королевскую ложу.

Еще больше многоцветья разлилось по площади, когда туда въехала процессия королей. Принц Уэльский, одетый в черное, с белым плюмажем на шляпе, восседал на великолепной гнедой лошади, а колесо к колесу с ним ехал Филипп IV, в коричневом, высокий, худой, с длинным, похожим на сливу лицом и фамильной выступающей челюстью Габсбургов, еще без знаменитых загнутых кверху усов. За королями ехали сановники, министры, послы, генералы, адмиралы, а по бокам маршировали алебардщики, мушкетеры и лучники королевской гвардии. Король и принц заняли места на балконе рядом с королевой. Площадь очистили от карет, водовозы прибили пыль, и входные барьеры были закрыты. Немедленно под королевской ложей отряд королевских гвардейцев изготовился в случае опасности поразить быка пиками, но не отступить ни на дюйм.

Бой быков, который увидел принц, был конным турниром — от таких турниров произошли современные бои быков, являющиеся вульгаризацией старинного обычая. Этот праздник тогда еще не превратился в торжественный ритуал, также ему не придавали эзотерического значения. Это был просто конный турнир, в котором благородные доны испытывали свое умение и искусство верховой езды против дикого быка. Им помогали пешие слуги, которые подавали новые копья и выполняли другие низкие работы; от этих слуг и произошла современная *cuadrilla*^[2].

Прозвучала труба, и на пустую Пласу выехал герцог де Сеа на сером андалузском боевом жеребце. Его слуги носили коричневые с серебром ливреи. Герцог подъехал к королевской ложе, снял шляпу, поклонился и уехал. За ним последовали герцог Македа и другие дворяне в сопровождении слуг, и когда все откланялись и площадь вновь опустела, выпустили быка. Каждый

дворянин нападал на быка в одиночку, сидя в седле *a la gineta*, с короткими стременными ремнями, и пользуясь одинарными длинными золочеными мавританскими шпорами. Другой памятью о маврах был восточный костюм, в котором иногда выходили слуги, подававшие хозяевам новые дротики или отгонявшие быка. Мы ничего не знаем об этом бое, за исключением того, что никто не погиб, а зрелище окончилось потоками ливня и забрызганными грязью нарядами, когда пажи бросились в сгущающихся сумерках искать конюхов и кучеров.

Хотя принц жил во дворце и имел ежедневную возможность видеть инфанту, ему ни разу не позволили поговорить с ней наедине. Он решил, что влюблен, и несколько шпионов написали об этом домой, включая и Бэкингема, который доложил «папе и сплетнику», что «Малыш» поклялся: мол, если он не женится на инфанте, будет беда (он имел в виду войну с Испанией). Но трудностей и препятствий было множество, а поставленные испанским королем условия вызвали бы бунты в Англии. Папа римский написал Карлу письмо с предложением перейти в католичество, но Карл ответил весьма несдержанно и опрометчиво. Правда, поначалу казалось, что все складывается более или менее удачно, и Яков снарядил флот, чтобы доставить невесту в Англию, и приказал архитектору Иниго Джонсу построить роскошную часовню. В этот период принц начал учить испанский, а инфанта — английский. Затем всплыли новые трудности, и брак отодвинулся далеко.

Карл, видимо, вел себя с достоинством — за исключением одной отчаянной выходки, за которую менее знатный человек поплатился бы жизнью. Узнав, что инфанта намеревается собирать майскую росу однажды утром в садах *Casa de Campo* на берегу Мансанареса, отчаявшийся влюбленный решил тоже

отправиться туда. С помощью Эндимиона Портера (чье жизнерадостное лицо, будто говорящее: «За здоровье его величества», написанное Ван Дейком, можно видеть в Прадо) принц вскарабкался на стену и спрыгнул в сад. Он увидел инфанту, идущую к нему по тропинке, и обратился к ней со страстными и возвышенными речами, но она издала громкий крик и помчалась прочь. Поспешно прибежал пожилой дворянин и стал умолять принца уйти — иначе он, телохранитель инфанты, может потерять свою жизнь или свободу. Он отпер садовую калитку, и Карл ретировался.

Удивительно представлять в Мадриде Арчи Армстронга, шотландского шута Якова I! Он прибыл с толпой шумных молодых английских придворных, привезших Карлу и Бэкингему из Лондона новую одежду, включая костюмы кавалеров ордена Подвязки, и великолепную коллекцию драгоценностей для подарков. Невероятно, но Арчи, с которым, казалось бы, у испанцев не было ничего общего, имел большой успех. Говорили, что ему пожаловали больше привилегий, чем кому-либо. Его неоднократно приглашали развлекать неприступную инфанту, и даже рассказывают, что однажды он дразнил ее разгромом Непобедимой армады! Хотя испанцы вроде бы его полюбили, шута больше не могли выносить сами англичане, и по какому-то случаю Бэкингем пригрозил его повесить. Это заставило Арчи ответить знаменитым: «Никто не слыхал, чтоб дураку грозили за болтовню, но много герцогов лишились головы за высокомерие». Арчи — прекрасный пример сокрушительного эффекта зерна правды в куче лжи и хитрости. С вольностью своей профессии и прямотой шотландского языка он сказал именно то, что думал о предполагавшемся браке; и никто не смог заставить его замолчать. Похоже, он был в этих переговорах леденящим дуновением искренности. Испанский двор с ума сходил

от карликов и шутов, и Арчи — возможно, выучившему несколько забавных слов на испанском, — видимо, действительно удалось завязать дружбу с Филиппом IV. Несколькими годами позже, когда у шотландского шута родился сын, он назвал его Филиппом — «в честь короля Испании».

Карл стал величайшим коллекционером предметов искусства в английской истории, и вероятно, он многое узнал или даже впервые загорелся страстью к картинам именно от Филиппа IV. Хотя королю Испании было только восемнадцать, он унаследовал от родителей художественный вкус и точность в суждениях и уже признал гений Веласкеса. Год прибытия Карла в Мадрид был и тем годом, когда Филипп привез Веласкеса в столицу и дал ему место при дворе. На Карла, только что приехавшего от грубого двора Якова I, где даже маскарады считались заумью, Филипп наверняка произвел сильное впечатление. Возможно, бывали моменты, когда они вместе восхищались полотнами Тициана — за свою дальнейшую жизнь Карл соберет сорок его картин. Можно вообразить монархов прогуливающимися по коридорам и галереям алькасара и беседующими — не о религии или политике, но о картинах и художниках. Именно своим покровительством художникам (Филипп — Веласкесу, а Карл — Ван Дейку) эти два властителя оставили такой глубокий след в умах последующих поколений.

Даже поведение их было замечательно похожим. Филипп в более поздние годы подолгу не мог себя заставить уйти из студии, где работал Веласкес. Он любил наблюдать за художником, и такой момент запечатлен на великой картине «Менины», хранящейся в Прадо. Карл так же вел себя с Ван Дейком, заглядывая в его мастерскую в любое время, чтобы увидеть художника за работой, так часто, что в

Блэкфрайарз построили специальную пристань для королевского баркаса.

Неизвестно, встречался ли Карл когда-нибудь с Веласкесом, хотя часто утверждают, что принц позировал художнику в Мадриде. Картина была продана лордом Файфом в 1809 году и сейчас, полагаю, находится в Соединенных Штатах. Но позировал Карл для этого портрета или нет — с уверенностью можно сказать, что он наслаждался миром искусств Мадрида и посещением аукционов. Пока он был там, великолепная коллекция герцога Вилья Медианы пошла с молотка, и юный принц купил большое количество картин. Лопе де Вега рассказывает нам, как принц Уэльский «собирал с замечательным рвением все картины, какие только мог, платя за них избыточные цены». Среди шедевров, которые ему не удалось купить, были два тома рисунков Леонардо да Винчи; впоследствии они попали в Англию и перешли из коллекции Арундела в Виндзорский замок.

По прошествии шести месяцев Карл и Бэкингем вернулись в Англию. Испанский брак не состоялся. Это возвращение было обставлено со всеми возможными церемониями, и обе стороны сделали друг другу множество драгоценных подарков. Хотя Карл не получил свою невесту, он обрел «Богоматерь» Корреджо, «Венеру» Тициана, слона, страуса и пять верблюдов.

Путешественник-англичанин, если у него есть пара минут свободного времени, может прогуляться по узкой улице де лас Инфантас и поразмыслить об интересных личностях эпохи первых Стюартов, которые собирались здесь во время пребывания Карла в Мадриде. Во-первых, это сам Джон Дигби, граф Бристольский. Он получил свой первый в жизни шанс, когда еще юношей был послан рассказать Якову I о Пороховом заговоре. Король, которому понравился молодой человек, начал продвигать его по службе, и Дигби стал выдающимся

дипломатом. Он написал изящное небольшое стихотворение «Прощание графа Бристольского» («Ты не горюй, моя любовь, хоть мы нередко расстаемся»), которое многие годы до рождения радио исполнялось в гостиных голосистыми юными тенорами.

Также интересны два компаньона, которые проехали через всю Европу вместе с Карлом и Бакингом: Эндимион Портер и Фрэнсис Коттингтон. Достаточно посмотреть на портрет Портера в галерее Прадо, чтобы понять, что за человек это был: прямой, грубоватый, добросердечный, жизнерадостный, верный королю, — людей такого типа мы все встречали и восхищались ими. Хотя он выглядит типичным англичанином, его бабкой по материнской линии была Хуана де Фигероа-и-Монте-Сальве — родственница, как считается, герцога Фериа, который был испанским послом при дворе Марии Тюдор. Портер путешествовал, присматривая подходящие картины для галереи Карла в Уайтхолле. Он дружил с Рубенсом, Ван Дейком, Герриком и тем драматургом, которого полагали сыном Шекспира, — Уильямом Давенантом. Как и многие другие рыцари, Портер потерял все во время гражданской войны и умер без гроша, дожив свой век за счет доброты ирландского цирюльника, когда-то у него служившего.

Коттингтон также был типичным представителем своего времени. Он служил секретарем у Карла во время визита в Мадрид. Жил он в состоянии религиозной путаницы, становясь католиком в болезни и протестантом во здравии. Коттингтон сделал выдающуюся карьеру при Карле I и стал пэром и канцлером казначейства. После казни Карла он пытался помочь Карлу II и снова оказался в Испании уже пожилым человеком, безуспешно пытаясь заинтересовать католические власти реставрацией английской монархии. Здесь его сразила финальная

атака католицизма, и он отправился умирать к иезуитам в Английский колледж Вальядолида; но последнее слово осталось за родственниками, перенесшими его прах в Вестминстерское аббатство.

Среди многих прочих были писатель Джеймс Хауэлл (он находился в Мадриде по делам, касающимся корабельных грузов) и красивый юноша сэр Кенельм Дигби, которого мать отослала за границу, чтобы разлучить с прекрасной Венецией Стэнли: впоследствии он все же женился на ней. А также сэр Эдмунд Верней — через девятнадцать лет этот рыцарь погибнет за Карла и будет найден на поле Эджхилла все еще сжимающим в руках королевский штандарт.

Таковы некоторые из англичан, собиравшихся в Доме семи каминных труб в тот замечательный период. Они составили рыцарский хор странного эпизода под названием «Испанское сватовство», обладавшего всеми признаками и чертами хорошей комической оперы.

Глава вторая

Эскориал и его склепы

В Эскориал на автобусе. — Трагедия дома Габсбургов. — Комната, где умер Филипп II. — Королевские склепы. — Дон Хуан Австрийский. — Рынки и кондитерские Мадрида. — Взгляд на лица в Прадо.

§ 1

Однажды утром на улице Алькала я увидел роскошный туристический автобус с надписью «Эскориал», стоящий у турбюро. Автобусы в наши дни стали неописуемо величественны. Если цивилизация имеет какое-либо отношение к распространению на многих людей удобств и роскоши, достававшихся раньше отдельным избранным, то эти средства передвижения — одни из самых важных достижений нашего времени. Люди в автобусе выглядели столь жизнерадостными и довольными, что я тут же зашел в бюро и купил билет в Эскориал.

Я присоединился к пестрой компании. Там были несколько англичан, несколько французов и американцы с севера и юга, а также две веселые и разговорчивые юные монашки и испанский священник с выбритым до синевы подбородком — видимо, его назначили присматривать за сестрами, но задание ему явно не нравилось. Торквемада в присутствии парочки танцовщиц-лютеранок не мог бы выглядеть мрачнее. Не знаю почему, но я очень удивился, услышав, что монашки разговаривают с сильным американским

акцентом. Мне кажется довольно странным слышать, как монахиня восклицает, восторженно сверкая очками: «Ну, мы просто до смерти рады оказаться в Испании!» или «О падре, мы просто дождаться не можем, когда увидим Эскориал!» Священника слегка передергивало от этого энтузиазма, и он, метнув в монашек взгляд, приправленный изрядным количеством серы, отвечал что-нибудь вежливое.

Я обнаружил, что сижу рядом с грузным, богатым на вид американцем, который уже курил первую за день сигару. Только что вернулся из Севильи и пробыл там довольно долго, сообщил он мне. Американец оказался дружелюбным, проницательным и любопытным. Он признался, что почувствовал себя обманутым туристическими плакатами, потому что Испания жила иначе. Ему мерещилось бесконечное представление «Кармен», с кружащимися платьями в горошек, мантильями и кастаньетами; но, как выяснилось, это можно увидеть только в ночных клубах и кабаре.

— Где все эти прекрасные *señoritas*, о которых читаешь в книгах? — вопрошал он. — А вы их нашли?

Я указал на нескольких элегантных утренних автомобилисток.

— А, ерунда! — устало сказал он и выбросил сигару в окно.

— Вы были на бое быков в Севилье? — спросил я.

— Ага, кучка женоподобных в цветных панталонах, — ответил он.

Очевидно, ему было нелегко угодить. Конфликт между реальностью и идеалом — это то, с чем каждый из нас, наверное, встречается в жизни, подумал я. И кем же был этот бизнесмен из Нью-Йорка, как не Дон Кихотом, ожидавшим, что жизнь будет красивым старомодным плакатом? Никто не кинул в него гвоздикой. Разумеется, для настоящего Дон Кихота

любая вещь, брошенная в него, была бы гвоздикой, заколдованной в полете.

Смуглый невысокий гид забрался в автобус, пересчитал нас, словно школьников, и автобус величественно покатило сквозь раннее утро — самый роскошный транспорт в Мадриде. Мы сидели внутри, чувствуя себя полными иностранцами: делать совершенно нечего, никаких усилий и свершений, никаких испанцев, чтобы попытаться с ними заговорить, — просто сидишь на прекрасных сиденьях из пенорезины и, как сказал бы мой компаньон, занимаешь место.

Сьерра-де-Гвадаррама, к которой мы двигались, виднелась в тридцати милях к северу: ряд темных гор на фоне неба. Земля, по которой мы проезжали, была плоской, иссохшей и безлесой, но небо сияло райской голубизной, которую нарушали два или три маленьких перьевых облачка. Через несколько миль мы проехали дорогу, которая ответвлялась к дворцу Пардо, где генерал Франко живет среди гобеленов, картин и расписанных фресками потолков XVII века. Там же находятся казармы его знаменитой Марокканской гвардии.

Дорога стала более интересной, когда мы начали подниматься. Мне говорили, что те, кто, подобно моему американскому приятелю, привык считать Испанию страной гитар и кастаньет, удивляются зимой, видя на этой дороге молодых испанцев с лыжами и санками, спешащими на снежные поля Гвадаррамы; а на Пико-де-Пеньялара, который имеет высоту около восьми тысяч футов над уровнем моря, снег лежит до самого июня. Мы повернули к великолепному горному ландшафту, где ели и сосны карабкались вверх по склонам, заглянули в мрачные долины и устремили взоры вверх, на гранитные вершины, вздымавшие в небо свои клыки, грандиозные и грозные даже в ясный день.

Маленькая деревенька Галапагар служила последним местом отдыха для королевских гробов на пути в склепы Эскориала. Ричард Форд рассказывает, что, когда кортеж был готов отправляться в путь, высший чиновник государства подходил к гробу и спрашивал, желает ли его величество выступать. Еще несколько миль горной дороги привели нас в деревеньку, где маленькие мальчики предлагали открытки с изображением огромного грозного серого здания, которое мы видели перед собой.

Это, конечно же, был Эскориал.

§ 2

Дворец великолепно оправдывает свою репутацию; он именно такой, каким его описывают: мрачный, величественный, сумрачный, суровый и исполненный достоинства. Он стоит на склоне горы, кальвинистский по строгости, и каждое окно — а там их много сотен — как зоркий изучающий глаз. Полагаю, ни одно великое строение не раскрывало так явно своего строителя. Очень просто написать биографию Генриха VIII, не посетив Хэмптон-Корт, или Людовика XIV, не побывав в Версале, но биограф Филиппа II обязан посетить Эскориал, потому что этот дворец — сам король, воплощенный в граните, и никакая картина или фотография не способны передать его истинную идею.

Мы все чувствовали себя несколько придавленными этим зданием. Веселая болтовня, наполнявшая автобус, утихла, и мы, одинокая маленькая группка, молча стояли в сером наружном дворе, пока гид — а он оказался весьма опытным и знающим — не подошел к нам и не развел англоговорящих в одну сторону, а французов в другую, и не начал рассказывать, сначала по-английски, а потом по-французски. Он сообщил нам,

что Филипп II решил построить этот дворец-монастырь как могилу для своего отца, великого Карла I Испанского, императора Карла V Священной Римской империи, и, кроме того, пожелал строительством умиловить святого Лаврентия за разграбление Сен-Кентена во Франции, когда испанские солдаты совершили святотатство и сожгли церковь, посвященную этому святому. Мы, конечно, тут же вспомнили, что святого Лаврентия зажарили на решетке, и кивнули. Филипп II построил Эскориал в форме огромной решетки: четыре угловые башни символизировали ее опоры — вверх ногами, здания дворца были «ручкой», а прямоугольные дворы и строения — самой решеткой. Я считаю, что это позднейшие домыслы, но историю рассказывают всем.

Гранит доставили с окрестных холмов, и в течение двадцати лет Филипп жил с мечтой об огромном монастыре — могиле, куда он намеревался удалиться, чтобы окончить свои дни. Он привык сидеть в старом алькасаре в Мадриде и смотреть на строительство в подзорную трубу. Дорога за деревней вела вверх, к гранитной скале, в которой вырублено сиденье, называемое Креслом Филиппа II; король сидел здесь, наблюдая, как Эскориал обретает форму. Все это мы узнали от гида: к некоторому удивлению, рассказывал он живо и с энтузиазмом, хотя ему наверняка приходилось повторять одно и то же каждый день.

Я подумал, каким великим достижением было для одного человека в течение жизни замыслить и исполнить столь веское воплощение своего благочестия и непреклонного стремления доминировать над верой всей Европы. Зданию присущи сила и величие и наряду с этим — красота пропорций, но все его очарование могло бы уместиться в чайную чашечку. Человек, разумеется, вправе ожидать хоть немного теплоты в таком количестве гранита, но, очевидно, Филиппу II

было нечего вложить. Нигде в мире в то время не могли похвалиться таким архитектурным гигантом, и пока он рос на этих серых испанских холмах, в Англии строились загородные дома, некоторые — на доход от разоренных монастырей: Лонглит, Пенсхерст-Плейс, Хэддон-холл; колледж Иисуса в Кембридже и Миддл-Темпл-холл в Лондоне также относятся к этому времени.

Испанскому школьнику приходится учить гораздо более сложную и запутанную историю, чем любому другому европейцу, и английский мальчик не представляет, насколько он удачлив: ведь ему досталось изучать совершенно прямую и простую историю — с одной линией королей и страной, которую можно называть Англией с далеких времен. С того момента, как арабы вторглись в Испанию в 711 году, страна перестала быть Испанией, известной римлянам и вестготам, и не могла именоваться Испанией почти восемь сотен лет. В течение этих восьми веков страна разделилась на христианский север и мусульманский юг и жила в состоянии приграничных набегов и партизанской войны, которая превращалась в крестовый поход, когда одному христианскому королю удавалось убедить других христианских владык стать его союзниками. Крестовый поход заканчивался, и все возвращалось на круги своя до следующего союза, примерно век спустя. Во время этих долгих перерывов у испанских христиан и испанских мусульман находилось очень много общего — практически все, кроме религии.

Так что за период, который в английской истории отделяет саксов от эпохи Тюдоров, в Испании одновременно существовали не только два пути развития: христианский и мусульманский; в христианской Испании также были несколько королей, правящих различными государствами на севере; в результате эти государства превратились в два —

Кастилию и Арагон. Великий момент наступил в 1469 году, когда Изабелла Кастильская вышла замуж за Фердинанда Арагонского и христианская Испания наконец объединилась. Это были «католические короли» — *los reyes catolicos*, и их имена приезжий слышит по всей Испании. Совокупной силой объединившихся королевств Фердинанд и Изабелла вдохновили десятилетний поход, который в конце концов выдворил мавров из Испании. По всей Европе зазвонили колокола, в соборе Святого Павла в Лондоне и во всех европейских столицах отслужили благодарственный молебен «Te Deum», когда пришли вести, что Фердинанд и Изабелла приняли капитуляцию Гранады, последней твердыни мавров, и установили крест на крепостном валу. Это случилось 2 января 1492 года, среди наблюдавших за волнительной сценой был и Христофор Колумб.

И наступил золотой век Испании Габсбургов. Политика Фердинанда и Изабеллы была направлена на создание сильного блока против Франции: монархи выдавали своих дочерей в нужные королевские фамилии. Одна стала королевой Португалии; вторая, Екатерина (Каталина) Арагонская, королевой Англии и первой женой Генриха VIII; а третью, Хуану Безумную, выдали замуж за Филиппа Красивого Бургундского, наследника Максимилиана I Габсбурга, императора Священной Римской империи. Этой несчастной женщине выпала судьба стать источником загнивания древней династии Габсбургов.

Сыновья Филиппа I и Хуаны поделили между собой огромное наследство Габсбургов. Карл I Испанский стал императором Карлом V и основал линию испанских Габсбургов, которая продолжалась двести лет и оборвалась безумием — на Карле II Испанском; в то время как Фердинанд, ставший императором вслед за

Карлом, продолжил австрийскую линию, которая продержалась до самой Первой мировой войны.

Именно от Хуаны появились в роду Габсбургов выступающие вперед губы и челюсть, как и много других несчастливых особенностей этой фамилии; и чтобы объяснить затравленные лица испанских Габсбургов, которые смотрят на нас со стен галереи Прадо, нужно знать кое-что из ужасной истории этой женщины. Хуане было семнадцать, когда ее отправили во Фландрию, чтобы выдать замуж за восемнадцатилетнего Филиппа I Бургундского. Говорят, она была красивой и очаровательной молодой женщиной. Филипп никогда не притворялся, что любит ее, но она влюбилась в него со всей страстью. Своенравная собственница и истеричка, от частых измен мужа Хуана приходила в чудовищную ярость и отчаяние, которые фламандский историк описывает как «любовную горячку». Она запиралась в своих покоях и устраивала голодовки; она становилась агрессивной и неконтролируемой и возымела такую ненависть к своему полу, что выпроводила из дома всех женщин и иногда даже сопровождала Филиппа на поле боя — единственная женщина среди десяти тысяч мужчин. Она не делала ничего, чтобы умерить свою ревность, и после нескольких лет брака оказалась на грани безумия, если не за этой гранью.

Ее мать Изабелла умерла, когда Хуане было двадцать семь лет, оставив дочери корону Кастилии. Филипп и Хуана были в то время во Фландрии, но тут же отплыли в Испанию, чтобы получить свое наследство. Разразился шторм, корабли разметало, и опасались, что королевский корабль заблудится. Поведение этих монархов перед лицом смерти было весьма интересным. Филипп застегнулся и завязался в кожаное одеяние, которое потом надули воздухом — «Мэй Уэст»^[3]

шестнадцатого века, — и преклонил колена в молитве перед священным образом; Хуана же не выказала и следа страха, зато надела свое лучшее платье и прильнула к Филиппу, сказав, что, если корабль начнет тонуть, она прижмется к нему еще крепче. Когда матросы пустили мешок для пожертвований, чтобы умиловать Пресвятую Деву Гуадалупскую, Хуана преспокойно выбрала самую маленькую монетку из своего кошелька и сказала, что ничуть не беспокоится, поскольку короли никогда не тонут. Они уцелели в шторме, но потрепанному флоту пришлось остановиться в Уэймуте для ремонта.

Узнав о столь знатных гостях, Генрих VII пригласил их посетить Виндзор, но поскольку Хуана заболела, Филипп поехал один. Ему устроили королевский проезд по Лондону и приняли при дворе. История сохранила прелестное описание юной Екатерины Арагонской — ей тогда был двадцать один год. Мы узнаем, что, желая развлечь своего зятя однажды вечером, «моя леди принцесса Екатерина танцевала в испанском наряде с испанской дамой в качестве партнера». Хуана, выздоровев, прибыла в Виндзор несколькими днями позже, где сестры встретились. Некоторые фольклористы связывают этот визит Хуаны Безумной с очаровательным, но загадочным детским стишком:

Мой маленький орешник
Плодами небогат —
Лишь золотая груша,
Серебряный мускат.
Дочь короля Испании
Приехала в мой дом,
И все из-за орешника,
Что рос в дому моем.
Скакала я над морем,
Плясала над водой,

Все птицы поднебесья
Зазря гнались за мной.

Когда наконец они прибыли в Испанию, Филипп попытался отодвинуть жену на задний план как умственно неполноценную. Это не понравилось ни кастильцам, ни отцу Хуаны, Фердинанду Арагонскому, который все еще был жив: по завещанию Изабеллы он становился регентом в случае, если их дочь окажется неспособной к управлению страной. Через год пребывания в Испании Филипп Красивый внезапно скончался — возможно, от брюшного тифа, а может быть, и от яда, — и его смерть вызвала у Хуаны полное помутнение рассудка. В безумии она не позволяла похоронить тело мужа и запретила приближаться к нему другим женщинам. Она усадила труп на трон, одела в парчу и горностаевые меха, и после того, как его забальзамировали, отказалась отходить от гроба, который приходилось открывать каждую ночь, чтобы она могла поцеловать лицо мертвеца. В разгар зимы, когда снег лежал на равнинах Кастилии, она решила перевезти тело из Бургоса на юг, в Гранаду; однажды, остановившись на ночлег в монастыре и обнаружив, что тот женский, Хуана немедленно приказала вынести гроб из церкви в поле, где она и ее приближенные провели ночь под ветром и дождем. Что еще хуже, бедная женщина была беременна, и похоронная процессия задержалась в маленьком городке Торквемада, где вдова родила дочь. Двое ее великих сыновей: Карл, который стал Карлом I Испанским (и императором Карлом V), и Фердинанд, который унаследовал титул императора от брата, — были тогда детьми и оставались во Фландрии. Карлу было семь, а Фердинанду четыре года.

Несколько лет безумная королева скиталась по стране в сопровождении похоронных дрог с гробом мужа. Она путешествовала ночью, с закрытым лицом. Наконец ее отцу Фердинанду удалось убедить Хуану поехать в укрепленный замок Тордесильяс, все еще в компании трупа Филиппа — и этот замок стал ее тюрьмой на сорок семь лет. Хуана не покидала замка до самой смерти, пришедшей к ней в семьдесят шесть лет.

Такова была мать великого императора Карла V и бабушка Филиппа II. Когда умер Фердинанд, отец Хуаны, регентство над Испанией перешло к ее сыну Карлу, юноше шестнадцати лет, которого тогда еще не избрали императором. Он посетил мать в ее ужасной келье, где она проводила дни, скорчившись на полу, в лохмотьях, окруженная тарелками с несъеденной пищей. Почти до конца жизни Карла V, столь могущественного и прославленного в глазах мира, владыку большей части Европы и новых земель Америки, преследовало ужасное видение кельи, в которой его мать лежала на полу или бредила и буйствовала — как говорят, даже отказываясь от утешения религии. Безумную королеву Испании, словно Глэмисское чудовище^[4], Карл показал сыну Филиппу, когда мальчик достаточно вырос, чтобы понять увиденное. Филипп заглянул к своей бабушке по пути в Ла-Корунью, куда ехал с великой торжественностью, чтобы отплыть в Англию для женитьбы на Марии Тюдор; в последний раз он видел прародительницу Габсбургов живой.

Когда Хуана умерла и Карл смог передать корону Испании Филиппу, он привел в действие план, который вынашивал годами. Хотя королю было только сорок пять лет, он преждевременно состарился, был почти беззубым и страдал от подагры и других недугов. Его мать умерла в апреле 1555 года, а в октябре Карл

вызвал Филиппа из Лондона в Брюссель, чтобы тот смог принять участие в одном из наиболее драматических событий в европейской истории. В древнем дворце герцогов Брабантских, в зале, увешанном прекрасными гобеленами и охраняемом алебардщиками и лучниками гвардии, представители Нидерландов расположились полукругом перед возвышением с тремя креслами под балдахином. Потом появился император, опиравшийся на тросточку и на плечо Вильгельма, принца Оранского, затем Филипп, за которым следовали члены семьи и блестящее собрание кардиналов, послов, дворян и рыцарей ордена Золотого руна. Это был момент, исполненный великого чувства для всех, кто знал, что император решил отречься от престола и окончить свои дни в монастыре. Он произнес короткую, исполненную достоинства прощальную речь и умолял всех, кого обидел, его простить — он еще не закончил речь, а публика уже залилась слезами. Император также уронил слезу, и ему пришлось сесть и отдохнуть. Потом Карл снова поднялся и обратился к своему сыну Филиппу, вставшему перед ним на колени, с речью о прекрасном наследстве, которое юноша принимает, и обязал его «быть усердным защитником католической веры, а также закона и справедливости, которые являются оплотом империи». Император обнял сына перед всем собранием. Так в возрасте тридцати двух лет Филипп II стал самым могущественным монархом мира.

На следующий год император поселился в маленьком монастыре Сан-Херонимо де Юсте в Эстремадуре. Компанию ему составляли говорящий попугай и любимый кот, а развлечением служили настенные и карманные часы, которые Карл обожал чинить, и сад, где он выращивал цветы и овощи. Император отказался от всего, кроме еды. Врачи пытались его контролировать, но он, беззубый и

дряхлый, продолжал поглощать пищу, которую не мог переварить. Подарки в виде разнообразных деликатесов текли со всех концов королевства, и верный камердинер в отчаянии смотрел, как к монастырю подъезжали длинные караваны мулов, «нагруженные, по сути, подагрой и желчью». Этот слуга, искренне преданный королю, хотя и считал ржанок безвредными, «заслонял своего господина от пирогов с угрями, как в иные дни бросался бы между императорской персоной и острием мавританского копья». Подагра столь изуродовала Карла, что он даже не в состоянии был открыть конверт, — человек, который когда-то разъезжал верхом по всей Европе, не мог теперь сидеть на пони. Личность такого масштаба, конечно, не может действительно уйти на покой, и его домик в Юсте стал мировой галереей шепотов и слухов. Но не надолго: однажды Карлу взбрело в голову прорепетировать собственные похороны. Одевшись в траур, он посетил торжественную заупокойную мессу — у алтаря стоял катафалк, церковь сияла огнями свечей. Днем Карл задумчиво удалился в свой маленький сад, где подхватил простуду, которая развилась в смертельную лихорадку. Требуя принести распятие жены, он отошел в мир иной с именем Иисуса на устах.

Когда прочли его завещание, обнаружили два личных документа. В одном он просил Филиппа воздвигнуть достойную могилу для его останков; во втором признавал своим сыном мальчика по имени Иероним, которого тайно воспитывал его камердинер. Император надеялся, что мальчик будет монахом, — а он стал великолепным доном Хуаном Австрийским.

Филипп глубоко чтит отца, строил свою жизнь по его заветам, и, конечно, последние просьбы императора были для него приказом. Достойной могилой, воздвигнутой Филиппом, стал Эскориал. Это были усыпальница, монастырь и дворец — а также нечто

большее: убежище, из которого Филипп, унаследовавший габсбургскую меланхолию, правил миром. И, пожалуй, также можно сказать, что Эскориал оказался воплощением испанской истории: за ним восемьсот лет непоколебимого христианства. Холмы Испании покрыты рассыпающимися руинами замков, из которых велась война против ислама. Эскориал — замок нового крестового похода, уже против протестантизма. Все элементы испанской истории словно сконцентрированы здесь, в гранитных чертогах Контрреформации.

§ 3

Мы брели за нашим гидом, чья способность искренне увлекаться и интересоваться абсолютно всем вызывала удивление, по бесконечным коридорам и крытым галереям, потом вверх по гранитным ступенькам — в завешанные гобеленами апартаменты с высокими потолками. Фигура бледного Габсбурга в черном дублете и трико, с воротником кавалера Золотого руна вокруг шеи, чудилась повсюду, словно ускользала за угол в своих черных бархатных туфлях.

Что заворожило меня в Эскориале, так это здешний контраст между веками семнадцатым и восемнадцатым, между Габсбургами и Бурбонами, пришедшими им на смену. Французские короли сделали все, чтобы достичь невозможного и внести в Эскориал ноту жизнерадостности и веселья, а старое здание сопротивлялось им всеми силами. Контраст между суровым, мрачным семнадцатым веком и фривольным, звенящим веком восемнадцатым ошеломителен. Вы вдруг входите в комнаты, где стены увешаны яркими гобеленами, на каминах тикают французские часы, а вдоль стен стоят позолоченные креслица и кушеточки,

напоминающие об аукционах в «Зале Друо»; проходящий мимо хранитель, чтобы позабавить туристов, касается музыкальной шкатулки, и струйка звука танцует по комнатам, как некое привидение, в испуге вылетающее из-за портьеры. Затем пролет ступеней или коридор, и вы снова оказываетесь в семнадцатом веке, среди строгих стульев из ореха и каштана, а вместо маленьких атласных кушеток здесь стоят жесткие скамьи и табуреты. Тиканье часов затихает, и музыкальные шкатулки позабыты. Фламандские городки горят, герцог Альба на марше, а в этих тихих комнатах человек в черном дублете, с орденом Золотого руна на шее, перебирает бумаги белыми пальцами и читает донесение шпиона из Лондона или Парижа. Здесь зритель, кажется, может подойти чуть ближе к Филиппу II. По великой милости фортуны комнаты, где он работал, и спальня — едва ли больше корабельной каюты, — в которой он умер, остались практически в том же виде, как и при жизни короля. Комнаты не могли бы быть проще: распятие для молитвы, стул, письменный стол и табурет, чтобы поддерживать подагрическую ногу. Это все, чего желал Филипп, наследник большей части Европы и Америки, когда создавал собственный дом. По существу, это келья монаха — как и покои в Юсте, где умер его отец.

Из этой комнаты Филипп правил миром с помощью двух дюймов бумаги, как он имел обыкновение говорить. В дополнение к письменному столу и креслу там еще находился стальной шкаф, который принадлежал его отцу, книжный шкаф, позолоченная армиллярная сфера и найденный близ монастыря кусок магнетита, который может удерживать вес около одиннадцати фунтов. Поскольку Филипп ничего не знал о магнетизме, он хранил камень как великое чудо. Сила личности короля столь велика, что даже после всех этих лет комната не выглядит нежилой. Она словно

изучает вас, наблюдает за вами — и, в конце концов, разве это так уж удивительно? За сколькими людьми, за сколькими странами следили из этой комнаты! Шпионы Филиппа были повсюду. Он нередко знал о тайных и частных событиях в иностранных державах больше, чем его собственные послы. Все секреты Европы входили на цыпочках в эту комнату и прилежно подшивались в папки с делами. Филипп знал все. Однажды, когда при нем упомянули о повышении в сане одного известного церковника, король молча выслушал подробное перечисление достоинств последнего, а затем, открыв свою секретную папочку, заметил: «Но вы ничего мне не сказали о его любовных подвигах». В противоположность своему отцу, который правил из седла, Филипп был великим канцеляристом и при ином жизненном пути мог бы стать великолепным государственным служащим. Он любил сосредоточенно изучать бумаги и хранить информацию. Филипп чувствовал себя младшим партнером в предприятии «Испания»; старшим был Господь Бог.

Когда приезжали послы, их принимали не в этой личной комнате, но в прилегающем к ней тронном зале, чья простота наверняка поражала тех, кто привык к блеску и великолепию меньших монархов. Фламандские гобелены покрывали стены, на полу лежал огромный ковер, а под балдахин, позади которого размещался королевский герб, сидел Филипп II Испанский: на голове — высокая шляпа без полей, вокруг шеи — широкий сборчатый воротник, в руке трость, а левая нога покоится на складной табуретке. Таким его видели многие люди со всех концов света.

Король внушал страх. Он окружил себя восточной ширмой невозмутимости, которую многие визитеры находили обескураживающей и неприятной. Его привычка смотреть прямо в глаза приводила людей — даже святую Терезу — в замешательство. Он говорил

тихим голосом, который иногда было сложно расслышать, и все это, вместе с абсолютной властью, которую он собою воплощал, заставляло даже издавших виды послов робеть в его присутствии. Филипп прекрасно знал, какое впечатление производит; это было частью защитной раковины, которую он выстроил вокруг себя. «Успокойтесь, — говорил он посетителям. — *Sosegaos*». Конечно, это наверняка оказывало противоположное действие. Есть свидетельство, что однажды папский нунций, подавленный холодной атмосферой или, быть может, огорченный собственным заиканием, начал свою речь, но замялся и стал подыскивать слова. «Если вы принесли речь с собой в письменном виде, — добродушно сказал Филипп, — я прочитаю ее, чтобы не тратить время».

Таков был Филипп в поздние годы. В юности он увлекался танцами, маскарадами и любовными интрижками. Его отношения с возлюбленными были теплыми, и каждая из четырех его жен находила в нем хорошего мужа. Он безупречно вел себя в Англии — в качестве супруга увядающей Марии. Также король писал совершенно очаровательные отеческие письма своим дочерям; и хотя в то время говорили, что из коротких бесстрастных высказываний Филиппа можно составить целый том, о нем сохранилось меньше анекдотов, чем о любом другом человеке подобного исторического значения. Одна история, показывающая, что он обладал чувством юмора, рассказана Кейт О'Брайен:

Архиепископ Толедский проводил обряд конфирмации одного из королевских детей, и с ними, как всегда настаивал Филипп в таких случаях, всех детей из деревни или с окружающих ферм, которые были готовы

получить причастие. Событие происходило с огромной ритуальной пышностью и великолепием, как это обожал Филипп. Хор пел столь совершенно, что затмевал сам Рим; весь цвет церковной иерархии собрался на клиросе. Присутствовали сам Филипп, его семья и двор. Фимиам, цветы, свечи, тишина; архиепископ по очереди причащает детей. Но одному маленькому крестьянскому мальчику, очевидно, не сказали, чего ожидать во время таинства миропомазания, и когда архиепископ, великий князь церкви, нанес ему ритуальный удар по щеке — возможно, слишком сильный, — мальчик, воистину испанец из испанцев, вскочил на ноги и завопил на прелата: «Ах ты, сукин сын!» Ситуация получилась щекотливая, и весь двор и священники, стоящие на коленях, были словно парализованы. (Никто, похоже, не понял, что именно сделал архиепископ.) Но Филипп II, величайший приверженец ритуала, расхохотался — и церемония продолжилась без дальнейших нарушений.

Филипп был прекрасным мужем и отцом, когда сбрасывал маску, которую носил на публике, и становился простым, сердечным и милым человеком, что доказывают очаровательные письма, которые он писал из Лиссабона своим юным дочерям. В одном письме он спрашивает, виден ли им Эскориал из окон алькасара в Мадриде. «Я не знаю, можете ли вы его видеть из ваших окон, но наверняка вы должны его откуда-нибудь увидеть. Да, полагаю, ваш брат будет выглядеть очень хорошо в коротких юбках, но ему не следует ради этого нарушать принятые обычаи». Очевидно, юные принцессы — одна тринадцати лет, а другая четырнадцати — хотели вытащить

четырехлетнего Филиппа (впоследствии Филиппа III) из младенческих одежд.

В семейном кругу в Филиппе не могло оставаться ничего пугающего, и две юные принцессы, росшие без матери, часто советовались с ним по поводу нарядов. В одном письме он радовался, что девочки не собираются носить шляпок-токов, а в другом дал им разрешение на платья, украшенные золотом, но не слишком обильно, когда они посещают венчание. Бесполезно искать в этих письмах сурового мрачного Филиппа из Эскориала. Со сдержанным весельем описывает он выходки пожилой пьющей карлицы, Мадалены Руис: как она безумно любит землянику, как однажды она взошла на борт галеры и ее одолела морская болезнь, как Филипп бранил ее, а она на него злилась. Такие письма мог бы писать своим дочерям всякий любящий родитель. Кстати, в Прадо есть очаровательный портрет одной из принцесс с той самой карлицей, Мадаленой Руис, совсем не похожей на пьяницу. Она больше походит на маленькую серьезную старушку-монашенку. Карлица держит на руках пару обезьянок, а принцесса в великолепном наряде стоит рядом, ласково положив руку на голову Мадалены.

Однажды Филипп послал дочерям маленькую шкатулку.

Некто дал мне на днях то, что заключено в этой шкатулке, сказав, что это сладкий лимон. По моему мнению, это на самом деле просто лимон, однако я решил послать его вам. Если это сладкий лимон, то я никогда не видел такого большого. Не знаю, прибудет ли он к вам в хорошем состоянии. Если да, то попробуйте его и дайте мне знать, когда будете писать, что это было, потому что я не могу поверить, что сладкий лимон может вырасти таким большим.

Маленький лимон, который лежит вместе с ним, только для заполнения коробки. Я также посылаю немного роз и цветов апельсина, чтобы вы могли посмотреть, каковы они здесь. Все это время ко мне приходили калабрийцы и приносили маленькие букеты то одних, то других цветов, и много дней это были фиалки. Нарциссов здесь нет. Если бы они были, я думаю, они цвели бы до сей поры, потому что все остальное уже отцвело.

Это Филипп, неизвестный истории: человек, любящий цветы, приходящий в восторг от песен соловьев, услышанных из окна, волнующийся за благополучие детей и с восторгом узнающий, что у маленького Филиппа прорезался первый зуб. Но ничто не в силах рассеять традиционную картину ханжи из Эскориала, не доверявшего никому, никогда не открывавшего своих истинных чувств, человека, чья жизнь управлялась убеждением, что он избран Богом сражаться — вместе с папой или без него — за католическую веру. Его невозмутимость была легендой даже при жизни. Французский посол однажды заметил представителю Венеции: «Король таков, что не шевельнется и не выкажет ни малейшего изменения в лице, даже если в его бриджи заберется кошка!»

Последние записи о Филиппе, сделанные доктором Мараньоном, не сообщают ничего, что могло бы развеять мрачную картину. Как и все прочие короли и принцы того времени, он узаконил государственные убийства, известные как «эзекуции», и это должно удивлять и шокировать нас меньше, чем шокировало предыдущие поколения, поскольку в наше время те же самые убийства называли «зачистками» или «устранением». Мне кажется невозможным представить Филиппа ужасным людоедом, как делали

многие. Я действительно верю, что некоторые люди заходят сюда, как заходили бы в «комнату ужасов», заранее готовые к шоку. По-моему, наш век — с его охотами на ведьм, его вездесущей шайкой шпионов, его театральностью, пропагандой и разделением мира на два лагеря — должен лучше понимать эпоху и проблемы Филиппа II, в отличие от большинства поколений.

Вы выходите из комнаты, где Филипп сидел за письменным столом и правил миром с помощью листов бумаги, в маленький альков, где он умер, как христианский мученик. Это темная ниша, ровно такого размера, чтобы вместить кровать под балдахином. Лежа в кровати, Филипп мог смотреть в окно и наблюдать, как священник совершает богослужение в высоком алтаре церкви напротив. В этом, как и во многом другом, он был копией своего отца. Окна императорских покоев в Юсте точно так же выходили на алтарь церкви.

Когда Филипп понял, что умирает, он возблагодарил Господа и приказал, чтобы череп с золотой короной на нем поместили там, где он сможет его видеть. Хотя король испытывал тяжелейшие телесные муки и оставался в таком состоянии более месяца, он продолжал заботиться о своей смерти и похоронах, отдавая распоряжения и даже определяя, сколько потребуется черной ткани для драпировок церкви. Привычка все делать самому оставалась с ним до самого конца. Ему уже приготовили наружный гроб — из древесины разбитого старого галеона, именовавшегося «Cinco Chagas», или «Пять ран», который сражался с турками. Корабельное дерево — андира из Южной Америки — настолько обветрилось и просолилось, что стало твердым, как сталь. Наконец сделали и внутренний, свинцовый гроб: его принесли в Эскориал и поставили так, чтобы король мог его видеть.

Боль и унижительное положение затянулись и были таковы, что Филипп не мог даже двигаться и выносить вес простыни на своем изъязвленном теле. Иногда монахи читали ему всю ночь, пока в церкви шла длительная служба. Поскольку боли и лихорадка усиливались, короля причастили и несколькими днями позже, когда смерть уже казалась совсем близкой, соборовали. С удивлением читаешь, что Филипп, поклонник литургии и человек, прошедший жизнь с мыслью о грядущей смерти, ничего не знал о соборовании, никогда не видел этого таинства и не читал о ритуале. Теперь короля познакомили с ритуалом и тщательно отрепетировали последние обряды, чтобы умирающий знал, чего ожидать. Эта унылая и болезненная церемония была проведена, по просьбе Филиппа, в присутствии его сына.

— Посмотри на меня, — сказал умирающий король. — Это то, к чему мир и все королевства приходят в конце концов. Однажды и ты будешь лежать там, где лежу я.

Его мучения почти вышли за пределы человеческого терпения. Иногда он улыбался сквозь боль и молился или читал сорок второй псалом. Наконец, придя в сознание, Филипп попросил старое деревянное распятие, которое император Карл держал на смертном ложе, и коробку свечей из храма Святой Девы Монтсерратской, которые он хранил для этого момента. Архиепископ Толедский помогал ему держать зажженную свечу, в другой руке король сжимал отцовское распятие. Он умер, когда монахи в большой церкви за его окном готовили алтарь к заутрене.

Библиотека с ее сводчатым, расписанным фресками потолком, великолепна, как Ватиканская галерея. Я думаю, самое впечатляющее в мире проклятие, касающееся книг, написано здесь на двери: оно угрожает всякому, кто возьмет книгу без разрешения, отлучением от церкви, причем самим папой римским! Странно, сколько страсти всегда вкладывалось в книжные проклятия — от поношений на монастырских манускриптах до школьных «эту книгу не красть», заканчивающихся мрачным обещанием: «иначе Бог свергнет тебя в бездну». Филипп II не любил отдавать свои книги и ненавидел, когда они все же покидали библиотеку, но не потому что так страстно любил книги, а потому что их коллекционировал. Очевидно, он собирал книги потому, что для короля это было доступное удовольствие, но он любил скупать библиотеки по дешевке. Хотя Филипп колебался, тратить ли деньги на редкий или важный том, но легко покупал роскошные переплеты и дорогие ноты: ему нравилось видеть те стоящими на пюпитрах.

Книги в библиотеке расставлены в соответствии с заголовками, корешком к стене, золотым обрезом наружу — методом, как мне рассказали, который существовал с тех пор, как был построен Эскориал. Создается эффект, будто стена расчерчена золотыми полосами. Но такая система обескуражила бы большинство людей, поскольку не только невозможно найти книгу без списка и пронумерованного места на полках, но также книгу легко мог вытащить вор, заменив ее другим томом с золотым обрезом, и кражу было бы нелегко обнаружить. Хотя книги прекрасно выглядят, но лицом к стене они кажутся мне опальными.

Много прекрасных вещей можно увидеть в футлярах в центре комнаты: молитвенники Филиппа II и Карла V, несколько прекрасно изукрашенных манускриптов и,

самое интересное, оригинальные рукописи некоторых работ святой Терезы, а также маленький деревянный ящичек, содержащий ее письменный прибор.

В баптистерии я увидел знаменитого «Святого Маврикия» Эль Греко, которого искусствовед Юлиус Майер-Грэфе счел «прекраснейшей картиной человечества». Его книга была первой популярной положительной оценкой этого художника и помогла основать культ, который теперь достиг столь значительных размеров. Майер-Грэфе приехал в Испанию изучать Веласкеса, но вместо этого влюбился в Эль Греко, и его книга — захватывающее описание художественного обращения. Он сказал об Эль Греко поразительную фразу. Описывая смешанные чувства человека, первый раз видящего работу Эль Греко, он заметил: «Картина стояла там, как призрак, которого вы пытаетесь убить из пистолета». Считается, что Эль Греко отправился в Испанию в надежде получить работу в Эскориале, но Филиппу II не было дела до его художеств. Странно, что Филипп, размышлявший о святых, мучениках и путях духа, тем не менее отверг Эль Греко: ведь ни один другой художник не был так настроен на душу Испании в ту пору великих мистиков.

По обеим сторонам высокого алтаря — арки, и под каждой стоит группа из коленопреклоненных фигур, выглядящих столь живыми, что в первый момент, когда видишь их, невольно замираешь, чтобы не помешать молитве. Одна группа изображает Карла V в императорской мантии, с женой, дочерьми и сестрами; вторая — Филиппа II с тремя из четырех его жен. Отсутствующая жена — Мария Английская. Я спрашивал, почему ее нет, но никто не смог мне ответить.

Когда леди Холленд посетила эту церковь в 1804 году, она увидела двух монахов, молящихся на клиросе, и ей сказали, что непрерывная молитва за душу

Филиппа соблюдалась с его смерти — за двести лет до визита леди Холленд; монахи сменялись каждые шесть часов, днем и ночью.

§ 5

Мы спустились по мраморным ступеням в королевскую усыпальницу и вошли в восьмиугольную подземную часовню, облицованную черным мрамором и украшенную пилястрами с позолоченными капителями. Две американских монашки перекрестились, угрюмый священник выглядел еще более мрачно, чем раньше, а остальные уныло переглядывались, весьма шокированные видом лежащих на полках массивных мраморных саркофагов с останками королей и королев Испании.

Усыпальница сооружена под алтарем церкви, так что, когда священник служит мессу, он делает это непосредственно над мертвыми монархами. Они лежат ярусами, один над другим, в мраморном величии своего последнего двора.

Здесь нет только трех королей со времен Карла V. Это Филипп V, первый из французских Бурбонов, который терпеть не мог Эскориал с его королевской усыпальницей и был похоронен близ Сеговии; его сын Фердинанд VI, погребенный в Мадриде; и Альфонсо XIII, покоящийся в Риме. Маленький гид постучал по пустому саркофагу и сказал, что тот ожидает следующего величества. Затем прибавил в сторонку, что перед революцией, отправившей дона Альфонсо в изгнание, король часто приезжал на машине в Эскориал и молился в этом ужасном месте. Кто бы мог ожидать такого от этого жизнерадостного человека, казавшегося веселым и беззаботным, как Стюарт, который оставил по себе столько анекдотов и *bon*

mots^[5], разошедшихся по гостиницам и скаковым клубам Лазурного берега?

Да, все короли здесь; мы прилежно их пересчитали. Император Карл V, его сын Филипп II и Филиппов неспособный и недостойный отпрыск Филипп III, бледный Филипп IV с закрученными кверху усами, а затем несчастный слабоумный Карл II, на котором линия Габсбургов прервалась. Затем мы начали считать Бурбонов. Когда читали имена Карла III, Карла IV и Фердинанда VII, воспоминания о Гойе наполнили усыпальницу, и мне показалось, что я вижу мужчин верхом на гарцующих лошадях или стоящих важно, с лентой ордена через атласный камзол.

Любопытно, что испанские правила благопристойности соблюдаются в расположении королей по одну сторону гробницы, а королев — по другую, однако сюда допускались только те женщины, которые произвели на свет наследников трона. Такова была их последняя награда. Изабелла II, умершая в 1904 году, похоронена среди королей, потому что она была правящей королевой, а ее муж, всего лишь принц-консорт, остался за дверями.

Эта внушающая трепет усыпальница властвовала над умами испанских королей, начиная со времени Филиппа IV, который создал обычай удаляться сюда и молиться около своей собственной будущей могилы. Этот меланхолический король — нередко встречающаяся смесь распущенности и благочестия — также совершал в этой гробнице разные странные действия. В одном случае он приказал открыть гроб своего предшественника, императора Карла, чтобы посмотреть на него, и описал увиденное монахине, сестре Марии из Агреды, которая была его наперсницей:

Я видел труп императора, чье тело, хотя он был мертв девяносто шесть лет, все еще совершенно; и по этому можно видеть, сколь щедро Бог отплатил ему за его усилия на благо веры, пока он жил. Это очень помогло мне, особенно после того, как я узрел место, где мне суждено лежать, когда Бог приберет меня. Я молился Ему не позволить мне забыть то, что я там увидел.

Придворные, обнаружив по прошествии двух часов, что король все еще отсутствует, на цыпочках спускались в пантеон и видели его коленопреклоненным в молитве на мраморном полу перед собственным саркофагом, с лицом, залитым слезами.

Более ужасным и смертоносным было прибытие в Эскориал слабоумного сына Филиппа, Карла II, который в тридцать девять лет — в год смерти — приехал искать покоя и утешения у духов предков. Последний из Габсбургов был результатом долгой линии практически инцестуозных браков. Его убогое правление омрачили интриги Франции и Австрии, притязавших на испанскую корону. Умственное состояние несчастного правителя усугублялось предположением, что он околдован, — одним из главных изобретателей этого слуха был его духовник, и все ужасы ковыляния Карла по жизни обрели кульминацию в королевской усыпальнице, где он настоял на открывании гробов своих предшественников. Он упал в обморок при виде тела некогда прекрасной Марии-Луизы, жены его юности; пообещав вскоре к ней присоединиться, безумный король взобрался вверх по мраморным ступеням, чтобы растянуть мрак и меланхолию еще на несколько месяцев.

Все мы были несколько подавлены этим последним аудиенц-залом Габсбургов и Бурбонов. Наверху, где солнце бросало в окна косые лучи, мы слышали их часы, продолжавшие тикать, видели гобелены, на фоне которых они двигались и жили, камин, к которым они подходили, чтобы согреться, когда на Сьерре лежал снег. Мы также видели их в Прадо; они были для нас реальными, мы могли бы узнать их на улице. Было проще поверить в них в Прадо, чем в этой роскошной усыпальнице, где мрамор и яшма скрывали от глаз прах мертвых.

Как истинный испанец, маленький гид не собирался позволять нам избежать последнего свидетельства смертности. Когда мы поднимались по ступенькам вслед за ним, он остановился у решетки слева и постучал по ней пальцем. «Это гниловальня, — сказал он. — По-испански мы называем ее *pudridero*^[6]. Здесь королевские тела оставляют на десять — двенадцать лет... — Затем он отвернулся и добавил шепотом: — Мария-Кристина все еще здесь».

§ 6

Надеясь, что наши тяжкие испытания окончились, восстановив душевное спокойствие и полагая, что скоро будем сидеть в отеле, мы с огорчением обнаружили — наши странствия среди мертвого королевского величия только начались. Первая лестничная площадка вела вниз, к усыпальницам, которые оказались чуть веселее на вид. Мрамор здесь белый, и художникам позволили поупражнять свою могильную фантазию. После однообразного великолепия и мрачности королевского мавзолея белый ангел в слезах или поникшая аллегорическая фигура Гора успокаивают нервы. Те королевы Испании, которые потерпели неудачу в

исполнении династического долга или произвели на свет только дочерей, лежат здесь вместе с принцами и принцессами, коим несть числа. За ними следует многочисленное сборище внебрачных королевских сыновей и дочерей, известных как «Испанские бастарды».

В нише, в одиночестве, мы обнаружили одного из красивейших мужчин своего времени, незаконнорожденного брата Филиппа II, дон Хуана Австрийского. Его тонкое лицо, благородный лоб, прямой нос изваяны из мрамора цвета живого тела, борода касается маленького плоеного жесткого воротника, и этот красавец лежит, словно во сне — в полном доспехе, с мечом между сложенными на груди руками. Когда мы шли гуськом мимо, я услышал, как одна женщина прошептала другой: «Какой мужчина!» Я нашел любопытным, что лицо, притягивавшее огромное число женщин в свое время, до сих пор может привлечь женский взгляд и вызвать комплимент, который дон Хуан несомненно бы оценил. Гид не рассказал нам о нем ни слова и поспешно повел прочь, и я услышал, как люди перешептываются и спрашивают друг друга, как он умер и кто была его мать.

Она была немкой, дочерью купца, и звали ее Барбара Бломберг. Карл V встретил ее, когда был в немецком Ратисбоне. Император не слишком гордился этой связью и забрал ребенка, отослал в Испанию, где мальчика тайно воспитывал его любимый камердинер Кихада. Юный Жером, как его тогда называли, воспитывался как деревенский паренек; он разорял птичьи гнезда и обворовывал сады с другими мальчишками, и никто, кроме Кихады, не знал о его происхождении до самой смерти императора. В пользу Филиппа II говорит тот факт, что, едва узнав о существовании кровного брата — между ними было восемнадцать лет разницы, — он тут же назначил

встречу и с удовольствием увидел красивого паренька, белокурого, как и он сам, с прекрасным стройным телом, в противоположность его собственному невезучему наследнику дону Карлосу. Филипп рассказал мальчику, кто он такой, взял его ко двору и дал ему содержание, соответствующее рангу. Отныне Жером стал доном Хуаном Австрийским.

Дон Хуан вырос одним из красивейших мужчин Европы — и самым обожаемым; он был веселым и беспечным, большим дамским угодником и храбрым удачливым солдатом. Примесь простолюдинской крови пригасила габсбургскую меланхолию, которая тем не менее все же таилась под улыбкой. «Некоторые из его писем к единокровной сестре, Маргарите Пармской, касающиеся амуров, кажется, просят аккомпанемента: “La Donna e Mobile”», — замечает доктор Мараньон. Великий момент в жизни дона Хуана наступил, когда он в возрасте двадцати шести лет повел объединенный флот, собранный папой, Испанией и Венецией, против турок. Когда галеры проходили мимо причала в Мессине, каждый корабль благословлял папский нунций в полном облачении. Во флоте было двести военных галер и шесть венецианских галеасов, дредноутов того времени. Папа римский прислал кусочки Истинного Креста, и на каждом корабле была священная реликвия. Флагман дона Хуана «Реаль» нес голубое знамя Пресвятой Девы Гуадалупской, а штандарт Католической лиги, который благословил сам папа, готовился расправиться с началом сражения.

Неделями флот курсировал среди греческих островов, пока наконец в воскресенье 7 октября 1571 года на горизонте не показался турецкий флот — в заливе Патраикос близ Лепанто. Турки собрали огромные силы, и некоторые христианские командиры предпочли бы проявить осторожность, но не таков был дон Хуан. Он решил дать бой. Турок заметили перед

полуднем, когда солнце светило им в глаза: их галеры медленно шли против легкого встречного ветра строем в форме огромного полумесяца или ятагана, тоненькие вымпелы трепетали, весла вздымались и опадали, солнце сверкало на меди и стали. Перейдя на легкую бригантину, дон Хуан прошел вдоль линий своего флота, чтобы подбодрить людей и поднять боевой дух. Предвосхищая другого моряка в отдаленном будущем (или Нельсон впоследствии вспомнил его слова?), он воскликнул: «Умрете ли вы или победите, исполняйте свой долг — и славное бессмертие вам гарантировано!»

Вернувшись на свой флагман в центре боевого порядка, растянувшегося на три мили — корабли стояли борт о борт, — дон Хуан наблюдал за приближением врага. Он выслал вперед большие галеасы, чтобы смять турецкий строй бортовым залпом, и их пушки ударили первыми. Когда турки подошли на расстояние окрика, с их кораблей прогремел леденящий кровь боевой клич, но христианский флот двигался в молчании, поскольку каждый офицер и матрос преклонил колена, когда знамя папы с изображением Распятия Христова взлетело на грот-мачте «Реаля». Монахи и члены орденов, шедшие на каждом корабле, отпустили грехи, и люди поднялись и стали ждать боя. Пока флоты сближались, некий солдат на генуэзской галере «Маркиза» вскочил с больничной койки и занял место на палубе. Его звали Мигель Сервантес, и хотя ему предстояло потерять левую руку еще до заката, правую он вынесет из сражения целой и невредимой — ею он потом напишет «Дон Кихота». Те, кто случайно взглянул на флагман, мерно двигавшийся вперед — папское знамя над ним развевалось на ветру, словно ему не терпелось встретиться с неверными, — видели, как на орудийной платформе дон Хуан Австрийский в костюме золотого шитья танцует гальярду с двумя офицерами под музыку волюнок.

На следующие три часа дым укрыл море. Крестьяне в горах за Патраикосом прислушивались к грому орудий. Когда дым рассеялся, турецкий флот был разбит. Только сорок кораблей спаслось бегством: остальные горели, скрылись под волнами или беспомощно болтались на воде. Такой была битва при Лепанто, одна из самых убедительных морских побед в истории. Легенды гласят, что, когда шло сражение, папа Пий V прервал своего казначея, обсуждавшего с ним финансовые вопросы, и, открыв окно, посмотрел в изумлении на небо. Затем, повернувшись, с сияющим лицом сказал: «Сейчас не время для дел, но время возносить хвалы Иисусу Христу, ибо наш флот только что победил». И поспешил в свою личную часовню. Новости дошли до Рима двумя неделями позже.

Великолепному юному победителю битвы при Лепанто оставалось жить всего шесть лет. Казалось, весь мир лежит у его ног. Он был моложе, чем Александр Великий во время его азиатских завоеваний; и папа римский, безгранично восхищавшийся юным полководцем, хлопотал, чтобы помочь ему с королевством и женой. Но без согласия Филиппа не могло быть сделано ничего. Может быть, Филипп завидовал сводному брату — так или иначе, методично и неумолимо он разрушал одну мечту дона Хуана за другой из своего кабинета в Эскориале. Самым романтическим из этих мечтаний была высадка испанской армии в Англии из Нидерландов, спасение Марии, королевы Шотландской, из тюрьмы, марш на Лондон, где Елизавета будет свергнута с престола, — а потом свадьба дона Хуана и Марии Стюарт и их коронация как короля и королевы английских! Донкихотские мечты! План получил одобрение в Ватикане, но ни малейшего — в Эскориале.

Вместо этого «последний рыцарь» оказался на самой неблагоприятной работе в испанских доминионах —

он стал генерал-губернатором Нидерландов. Два года он изнывал в лагерях и залах совета, а его просьбы о деньгах и поддержке в Эскориале аккуратно откладывались в папочку. Как-то осенью он заболел лихорадкой. Помощники на плечах отнесли его на ближайшую ферму, в пустовавшую голубятню, которую спешно вычистили и завесили гобеленами, чтобы превратить в больничную палату. Дону Хуану становилось все хуже, и в бреду он воображал себя на квартердеке своего флагмана при Лепанто. В одно мгновение прояснения ума он заметил своему духовнику, что не владел в этом мире ничем, даже горстью земли, и спросил: «Разве это не потому, отец, что мне следует желать обширных полей небесных?» Он вряд ли находился в сознании, когда принимал последние обряды, и, как духовник писал Филиппу, «выскользнул из наших рук почти незаметно, как птица, растаявшая в небе».

Ветераны рыдали, когда тело, одетое в доспех, с короной на светлых волосах и орденом Золотого руна на груди, пронесли через полки, стоявшие вдоль дороги в милю длиной, к Намюрскому собору. Шептались, что дона Хуана отравили, и убийцей называли его брата, но история признала Филиппа невиновным в этом преступлении. Когда Филипп услышал о желании брата быть похороненным в Эскориале, он послал приказ, чтобы тело перевезли в Испанию. Это было сделано шокирующим способом: тело разрезали натрое, поместили в три кожаные седельные сумки и так провезли контрабандой через Францию с партией возвращающихся испанцев. Некоторые историки предполагали, что это было необходимо, чтобы избежать расходов и трудностей торжественного перевоза королевского тела через Европу; но уж точно можно было найти корабль, чтобы привезти домой победителя битвы при Лепанто.

Наша экскурсия по гробницам завершилась. Мы с удовольствием поспешили в первоклассный отель и заказали кто шерри, кто сухой мартини. Все стали неестественно веселы и жизнерадостны: мы походили на группу паломников, вышедших из темного страшного леса. Маленькие монахини вытянули из священника куда больше английского, чем тот знал, и теперь он сидел, игнорируя их, с заткнутой за воротник салфеткой, энергично поглощая *entremeses*^[7]: барабульку, телятину, сыр и фрукты — с удовольствием человека, чье испытание наконец закончилось. К моему большому удивлению, мой нью-йоркский приятель получил огромное удовольствие от экскурсии и решил, что Эскориал был лучшим из всего увиденного им в Испании.

Потом мы пили кофе на террасе с видом на Эскориал и смотрели на серый, нерушимый дворец, что раскинулся внизу, вздымая к полуденному солнцу купол церкви и башни-перечницы.

§ 7

Испанцы отличаются чрезвычайной чистоплотностью и аккуратностью в отношении одежды, манер поведения и знаменитой испанской вежливости. Хотя не ожидаешь, что их аккуратность и чистоплотность могут распространяться на уличные рынки, но это так. В большинстве стран рынки — шумный и грязный кавардак, где еда, как попало наваленная на лотках, продается под аккомпанемент воплей и ругани. Но в боковых улочках Мадрида прячутся самые чинные, красивые и благоустроенные рынки в мире. Они в своем роде идеальны: такие можно увидеть разве что в балете или в музыкальной комедии.

Я частенько посещал ранним утром один такой рынок — он расположен между улицей Веласкеса и улицей Гойи, маленький, крытый, с запирающимися лотками по четырем сторонам и рядом прилавков по центру. Домоправительницы с корзинами, слуги со списками покупок или даже сама *señora* проходят, выбирая еду на день, вдоль прилавков, чьи владельцы словно соревнуются друг с другом, кто сотворит самый привлекательный натюрморт. Никогда и нигде я не видел рыбы, фруктов, овощей и мяса, выставленных с таким тонким ощущением прелести обычных вещей. Всякий раз, как я посещал это место, меня заново поражала красота картины, менявшей цвета в соответствии с гастрономическими сезонами года. Даже прилавки мясников, которые всегда и везде выглядят сильным аргументом в пользу вегетарианства, здесь не оскорбляли взор. Никакого запятнанного кровью мужика, приближающегося с ножом к подвешенной туше; почти веришь, что ягнячья ножка выросла на дереве.

Это рыночное искусство, должно быть, характерно только для Испании, поскольку я нигде больше не встречал такого, а я всегда заглядываю на рынки в незнакомых городах. Фрукты выглядели столь же аппетитными, как холодный буфет в ресторане. Черешня, чей сезон тогда выдался, была выставлена в глубоких плетеных корзинках: белая, красная — все по размеру, черенки удалены, а сами ягоды словно натерты до блеска. На лотках лежала дикая земляника из Аранхуэса, и здесь я впервые увидел и купил несколько тех восхитительных, хотя и странно выглядящих плоских маленьких персиков, называемых *paraiguaos*^[8] которые выращивают близ Мадрида. Для меня было настоящим откровением увидеть, насколько красиво и интересно могут выглядеть овощи,

разложенные с чувством формы и цвета. Ярко-зеленые перцы и более бледная спаржа с пурпурными стеблями, перчики-чили, красные, словно мундир гвардейца, и бронзовые, металлически поблескивающие баклажаны с помощью более простой капусты, лука-порея и листьев шпината складывались в композицию, роскошную, как цветочная клумба.

Рыбные прилавки были столь же красочно великолепны и столь же превосходно аранжированы, как и фруктовые; и в самом деле, плоды садов и моря состязались в разнообразии цветов. Рыба располагалась на ложе из виноградных листьев в плоских плетеных поддонах. Часто встречалась розовая окантовка или бордюр из креветок, за которым следовало серебряное кольцо сардин, переходящее в холм барабулек, хека и трески, увенчанный башней из лангустов. Впечатление от цвета и композиции такой картины напоминает те сложные кондитерские изделия, известные нашим предкам как «хрупкости», созданные для улады глаза, а не желудка, которые появлялись на столе в конце средневекового пира.

Испанцы, должно быть, одни из величайших во всем мире любителей моллюсков, и в этой стране наилучшим образом организована быстрая доставка рыбы с побережья во внутренние земли. Мадрид, столица, далекая от моря, снабжается свежей рыбой ежедневно, и ночная гонка грузовиков со льдом с побережья почти считается государственной службой — возможно, она куда более популярна. Даже в разгар лета в Мадриде едят моллюсков, выловленных всего за день до того в каком-нибудь прибрежном городке. Забавно видеть иностранца, аккуратно извлекающего и откладывающего венерку или мидию из своей *paella* в полной уверенности, что небезопасно есть моллюсков так далеко от моря.

Бакалейные лавки в Испании частенько выглядят как средневековое хранилище пряностей, но в основном замечательны своим прелестным именем: *ultramarinos*. Какое слово! И насколько банально по сравнению с ним наше! Когда человек читает слово «ultramarinos» над маленькой лавкой, перед его взором словно возникают корабли, идущие к зеленым островам, где перец и гвоздику привозят в изумрудную бухту. Быть бакалейщиком и владеть магазинчиком под вывеской «Ultramarinos» в Мадригал-де-лас-Альтас-Торрес — «Мадригале Высоких Башен», городке близ Мадрида, — значит жить в самом сердце поэзии языка. (Всего лишь небольшое разочарование постигло меня, когда я узнал от профессора Тренда, что «madrigal» здесь означает не любовную песнь, а заросли кустарника и вереска!)

Разглядывая в изумлении витрину кондитерского магазина в Мадриде, вы можете задаться вопросом, многие ли из восточных сладостей, выставленных здесь, являются наследием арабской Испании. Существует византийский пояс кухни, в который, полагаю, следует включить и Испанию: он тянется от Стамбула на юг через Малую Азию, где сходит на нет в харчевнях Алеппо и Дамаска, и на запад — через Македонию, Грецию и Балканы. Медовые сласти, какими султан потчевал своих любимцев, отнюдь не турецкие и не арабские (эти народы не изобрели даже засахаренного миндаля) — но греческие либо византийские. Я видел витрины кондитерских в Мадриде, которые, я уверен, наверняка были копиями лавок сладостей Константинополя времен Палеологов.

Я предполагаю, что арабы принесли византийские деликатесы с собой, когда пришли в Испанию, и любовь к сладостям с тех пор не угасает. Монастырь — прекрасное хранилище рецептов, и любопытно узнать, что некоторые особые виды нуги или марципана до сих пор делают и продают монахи. Но кто покупает

ежедневные пополнения сладостей: медовые коврижки, засахаренные вишни, вареные в сиропе апельсины, сливы в сахаре, маленькие пирожные, истекающие кремом, нугу и марципан? На витринах Мадрида ежедневно появляется огромное количество всего — достаточно, чтобы раскормить сотню гаремов.

Я обнаружил, что приобретаю коварную испанскую привычку есть креветки по утрам. В деловой части Мадрида я нашел очаровательное кафе, где разноцветные зонтики выставлены в саду. Маленькие трамвайчики, бренча, катились мимо с одной стороны, а с другой высилось похожее на собор главное почтовое отделение Мадрида, иногда называемое Богоматерью коммуникаций. Мало существует занятий, более восхитительных, чем без каких-либо дел в незнакомом городе и с деньгами в кармане сидеть и наблюдать за людьми, размышлять о них, пока ваши туфли обретают блеск под руками юного Мурильо. Испанцы могут так сидеть часами, просто разговаривая, или — в одиночестве — ничего не делая, с выключенным мотором мозга, в приятной расслабленности. Эта неподвижность — чудесный дар, как способность собак и кошек засыпать в любое время.

Я осознал, насколько на самом деле мал Мадрид, когда начал снова и снова замечать одних и тех же людей. Сидя в этом кафе, я видел двух маленьких монахинь-болтушек, проходивших мимо, еще более оживленных и восторженных, чем при нашей первой встрече. В этот раз я с радостью отметил, что им дали в гиды красивого и любезного священника, который улыбался с высоты своего роста с выражением благодушной галантности.

Я часто приходил в Прадо, чтобы посмотреть на королей и королев, о которых читал: Филипп II и его современники, написанные Тицианом и Коэльо; Филипп IV Веласкеса; Бурбоны кисти Гойи.

Я считаю портрет Карла V работы Тициана одной из величайших когда-либо написанных картин. Мы видим императора в доспехах, которые он носил в битве при Мюльберге. Художник не пытался скрыть исходящее от Карла ощущение тяжелой болезни. Император так страдал от приступа подагры в утро битвы, что враги называли его Карлом Полумертвым; и все же этот инвалид нашел в себе достаточно сил, чтобы взять оружие и вести свои войска к победе и даже форсировать Эльбу. Тициану было семьдесят, когда он писал этот шедевр, и он все еще чувствовал себя молодым, а его натурщик в свои сорок семь был стар и изнурен. Какая картина! Всадник выезжает из темного леса под располосованным облаками угрожающим небом, сжимая копье. Его лицо под стальным шлемом старо и устало, и мы, знающие его историю, понимаем, что он жаждет удалиться от мира и примириться с Господом.

Следовало бы написать книгу о великих инвалидах, мужчинах и женщинах, чей дух побеждал тело, и такая книга не может считаться полной без императора Карла V. Говорят, что перед битвой этот храбрый воин ужасно дрожал, пока застегивали доспехи. Зритель смотрит в это лицо, прозревая в императоре теплую и человеческую личность, от которой ничего не унаследовал Филипп, зато — непонятным и удивительным образом, как всегда случается — в полной мере приобрел дон Хуан Австрийский.

Филипп II в молодости — пожалуй, излишне заносчивый и самодовольный — все же обладал приятной внешностью, благородной фигурой и стройными ногами. Можно легко поверить в легенду,

что Мария Тюдор влюбилась в его портрет, написанный Тицианом. Кроме того, в этом возрасте в Филиппе присутствовало нечто щегольское, какой-то блеск в глазах — несомненно, объясняющий колебания Марии относительно того, выходить ли ей замуж за человека столь опасных свойств, да еще и на одиннадцать лет младше. Бедной женщине пришлось пройти через тяжелейшие муки, прежде чем те разрешились странной и трогательной сценой, когда императорский посол, уверявший Марию снова и снова, что Филипп — хороший молодой человек и не станет обманывать ее с другими женщинами, был внезапно вызван ночью в апартаменты королевы. Там он обнаружил Марию с покрасневшими от слез глазами в обществе одной только старой няньки — и Святые дары, лежащие на алтаре. Королева сказала, что, испросив Божьей помощи, решила выйти замуж за Филиппа и теперь клянется перед святыней стать ему доброй и преданной женой. Затем она, посол и нянька преклонили колена и помолились, после чего посол поспешил отправить к Карлу V гонцов с новостями.

Чудесной компанией для тициановского портрета Филиппа II является известный портрет Марии авторства Моро. Симпатии зрителя сразу обращаются к ней. Она никогда не была хорошенькой, теперь ее молодость увяла, лицо застыло в маске чопорности и упрямства. Все годы пренебрежения и разочарований, когда они с матерью, Екатериной Арагонской, были оттеснены на задний план Анной Болейн, кажется, видны в этом лице. Внешне она королева в роскошной парче, но в сердце — запуганная, обиженная и озлобленная старая дева, чьи шансы на счастье всегда приносились в жертву политике. Испанцы, с давних времен восхищавшиеся белокожими женщинами, прославляли кожу Марии того молочного оттенка, который обычно сочетается с рыжими волосами и

веснушками; но больше хвалить в ней было нечего. Почти отсутствующие брови напоминают о ее отце, Генрихе VIII, а рыжевато-каштановые волосы, разделенные посередине пробором, выглядят безжизненными. Королева смотрит на зрителя с бесстрашной прямоотой близорукости: ее зрение было столь слабым, что ей приходилось держать книгу в нескольких дюймах от лица. И разве хоть одна женщина держала розу более неохотно: кончиками пальцев за стебель, словно цветок может укусить? (Может, это протестантская роза?) Зритель смотрит на Марию Тюдор с ощущением, что встречал ее прежде. Разве это не чопорная и несколько пугающая тетушка вашей юности, чья жизнь разбита неудачным романом или эгоистичной матерью, — такие дамы средних лет распространяют свой диктат на многочисленных крестников, кошек, собак, канареек и филантропические общества.

Возвратимся к портрету Филиппа. Теперь мы можем посочувствовать этому молодому мужчине двадцати семи лет, который ради долга и католической веры женился на малопривлекательной, почти сорокалетней женщине — к тому же она была ему троюродной сестрой. Ничто не делает Филиппу большей чести, чем обращение с Марией в период их короткого брака. Никогда, ни на один миг, ни словом, ни взглядом он не дал жене почувствовать, что брак был для него мучением. Она не подозревала о его словах, сказанных наедине другу: «Я должен испить эту чашу до дна». Наоборот, Филипп дал Марии, в первый и единственный раз за всю ее жизнь, иллюзию любви, теплоты и безопасности. Глядя на этого мрачного молодого человека, чье лицо отражает привычную меланхолию, забавно вспоминать, что отец и испанский посол убеждали его в необходимости внешней веселости и самоуверенности среди англичан, и он все время

заставлял себя улыбаться, похлопывать людей по спине, старался казаться славным парнем. Однажды он даже явился к своим удивленным грандам после ужина и попросил их присоединиться к нему за кружечкой пива.

Так мы проходим от одной картины к другой и смотрим, как лица Габсбургов становятся все бледнее и своеобразнее с каждым родственным браком, пока не оказываемся перед Филиппом VI и его унылым затравленным взглядом. Написанные Веласкесом изображения упадочного испанского двора столь же яркие и живые, как и словесные картины Уайтхолла и Карла II, созданные в то же самое время Ивлином и Пипсом. За все время карьеры придворного художника Веласкес написал не менее сорока портретов своего патрона, больше одного в год, а также портреты королей, принцев, принцесс, дворян и — самые, пожалуй, привлекательные — придворных карликов и шутов. Поразительное переживание: войти в маленькую комнату, в которой «Las Meninas» — «Менины» — выставлены в одиночестве. Вы видите зеркало, в котором отражается картина. Фигуры кажутся живыми. Вы ожидаете, что они вот-вот шевельнутся. У вас появляется ощущение, что вы подглядываете в мастерской художника в старом дворце в тот момент, когда он пишет короля и королеву. Чтобы развлечь их величества, пока они стоят неподвижно, сюда привели их маленькую дочь, инфанту Маргариту; она стоит, маленькая, в тугом белом атласном корсаже и юбке с фижмами, светлые волосы заколоты сбоку. Фрейлина опускается на колени, предлагая принцессе чашку на золотом подносе, а вторая фрейлина, с другой стороны от девочки, делает реверанс. Еще на картине присутствуют два довольно унылых карлика и мастиф, задремавший в тишине студии. Веласкес стоит перед одним из огромных холстов, голова слегка наклонена,

кисть застыла в воздухе, мазок только что положен — художник словно изучает какую-то подробность внешности королевской четы. Подобную сцену, должно быть, сотни раз видели придворные сановники. Это мгновение, украденное у вечности.

Автопортрет Веласкеса на этой картине — одна из величайших картин Прадо. Мы видим человека глубоких чувств и сильного характера и можем легко вообразить, как слабый король любил общество своего придворного художника и почему сделал его кавалером ордена Святого Яго — неслыханный почет для простого живописца. Веласкес прожил одну из самых спокойных жизней в истории искусства. Он с радостью проводил дни в студии, экспериментируя со светом и объемом, — преданный жене, довольный оплатой и поглощенный работой. Немного смешно думать об этом великом человеке как о королевском квартирмейстере, в чьи обязанности входило надзирать за украшением дворца по торжественным случаям, но это была государственная должность определенного значения. Именно во время работы Веласкес подхватил лихорадку, оказавшуюся смертельной. Форд заметил, что «величайший художник Испании был принесен в жертву на алтаре драпировочного ремесла».

Мы переходим к очаровательной Изабелле де Бурбон, сестре Генриетты-Марии и первой жене Филиппа IV. Он преданно любил супругу, хотя ему никогда не удавалось хранить ей верность. Изабелла была матерью прелестного маленького мальчика — возможно, самого известного королевского отпрыска в живописи, дона Бальтазара Карлоса, который, наряженный маленьким генералом, с жезлом в ручке и пером на шляпе, гарцует на своем упитанном пони. Каким важным и торжественным он выглядит, восседая на этом «маленьком пони-дьяволе», подарке дяди, императора Фердинанда! Родители обожали своего

юного принца, но, увы, ему не суждено было унаследовать корону Габсбургов: он умер в возрасте двадцати пяти лет — вероятно, от менингита.

Причиной всех своих жизненных испытаний Филипп IV считал собственные грехи. Именно бледное лицо Филиппа, обрамленное жидкими светлыми волосами, запоминает зритель: уже не гладкое — того юного благородного донна, который принимал принца Уэльского, в Мадриде, но разочарованное и слабовольное — лицо сластолюбивого, подавленного чувством вины мистика. Никогда не бывало более странной переписки между монархом и одним из его подданных, чем переписка Филиппа IV и Марии, монахини из Агреды, которой он исповедовался в своих ошибках и рассказывал обо всех искушениях. Эти совершенно неподобающие писания регулярно отправлялись в монастырь и вдохновляли ответные письма, в которых монахиня иногда корила короля за порочность и всегда старалась придать ему сил. Чрезвычайно удивительно представлять монарха, окруженного такой пышностью и церемониями, по торжественным случаям часами сидящего, как статуя, без тени улыбки или иного проявления человеческих чувств, но унижающегося перед этой скромной монахиней.

Затем мы переходим к странной Марианне Австрийской, второй жене Филиппа IV и к тому же его племяннице. В момент венчания ей было пятнадцать лет, а ему — сорок два. Веласкес так изобразил ее — в фантастическом парике с лентами цвета лосося и огромнейшей юбке с фижмами на обручах, — что в жестких маленьких глазках и плотно сжатых губах видна та сильная и опытная женщина, какой Марианна станет позднее. Монахиня писала Филиппу к свадьбе, умоляя «направить все внимание и добрую волю на королеву, не обращая взора к другим предметам,

странным и любопытным». И Филипп ненадолго подчинился монахине, но к тому времени в нем — отце тридцати, если не больше, незаконных детей — дурные привычки укоренились прочно, так что довольно скоро он снова начал плакаться о своих прегрешениях.

Мы подходим к последнему из Габсбургов, полоумному Карлу II, сыну Филиппа IV и его племянницы Марианны. Портреты, в которых художник явно изо всех сил старался быть милосердным, показывают лицо дегенерата: несимметричное, кривобокое, с длинным подбородком — уже не семейным признаком, а физическим уродством. Зубы Карла не смыкались, и ему приходилось заглатывать пищу, как собаке. Его умственное развитие было замедленным, и даже будучи почти взрослым, он часто бегал по дворцу, как маленький ребенок. Таков итог близкородственных браков, которыми славился дом Габсбургов.

Хотя считалось, что Карл не может иметь детей, ему и политике принесли в жертву веселую французскую принцессу, а после ее смерти юная немка поделила с ним трон и подчинила слабого короля — нетрудная задача. И на тридцать полных страха лет, пока Испания утопала в нищете из-за дурного правления, двор полубезумного Карла II превратился в паутину интриг, поскольку разнообразные силы строили планы на испанскую корону. Король плыл по жизни с колодой карт, парой карликов и свитой монахов; двое монахов обязательно ночевали в его покоях. Когда Карл наконец умер в возрасте тридцати девяти лет, он, говорят, выглядел как восьмидесятилетний старик. Его спальня была загромождена скелетами святых, руками, ногами и черепами в золотых и серебряных реликвариях, и тем не менее с упрямством полоумного он игнорировал проблему наследника. Говорят, решающее слово принадлежало примасу Испании, благоволившему французской партии: он пригрозил перепуганному

монарху, что если тот не назовет Филиппа, герцога Анжуйского, внука Людовика XIV, следующим королем, то умрет во грехе и отправится в ад. Потрясенный Карл продиктовал завещание и, когда оно было записано, разразился рыданиями и добавил своим корявым детским почерком: «Yo, el Rey» — «Я, король». Так Габсбурги, правившие Испанией со смерти Фердинанда и Изабеллы, передали скипетр дому Бурбонов.

Филипп V, первый французский Бурбон, принял в свои руки Испанию, словно серебряный канделябр, — а Европа получила Войну за испанское наследство. Теперь мы на верном пути к яркому атласному миру Гойи и семьи Бурбонов, почти столь же печальной и меланхоличной, как и Габсбурги. Мы движемся к Испании, имитирующей французские дворцы и водопады, перенимающей французские нравы и фасоны — а также к реакции в форме идеализации широко известных испанских типажей (*majo* и *maja*^[9]): закутанные в плащ или мантилью, они пребывают в блаженном неведении относительно существования Европы.

Все это выглядит ярко и весело в сочных сияющих красках великих художников — и целыми днями люди поднимают взор от каталогов, рассматривают фигуры прошлого и проходят мимо, не подозревая, что заглянули в глаза человеческой трагедии и краху.

Глава третья

Гобелены Пастраны

Гобелены Пастраны. — Принцесса Эволи и убийство Эскобедо. — Гойя. — Трагикомедия «земной троицы». — Дворцы Аранхуэса. — Земляника близ Тахо.

§ 1

Пастрана — старинный город примерно в сорока милях к востоку от Мадрида, известный прекраснейшими в Испании гобеленами; кроме того, именно здесь жила одноглазая принцесса Эволи, заточенная в собственном дворце по приказу Филиппа II. Дама была зловредной и болтливой — и слишком много знала об одном убийстве.

Однажды утром я решил прокатиться туда на машине и посмотреть, какова собой Пастрана; я покинул Мадрид в тот прохладный утренний час, который многие *madrilenos* проводят в постели. Женщины шли к мессе. Молочники развозили молоко в кувшинах Али-Бабы, свисающих по бокам мула или пони, а утренний воздух восхитительно благоухал только что испеченным хлебом. Дорога скоро вышла из города и нырнула в долину, к Алькала-де-Энарес. Я проехал казармы, где над главными воротами прочитал лозунг Франко: «*Todo por la Patria*» — «Все за родину»; перед моим взором быстро промелькнул плац и рекруты в рубашках. Элегантный молодой офицер в сапогах со шпорами и со шпагой на боку заставил мои мысли

обратиться к дням, столь далеким, что они могли бы принадлежать другому миру.

Дорога в Алькала-де-Энарес — не самая красивая в Испании. С обеих сторон видно только безлесое скалистое плоскогорье с намеком на далекие деревеньки. Несколько грузовиков промчались мимо меня, торопясь в Мадрид, попадались велосипедисты, а иногда человек верхом на муле или осле. Хотя последних мавров выдворили из Испании много веков назад, до наших дней сохранилась их привычка сидеть на самом крестце осла, так что ноги едва не волочатся по дороге. Время от времени эти *caballeros*, словно под влиянием некоего душевного порыва, сворачивают с шоссе и трусят себе по невыразительному ландшафту в мир, куда воображение иностранца не сможет последовать за ними. Они скрываются во впадинах рельефа, возникают снова, уменьшаясь по мере движения — возможно, стремясь к горстке каменных домов и церквушке: туда, где в воздухе висят запахи древесного дыма и жарящихся *churros*, где бродят куры, гуси и козы и ждут женщины с пронзительными темными глазами, не терпящие мужского сумасбродства.

Я приехал в старый университетский городок Алькала-де-Энарес, где учился дон Хуан Австрийский. Еще здесь родился Сервантес, а также одна из несчастных королей Англии, Екатерина Арагонская. Принцессы обычно рождаются во дворцах, но дети Изабеллы Кастильской появлялись на свет там, где их воевавшей с сарацинами матери случилось оказаться в соответствующий момент. Я увидел Сервантеса, стоящего в задумчивости на постаменте посреди главной площади, и проехал мимо, размышляя, что, подобно многим другим бессмертным, он бы с радостью пожертвовал грядущей славой ради звонкой монеты при жизни.

Столь внезапно, что я не мог понять, как это случилось, я обнаружил, что еду по богатым землям; весь окрестный пейзаж золотился от ячменя и пшеницы, а поля спускались к прекрасным зеленым долинам, где тополя обрамляли русла ручьев. Это было поразительно, как если бы я вдруг за какие-то полмили перенесся с высот Дартмура в одну из йоркширских долин. Сверившись с картой, я увидел, что еду по той местности, где многочисленные речушки вливаются в Тахо, на восемьдесят миль удалившуюся от своего истока и только начинающую долгий путь к Атлантике. Вода — главный источник жизни, что хорошо понимали римляне, а после них мавры. Там, где текут реки и выпадают дожди, раскидываются такие вот плодородные поля, волнующиеся под ветром, как золотые угодья, которые испанцы обрели столь далеко от дома; еще там водятся зайцы и куропатки, люди же выглядят не такими изможденными. Хотя было только начало июня, уже убирали урожай. Первым примеченным мною знаком стало появление десятка стожков сена, вереницей двигавшихся ко мне по узенькой тропинке; потом я разглядел, что под каждой грудой мелькают ослиные ноги, а последним шел маленький босоногий мальчик в соломенной шляпе и с палкой в руке. Проходя мимо меня, он не разинул рот, как деревенщина, и не сверкнул любопытным взглядом, но посмотрел так, словно я мог бы оказаться хоть святым, хоть замаскированным дьяволом, и, заразив сомнением меня самого, серьезно пожелал доброго дня.

Солнце уже пригревало, и марево закурилось над неровными полями пшеницы. Грунтовая дорога вела то вверх, то вниз — и повсюду открывались очаровательные виды. Я остановился посмотреть на ряды жнецов, движущихся по пшеничному полю с серпами в руках. Я видел, как султанчики колосьев кланяются жнецам и падают, когда те проходят, и

подумал — или со мной сыграло шутку воображение, — что земля, возделанная руками, как в Испании, вспаханная быками и сжатая серпом, выглядит лучше и в каком-то смысле удовлетвореннее и ухоженнее, чем земля, обрабатываемая тракторами. Но возможно, это все благоглупости и сентиментальность, а испанцы с радостью расстались бы со своим библейским подходом за несколько партий сельскохозяйственной машинерии.

Моим первым впечатлением от Пастраны стало великое столпотворение крыш, видневшееся на некотором расстоянии внизу: крыши встречались под всевозможными углами и на разных уровнях, крытые той длинной черепицей, которая принимает любой оттенок, от красного до черного, и обычна для стран, когда-то бывших частью Римской империи. Такую черепицу можно найти на юге Франции, по всей Италии, Греции и в Малой Азии — а когда обломки ее выкапывают в Сассексе, их осторожно моют, маркируют и выставляют в музеях. В центре города высилась старинная церковь, ее нефы и приделы венчала та же самая черепица, и пока я съезжал вниз, церковь будто вырастала, в конце концов ее башня с огромным колоколом обрисовалась на фоне неба. У подножия холма стояли старые ворота, через которые проталкивались сотни овец; арка ворот обрамляла вереницу каменных домов — на каждом железный балкончик, — клонящихся друг к другу через мощеную улицу. Маленький рынок с одной стороны окаймляла низкая стена, уходящая в овраг, а напротив возвышались величественные ворота эпохи Возрождения, ворота дворца с высеченным в камне герцогским гербом.

Узенькая улочка вела вверх, в город, — снова череда старых домов и балкончиков. Удивительное для меня появление здесь телефона покрыло узкие полосы неба над улицами ненадежной сетью тонких проводов,

а на некоторых балконах разместились ряды фарфоровых изоляторов, похожие на ласточек, готовящихся к отлету. Есть в городе маленький ренессансный фонтан, который мог сохраниться с римских времен, поврежденный и обветшалый, но все еще работающий. Из центра фонтана поднимается каменная колонна, увенчанная большим продолговатым каменным резервуаром, который окружен четырьмя скульптурными человеческими головами: изо рта каждой льется струйка воды, падающая в чашу по изящной дуге. Пока я там стоял, не было ни одной секунды, чтобы фонтан не окружали женщины и девочки с кувшинами для воды — они наполняли свою посуду, а погонщики мулов приводили на водопой животных, и ослики с деревянными седлами на спинах подходили к фонтану и погружали свои кроткие морды в воду.

Двойные ворота дворца все еще висят на изначальных петлях и удерживаются штифтами диаметром с полкроны. Ветхий вид дворца снаружи подготовил меня к зрелищу запустения внутри. Огромный двор, где некогда собирались герцогские вассалы и куда носилки, повозки и походные кареты когда-то съезжались перед путешествием, превратился теперь в площадку для мусора. Окна дворца с отсутствующими или сломанными ставнями являли собой картину, создать которую способно только Время. В самом дворце вонь помета летучих мышей и коз была столь ужасна, что я не стал подниматься по темной лестнице на второй этаж.

Я прогулялся до церкви, которую случайный путешественник может счесть посвященной дону Хосе Антонио — такими большими буквами его имя написано на стене. В темном нутре церкви я встретил священника, знающего историю городка. Он рассказал мне, что период расцвета был четыре века назад, когда

Руй Гомес де Сильва, принц Эволи, решил основать здесь производство. Он собрал всевозможных мастеров, потомков рассеявшихся по стране после падения Гранады мавров, и поселил их в своей четверти города. Среди них были ткачи шелков и гобеленов, золотых и серебряных дел мастера. Когда Пастрана только-только прославилась прекрасными товарами — во времена правления Филиппа III, — вышел эдикт, повелевающий всем людям мавританской крови покинуть страну.

— Но вам обязательно нужно посмотреть пастранские гобелены! — сказал священник. — Подобных им в Испании нет.

Я прошел вслед за ним в ризницу.

§ 2

Я оказался в самой гуще давней битвы. С флотилии каравелл армия рыцарей и пеших воинов только что высадилась под стенами города. Королевский корабль стоял ко мне ближе всех — я мог бы протянуть руку и потрогать тросы, шедшие буквой «V» от планшира к марсовым площадкам. Он был больше и величественнее остальных, и на грот-мачте развевался королевский штандарт, а грот-марсель украшал королевский вымпел, или *pennoncelle*, — тонкий флажок тридцати, пожалуй, футов длиной, который трепетал и бился на ветру, как хвост воздушного змея; по этим признакам я и понял, что корабль королевский. Повсюду царила неразбериха, толчая вооруженных людей, высаживающихся на берег с маленьких лодок. Шум стоял ужасающий; трубачи в красных шапках и голубых дублетах вздымали к небу тонкие серебряные трубы и выдували сигналы; рыцари в стальных доспехах двигались вперед с обнаженными мечами; пешие воины заряжали арбалеты; копья указывали вверх, на склон

холма, или наклонялись в боевое положение; а в центре — сам король, в полном вооружении под флорентийской парчой, в диадеме, охватывающей украшенный перьями шлем, с копьем в руке, рвался вперед, восседая на огромном *destrier*^[10] полностью закованном в броню и увенчанном плюмажем, не уступающим королевскому. Шумный лес пик и копий двигался к городу, а со стен тарасились испуганные лица под тюрбанами, и метательные дротики уже летели в стальные шлемы.

Священник улыбнулся моему ошеломлению. Это не гобелен, а самое настоящее чудо! Какой магией цветной шелк и шерсть оживили давнюю битву настолько, что человек, смотрящий на нее сегодня, понимает, какое возникает ощущение, когда двигаешься в жестких доспехах и держишь меч в закованной в сталь руке; чувствует, каково слышать гром труб и видеть короля в доспехах, скачущего на битву под знаменем, несомым впереди! Оглядевшись, я увидел, что вся ризница завешана подобными гобеленами. Каждый последующий продолжал историю на шаг дальше. Второй был, возможно, самым интересным из всех. Он изображал осаду города, которую нападавшие не могли осуществить только силой оружия. Чтобы блокировать город, они привезли с собой на кораблях полуготовый частокол, который и устанавливали на втором гобелене вокруг всего города, кроме как со стороны моря, где на якоре стоял флот. Частокол состоял из крепких деревянных брусьев, вкопанных в землю и скрепленных вместе. В нем были проходы, запиравшиеся засовом, и у каждого проема стояла вооруженная стража. Мне это напомнило построенный заранее форт, который, как говорят, Вильгельм Завоеватель перевез с собой через Ла-Манш, когда вторгся в Англию. На этом гобелене снова величественный король ехал в сопровождении

трубачей, знаменосцев и телохранителей; пока он озирает город, где мусульманин вельможного вида, кажется, подает сигналы бедствия, воины укрывают бомбарды за деревянными щитами, а одну уже взгромоздили на колеса. Эта сцена, как и прочие, может совершенно заворожить изучающих средневековое оружие, а остальные люди, менее интересующиеся техникой, обнаружат себя перенесшимися из современного мира в непривычную красоту средних веков. Те из нас, кто видели ковер цветов, выросший, поверх шрамов войны — даже в сердце Лондона, — заметят с симпатией, что средневековый художник заполнил каждый клочок земли, не занятый принадлежностями средневековой войны, свежайшими и великолепнейшими цветами, выглядывающими из травы.

Священник рассказал мне, что эти гобелены изображают марокканскую экспедицию 1471 года, предпринятую Альфонсо V Португальским, и я тем более заинтересовался, поскольку этот король был внуком Филиппы Ланкастер, дочери Джона Гонта, и в его жилах текла кровь Плантагенетов. Филиппа наверняка была прекрасной женщиной, поскольку вырастила троих замечательных сыновей, а нет лучшей награды для любой матери. Имена этих сыновей: Дуарте, или Эдуард, названный в честь английского Эдуарда III; Педру, трагически погибший благородный рыцарь; и бессмертный Энрике Мореплаватель, дело чьей жизни — школа навигации в Сагреше — вдохновило морские исследования половины земного шара. Приятно вспоминать, что Энрике (или Генрих) Мореплаватель был отчасти англичанином. Альфонс V, король с пастранных гобеленов, — сын первенца Филиппы, Эдуарда, и он присутствует на гобеленах со своим сыном Жуаном, который потом наследовал отцу,

а во время экспедиции был шестнадцатилетним юношей, завоевывавшим себе шпоры.

Священник рассказал, что эти гобелены считаются сотканными на станках Паша Гренье в Турнее по рисункам Нуну Гонсалвеша, который в то время был в Португалии придворным художником. Предполагается, что их создали сразу после экспедиции 1471 года, чтобы запечатлеть воспоминания очевидцев. Как гобелены оказались в Пастрани, не очень ясно. Считается, что они висели в оружейном павильоне короля Португалии, а во время войны с Испанией попали в качестве трофеев в руки семьи Мендоса — и впоследствии очутились в Пастрани. Об этих гобеленах, насколько мне известно, на английском не написано ни слова, поэтому я попытался с помощью священника разобраться в изображенных на них событиях.

Первый гобелен показывает высадку португальской армии перед Арзилой (Асилой) в Марокко. Затрудняет понимание сюжетов этих картин нарушение художником единства времени и действия в попытке показать различные моменты осады, которые происходили не одновременно. В результате на одном гобелене могут разворачиваться пять или шесть эпизодов, которые происходили в различное время, но с теми же ведущими актерами — королем Альфонсо и принцем Жуаном — в главных ролях. Ключ к этим сценам — огромный личный штандарт короля: где вы его видите, там найдете и самого монарха. Этот отличительный знак больше похож на маленький зонтик со снятой тканью и открытыми спицами при оставленной на месте окантовке; и я очень сомневаюсь, что кто-нибудь сможет догадаться, каков смысл данного предмета. Как считается, он представляет собой водяное колесо, роняющее капли при вращении — знак, что никогда не прекратится плач короля об утрате его возлюбленной жены Изабеллы. Вот мы видим

короля, бредущего через волны: разразился шторм, и войска было трудно высадить; но за Альфонсо, бесстрашно бросившимся в воду, последовала вся армия — потеряв две сотни жизней. Этих несчастных можно углядеть на другой части гобелена барахтающимися в воде. Вот замечаем короля, вскочившего на лошадь — и снова пешего, идущего к городу. Следующий гобелен — это сама осада с возведением частокола. Здесь снова король присутствует сразу в нескольких местах. Третий гобелен, самый многолюдный и «шумный» из всего набора, показывает финальный штурм, с королем, руководящим атакой, — вновь гремят трубы, а рыцари и солдаты врываются в город через бреши в стенах или карабкаются на стены по раздвижным лестницам. Огромные печальные мавры сражаются на стенах и бегут, когда начинается кровопролитная рукопашная. Возможно, это лучшее изображение короля, восседающего на боевом жеребце, в красной бархатной мантии, гармонирующей с алой парчовой попоной коня, закованного в великолепные латы почти полностью — как и всадник.

На четвертом гобелене декорации меняются. Мы видим вход христиан в разоренный Танжер. В центре гобелена — типичный обнесенный стеной городок с башенками и зубчатыми стенами и несколькими минаретами для придания мавританского колорита; море лижет стены, а у подножия башен растут красивые звездчатые цветы. Слева рыцари приближаются к молчаливому городу, пешие и верхом, и скованные позы этих одетых в пластинчатые доспехи людей, сжимающих мечи и копья, переданы восхитительно. Рыцарь в броне въезжает в главные ворота города с королевским знаменем, которое он установит на стене над воротами, а в фоне прекрасно ощущается присутствие огромной армии. Герой этого

гобелена — не король и не принц, но важный молодой человек в доспехах, который едет на прекрасном боевом коне, бронированном и украшенном плюмажем, как и он сам: это дон Жуан, коннетабль Португалии и сын герцога Брагансы. В то время как все это происходит слева от молчаливого города, мавританские жители видны справа — в неспешном и полном достоинства исходе. Те, кто создавал эти гобелены, жили примерно спустя тридцать лет после того, как турки захватили Константинополь, и, без сомнения, одежды византийских беженцев были более знакомы глазу европейцев, чем платье мавров; этим можно объяснить, что мы видим великолепную толпу в сверкающей парче и золоте, в разнообразных головных уборах, от тюрбанов до маленьких конических шапочек, увенчанных мехом, а женщин — без покрывал и в платьях, с виду совершенно греческих. И толпа в разноцветных туфлях идет по полям цветов.

Еще два гобелена — полагаю, работы другого художника и другого ткацкого стана — изображают осаду Алькасаркивира на марокканском побережье, и хотя их признают выдающимися в любом другом месте, в моем восприятии они существенно уступают тем, что описаны мною выше.

Потом священник показал несколько церковных реликвий, но, как мне показалось, то и дело отвлекался от золотых реликвариев и крестов, великолепных самих по себе, словно вновь и вновь переносясь в крик и сумятицу боя, где трубачи выдували призывы, а король мчался на коне посреди серебряных маргариток.

— Не желаете ли осмотреть погребальные склепы? — спросил священник и повел меня обратно в церковь.

Мы спустились по ступенькам слева от алтаря и вошли в известняковый склеп, где я увидел упокоенной при грубом свете незатененных электрических ламп изрядную часть земного великолепия. На полке стояли старинные маленькие гробы, забранные обручами из потускневшего металла, и каждый гробик был снабжен замочной скважиной, словно походный сундук. Здесь были похоронены дети, едва успевшие сделать свои первые шаги по стезе грандов. Остальную часть склепа занимали могилы семей Мендоса и Пастрана, в два ряда, обращенные друг к другу. Я подошел к надгробию доньи Аны Мендоса-и-де-ла-Серда, одноглазой принцессы Эволи.

Священник конечно же знал истории, связывающие ее имя с именем Филиппа II, но был убежден, что это сплетни, и говорил о принцессе в мягком и добросердечном тоне, как о сильной и властной женщине, которая уже ответила за свои грехи перед высшим судом и теперь недосягаема для земного суда и приговора.

На картине в Пастране принцесса показана благочестиво преклоняющей колена рядом с мужем, пока святая Тереза оделяет двух монахинь-кармелиток одеяниями; здесь принцесса — молодая женщина выдающегося очарования и красоты. Она одета в приталенное закрытое платье по моде тех дней, с рукавами-буфами; плотный плиссированный воротник обрамляет овальное лицо, совершенное, если не считать черной повязки на правом глазу. Я спросил священника, знает ли он, как принцесса потеряла глаз. Он ответил, что история, бродившая по Испании в течение многих веков, приписывает эту потерю несчастному случаю на охоте или во время фехтования с одним из пажей. Самый последний из биографов доньи Аны, доктор Грегорио Мараньон, отвергает обе

версии и считает, что принцесса просто могла быть косоглазой.

Она вышла замуж совсем юной — за Руя Гомеса де Сильву, фаворита Филиппа II, и за четырнадцать лет супружеской жизни стала настоящей матроной большой семьи. Гомес, человек тактичный, умел обуздывать свою властную жену, но время от времени у нее все же случались вспышки гнева — особенно в отношениях со святой Терезой, которая была в определенном смысле ничуть не менее деспотичной. Можно вспомнить, в частности, как святая Тереза приехала в Пастрану, чтобы основать там женский монастырь.

Принцесса держала себя очаровательно и убедила святую Терезу показать ей рукопись «Моей жизни» — разумеется, в строжайшем секрете. Потом книга пошла по рукам во дворце, и, поскольку некоторые из переживаний святой казались фантастическими людям без всякого опыта духовной жизни, над Терезой стали насмехаться за спиной, и, куда хуже, кто-то сообщил инквизиции, что на книгу следует обратить внимание. Всегда готовая обрушиться, словно кузнечный молот, на самозванных святых и истеричных монахинь, инквизиция приняла дело к рассмотрению, и, как иногда говорят (ошибочно), расследование задержало публикацию этой знаменитой работы на десять лет. На самом деле инквизиция не нашла в книге признаков ереси, и сама святая Тереза оставила ее у инквизиторов для пущей безопасности: пока рукопись не понадобится, чтобы снять копию для других монастырей.

Тем не менее этот инцидент не способствовал теплым чувствам между двумя женщинами, и когда принцесса начала помыкать кармелитками в Пастране и изводить их, святая Тереза чрезвычайно разгневалась. Принцесса не останавливалась ни перед чем, чтобы получить желаемое. Возгоревшись добыть для

монастыря статую неоспоримой и испытанной святости, она, говорят, выкрала священное изваяние *Nuestra Señora del Soterrano* — Пресвятой Девы Подземелья — из часовни замка Сорита в Эстремадуре. Принцесса завернула статуэтку в белую ткань и унесла ее в сумке. Подобные действия не могли не привести к разрыву между святой Терезой и принцессой: разрыв случился, когда принц Эволи умер, и в первом порыве горя вдова решила стать монахиней в своем собственном монастыре. Кармелитки пришли в ужас от мысли о столь знатной новенькой. «Принцесса — монахиня?! — воскликнула настоятельница. — Тогда, полагаю, сей дом обречен». Она оказалась хорошей пророчицей: принцесса перевернула монастырь с ног на голову. Она настаивала на том, чтобы к ней обращались, титулуя, и ожидала, что монахини будут прислуживать ей на коленях. После нескольких месяцев беспорядков святая Тереза послала двух монахов в Пастрану с приказом закрыть монастырь, а монахинь перевезти в Сеговию. Гнев принцессы был столь силен, что поезду из пяти экипажей с монахинями пришлось украдкой выезжать из Пастраны в полночь, чтобы избежать ярости властительницы.

Принцесса вернулась в мир — и с головой погрузилась в политические интриги. Доктор Грегорио Мараньон в своей книге «Антонио Перес» опровергает слухи о ее романах, все еще бродящие по Испании, и считает, что она была своевольной женщиной с ненасытной жаждой властвовать и повелевать. Принцесса заключила союз, который мог быть и сугубо деловым, со статс-секретарем короля Филиппа Антонио Пересом. Это был человек, добившийся успеха собственными силами, он обладал выдающимися способностями и был совершенно лишен нравственности — надушенный денди, посвященный во все темные тайны Эскориала. Он мог влиять на решения

короля. Перес и принцесса настолько погрязли в опасных интригах, что настал момент, когда они поняли: для сохранения безопасности придется убить человека, которому известно об их проделках, — Хуана де Эскобедо, секретаря дон Хуана Австрийского. Перес искусно наушничал королю, и без того склонному к чрезмерной подозрительности, и убедил монарха казнить Эскобедо по обвинению в государственной измене. В современных автократиях такие убийства известны как «устранения», но в шестнадцатом веке их именовали «эзекуциями», и король, отдававший приказ о казни — а это было обычным делом, — не испытывал затруднений с получением прощения и отпущения грехов от церкви.

Самое интересное в убийстве Эскобедо — топорность исполнения. Я всегда воображал, что яд, который можно бросить в кубок с вином или впрыснуть в апельсин, в шестнадцатом веке было столь же легко добыть, как аспирин в нынешнем, — но ничего подобного. Для начала убийцы послали человека в Мурсию собрать ядовитые растения, потом изготовили отвар и опробовали его на молодом петушке. Птица осталась невредимой. Тогда убийцы подлили «водичку» Эскобедо, но ему, как и петушку, ничего не сделалось. Они попытались счастья с порошком, от которого жертва только заболела. Наконец, потеряв терпение, заговорщики решили прибегнуть к кинжалу. И снова — можно было бы подумать, что кинжал и наемного убийцу, который воспользуется оружием, не составляло труда найти на каждом углу старого Мадрида; увы — и это было не так. Один из заговорщиков отправился в собственные владения, чтобы найти друга, имевшего стилет «с очень тонким лезвием», а остальные поехали в Арагон нанимать *desperados*^[11]. В конечном счете

Хуан де Эскобедо был заколот ночью на мадридской улице, когда возвращался домой.

Сплетни сразу же связали Переса и принцессу с этим преступлением. Король скоро узнал, что Перес лгал ему об Эскобедо и выманил разрешение на «экзекуцию» невиновного. Филипп тут же велел арестовать Переса и принцессу. Перес был обвинен в убийстве, но ухитрился бежать во Францию, а позже в Англию, где подружился с Роджером Бэконом и графом Эссексом. Он имел огромный успех в обществе и — странно сказать — стал пионером зубной гигиены в том веке, когда, по свидетельству доктора Мараньона, почти каждый старше сорока был беззубым. Перес страстно увлекался духами и лосьонами, каковые обычно смешивал сам, и его полоскания для зубов, а также зубочистки и перья, которыми он чистил зубы, пользовались огромным спросом среди французской аристократии. «Зуб дороже бриллианта» — такова была одна из его поговорок: ею не пренебрегли бы и современные производители зубных паст. В конце концов Перес умер в одиночестве и забвении — как многие из испанцев, на чужбине.

Принцесса Эволи последние тринадцать лет жизни провела в комнате дворца, в котором она когда-то жила в королевской пышности. Ее комната запиралась на замки и засовы, окна — на железные запоры, и бедная женщина общалась с тюремщиками через решетку, как в монастыре. Создается ощущение, что ее грехи были куда тяжелее, чем утверждает в сохранившихся свидетельствах. Ее муж был близким другом короля, а сама принцесса служила фрейлиной у юной королевы Испании, Елизаветы Валуа. Однако никакие воспоминания о былом не смягчили сердце короля. Он оставался глух ко всем мольбам. Даже могущественные родственники не могли просить за принцессу. На первый взгляд, ее наказали чудовищно жестоко.

Я так и сказал священнику. Он пожал плечами, привычный к исповедям грешников и наложению епитимий; подобно хорошему юристу, он не торопился высказываться, куда не узнает всех фактов (а этого, полагаю, никогда не произойдет). Я бросил последний взгляд на склеп, где неистовая донья Ана лежит рядом с единственным человеком, который был ей когда-либо близок, с пожилым и тактичным мужем — уж конечно, единственным, кто умел обуздывать ее ярость. Пока священник выключал свет и мы поднимались обратно в церковь, я подумал, насколько странным был их союз: знатная дама, наследница королей, как она гордо именovala себя в посвятительной надписи в монастыре, и надушенный парвеню Антонио Перес.

Мы со священником попрощались. Я повернулся еще раз посмотреть на дворец, настоятельно требовавший реставрации, — совершенный фон для пастранских гобеленов. Я спросил местного крестьянина, известна ли комната, в которой сидела в заточении принцесса. Он провел меня к фасаду и указал на башню справа от ворот, где я увидел плотно зарешеченное окно.

Я отправился в маленький бар в нескольких шагах от рынка, где хозяин за стойкой, имевший вполне столичный вид в своем белом фартуке, подал пиво со льдом и, специально для иностранца, выудил из банки несколько анчоусов и принес на блюде с зубочистками. В городке было две мельницы и три пресса для оливкового масла, рассказал мне хозяин, и люди из селений на несколько миль вокруг приезжают в Пастрану за покупками. Основная сельскохозяйственная культура здесь — оливки. Неужели я проделал весь путь из Мадрида только для того, чтобы взглянуть на гобелены? Я видел, как он размышляет, сколь странен этот мир. Я пояснил, что также приехал, чтобы посмотреть на дворец доньи Аны.

— O, La Canela! — протянул он.

Это испанское слово обозначает корицу, а еще так называют прекраснейших дам.

Я вернулся на главную дорогу и доехал до Алькала-де-Энарес, когда начало темнеть. В ресторане «Hosteria de Estudiante» я поужинал под потемневшими от возраста потолочными брусьями. На крюках висели в ряд свиные бурдюки — жирные, черные и наполненные вином. Хозяин аккуратно развязал горлышко одного, ловко пустил струйку вина в кувшин и принес последний на мой стол. Я съел *moje*^[12], суп из Ла-Манчи, приправленный помидорами и душистым перцем, потом мне принесли огромный кусок жареного барашка, коричневый и хрустящий, только что из печи. Девушка, которая могла бы быть сестрой Дульсинеи, поставила на стол сыр и тарелку апельсинов.

Весь обратный путь в Мадрид я думал о том старом городке в Кастилии, где великие люди своего времени спят в чистом белом склепе под церковью.

§ 4

Однажды днем я шел по прохладной аллее к Прадо, чтобы провести часок наедине с Франсиско Гойя-и-Лусьентесом. В Англии и Франции нет возможности осознать, насколько великим художником был Гойя, поскольку ни в Национальной галерее, ни в Лувре нет ни одной из его прекраснейших работ, а репродукции, на мой взгляд, всегда получают неудачные, даже в цвете. Во всяком случае, нередко тех, кто знаком лишь с фотографиями картин Гойи, охватывают изумление и восторг, когда они оказываются перед оригиналами. Таков, по крайней мере, мой собственный опыт.

Гойя — сын арагонского крестьянина, родившийся в 1746 году, и вырос весьма безобразным, похожим на лягушку-быка. Он обладал той смесью уродства и

жизненной силы, которая необычайно привлекательна для некоторых женщин. У него был хороший голос, он умел играть на гитаре — и, будучи юношей, быстро почел за лучшее бежать из Мадрида. Не имея денег, он, говорят, присоединился к *cuadrilla*, труппе матадоров, и скитался с ними из города в город, пока не добрался до Средиземного моря. Оттуда он начал свой путь в Рим, где учился рисованию, как говорят, попал в беду — предание упоминает женский монастырь — и был вынужден вернуться в Испанию. Он женился на дочери придворного живописца и в тридцать лет оказался модным художником, которому король Карл IV, скандальная королева Мария Луиза, норовистый и малопривлекательный наследник Фердинанд и Мануэль Годой, любовник королевы, а также многие сановники Испании и их жены считали за честь позировать.

О предполагаемой любовной интрижке Гойи, которому было за сорок, с богатой молодой герцогиней Альба написано много, но все основано на ряде неявных намеков, догадок и слухов. Внезапная и загадочная смерть герцогини ввергла художника, как считается, в депрессию, граничившую с помешательством. Гойя совершенно оглох еще до того, как ему исполнилось пятьдесят, и тем не менее рисовал самые «громкие» сцены, какие только можно вообразить, например ужасные события *Dos de Mayo*, второго мая, когда толпа в Мадриде напала на французские войска и началась испанская война за независимость, известная также как война на Пиренейском полуострове. Интересно, имела ли глухота Гойи какое-либо отношение к его почти маниакальному стремлению заставляя цвета кричать на этих мрачных картинах — особенно в желтых и белых одеждах упавшего на колени испанца, которого готов застрелить отряд французских солдат?! Глухой художник видел эти сцены, но нас он заставил их

услышать. Вы невольно отшатываетесь, словно ружейный залп уже прозвучал.

В старости Гойя жил вместе с родственником на окраине Мадрида, в симпатичном домике, чьи стены он покрыл серией безумных и пугающих картин, написанных белым, серым и черным: картин с ведьмами, призраками, омерзительными демонами и привидениями, великаном, пожирающим обнаженное тело, чью голову он уже откусил, и прочими подобными сюжетами — видениями истеричного ребенка, напуганного темнотой. Из-за этого многие уверены, что художник окончил свои дни в безумии.

«Бывают дни, когда я прихожу в такую ярость, — писал Гойя в тот период, — что ненавижу и себя». Его мрачные видения искусно отслоили от стен старого дома, и сейчас они занимают целый зал в Прадо. Они кажутся выплеснутыми той ненавистью и яростью, которую художник испытывал ко всему. Он умер в возрасте восьмидесяти двух лет в добровольном изгнании в Бордо.

Гойя обладал вспыльчивым нравом. Его портрет в пожилом возрасте — портрет злобного старика в шляпе-боливаре, неисправимого грубияна и скряги, настоящего Скруджа. История о том, как он швырнул в Веллингтона гипсовой отливкой, когда герцог позировал ему в Мадриде, не подтверждена, но в этом нет ничего невозможного. Веллингтон ненавидел позировать художникам, которым, как он считал, никогда нельзя доверять в военных деталях (однажды он вызвал сэра Томаса Лоуренса и, не стесняясь в выражениях, велел тому исправить меч на картине). Если он так же повел себя с Гойей, старый грубиян, когда-то писавший Бурбонов во всем их загнивающим великолепии, наверняка не стерпел пренебрежения иноземного генералишки! К сожалению для любителей «перчинки», запись от руки одного из родственников

Гойи на обороте странно бесплотного портрета Веллингтона в Британском музее свидетельствует, что этот набросок послужил основанием для трех рисунков маслом: конного портрета, который можно увидеть в Эпсли-хаусе на Пикадилли; портрета со шляпой, сейчас находящегося в Соединенных Штатах; и портрета без шляпы, предоставленного на время Национальной портретной галереи. На всех трех картинах мы видим восхитительно незнакомого Веллингтона, бабушка которого вполне могла быть испанкой.

Я направился в залы, где выставлены работы Гойи ранних лет, королевские портреты. Здесь громы девятнадцатого века еще не слышны. Соловьи поют в Аранхуэсе, и переливы менуэта мешаются с шепотом фонтанов, ибо веку восемнадцатому еще продолжаться несколько лет. Благодушный Карл IV стреляет по воробьям за оградой Сан-Ильдефонсо, Мария Луиза вешает очередной Большой крест на бычьи плечи своего героя, юный Фердинанд полон ненависти к матери и ее любовнику — а далеко от этих домашних сцен нищий молодой корсиканский лейтенант по фамилии Бонапарте только что написал свое сочинение о счастье, в котором весьма скрупулезно перечисляет опасности честолубия. Наполеон, имея в союзниках Марса, был в 1791 году лейтенантом, а Мануэль Годой гораздо лучше ладил с Купидоном — и к тому времени уже стал генералом.

Когда я смотрю на портреты Карла IV и его семьи, то изумляюсь, как случилось, что Гойя единственный из придворных художников оказался свободен от необходимости идеализировать и льстить. Такие картины всегда заказываются и пишутся с расчетом на грядущие поколения: поза должна быть воинственной, пухлая ручка — протянутой к воображаемым полкам; а если красота не задержалась на челе королевы, то можно хотя бы попытаться это исправить вложением в

образ изрядной доли величественности — но только не у Гойи. Он рисовал то, что видел, и в результате королевская фамилия, по словам Готье, выглядит на портретах словно семья бакалейщика, выигравшего большой приз в лотерею. Карлу IV повезло больше других: грубоватый, глупый, но добросердечный старый помещик, который мог охотиться с Джорроксом^[13]; но что мы можем сказать о престарелой Афродите — Марии Луизе? Она похожа на одну из некрасивых сестер Золушки: жадная сварливая баба, с толстыми руками, обнаженными до плеч, которые, однако, когда-то находили неотразимыми. «Я не могу удержаться от похвалы красоте рук королевы, ибо они действительно совершенны», — писала мадам Жюно, чей муж одно время служил послом в Испании. Мне также вспомнились слова Наполеона, который, увидев Марию Луизу в первый раз, написал Талейрану: «Королева несет свою историю на лице, и стоит ли говорить больше?»

Но в Прадо кое-чего не хватает. Где же «несравненный Мануэль», где фаворит, который был подлинным королем Испании и чья скандальная связь с королевой вызвала восстание после отречения Карла IV? Какая жалость, что великолепное и беззастенчивое исследование Годоя Гойей нельзя перенести в Прадо из *Real Academia de Bellas Artes*^[14] и тем дополнить земную троицу. Стоит сходить в академию и посмотреть на Годоя в маршальской форме, не стоящего, как подобает воину, а полулежащего — что весьма соответствует образу — на двухместном диванчике, или *dos-a-dos*. Жирные ноги фаворита вытянуты, словно лосины и сапоги ему тесны, пухлая ручка безвольно свисает со спинки дивана, вызывая в воображении не меч, выхватываемый из ножен, а щечки, по которым она

похлопывает; и в целом от этого человека исходит ощущение сытости, праздности и изнеженности.

Годой был сыном обнищавшего дворянина из Бадахоса и, должно быть, выглядел весьма привлекательно в восемнадцать лет, когда королева впервые увидела его крепкие бедра в обтягивающих лосинах и широкую грудь под гвардейским мундиром. Марии Луизе тогда было тридцать четыре года. Через двенадцать лет Мануэль Годой стал не только одним из богатейших людей Испании, но также премьер-министром и, конечно, самым могущественным и ненавидимым человеком в стране. Король был предан ему не меньше, чем королева, и это взаимное притяжение не разрушилось даже изгнанием и бедностью. Годой был авантюристом, но он обладал талантом к интригам, сердечностью и бурлящей жизнерадостностью — и при бесцветном и мрачном дворе Бурбонов сверкал, словно юный Вакх. Французские и испанские писатели — ибо на английском о Годое написано мало — часто строили домыслы о супружеской слепоте, которой страдал Карл IV. Кажется, этот монарх придумал любопытную и оригинальную теорию: короли, по счастью, свободны от волнений, одолевающих обычных мужей, поскольку для королевы невозможно унизиться до мужчины низшего ранга. Его величество, очевидно, больше разбирался в охоте, чем в истории. Ничто не могло поколебать его точку зрения, и попытки открыть ему глаза быстро пресекались, хотя вся Европа сплетничала о поведении супруги испанского монарха.

Крах случился среди рощиц и садов летнего дворца. Годой попал в затруднительное положение, когда позволил пройти через территорию страны в Португалию французским войскам, которые вошли в Мадрид в 1808 году — во главе с Мюратом. Толпа обезумела от радости, посчитав, что французы пришли

сокрушить Годоя и сделать королем Фердинанда. Требуя крови Годоя, толпа ринулась в Аранхуэс, в тридцати милях от Мадрида, где тогда располагался двор. Когда настала ночь, дворец Годоя взяли штурмом. Упитанный фаворит забрался под груды тряпья на чердаке и просидел там день или два, после чего, снедаемый жаждой и усталостью, передал себя в руки перепуганной стражи. При попытке бегства с двумя солдатами, пытавшимися спасти фаворита от желавших его убить, весь в крови и в изодранной в клочья одежде, Годой очутился на соломе в конюшне. Полный мстительного триумфа, юный Фердинанд, который многие годы ненавидел Годоя, перед которым его мать расточала богатство и честь Испании, пришел насладиться своей победой. Хотя король решил отречься от престола, его единственной тревогой и заботой было: «Что случилось с дорогим Мануэлем?» И здесь история словно делает неверный поворот. Годой должен был погибнуть от рук Фердинанда и его партии, и без сомнения, так бы и произошло, когда бы не появился Мюрат и не спас низложенного фаворита. Издалека, из-за Пиренеев, пришел четкий приказ маленького человека в зеленом мундире и с завитком волос на лбу: короля, королеву, Годоя и Фердинанда следует немедленно отослать в Байонну.

Приказ был циничен и не сулил ничего хорошего испанским правителям, но как бы удивился автор этого приказа, узнай он, что подарил еще сорок три года жизни Мануэлю Годою! Фавориту тогда был сорок один год. Он прожил тридцать лет после того, как Наполеон умер на острове Святой Елены, треть века после смерти Карла и Марии Луизы и на десять лет больше, чем юный Фердинанд. Ему выпало жить в мире, который забыл его, странным пережитком века свечей и менуэтов. Когда Годой умер, улицы уже освещались газом и повсюду пыхтели локомотивы с высокими дымовыми

трубами; ему было восемьдесят четыре, и шел четырнадцатый год правления королевы Виктории, год Всемирной выставки — 1851-й.

Однако мысли о столь отдаленном будущем никого не волновали 30 апреля 1808 года, когда несколько старинных испанских карет, покрытых пылью, вкатились в Байонну, а французские войска взяли «на караул» и пушки крепости прогремели королевским салютом. Наружу выступил Карл IV, седовласый, ревматичный, величавый и самоуверенный даже в поражении, затем Мария Луиза, выглядевшая встревоженной; тут они оба увидели среди сановников, собравшихся их приветствовать, «несравненного Мануэля» и бросились в его объятия. Есть Бог на небесах — они трое снова вместе!

Последним актом трагедии стала передача короны Испании и обеих Индий Фердинандом своему старому отцу, который учтивым жестом вручил ее Наполеону, — тот быстро забрал корону, ибо уже предназначил ее своему брату Жозефу.

Обговорили пенсион, который так никогда и не был выплачен полностью, определили резиденции — и старинные золоченые кареты вместе с длинной колонной экипажей и повозок двинулись на север, увозя Карла, Марию Луизу и Годоя в пожизненное изгнание. Увезли всех, кроме мрачного и возмущенного Фердинанда, которого восемь лет спустя его храбрая и преданная страна призовет править под именем Фердинанда VII. Но прежде чем кареты отъехали и упал занавес, мрачный фарс мгновенно превратился в эпос. В Байонну прискакал гонец, покрытый пылью, с вестью, что народ в Мадриде восстал и сражается с войсками Мюрата. Это было *Dos de Mayo*. Простые люди Мадрида вдруг поняли, что их правителей обманули. Вырвавшись на Пуэрта-дель-Соль и прилегающие улицы, вооруженные железными костылями, ножами,

кочергами, клеймами для быков и всем, что смогли найти, они убивали каждого француза, который попадался им на глаза. Мюрат вызвал кавалерию, среди конников были мамелюки, чьи кривые ятаганы и тюрбаны несомненно пробудили древнюю память о маврах и еще больше взъярили толпу. Гойя тоже присутствовал — и оставил свое свидетельство о тех событиях в Прадо. Это оказался тот самый случай, когда задета испанская гордость и вскипает испанская ярость, и никто — меньше всех Наполеон — не понимал, насколько это опасно. Первые выстрелы войны на Пиренейском полуострове прогремели в Мадриде; они росли и ширились и превратились в великую канонаду, которая закончилась только на поле Ватерлоо.

«Земная троица» продолжала жить вместе, как настоящие и преданные друзья — до самой старости. Маленькие зарисовки о них в изгнании часто всплывают в мемуарах и дневниках того времени. Мы видим троих неразлучных стариков под небесами Франции или Италии. Мы узнаем, что престарелый король разнообразил ссылку коллекционированием и починкой часов, а также игрой на скрипке. Барон де Боссе рассказывает, как однажды вечером Карл пытался сыграть квинтет Боккерини с четверьмя итальянцами и закончил исполнение гораздо раньше. Король вошел, утирая лоб красным платком, в комнату, где королева и Годой слушали состязание. «Вы видите, вы слышите? — воскликнул он. — Они не могут угнаться за мной. О, если бы мой виолончелист Дюпон был здесь! Он-то привык играть со мной. Но римляне не справляются: для них это слишком». Для него музыка была проявлением сословного превосходства; однажды, уйдя на несколько тактов вперед, он заявил: «Короли никогда не ждут».

Годой часто катался со старой королевой на лодке по маленькому озеру в садах виллы Маттеи, а король стоял на берегу, сияя от удовольствия. Однажды

французского дворянина, навещавшего королевскую семью, когда те жили на вилле Боргезе в Риме, Мария Луиза спросила, видел ли он когда-нибудь Годоя в парадной форме Князя мира. Когда тот ответил, что никогда не имел этого удовольствия, королева воскликнула: «О, вы должны увидеть его в этом прекрасном наряде: вы оцените, как ему идет!» Король поддакнул, восхищенный этой идеей. Костюм принесли, и стареющий фаворит, совершенно не смущаясь, торжественно переоделся. «Пройдись, Мануэль», — велела королева. И Годой гордо прошествовал по комнате. «Qu'il est beau!»^[15] — сказал королева. «Qu'il est beau!» — сказал король. «Mon Dieu, qu'il est beau!»^[16] — эхом отозвалась свита. Затем фаворит переодевался в мундиры гранд-адмирала, генералиссимуса и капитан-генерала, и трудно сказать, кто больше наслаждался всем этим: король, королева или сам Годой.

Когда королева умирала, с ней был только он. Король ушел поохотиться. Стояла суровая зима, и было невозможно отапливать мраморные залы палаццо Барберини, в которых они тогда жили. Ледяной ветер трамонтана влетал в спальню королевы и пронизывал камчатные занавеси, под которыми лежала королева, умирая от пневмонии. Годой спешно послал за королем и записал в день, когда она умерла: «Я выполнил долг дружбы, и она примирилась со Спасителем». Король получил вести о смерти королевы несколькими днями позже и написал: «Друг Мануэль, я не могу описать, как я пережил тяжелейший удар потери моей возлюбленной жены после пятидесяти трех лет счастливой супружеской жизни». Марии Луизе было шестьдесят восемь лет, а Годой пятьдесят два, и его ожидали еще тридцать два года жизни.

Он посетил роскошные похороны своей госпожи в базилике Санта-Мария Маджоре. Присутствовал

двадцать один кардинал, поскольку Мария Луиза была верной дочерью церкви и в Риме ее принимали со всеми королевскими почестями. Затем — престранная история — по приказу папы ее тело увезли и поместили в склеп собора Святого Петра, чтобы дожидаться перевозки в Эскориал. Мария Луиза, совершенно точно, — единственная женщина, которая когда-либо лежала среди пап римских. Ее саму это наверняка бы повеселило.

§ 5

Я перешел по маленькому подвесному мосту в Аранхуэс — городок в тридцати милях к югу от Мадрида, известный своим летним дворцом, соловьями, земляникой и спаржей. Он стоит на берегах мутной Тахо. Река бежит под пологом вязов, которые, как считается, Филипп II привез из Англии четыре века назад, и самых огромных платанов, какие я когда-либо видел; также там есть дубы и сикоморы — и мили огородов, рощ и фруктовых садов. Кастильцы, которые никогда не путешествовали, считают, что Аранхуэс — самое роскошное место на этой планете и точная копия рая на земле. На самом деле это маленький уголок Франции близ Тахо. Здесь Бурбоны построили дворец — имитацию Версаля, с гротами и фонтанами, с бесконечными аллеями и тенистыми уголками, где кажется, что музыка прошлого *fete champetre*^[17] только что стихла, и можно вообразить, что лакеи еще упаковывают остатки холодной куропатки, а музыканты убирают флейты. Здесь есть даже пышная имитация маленького Трианона, в котором принцессы могли бы играть в джойрок с серебряными ведерками.

Как восхитительно оказаться в этом странном маленьком уголке восемнадцатого века совсем одному

свежим прохладным ранним утром! За оградой между деревьев и фонтанов возвышался дворец с опущенными ставнями, словно двор заспался сегодня допоздна после маскарада. Огромный ряд конюшен стоял безмолвным, но казалось, что в любой миг ворота распахнутся и воздух наполнится посвистом конюхов, а кучера погонят золоченые кареты по камням мостовой. Почему в Испании прошлое никогда не умирает? Что такого в воздухе этой страны, что сохраняет прошлое не мумией, но живым и ощутимым? В Аранхуэсе я поддался иллюзии, что все еще продолжается 1754 год и обитатели дворца спят или затаились внутри.

Перед воротами я встретил девочку лет двенадцати или тринадцати в огромной соломенной шляпе. Улыбнувшись — и сверкнув зубами, — она предложила мне купить корзинку земляники, что я, конечно же, и сделал. Гойя, который был так жесток к мужчинам и женщинам, рисовал детей с любовью и нежностью, и это личико с темными, почти миндалевидными глазами и зубами цвета слоновой кости могло быть написано им. Когда я заметил, что кругом очень тихо, девочка снова заулыбалась и ответила, что здесь будет *muuy ruidoso*^[18], когда приедут автобусы из Мадрида. Каждый день, сказала она, туристы приезжают побродить по дворцу и пообедать у реки. Когда я попрощался, она склонила голову набок и одарила меня блеском темных глаз — и я ушел, размышляя, что средневековые девочки, которые часто становились правительницами в том возрасте, когда современная девочка еще не попадает в спортивную команду пятиклассников, возможно, были похожи на мою случайную знакомую.

Я прошел по аллеям огромных деревьев, чьи ветви сплетались над головой, по маленьким тропинкам, ведущим на огороды и к зарослям кустарника. Я подошел к старому лодочному сараю около реки, откуда

когда-то давно принцы выводили лодки — покатасть принцесс по Тахо и, возможно, перекусить и почитать Руссо в какой-нибудь усыпанной листьями заводи. Высокие живые изгороди и фонтаны проступали из зеленых теней. Не слышалось ни звука, кроме пересвиста птиц в ветвях, и снова я ощутил, что настоящие жители — люди, создавшие это место давным-давно, — играют со мной в прятки, и, быть может, повернув за угол, я услышу взрыв смеха и увижу ливень шелковых нижних юбок и туфель на красных каблуках. Наконец я пришел к маленькому дворцу, стоящему с римской важностью в полном одиночестве. Он назывался Casita del Labrador^[19].

Слово «лабрадор» вызывает в сознании англичанина образы ездовых собак, борющихся с метелью, или карибу, вытягивающих морды, чтобы ободрать замерзшую бересту в покрытых снегами землях; но в испанском языке у него нет топографического значения, оно обозначает просто крестьянина или батрака. Эта «Крестьянская избушка», столь причудливо названная под влиянием «болезни эпохи», построена Карлом IV, она стала проявлением истинной фантазии, которая обогатила мир некоторыми уникальнейшими зданиями, и создает очаровательную связь Аранхуэса с Брайтоном. Внутри неопишное количество роскошных безделушек втиснуто в довольно маленькое по дворцовым меркам помещение. Там есть лестница из позолоченной бронзы, повсюду мрамор, стол из оникса, фрески, гобелены, эмали, стеклянные люстры, маленькие комнатки, как золотые птичьи клетки, везде часы, большинство из которых весьма посредственны, — и совершенно негде даже присесть. Что делали здесь, да и что могли делать, кроме как принимать изящные позы в шелках и атласах и пить шоколад из маленьких чашечек или потягивать сладкое

шампанское? Только два экспоната меня заинтересовали. Один — изящная фреска на стене на лестничной площадке, работы Закариаса Веласкеса, который нарисовал свою очаровательную жену и цветущую семью, глядящую поверх балюстрады. Он сделал это столь реалистично, что кажется, будто женщина вот-вот улыбнется или помашет рукой, а кто-то из прелестных детей сбежит по лестнице. Второй экспонат — дорожный киот, также на втором этаже, в задней комнате. Это огромный триптих, который можно закрывать и перевозить на вьючных лошадях или на спине мула. Подобного рода алтари наши короли Плантагенеты возили с собой из замка в замок, и, несомненно, у великих лордов такие тоже были, поскольку они ездили по стране из одного поместья в другое. Внизу под лестницей находится нелепый подвал, тщательно отделанный под крестьянскую каморку: штукатурка осторожно соскоблена со стен, общая атмосфера тяжелой бедности достигается самыми дорогими средствами. В сентиментальные моменты, полагаю, монарх удалялся в эти убогие апартаменты от жеманных придворных второго этажа и, съев деревенскую *olla*^[20], поданную коленопреклоненными слугами, размышлял, насколько счастливее ему бы жилось, будь он крестьянином. Так повелевала тогдашняя мода.

Все это смехотворно. Мне вспомнился уикенд, проведенный много лет назад у богатого и популярного актера, который пригласил меня и еще нескольких гостей в свой «маленький деревенский уголок», предупредив, чтобы мы надели старую одежду. Когда мы прибыли, то увидели великолепный особняк «под Тюдоров», в котором в каждой спальне была своя ванная в голливудском стиле. Пока наш хозяин скромно объяснял, что первоначально дом был избушкой

дровосека, один гость заметил: «Полагаю, бедняга мыл топор в моей ванне».

Я вернулся к дворцовым воротам, где увидел, что уже прибыли автобусы из Мадрида. Аранхуэс проснулся. Моя маленькая собеседница-шалунья с коробками земляники улыбалась дюжине камер, а рядом стояли официанты, задумчиво взирая на дневной урожай едоков. Я вошел во дворец в хвосте партии. Мы толпой поднялись по парадной лестнице, словно брали ее штурмом, и отправились бродить по комнатам, завешенным гобеленами, люстрами и засиженным золотыми купидончиками. Мы глазели на потолки, которыми, наверное, нельзя искренне восхищаться, не попробовав походной койки; нам продемонстрировали вычурные часы того типа, какому не позавидует ни один коллекционер, — отнюдь не Томпион или Грэм в полной сборке. Был один восхитительный миг, когда гид завел музыкальные часы и запустил их; мы услышали, как негромкие колдовские перезвоны заплясали под расписными потолками — словно невидимая пастушка Ватто проскользнула во дворец и выписывает пируэты вокруг, прячась за атласными занавесями.

Гид описал восстание в Аранхуэсе, которое заставило Карла IV отречься от престола и привело Годоя к краху. Туристы слушали внимательно, искренне желая узнать что-нибудь новое. Я покинул их и продолжил путь, поскольку проголодался, и мне пришло в голову, что лучше бы попасть в ресторан у реки раньше, чем туда прибудет толпа. Я выбрал столик на балконе, выходившем на Тахо, и заказал холодную спаржу с майонезом, жареную камбалу, еще спаржу, на этот раз горячую, в масле, и наконец ту мелкую дикую землянику, что растет в здешних рощах. Попивая белое вино из Риохи, я подумал, что Тахо выглядит весьма величественно, неся свои воды к Португалии. Француз

за соседним столиком говорил о Годое. Бедный Годой, проклятый долгой жизнью, как Вечный Жид, оставшийся одиноким и обедневшим в парижской квартире; загадка для соседей, которые считали его старым актером, — возможно, они не так уж и ошибались. Дети в парке любили его и называли «мсье Мануэль». Он испыл до дна горькую участь человека, пережившего своих современников. Даже его «Мемуары», которые, как он думал, потрясут мир, не вызвали сенсации, поскольку то, что было столь важно для него, уже перестало быть интересно: они принадлежали мертвому прошлому. Пожалуй, подумалось мне, надо бы подсказать французу, что, если хорошенько поискать на кладбище Пер-Лашез — в той его части, что известна как *L'Îlot des Espagnole*^[21], — там найдется скромная могилка человека, который когда-то правил Испанией.

Далеко за полдень я поехал обратно в Мадрид.

Глава четвертая

Тоledo, арабы и евреи

На автобусе в Тоledo. — Собор. — Дурная слава Аны Болены. — Могила дочери Джона Гонта. — Толедские клинки. — Арабское вторжение в Испанию. — Месса по мозарабскому обряду. — Ричард Форд.

§ 1

Испанец стоял на моих ногах, а на руках я держал маленького ребенка: иными словами, автобус был почти битком набит. Каким-то удивительным образом все новые люди ухитрялись втиснуться внутрь, сдавливая тех, кто уже и так стоял, еще теснее и ближе. Маленький брат ребенка, которого держал я, сначала ютился возле меня в проходе, но теперь его оттеснили вперед, и маленькое скорбное личико утонуло в саржевом море.

Передо мной сидели две монахини в огромных чепцах крахмального льна, только куда более архитектурных, чем обычные: они действительно выглядели наследниками тех сложных крахмальных головных уборов средних веков, вроде *hennin*^[22] или шпилей, которые вздымались вверх, отклонялись назад или вниз в бесчисленных вариациях на протяжении пятнадцатого века, стяжая упреки с амвонов и комплименты трубадуров. Эти чепцы были созданы не для маленьких автобусов, но для просторного мира широких врат, и я с восхищением отметил, сколь искусно, в силу привычки, носили их монахини — словно

кошки, которые точно чувствуют размах своих усов, осознавая до долей дюйма, какое движение головой можно сделать, чтобы не вызвать аварии. Забавная мысль: капризный головной убор, родившийся задорным и кокетливым, наконец упокоился на головах монахинь.

Даже хорошие манеры испанских путешественников поколебались и прозвучало несколько протестов, когда в автобус попытался втиснуться огромный человек-бочка с корзиной, из которой торчала пышущая негодованием голова молодого петушка. Святые угодники, неужели он не видит, что здесь нет места даже для *langostino*?^[23] Ладно-ладно, но может быть, ну может быть, *señores*, здесь найдется место для еще одной *sardina*!^[24] Острота смягчила сердца, и люди вдохнули и притиснулись друг к другу еще ближе, пока этот смешной *hombre*^[25] влезал внутрь со своей птицей, и скоро вся задняя часть автобуса смеялась над его шутками. Как испанцы могут быть похожи на ирландцев! Наконец автобус тронулся. Послышалось несколько хлопков, похожих на пистолетные выстрелы. Девушка перекрестилась. Коробочка на потолке объявила, что мы сейчас прослушаем «Waltz Emperador»^[26], и под веселые такты Штрауса мы выехали в Толедо.

Испания до самых глухих внутренних уголков наполнена автомобилями, которые становятся все меньше и древнее по мере того, как вы покидаете главные дороги. Есть первоклассные автобусы, несущиеся со скоростью шестьдесят миль в час, и есть более скромные, с радио или без; в одном из таких я сейчас и ехал. Как все в Испании, автобусная служба напоминает об ушедшем, старом мире. Наверное, похоже выглядела поездка в почтовом дилижансе времен Диккенса. Связанные веревкой вещи на крыше имели тот же вид, что и багаж на гравюре с каретой, а

соседи-путешественники создавали впечатление, что человек — не бесприютный сгусток материи, перевозимый из одного пункта в другой, но член группы пилигримов, решившихся на путешествие по миру: с запасом еды, которым следует делиться, как и мнениями о жизни в целом. Когда автобус отдыхал, пуская пар, в деревне, обычно оставалось время выбраться наружу и выкурить сигарету или заглянуть в местный трактир.

Женщина, чьего ребенка я держал, была молодой и хорошенькой, в черном, с ниткой майоркинского жемчуга вокруг шеи цвета слоновой кости. Она держала самого младшего из своих детей, я — среднего, а старший, как я уже говорил, стоял самостоятельно. Все мальчики, сказала она мне с горделивой интонацией довольной и успешной женщины, а затем добавила, чуть улыбнувшись противоречивости мужчин, что ее муж хочет девочку. Я спросил, выбрали ли они имя для ожидаемого ребенка, который, как я подозревал, присутствовал здесь не только, так сказать, духовно, и она ответила: да, мы решили назвать ее так же, как зовутся тысячи испанских женщин — Пилар, в честь святой, которой посвящен собор *Nuestra Señora del Pilar* в Сарагосе. Моя собеседница посчитала меня американцем. Это признак отсутствия британских туристов в Европе: англичан всегда принимают за американцев. Женщина сказала, что один ее кузен эмигрировал в Америку и живет теперь в Рио-де-Жанейро. Для нее, как и для большинства испанцев, «Америка» означала Южную Америку. Ее муж служил младшим чиновником в *Ayuntamiento*, муниципалитете Мадрида, а сама она ехала в Толедо, потому что ее старые родители, живущие там, захотели увидеть внуков. Я мог себе представить поцелуи и объятия, когда будут

приветствовать *los ninos*, потому что обычная суровость мгновенно слетает с испанца по семейным праздникам.

Дорога в Толедо не особенно интересна. Однако в некий момент наше путешествие стало волнительным и опасным: водитель счел вопросом чести обогнать упрямую маленькую машинку, загораживавшую дорогу. Он бросил вызов машинке гудком, и началась дуэль: с маневрами и ложными выпадами к обочине, атаками и отходами, с ревом и скрежетом передач — пока, поймав наконец за хвост *suerte*^[27], мы не пронеслись мимо, бросив короткий победный взгляд на нашего противника, сгорбившегося над баранкой с ногой на акселераторе.

Автобус наполовину опустел в Ильескасе, и мы снова получили возможность дышать. В Ильескасе одетые в белое монахини властвуют над несколькими великолепными и нетронутыми временем творениями Эль Греко. Я пожалел, что у меня мало времени — обычная печаль путешественника в Испании, — но водитель уже давил на гудок, и пассажиры, выйдя из *ventas, posadas* и *caballeros*^[28] потекли обратно в автобус.

Перед нами развернулся бурый пейзаж с намеком на еще более бурые холмы на горизонте. По обочинам трусили верхом на мулах мужчины; в полях зерно, убранное в маленькие стожки, как в Шотландии, грузили на спины осликов и громоздили на повозки, запряженные черными быками. Мы вкатывались в белые деревушки, где над домиками вздымалась высокая церковь, а на автобусной остановке нас ждали местные. Мы сбрасывали им сумку или таинственный сверток, зашитый в мешковину, и, выполнив цивилизаторскую миссию, уезжали. Женщины сидели у дверей на низких табуретах, занимаясь шитьем или плетением кружев, и

отрывались от своих занятий, чтобы мельком взглянуть на нас.

Наконец мы остановились у подножия большого холма, я выбрался из автобуса и огляделся. Я узрел город Толедо, устроившийся на отдых в торжественном сиянии клонящегося к закату дня — как старый рыцарь с мечом на коленях. Город складывался из ярусов — бурлящая масса черепичных крыш, из которой взлетали в синее небо башни церквей. Он походил на горный городок в Италии, только проявлялся намного резче, потому что здесь с террас не поднимались кипарисы. Автобус словно подобрался для последнего рывка и, повернув за мавританскими воротами, начал карабкаться на холм внутри Толедо.

Мы остановились на старинной площади, где толедцы потягивали кофе и ели мороженое в кафе под аркадой. Счастливая, счастливая Испания, где всегда есть время попить кофе, где быть занятым — не добродетель! В ряд с нами на мостовой стояли другие автобусы — один из Севильи, — и все имели вид карет, ожидающих возниц, чтобы увезти новую группу. Вон там, практически наверняка, стояли дедушка и бабушка в лучших черных нарядах; они махали платочками в окно автобуса в экстазе семейного благоговения, и когда *los niños* порскнули из автобуса, старички схватили внучат в объятия с возгласами восторга.

Здесь не было такой бессмыслицы, как такси. Коридорный из отеля повесил мою сумку на плечо и повел меня через площадь по улочке, узкой, как нож, где балконы почти встречались над головой. Мальчик шел все вперед и вверх по мостовой — к отелю на улице столь же узкой, как и все остальные. Стеная, я поднялся на пять лестничных пролетов; но наградой мне стала комната, с балкона которой я мог видеть, за крышей многоквартирного дома напротив, большой коричневый ломоть Толедо, его башни и купола, позлащенные

сидящимся солнцем. Затем начали звонить колокола церквей — не какие-нибудь нежные колокольчики или куранты, но низкочувственные, весьма гневные католические колокола. Девушка в мансарде напротив, с завитками блестящих смоляных волос по плечам, отодвинула занавеску, улыбнулась мне и кокетливо задернула занавеску обратно. Я услышал откуда-то снизу несомненный звук природы — странный, показалось мне, для Толедо: вопль сиамского кота. Наконец я нашел источник шума на балконе слева: кот сидел, посылая в мир резкий, почти младенческий вопль. Звон колоколов продолжал гудеть над Толедо и течь настойчивой, вибрирующей рекой по каньонам его улиц, ясно говоря: «Внемлите, несчастные грешники, вспомните Славу Божию!»

§ 2

Было уже темно, и я решил, что хорошо бы пройтись до Пласа де Сокодовер и выпить кофе. Я нашел столик на краю мостовой и стал разглядывать толпу — уже настало время вечернего *paseo*. Кто бы мог вообразить, что в Толедо столько смуглых и темноволосых, улыбчивых девушек в ярких летних платьях, изящно обутых, с прекрасно уложенными волосами — или столько бесшляпых юнцов и молодых людей?! Они расхаживали по двое, трое и четверо, девушки отдельно, юноши отдельно, но тут и там я замечал девушку и юношу, достигших возраста *novio* («novio» значит «жених») и идущих вместе, не за ручку — конечно же, нет, — но с ощущением покорности с ее стороны и мужского чувства обладания — с его.

Все население Толедо, казалось, собралось на площади. Солдаты Национальной гвардии смешивались с толпой; пара тех мохнатых широкополых шляп, какие

носят испанские священники, проплывала мимо, медленно и величественно, как две собольих баржи, влекомые куда-то по морю блестящих волос. Забавно наблюдать, как испанцы разговаривают на улицах. Они не способны идти рядом и разговаривать, не глядя друг на друга. Им непременно надо касаться плеча собеседника или легонько теревить лацкан. И очень важно отметить также воздействие их слов на другое человеческое существо. Национальное драматическое чувство требует публики, и собеседники меняются ролями каждые несколько минут.

Я решил прогуляться до собора. Всего в нескольких ярдах от освещенной площади, где бурлила жизнь, я оказался в уходящих вниз туннелях, жутковато освещенных настенными лампами там, где улицы пересекали одна другую. Свет падал пучками, озаряя несколько ярдов булыжников, на которых кошки, урча, как динамо-машины, совершали свой более статичный, но и более откровенный *paseo*. Высокие стены из массивного камня окружили меня — и небо вверху, лишь чуточку светлее уличной темноты, было шириной не более двух пальцев. Радость и тепло освещенных окон отсутствовали вовсе, поскольку эти старые здания повернуты ликами внутрь, во двор. Толедо может напомнить Дамаск или Алеппо, но большинство европейских городов были похожи на него в средние века. Трудно поверить, что за каждым из этих утыканных ржавыми гвоздями массивных ворот, похожих на ворота тюрьмы, лежит яркий *patio*^[29] с колодцем в центре — наследником римского имплювия^[30], — с геранями в горшках, несколькими пальмами и, может быть, даже с нашей старой подругой аспидистрой, которая в Толедо утрачивает последнюю связь с лондонской Лабурнум-авеню.

Я шел некоторое время, прежде чем понял, что заблудился. Вокруг не было ни одного человека, у кого я мог бы спросить дорогу. Единственное, что я мог сделать, — продолжать идти и держаться более или менее широких улиц. Вне света фонаря около переулка, наталкивающего на мысли об убийствах, стоял человек, и было в нем и в запахе этого места, а также в том, как выглядели старые дома, словно притворявшиеся спящими, что-то, не позволившее мне завязать разговор; я продолжал брести вперед. Вскоре я понял, что этот тип идет за мной, и в таком месте и в такое время это вызвало во мне противное жутковатое ощущение — разумеется, совершенно нелепое. Однако я резко отступил к воротам и закурил, ожидая, когда человек пройдет вперед. Я продолжал скитаться во тьме, пока не пришел к большому темному зданию с открытыми воротами, где во дворе горел слабый свет. Я вошел, надеясь встретить ночного сторожа, но внутри никого не было. У двери я увидел веревку звонка и тихонько потянул за нее, абсолютно не готовый к столь бурной реакции: внутри басовито забрякал злобный колокольчик. Только тогда я заметил, что это — женский монастырь. Рядом с дверью имелся один из тех вращающихся лотков, куда кладут письма или продукты и которые поворачиваются, не открывая взору снаружи тех, кто находится внутри. Было глупо с моей стороны не заметить этого сразу. А теперь я, похоже, перебудил весь монастырь.

Весьма неудобная ситуация. Красться на цыпочках прочь — как мальчишка, сыгравший дурную шутку, — было бы трусостью; кроме того, жизнь учит нас, что лучше оставаться на месте и встречать свои ошибки лицом к лицу. Минуты шли, и я надеялся вопреки всему, что не потревожил святых женщин, но увы! Скоро я услышал приближающееся шлепанье тапочек по каменному коридору, и решетка поднялась. Голос

спросил меня, кто я и чего хочу. Я как можно почтительнее извинился за звонок и сказал, что я путешественник, заблудившийся по дороге к собору. Невидимая монахиня, секунду обдумав это и посмаковав мой испанский, сказала на приемлемом английском: «Вы уже совсем близко. Просто поверните за угол, потом во вторую улицу слева — и увидите башню».

На маленькой площади сбоку от собора под раскидистым деревом старый крестьянин строил из сотен арбузов зеленую пирамиду. Он привез их из деревни и готовил к утреннему рынку. Он поставил ограду, чтобы не дать арбузам раскатиться, а потом, удовлетворенный, расстелил коврик на земле, укрылся одеялом, свернулся калачиком в свете фонаря и погрузился в сон. Я отправился обратно на Пласа де Сокодовер, где все еще продолжался *paseo*. Выпил большой стакан какого-то холодного напитка и отправился спать.

§ 3

Толедский кафедральный собор напоминает о веке поэзии, когда чудесное, загадочное и прекрасное могло внезапно случиться с каждым. В те времена в Англии святой Кутберт был епископом Линдисфарна, а Кэдмон монашествовал в Уитби; тогда маленькую часовню возле Темзы, которая станет кафедральным собором Западного монастыря — Вестминстера, — только-только освятил Меллит, первый епископ Лондона, а другую небольшую церковь, посвященную святому Павлу, построили на Ладгейт-Хилл на пожертвования Этельберта, короля Кента. В то далекое время в Испании римские города еще стояли невредимыми, и готские короли, увешанные драгоценностями, скакали

сквозь закат Западной Римской империи, одетые как императоры Византии.

В то время стояла в Толедо одна из тех маленьких церквушек, которые до сих пор находят в глуши на севере Испании: массивные, круглоарчатые, с аркадами, покрытые чопорными фигурами готических святых. И епископом этой церкви в год от Рождества Христова 666-й был святой Ильдефонс, или Ильдефонсо. Говорят, что как-то ночью, в заутреню — в те дни заутреню пели в полночь, — внезапно на епископском месте появилась женщина, и было видно с первого взгляда, что это сама Пресвятая Дева спустилась с небес. Святой Ильдефонс только что написал великолепный трактат, убеждающий сомневавшихся в непорочности Богородицы, и все решили, что она пришла на землю благословить и вознаградить своего защитника. Как раз в тот миг, когда зажигают свечи перед девятым поучением, когда предстоятель должен надевать облачение, Богородица поднялась со своего места и покрыла святого богатыми ризами, сказав, что те «пришли из сокровищницы Сына Ее».

Люди, которые не верят в эту историю, указывали, что боги и богини Греции часто появлялись среди своих почитателей и иногда оставляли после себя подарки в виде одежды, такие как *perlum*^[31] Артемиды или *cestus*^[32] Афродиты; это предполагает, конечно, что Пресвятая Дева следовала давно проторенным путем. Те же, кто верит в легенду — а таких много до сих пор, — отправляются в Толедский кафедральный собор, чтобы прикоснуться к обнесенной оградой мраморной колонне, которая стоит там, где находился алтарь первой церкви тринадцать веков назад. Черная впадина протерта на мраморе миллионами пальцев верующих, и пока стоишь, разглядывая эту святыню, обязательно кто-нибудь подойдет, преклонит колена, коснется

камня, перекрестится и снова растворится в обширных пространствах собора. В течение веков память о маленьком участке каменного пола не утрачивалась, хотя первую церковь разрушили мавры в 712 году и воздвигли на ее месте мечеть; мечеть же уничтожили в 1086 году и построили здесь церковь, которая, в свою очередь, была снесена в 1227 году, чтобы освободить место для нынешнего собора. Перед этими изгибами чудовищной реки времени разум туманится и приходит в смятение — и можно только подивиться твердости христианской памяти.

Я пошел на раннюю мессу в собор, где древняя жертва предлагалась в боковом приделе, сиявшем золотом в огромной пустоте молчаливой церкви. В другой день я сходил на торжественную мессу. Я увидел процессию, выходящую из ризницы; во главе шел жезлоносец в красной ризе и кудрявом белом парике. Позади него шел несущий крест, между двумя причетниками, далее хор, каноники, по двое, затем иподьякон, дьякон и предстоятель в расшитой ризе. Хор и каноники, повернув направо, поднялись на *coro*^[33] и прошли на свои места под современной резьбой, изображающей падение Гранады; предстоятель повернул налево, к алтарю, пройдя за изящную, кованого железа ширму, сделанную в 1548 году Франсиско де Вильяльпандо и некогда столь обильно посеребренную, как рассказал мне ризничий, что ее покрасили в черный цвет, чтобы спасти от наполеоновской армии. Торжественная месса началась.

Благодаря тщательным расчетам месса заканчивается как раз перед тем, как мучительный визг огромной двери сообщит, что первая группа нетерпеливых и любопытных туристов из Мадрида просочилась в темноту собора. Вежливый, но неумолимый чиновник стоит около дверей, дабы

проследить, чтобы женские головы, руки и ноги были надлежащим образом прикрыты. Официально он известен как *silenciarlo*, «безмолвный», а в народе — как *azotaperros*, или «побиватель собак», но куда более утомительна, чем обе эти функции, одежная цензура. По несколько раз на дню случается так, что женщине приходится одалживать пиджак своего мужа, закрывать руки — или изображать церковную вуаль из шарфа, а то и носового платка.

— Но что вы можете поделать с их ногами? — спросил я, обменявшись с *silenciarlo* понюшкой табаку.

Он поднял плечи (шея словно совсем исчезла), развел руками в апостольском жесте молитвы и так стоял секунду, будто распятый.

— Ничего нельзя поделать, — признал он, — кроме как запретить войти в собор. Удивительно, однако, что худшие нарушители дисциплины — не протестанты, а французские католики.

Необъятный сумрак наполняет все испанские соборы, и в некоторых из них он сгущается чуть ли не до ночной темноты. Толедский собор — один из самых светлых, и в полдень там почти так же светло, как в Йоркском соборе или в Вестминстерском аббатстве. С *capilla mayor*^[34] на востоке и примерно с двадцатью капеллами, протянувшимися в практически ненарушаемой последовательности вдоль остальных трех сторон здания, причем каждая капелла является самостоятельной маленькой церковью, собор столь переполнен резными украшениями и памятниками различных периодов, что трудно понять, куда смотреть. Надеюсь, не слишком непочтительно подумать, как я это сделал, что большой средневековый собор в своем расцвете, сияющий двойной аркадой капелл, немного походит на небесный рынок, чьим товаром является бессмертие, а монетой — вера. Те, кто знакомы только с

готическими соборами, прошедшими Реформацию и Французскую революцию, должно быть, удивляются, когда в Испании оказываются лицом к лицу с нетронутыми памятниками эпохи искренней веры. Толедский собор украшали художники со всей Европы: французы, фламандцы, немцы, итальянцы — и даже англичане; мне сказали, что шесть великолепных подсвечников на алтаре были сделаны в протестантском Лондоне в восемнадцатом веке.

Я проводил десять минут каждый день, сидя между *coro* и алтарем и глядя на огромный *retablo*^[35], что поднимается ярусами, такими золочеными средневековыми сталактитами, — и в каждом его ряду запечатлена сцена Страстей Господних. Подобные великолепные произведения — а их в Испании сотни, — в которых резчики, живописцы и позолотчики собрали огромное количество современных им горожан в священных картинах, чрезвычайно сложны и утомительны для рассмотрения; думаю, тут хорошо быть слегка близоруким, тогда впечатление должно получаться как от роскошного гобелена. Каждое маленькое поле или сцена — столь чарующее окошко в жизнь Средневековья, что зритель выдерживает длительное и значительное неудобство, разгадывая эту форму искусства, которая в своих попытках представить ряд связанных между собой событий не совершенствовалась до самого изобретения кинематографа. В средние века люди, не умевшие читать, рассматривали *retablo* почти так же, как мы разглядываем иллюстрированный журнал.

Три древних короля Испании похоронены в алтаре, как и великий кардинал Мендоса, «третий король», как его называли, времен Фердинанда и Изабеллы. Немного трудно простить его преосвященству упорствование в желании быть погребенным именно здесь: ведь чтобы

сделать это, пришлось разобрать чудесной работы северную стену, и, возможно, тогда погиб оркестр ангелов. Половина оркестра, по счастью, еще стоит, венчая башенки южной стены, — и что это за очаровательный оркестр! Каждый ангел — маленькая раскрашенная фигурка около двух футов высотой, все облачены в белые свободные одеяния, ниспадающие до самых пальцев ангельских ножек, их крылья аккуратно сложены: ангелы ждут стука палочки небесного дирижера, прежде чем заиграть на флейтах и трубах, которые держат у губ, ударить в цимбалы, пройти по струнам арфы и загудеть инструментом, который я решил считать *viola da gamba*^[36].

Среди статуй святых и епископов около главного алтаря есть особенный гость; однако трудно представить, что ему вообще следует здесь находиться. Он мавр, ненавистный неверный, гордо и прямо стоящий посреди людей Господа в одной из наиболее почитаемых ниш собора. Служитель объяснил присутствие этой статуи интереснейшей историей.

Когда Альфонсо VI принял капитуляцию Толедо в 1085 году, весть об этом разлетелась по всему христианскому миру, и люди возрадовались, узнав, что древняя столица готической Испании снова будет христианским городом после трехсот семидесяти лет мавританского правления. Население здесь было смешанное: арабы, христиане и евреи, — и, чтобы умиротворить арабов, Альфонсо заключил джентльменское соглашение с мавританским правителем, пообещав, что к большой мечети отнесутся с уважением и мусульманам по-прежнему будет позволено отправлять там службы. Альфонсо почти сразу отвлекли другие дела, и едва это произошло, французская королева и французский же епископ отменили королевское обещание. Королевой была

Констанция, дочь Роберта Бургундского, а епископом — Бернар, француз, ставший первым архиепископом Толедским. Когда король вернулся и обнаружил солдат, занявших мечеть, он так разгневался, что угрожал сжечь епископа на костре и, как гласит легенда, сделал бы это, если бы не велеречивые мольбы ученого факиха Абу Валида, который упросил оставить епископу жизнь. Тем не менее королевский гнев не зашел настолько далеко, чтобы передать мечеть обратно мусульманам; но когда ее разрушили, а на этом месте построили собор, статую великодушного Абу Валида поместили среди святых. Я полагаю, он — единственный столь чтимый неверный во всей Испании.

Среди многих статуй Пресвятой Девы в Толедо есть одна действительно великолепная — средневековая французская мраморная статуя, известная как *Nuestra Señora la Blanca*, Белая Мадонна. Человеческого роста, в короне, одетая в платье дамы четырнадцатого века, она стоит, держа Иисуса на сгибе левой руки, а правой поддерживая Его тело — пальцы распростерты на Его груди: положение, которое естественно принимает рука любого, кто когда-либо держал младенца. Дитя протянуло правую ручонку под подбородок матери — впечатление совершенно очаровательное. Первая месса дня всегда читается перед этой Богородицей в ее алтаре на *coro*. Впрочем, самая почитаемая Богоматерь, та самая Богородица Толедская, — не эта изящная Белая Мадонна в *capilla mayor*, но *La Virgen del Sagrario*, Мадонна Алтаря, у которой собственная капелла в северном приделе.

Она виднеется над алтарем, облаченная в усыпанные драгоценностями одеяния из старинной парчи и выпуклую серебряную корону; Младенец одет в маленькую парчовую мантию и маленькую корону. Все, что можно рассмотреть — а эта статуя является одной из самых чудотворных Мадонн Испании, — это

крошечный овал ее лица, потемневший от многовекового воскурения фимиама. Я видел фотографию статуи без облачения, она чрезвычайно старой работы; по крайней мере, Христос — с короткими волосами, в тоге и сандалиях — может быть чуть ли не римским.

La Virgen del Sagrario, пожалуй, первая действительно испанская Мадонна, одетая и коронованная в традиционной манере, которую отмечают многие путешественники; но в испанской глубинке обнаруживаются другие, в городских и в деревенских церквях, — все в тех же одеяниях, ниспадающих от плеч широким конусом. Каждый город в Испании желает верить, что его Богородица одета богаче всех в стране, и всегда с гордостью монах или священник поспешно вытаскивает сундук за сундуком, чтобы показать посетителям содержимое ее гардероба. В Толедо я слушал священника, который серьезно объяснял группе туристов, что мантии *La Virgen del Sagrario* были самыми драгоценными и изысканными в стране и ничего столь прекрасного не существовало больше нигде. Затем он помолчал секунду и с сожалением закончил: «Разве что, быть может, в монастыре Пресвятой Девы Гуадалупской в Эстремадуре».

— Как удивительно! — услышал я шепот одной англичанки, обращенный к ее компаньонке. — Все эти расшитые одежды — для статуи!

Я заметил, что многих английских католиков приводит в некоторое смущение испанская практика одевания Богородицы, «словно Она — кукла»; но если это дополнение священного образа призвано вызывать благоговение и почтение, тогда я считаю эту практику полностью оправданной, поскольку загадочные Богоматери, по моему мнению, — одно из самых впечатляющих и незабываемых зрелищ в Испании. Этот

обычай также освящен неисчислимой древностью. Древние египтяне не только одевали статуи своих богов, но подкрашивали их лица, и мы знаем, что божества Греции наряжали в великолепные торжественные одежды; существовали даже специальные чиновники, чьей обязанностью было одевать древнюю статую Афины Полии на Акрополе. Статуе Геры на Самосе принадлежал обширный гардероб из многих цветных одежд — белых, синих, алых, пурпурных и пестрых, чьи названия и цвета сохранились в записях. Следует также сказать, что те королевы Испании, которые делали мантии для статуй Богоматери из собственных парадных одежд, также следовали обычаю, практиковавшемуся в античном мире.

Поэтому вполне оправданно человеку, смотрящему на одетых Мадонн Испании, их мантии кажутся византийскими, короны создают атмосферу безвременья, и не всегда легко удержаться разумом в христианской эре, когда мысль летит, пронзая столетия.

Я посетил сокровищницу, с ее золотом и серебром, ее Эль Греко и Гойей, ее готическими сундуками, набитыми огромными необработанными камнями, и мне, как и всем прочим, поведали, что огромная дароносица, которая весит около ста пятидесяти килограммов, сделана из первого золота, привезенного из Америки и преподнесенного Колумбом королеве Изабелле. Эта история вводит в заблуждение. Внутри большой дароносицы находится меньшая, достаточного размера только для того, чтобы вместить чашу для святого причастия, и именно она сделана из золота, которое добыто в Америке — или где-то еще; в любом случае, она пришла из сокровищницы королевы в те времена, когда первое американское золото потекло в Испанию. Каноник рассказал мне, как во время гражданской

войны бесценные сокровища собора выносили в величайшей тайне и прятали в скальных туннелях, которые тянутся лабиринтом под так называемым домом Эль Греко. В этой жуткой могиле — один из многих известных толедских колдунов использовал туннели для своих экспериментов в средние века — сокровища спрятали столь удачно, что, говорят, некоторые так и остались под землей. Каноник упомянул вскользь, что семьдесят или восемьдесят священников были убиты коммунистами в Толедо.

Я прошел в верхнюю часть крытой галереи и спросил старую женщину, вязавшую на солнышке, где я могу увидеть Гигантонов. Она громко крикнула: «Амелия!», и из-за угла появилась жизнерадостная женщина со связкой ключей. Она отперла комнату наподобие тех, где плотники хранят декорации, и я увидел вдоль стен фигуры — некоторые около двадцати футов высотой — великанов и великанш, которых носят на народных церковных празднествах вроде праздника Тела Христова. Главные герои, конечно же, Фердинанд и Изабелла, в коронах и королевских одеяниях, и мавры с тюрбанами и чудовищной величины ятаганами. Некоторые из этих фигур прекрасно скроены, а тела всегда сделаны из легкого камыша или лозы, так чтобы их можно было нести по улицам с помощью человека, стоящего внутри каркаса. Старые Гог и Магог, которые погибли, когда лондонский Гилдхолл загорелся от бомбы, также имели тела из лозы, чтобы они могли «идти» в процессии, а новые Гог и Магог сделаны из прочного дерева. Гиганты Толедо имеют разнообразный двор из *Cabezudos*, или Большеголовых: это огромные маски из папье-маше, которые надевают на плечи. Они обычно представляют собой карикатуры на человеческие типы, всегда великолепно раскрашены и часто ухмыляются весьма устрашающим образом; с ними надевают особую одежду — бывает даже,

прекрасные костюмы и платья из парчи восемнадцатого века. Во время праздника Большоголовые ходят в толпе и преследуют людей, а некоторые из них носят с собой пузыри, которыми шлепают девушек. Мертвенное подобие жизни и застывшие улыбки делают *Cabezudos* безгранично более пугающими, чем любой фильм ужасов.

Тысячи этих чрезвычайно горючих фигур спалили во многих странах в ранние дни Реформации, поскольку праздник Тела Христова был одним из первых церковных празднеств, которые запретил Лютер. То тут, то там встречаешь соломенного великана в протестантской стране, оставшегося от средних веков и спасшегося, вероятно, благодаря тому, что его домом была городская ратуша, а не церковь. Помню, к примеру, чудесного гиганта героического типа в старой палате мер и весов в Амстердаме.

Амелия оказалась весьма разговорчивой особой и назвала мне имена всех великанов и их жен. Я спросил, слышала ли она когда-нибудь об Анне Болейн. Она покачала головой. Я спросил еще раз, но на этот раз придал имени испанское звучание: Ана Болена. О, да, конечно, она знает Ану Болену! Все в Толедо знают Ану Болену! Если мне интересно, она покажет мне Ану Болену в конце комнаты. Она провела меня к холщовому дракону, и на спине этого создания сидела уродливая маленькая кукла с растрепанными волосами, одетая в какую-то старую цветастую тряпку. Это была Анна Болейн. Чтобы показать мне, как дракон и Ана Болена выступали в процессии, Амелия влезла в каркас под холстиной. Раздался громкий треск, и дракон внезапно вытянул шею, высунул язык и втянув обратно, и в то же самое время Ана Болена заплясала из стороны в сторону на его спине. Я спросил Амелию, знает ли она, кем была Ана Болена. Амелия ответила, что всегда слышала, что это такая злая женщина, которой

пришлось ездить на спине дьявольского дракона, потому что она совершила много тяжких грехов. Память о разводе Екатерины Арагонской и Реформации сохранилась в Толедо в форме этой безобразной маленькой куклы! Но Амелия также сказала, что это не первая Ана Болена. Старая Ана Болена не была уродливой, а наоборот, имела очень красивое личико, но во время одной из процессий ее голова отвалилась, и кто-то — возможно, турист — украл голову, пока та лежала на полке в ожидании ремонта. Найти ее не удалось. Бедная Ана Болена потеряла голову; где-то нашли уродливую головенку и приделали вместо старой.

Кальдерон выбрал Анну Болейн на роль злодейки в своей пьесе «La cisma de Inglaterra», и испанцы, с которыми я обсуждал ее память в Испании, вроде бы считают, что в некоторых частях страны оно до сих пор используется как ругательное слово для женщин со скверным характером, а один рассказал мне, что в Пуэбла-де-Санабрия в Галисии этим именем награждают ведьм. Но современная Испания то ли позабыла столь старые и болезненные события, то ли предпочитает видеть вторую жену Генриха VIII в роли соблазнительницы; как-то раз в мадридском кинотеатре я увидел мелькнувшее на экране рекламное объявление: мол, если хочешь быть красивой, нужно пользоваться губными помадами и кремами для лица марки «Ана Болена».

§ 4

До того, как начал изучать могилы Испании, я не осознавал, насколько весомы были притязания Филиппа II на английский трон. Полагаю, католический составитель генеалогий во времена Армады отдал бы

бесконечно большее предпочтение его кровной связи с домом Ланкастеров дальним связям Тюдоров и Елизаветы с домом Йорка; и возможно, окажись Армада действительно непобедимой, мы бы еще много услышали об этом.

Могила, побуждающая к подобным размышлениям, находится в боковой капелле Толедского кафедрального собора, которая называется *Capilla de los Reyes Nuevos*, капелла Новых Королей, — место, которое обычно заперто; но английскому гостю стоит заранее узнать достаточно прихотливые часы ее работы. По обеим сторонам двери стоят каменные рыдающие герольды в человеческий рост в украшенных гербами камзолах. Нечасто можно видеть герольда в слезах; обычно они имеют вид горделивый и дерзкий, дуют в трубы и надменно бросают вызов. Тем не менее эти герольды совершенно убиты горем, они застыли в позе скорби. Капелла невелика, и под надгробными арками находятся четыре могилы: Генриха II Кастильского по прозвищу Бастард, его жены Хуаны и их внуков, Генриха III Болезненного и его жены Екатерины Аленкастре — последняя фамилия легко может сбить с толку. А ведь это не кто иная, как Екатерина Ланкастер, дочь Джона Гонта, того самого сына Эдуарда III, который, хоть сам никогда и не был королем, стал предком стольких королей и королев.

Приключения Джона Гонта в Испании — необычная и захватывающая глава в англо-испанской истории. Они начались в 1366 году, когда Педро Жестокого сверг с кастильского престола его сводный брат, граф Энрике Трастамара. Педро бежал с дочерьми в Бордо, который тогда принадлежал англичанам, и убедил Черного Принца ходатайствовать за него перед Эдуардом III. Будучи в Бордо, дочери Педро, Констанция и Изабелла, повстречали двух братьев Черного Принца, Джона Гонта и Эдмунда Лэнгли. Все три брата приняли участие

в экспедиции, которая пересекла Пиренеи и успешно вернула Педро на трон. Но через два года незаконнорожденный Энрике снова объявился в Испании, произошла схватка в шатре, Педро закололи кинжалом, а Изабелла и Констанция бежали с англичанами.

Джон Гонт, чья первая жена, Бланш Ланкастер, умерла, женился на Констанции Кастильской, а его брат, Эдмунд Лэнгли, женился на Изабелле. Через двенадцать лет Джон Гонт и Констанция привели в Испанию английскую армию, чтобы заявить о своем праве на трон Кастилии, хотя экспедиция окончилась не войной, а свадебными колоколами. Они променяли престол на свадьбу их дочери Екатерины с Генрихом III Кастильским. Это и есть «Екатерина Аленкастре», похороненная в Толедо, женщина, которая в детстве жила в «Савойе» и видела Стрэнд в те дни, когда Лондон был

И мал, и чист, и бел,
И Темзы вдоль садами зеленел^[37].

Екатерина Ланкастер знавала Джеффри Чосера, который наверняка много раз держал ее на коленях, и возможно, преданная и многожды оклеветанная Екатерина Суинфорд — свояченица Джеффри Чосера и любовница отца юной принцессы — была ее гувернанткой. Девочка могла помнить переполох во время восстания Уота Тайлера и разграбление дворца ее отца на Стрэнде. Может быть, ей рассказывали, как храбрый юный Ричард Бордоский выехал навстречу Уоту Тайлеру и бунтовщикам, и прежде чем покинуть Англию, она могла видеть юного короля в краткий момент его счастья с возлюбленной Анной Богемской.

Странные мысли в Толедском соборе, где человек вроде бы должен думать только об Альфонсах и Мендосах!

Екатерине не суждена была счастливая жизнь в Испании. Ее муж был инвалидом, и, как и многие другие королевы Испании, она осталась с ребенком-наследником престола и жила в постоянном страхе, что его у нее отнимут. Но этого не произошло. Ее сын стал Хуаном II Кастильским и отцом величайшей из испанских королев — Изабеллы. Интересная мысль: бабушка Изабеллы — дочь Джона Гонта. С материнской стороны в Изабелле тоже присутствовала английская кровь, поскольку ее бабушка по матери была другой дочерью Джона Гонта, Филиппой, королевой Португалии.

Хотя этот брак был чрезвычайно важным, его превзошел по историческому значению брак младшей дочери Педро Жестокого, беглой Изабеллы с братом Джона Гонта, Эдмундом Лэнгли. Они стали предками Эдуарда IV, Эдуарда V, Ричарда III и Елизаветы Йоркской, на которой женился Генрих VII, чтобы связью с домом Йорка подкрепить свои притязания на трон. Так испанская кровь, весьма разбавленная к тому времени, перешла к Генриху VIII и Елизавете. Если вам захочется увидеть в Англии могилу, в которой Эдмунд Лэнгли лежит рядом с дочерью Педро Жестокого, то отправляйтесь в приходскую церковь Всех святых в Кингз-Лэнгли в Хартфордшире; там вы их и найдете. И, стоя под церковными сводами, поразмыслите, подобно мне, над странной цепью событий и жизненных переплетений, которые связывают Хартфордшир с династическими войнами Кастилии.

На улицах Толедо часто слышен настойчивый перестук; если пойти на звук, вы попадете в мастерскую, где человек в кожаном фартуке и со щипцами в руках стоит у горна. Он вытаскивает раскаленное докрасна лезвие и переносит его на наковальню, а помощник начинает колотить по нему молотом. Этот звук слышится в Толедо с римских времен.

Однажды днем стук привел меня к городской стене и маленькому дому с садом, полным бархатцев и гераней. Рядом находилась фабрика мечей Висенте Мартина Бермехо, который оказался дома и пришел в восторг, услышав, что я хочу увидеть, как делаются мечи. Первым делом он провел меня в маленькую комнату, где покупателям показывают продукты мастерской, от мечей до маникюрных ножниц — все сделано и украшено чеканкой в этом доме. Там были современные палаши, рапиры, парадные мечи, древние мечи для туристов, которые действительно покупают их и как-то ухитряются вывезти в свои страны, и, конечно же, матадорские *estoques*^[38] — шпаги с обмотанной красной лентой рукоятью и клинком, сужающимся на последних четырех дюймах по плавной кривой.

Чтобы показать мне, как великолепно закалены толедские мечи, сеньор Бермехо согнул один в кольцо, так что острие коснулось рукояти. Эти прекрасные клинки, сказал он, сделаны из стали из Бильбао. Именно их подразумевал Фальстаф в «Виндзорских кумушках», когда сравнивал себя, согнутого пополам в белье в корзине, с «бильбо» — «добрым испанским клинком», скрюченным «на крошечном расстоянии, рукоять к острию и пятки к голове»^[39]; толедские клинки пользовались заслуженным уважением, и Шекспир наверняка их видел. Поэт Марциал — испанец, родившийся в Бильбале в Арагоне (теперь

достопримечательность римской эпохи), близ Калатайюда, — кое-что знал об изготовлении мечей, одном из промыслов его родины. Он рассказывает нам в одной из эпиграмм, что в его времена кузнецы доставали шипящие клинки из горна и погружали их в холодные, словно лед, воды Салона. Возможно, отсюда происходит шекспировская строчка «испанский меч студеного закала»^[40], произнесенная Отелло, который держал такое оружие у себя в спальне. Марциал еще раз ссылается на закаливающие свойства вод Салона в той эпиграмме, адресованной его земляку, испанцу Лициниану, в которой вспоминает сцены своей молодости и счастливую сельскую жизнь римской Испании.

Мы прошли в дверь и оказались в кузнице, где груды «добрых испанских клинков», готовых к закалке, лежали, словно палки, связками у стены. Сноровисто и изящно мастера выхватывали раскаленные докрасна клинки из огня, создавая впечатление, будто подбрасывают клинок в воздухе и ловят щипцами на лету. Я не удивился, когда мне сказали, что изготовление мечей в Толедо — занятие, которое передается по наследству и существует с незапамятных времен. Поймав раскаленные лезвия, оружейники переносили их на наковальни, где начинали бить по ним, удар за ударом, с точностью, доступной лишь большим мастерам: они знают, насколько сильно надо бить по клинку — точно так же, как могут по цвету раскаленного металла определить точный момент вытаскивания меча из горна. Здешние оружейники говорят о Тахо то же самое, что Марциал писал о Халоне. Будто бы именно вода Тахо придает толедской стали ее великолепную гибкость, но мы-то прекрасно знаем, что сделало толедский меч лучшим оружием в своем роде: чудесная ремесленная традиция, которая

старше самой древней готической церкви в Испании и была древним искусством уже в то время, когда римляне построили амфитеатр в Мериде. Я не сомневаюсь, впрочем, что, если заменить несколько галлонов воды Тахо водой из Темзы, клинки получились бы столь же великолепными! Самый простой способ закалить меч — в масле, но это не правильный и не самый старинный способ. Горячая сталь и холодная вода — вот рецепт, и так до сих пор и закаливают клинки в Толедо. Здесь куят шпаги для убийства быков, для американских охотников за сувенирами и для вечерней парадной формы членов Дипломатического корпуса, причем столь любовно, словно делают их для Сида.

В другой комнате мы обнаружили женщин и девушек, покрывающих чеканкой ножницы, ножи для бумаг, запонки, булавки для галстуков и множество других предметов, которые промышленность Толедо сейчас изготавливает для туристов, поскольку всем нужно как-то жить. Это искусство чеканки, несимпатичное мне, пришло в Толедо вместе с маврами в 711 году, и кажется странным, что ему выпало сохраниться до наших дней. То, что мы видим сегодня, — чеканка в ее самой дешевой и низкой форме. Узор насекается на металле, в него втирается краситель, так что узор выделяется на черном фоне. Настоящая чеканка, которая столь высоко ценилась в средние века, делалась вбиванием в металл золотой и серебряной проволоки.

Любопытные сведения о консерватизме испанских оружейников приводит дон Паскуаль де Гайангос в его примечаниях к «Истории» аль-Маккари. Он утверждает, что в Альбасете, в провинции Мурсия, несколько производителей ножниц, кинжалов и ножей сохранили мавританские методы в точности — возможно, считая их чисто декоративными. Гайангос видел в Лондоне

нож, на котором по одной стороне клинка шли слова на арабском: «Я непременно сокрушу врагов с помощью Божьей», а по обратной — по-испански: «Фабрика ножей Антонио Гонсалеса, Альбасете, 1705 год».

Распрощавшись с сеньором Бермехо, я увидел дорогой американский лимузин, чудом ухитрившийся проехать по узким улочкам; его окружала толпа людей. Все они пришли поглазеть на бледного, разодетого в пух и прах молодого человека с прилизанными волосами цвета воронова крыла и чахлыми бакенбардами на смуглых щеках. Юноша вышел из машины, вяло ответил на вздох восторга маленьким кивком, а затем медленно поднялся по ступенькам фабрики мечей. Это был, сказали мне, известный *matador*.

§ 6

Стена, которая до сих пор местами обрамляет Толедо, — средневековая, но в ней есть камни римские, готские и мавританские, так что это воистину зримое воплощение истории города. Я подумал, проходя мимо стены обжигающе жарким днем, что по цвету она точно такая же, как храмы, церкви и замки Сирии. Баальбек хранит тот же золотой отблеск, буровато-желтый, как пустыня; и такой же оттенок имеет Калат-Семан — монастырь, где совершал свой духовный подвиг святой Симеон Столпник; а также великий замок крестоносцев Крак де Шевалье. Стена Толедо до сих пор прочна и горделива — там, где еще сохранилась, — и я видел много бойниц, из которых лучник мог пустить стрелу и скрыться за машикулем. Моя тропа вела вниз, к Тахо, которая обнимает Толедо коричневой рукой со всех сторон, кроме севера. Здесь, на юго-западе, река протекает по ущелью, берега которого соединены узкой

дорожкой из золотистого камня Пуэнте-де-Сан-Мартин, мостом святого Мартина, чьи арки изящно выгибаются над водой, что плещется в сотне футов внизу.

Стоя на мосту, я видел внизу розовые тела мальчишек, то и дело плюхавшихся, словно лягушата, в Тахо с камней, а полные зависти младшие братья внимали их воплям и плеску на берегу. На дальней стороне моста земля поднималась раскаленными бурными уступами, там виднелся ряд белых домиков, идущий параллельно реке. На похожем мосту Эль Греко писал свой вид Толедо, который теперь находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке, — город на этой картине странно зеленый, на мой взгляд, потому, что ландшафт здесь обычно выгорает до бурого цвета, а также облачный. Буря, которую нарисовал Эль Греко, очевидно, была делом рук какого-то чародея, и в ее мертвенном свете белый-белый город выглядит обиталищем святых и волшебников.

За столами снаружи одного из домиков сидела веселая компания Санчо Панс, игравших во что-то азартное с помощью железных крышечек от бутылок минеральной воды. Я нашел свободный столик и был одарен кувшином белого вина, за который у меня спросили всего пять песет. Сидя и теньке, я смотрел на город, карабкающийся по холму всех оттенков бурого и достигающий высшей точки у гордых руин алькасара, где во времена гражданской войны солдат-христианин отказался повиноваться коммунистам, хотя знал, что ценой будет жизнь его сына, заложника в руках врагов; на колонны церкви Сан-Хуан-де-лос-Рейос, чьи стены увешаны кандалами, сбитыми с христианских рабов; на узкий мост, чья легенда — первая история, которую слышит приезжий в Толедо. Это история о супружеской верности и изобретательности: говорят, прежде чем мост был закончен, архитектор заболел и признался жене, что недооценил нагрузку на арки и потому

боится, что, когда уберут леса, сооружение рухнет в ущелье, унося с собой его репутацию. Жена велела ему не волноваться и уверяла, что все будет хорошо. Однажды ночью, возможно, под покровом эльгрековской бури, она прокралась к мосту и подожгла леса — мост обрушился: как посчитали, случайно. Архитектор пересмотрел расчеты, и быстро отстроенный заново мост стал гордостью Толедо. Но после этого разумность изменила архитекторской жене, и она призналась в своем грехе архиепископу Тенорию; а тот, вместо того чтобы проклясть женщину, поздравил ее мужа с верной и находчивой женой.

Есть и другая история о камнях неподалеку от моста. Здесь прелестная дева по имени Флоринда якобы любила купаться во времена последнего из готских королей, Родерика. Ее отцом был граф Юлиан, губернатор Сеуты — города на противоположном берегу пролива, в Африке, — который отослал дочь, по обычаю, ко двору королевы получать образование. Однажды король, застав Флоринду врасплох во время купания, взял ее силой, и девушка в печали отправила гонцов к отцу, чтобы он приехал за ней. Юлиан прибыл, но ничем не намекнул королю, что собирается отомстить за поруганную честь. Когда он приготовился уезжать с Флориндой, король попросил, чтобы ему из Африки прислали соколов особой породы, и Юлиан любезно согласился, сказав, что пошлет королю соколов, о каких тот и не мечтал. Вернувшись в Сеуту, он спланировал набег на Испанию с арабским правителем Африки, предложив наживку, от которой ни один араб не в состоянии отказаться: легкую добычу. Под командованием арабского полководца Тарика обещанные «соколы» прибыли в Испанию в 711 году, и Родерик, как Гарольд при Гастингсе, пал в битве. Вот таким романтическим образом, гласит легенда, начались те самые восемь веков арабской и

мавританской цивилизации, которые являются уникальным для Европы опытом Испании. Это событие отличает раннюю испанскую историю от других европейских стран; оно оставило темный отблеск в глазах ее женщин и придало грустный восточный лад ее музыке; среди прочего оно, возможно, заронило в сердцах испанцев то зернышко жестокости, которое регулярно поливается кровью в воскресные дни.

Мало кто из ученых сейчас верит в легенду о Флоринде и короле Родерике. Однако правда то, что поведение Родерика, узурпировавшего трон, вынудило часть вестготской аристократии пригласить в союзники арабов и изгнать негодного правителя. Предполагалось, что, когда все закончится, арабы вернутся в Африку, получив хорошую плату. Вестготы, грубые тевтонские вояки, гордились своими длинными волосами, питали склонность к массивным украшениям, утыканным драгоценными камнями размером с хороший леденец, и, как и англосаксы, предпочитали городу деревню. Они образовывали чужеземную аристократию, которая мало смешивалась с романизированными испанцами, жили в укрепленных поместьях и хуторах. Основная же масса населения продолжала жить в римских городах и ходить по мостовым — что испанцы делают до сих пор, хотя, казалось бы, римский дух из Испании давно должен был выветриться. Один авторитетный историк заметил, что страна тогда существовала в состоянии интеллектуальной нищеты, поскольку «почти никто не умел читать или писать; и не было для этого материалов. Пергамент был чересчур дорог, с грифельной доской слишком трудно обращаться, а подвоз папируса прекратился, когда мусульмане завоевали Египет в 639 году».

Тем не менее, хотя Испания вестготов могла показаться шокирующей Марциалу и Сенеке, помнившим цивилизованные времена, старинная

легенда о золотой Испании, богатой провинции Рима, все еще жила — по крайней мере, в ней сохранялось достаточно блеска, чтобы пробудить самые яркие и смелые надежды в умах арабских захватчиков, что со всей очевидностью доказывает речь, произнесенная перед войсками Тарика накануне вторжения.

Вы должны знать, — сказал арабский полководец, — что греческие девушки прекрасны, как гурии, их шеи, искрящиеся несчетными жемчугами и драгоценностями, их тела, одетые в туники из дорогих шелков, вышитых золотом, ждут вашего прибытия, развалившись на мягких диванах во дворцах венценосных владык и принцев... Вы знаете, что великие владыки этого острова желают усыновить вас и привязать к себе узами браков.

Далекие от мысли принести свет великой цивилизации в Испанию — как многие, возможно, считали до сих пор, — мусульмане явно пришли в восторг от идеи получить в свое распоряжение богатую и роскошную страну. Ссылка на испанцев как на «греков» показывает, что арабы объединяли жителей Испании с византийскими греками, чьи роскошные города наполняли их предков восхищением, когда те начинали свою карьеру завоевателей и рабителей.

Та же нотка благоговения и восторга повторяется в отчете о великой битве, определившей участь Испании, битве, в ходе которой Родерик, последний вестготский король, исчез, и никто не знал, что с ним случилось. «Мусульмане, — писал Ибн-аль-Асир, — нашли его белого коня, завязшего в трясине, с седлом из позолоченной оленьей замши, украшенным рубинами и изумрудами. Также они нашли его мантию из золотой парчи, расшитую жемчугом и рубинами...» Неподалеку

они обнаружили одну сандалию Родерика из серебряной парчи. Внимательность, с которой перечислены эти ценные детали, доказывает, как мне кажется, что, кроме обычной семитской любви к таким перечням, арабы остро чувствовали: они, чьи предки жили в шатрах из козьей шерсти, вступили в мир немыслимых богатств. Так вестготская Испания закончилась имеее с королем, который исчез неведомо куда, с украшенным драгоценностями седлом, золотой мантией и серебряной сандалией, а также лошадью без всадника на краю болота.

Арабское вторжение совпало по времени с расцветом династии Омейядов — халиф держал свой двор в Дамаске. Я часто слышал, как люди говорят «халиф», словно этот титул синонимичен титулу «султан». Но теоретически в одно время может быть только один халиф, глава ислама, потомок Пророка, хотя на практике нередко бывало несколько халифов, соперничавших за престол, как бывало и несколько соперничающих пап, притязавших на Рим. Именно при правлении этой могучей династии пала Испания, и арабским полководцам пришлось донести о победе халифу в Дамаске и отложить для него пятую часть награбленной добычи. Напоминает завоевание испанцами Мексики и Перу: Кортес и Писарро всегда тщательно заботились о «королевской пятине» из награбленного золота и откладывали часть добычи для Карла V, прежде чем делить остальное. Кортес имел обыкновение отчитываться своему монарху в Испании — как поступили и эмиры по отношению к халифу в Дамаске.

Арабские полководцы зависели от Дамаска еще примерно сорок пять лет, пока, после кровавого переворота, Омейяды не были свергнуты Аббасидами, а трон халифата не переместился из Дамаска в Багдад. Это знаменитая династия, к которой принадлежит и

Харун ар-Рашид, известный европейцам по сказкам «Тысячи и одной ночи». Аббасиды убили всех членов семьи Омейядов, кроме юноши по имени Абд ар-Рахман, который бежал и после многих романтических приключений решил переправиться в Испанию в надежде, что там остались верные свергнутой династии. Ему повезло: он нашел сторонников и поверг правящего эмира в битве, в которой, говорят, скакал на единственной пригодной для этого лошади, а в качестве знамени использовал размотанный зеленый тюрбан, привязанный к оголовку копья. Став эмиром Кордовы, он, естественно, не собирался хранить верность убийцам своей родни, и мусульманская Испания сделалась независимым государством. Единственная попытка призвать Абд ар-Рахмана к порядку была подавлена; обезглавив бунтовщиков, эмир законсервировал их головы с помощью соли и камфары и отослал в ящиках багдадскому халифу. В течение тридцати лет ему наследовали шесть эмиров, а затем величайший из его потомков, Абд ар-Рахман III, объявивший себя халифом по праву омейядской крови; мусульманская Испания стала известна как Кордовский халифат. На основу римской Испании, полученную арабами в наследство, наложился блистательные цивилизации Византии и мусульманского Востока. То был золотой век ислама. Халифы купались в величайшей роскоши, охраняемые пятью сотнями копейщиков-телохранителей. Они одевались в парчу с вытканными золотом именами и титулами и жили во дворцах и садах, которые, казалось, перенесли в Испанию Багдад «Тысячи и одной ночи». Каждый корабль, бросавший якорь в порту Севильи, привозил что-нибудь новенькое: художников, поэтов, сундуки с манускриптами, ученых из Багдада, певцов, великолепные коптские вышивки из Египта, золотой фонтан из Константинополя; конечно же, европейские

паломники, видевшие Кордову в те времена, считали ее чудом света — «жемчужиной вселенной».

Но неважно, насколько великолепным арабский мир выглядел в Испании или где-либо еще, — его всегда отравляли раскол и междоусобицы, и об арабе можно без сомнения сказать, повторяя пословицу, что он сам себе злейший враг. Блистательная эпоха Кордовского халифата продолжалась лишь чуть больше века, а затем халифат пал жертвой обычных ожесточенных и вздорных смут. Больше халифов в Испании не было. Вместо них были кордовские султаны двух разных династий, чье правление окончилось в 1225 году. Когда Фердинанд III захватил город, он получил всего лишь тень некогда прекрасной столицы халифата. Мусульманские силы переместились в Гранаду, где около двухсот пятидесяти лет султаны наследовали друг другу до разгрома, учиненного Фердинандом и Изабеллой в 1492 году.

Путешественник в Испании, возможно, обнаружит, что ему проще понять мавританскую Испанию, если он представит этот период как оккупацию, прошедшую четыре фазы развития: примерно сорок пять лет мусульманской колонии; сто тридцать лет независимого эмирата; сто лет халифата и двести пятьдесят лет на сильно уменьшившейся территории, управляемой мелкими султанами.

Против истории мусульманского Голиафа следует выставить историю христианского Давида. Бывали времена, когда сопротивление сарацинам оказывали лишь несколько воинов в пещере. С первыми успехами ряды воителей стали пополняться, на севере появились христианские королевства Астурия, Леон, Наварра, Арагон и графства Барселона и Кастилия; ими управляли короли и дворяне, которые нередко говорили по-арабски, носили тюрбаны и женились на мусульманках. Но не имеет значения, насколько

тесными были их связи с арабами: за их спиной стояли церковь, закон, язык, оставшийся от Рима, и чувство принадлежности к Европе. Внутренние раздоры, почти столь же яростные, как и те, что предали врага в их руки, мешали христианам уничтожить изолированный и потакавший своим прихотям оплот ислама несколько веков, но все-таки это им удалось.

Арабы в Испании, видимо, оказались приятными и терпимыми завоевателями. Да, они бывали жестокими и вспыльчивыми, особенно по отношению друг к другу: они могли украшать свои террасы цветами, высаженными в черепа врагов, или приказать муэдзину призывать к молитве с «минарета» в виде горы трупов, как в Леоне. Но они никогда не пытались искоренить христианство и не заставляли христиан носить выделяющую и унижающую их одежду, не запрещали колокольный звон и кресты, как случалось в других частях света. Они даже позволяли своим христианским врагам выкапывать кости их святых, если те покоились на мусульманской территории.

Арабы, которые не привезли с собой женщин, нашли в испанских дамах все, на что надеялись; и история, насколько мне известно, не говорит ни об одной женщине, выбросившейся из окна, чтобы не выходить замуж за араба или мавра. Примером, которому скоро последовали многие, стал первый эмир, Абд аль-Азиз, женившийся на Эгилоне, вдове короля Родерика. Она, говорят, укоряла нового мужа за недостаточность выказываемого ему уважения, поскольку все мусульмане равны перед законом. «Почему это, — спрашивала она, — я не вижу, чтобы люди возвеличивали тебя и поклонялись тебе, как готы поклонялись моему мужу, королю Родерику?» Эмир отвечал: «Потому что это противоречит нашей религии». Но жена настаивала на своем, и чтобы удовлетворить ее, эмиру пришлось пробить низкую

дверь перед троном, так что посетителям приходилось наклоняться, чтобы приблизиться к нему.

Через несколько поколений те султаны, в чьих гаремах было много галисиек, получили породу светловолосых и синеглазых арабов, и, говорят, некоторые из этих светлокожих мусульман так огорчались по поводу своей внешности, что завели привычку красить кожу в коричневый цвет. Естественно, на арабских правителей часто оказывали влияние христианские жены или любовницы. Прекрасная баскская дева по имени Аврора руководила халифом Хакамом II и продолжала вести государственные дела и после его смерти, при помощи великого воина аль-Мансура. Сильный аромат «Тысячи и одной ночи» пронизывает историю султана Севильи аль-Мутамида, который влюбился в девушку по имени Румайкийя: арабские хронисты говорят, что они оставались верны друг другу всю жизнь, и когда дворцовый переворот привел к падению аль-Мутамида, спутница поехала с ним в ссылку. Некоторые полагают, что она была христианской невольницей, и султан впервые увидел ее, прогуливаясь с другом у Гвадалкивира: совершая вечерний *paseo*, они по очереди сочиняли стихи о реке, пытаясь превзойти друг друга. Румайкийя, проходившая мимо в толпе, подслушала их и, говорят, вступила в игру столь ловко, что привлекла внимание юного принца; это привело к ее выкупу и прибытию во дворец в качестве королевской наложницы, а потом и жены. Аль-Мутамид находил великое удовольствие в потакании ее капризам, и забавная история рассказывает, как зимой, когда снег выпал на равнину Кордовы, Румайкийя пришла в такой восторг, что заставила мужа пообещать, что снег будет выпадать каждый год. Чтобы сдержать свое слово, султан, говорят, засадил равнину миндальными деревьями. Другая история, которая

скорее порадует арабский ум, чем наш, повествует, как Румайкийя однажды увидела женщин с молочными бидонами, бредущих по щиколотку в грязи, и, вернувшись во дворец, потребовала, чтобы ей и ее девушкам позволили сделать то же самое. Снисходительный аль-Мутамид приказал залить двор дворца по щиколотку смесью амбры, мускуса и камфары, замоченных в розовой воде, а затем выпустил во двор Румайкийю с девушками, снабдив их бидонами на веревках из тончайшего шелка.

Арабская жизнь с ее роскошью и полигамией обладала большой притягательностью для многих христиан. Первые короли и королевы Испании носили одежды, сотканые на мусульманских станках, и не протестовали против каемок, украшенных арабскими фразами. В двуязычной стране, какой стала Испания, арабскую литературу читали многие христиане, и даже национальный герой Сид часто носил арабское платье и пел арабские песни. Существует забавная история о суровом нормандском графе, который приехал в Испанию сражаться с неверными и пропал после взятия Бабастро в 1064 году. Его обнаружили наконец в арабском доме, который он присвоил, разлегшимся на диване, одетым в арабские одежды и окруженным поющими девушками. Ларцы с драгоценностями стояли открытыми, мебель была завешана дорогими шелками и парчой, а сам граф проводил время в таком окружении, о котором никто в Нормандии даже не мечтал!

Реконкиста Испании была не просто битвой белых и черных, суроволицых крестоносцев, объединившихся вокруг креста, и вечно бдительных последователей Пророка. Большую часть времени обе стороны вполне мило уживались и обменивались любезностями; но когда война разразилась, она велась с крайней решительностью и беспощадностью. С самого завоевания Испании и до распада халифата мусульмане

предпринимали весенние и осенние маневры на севере, вытапывали посевы весной и урожай осенью, совершали набеги на городки и монастыри, а затем возвращались на свою территорию. Это давало христианам время для передышки и восстановления, и обе стороны успокаивались до следующего набега. Войны «полноценной» пришлось дожидаться, пока молодые христианские королевства не переболеют внутренними раздорами и не будут готовы сражаться бок о бок.

В этой удивительной стране евреев, составлявших значительную часть испанского народа с тех пор, как иерусалимский Храм был разрушен Титом в 80 году, арабы обычно ценили и им доверяли. Самыми интересными людьми в оккупированной Испании были христиане, которые остались верны своей религии. Их называли мозарабами, или «как бы арабами», и мусульмане не преследовали их, потому что подушный налог был одним из главных источников государственного дохода. Эти христиане, запертые в оккупированной Испании и не подвергавшиеся внешнему воздействию, соблюдали ритуал, который для пришельцев с севера, попавшим под клунийское и другие французские влияния, казался почти ересью; не без тяжелой борьбы мозарабов наконец убедили отказаться от своей литургии. Мозарабская месса — одна из величайших литургических диковинок западной церкви, и в Испании до сих пор существует храм, в котором ее служат каждое утро: это не столько любопытный пережиток старины, сколько связь с теми христианами, которые соблюдали сей обряд в далекие дни эмиров и халифов. И этот храм — Толедский кафедральный собор.

Я пришел в часовню собора, где в девять тридцать каждое утро служат мозарабскую мессу. Маленький аколит в красном стихаре, слишком большом для него, стоял у дверей и выглядел совершенно ангельски — подобно всем этим маленьким испанским мальчикам, словно сошедшим с картин Мурильо, — пока он вдруг, подобрав стихарь до пояса, не убежал в капеллу, сверкая заплатанными штанами. Единственными, кроме меня, посетителями были пятеро молодых французских священников, которые рассказали мне, что изучают древние литургии и приехали в Испанию, чтобы увидеть своими глазами мозарабский обряд. Для французов в этом есть особенный интерес, сказали мне, поскольку этот обряд родственен галликанской литургии, которая была отменена во Франции Карлом Великим одиннадцать веков назад в пользу римского обряда. Когда внук Карла Великого Карл Лысый пожелал увидеть древний ритуал своих предков, он послал в Толедо за священниками, чтобы те отслужили мозарабскую мессу в его присутствии. Теперь этот удивительный пережиток западного христианства пришли посмотреть мы.

Мы вошли в часовню, огромную и пустую, выглядевшую слегка заброшенной. Она используется только для мозарабской мессы в течение примерно часа каждое утро, а потом запирается. Мы обнаружили, что посетители мессы должны занять места на скамьях вдоль стен в нескольких футах от ступенек алтаря, а хор стоит позади них, по другую сторону железной решетки. Я решил, что это неудобное расположение для человека, который, как я, понятия не имеет, когда преклонять колена или вставать, и решил поглядывать на французских священников, но они оказались столь же невежественны, сколь и я.

Вошел прислужник, подготовил алтарь и зажег свечи. Вошел священник, неся закрытый покровом

потир и дискос, и началась долгая переключка молитв и ответов между священником и хором позади нас, напомнившая мне бесконечные восточные литургии. Затем священник налил вино и воду в потир и благословил их, прежде чем начать то, что соответствовало интроиту^[41] римской мессы. «Глория» началась так же, как и на латыни, но сходство быстро исчезло, а молитвы здесь оказались длиннее. Затем священник принес в дар вино, после еще нескольких молитв умыл руки, и началась месса Верных. Затем прочли диптихи, которые в римской мессе сократились до одной молитвы, но здесь, как в восточной церкви, продолжались очень долго, с поминанием имен бесчисленных святых, мучеников и архиепископов Толедских. Я уловил такие имена, как Сатурнин и Раймунд, которые унесли мои мысли во времена римлян и вестготов. Другой первозданный обычай, который мы увидели, — вознесение молитвы за мир перед префацией, как делали в далекие времена и делают до сих пор в некоторых восточных церквях. Канон начался словами, которые идут почти в самом начале римской мессы: «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего»^[42], и перешел к молитве, которая соответствует префации римской мессы. Слова освящения были теми же, что и в римской мессе, но священник разломил облатку совершенно восточным образом, на девять маленьких частей, семь из которых он разложил на дискосе в виде креста, а два оставшихся поместил по правую сторону креста. Так этот древний обряд подошел к завершению.

Он был прост и красив, но очень длинен. Монахам Ключи, которые познакомились с этим обрядом, когда Альфонс VI отбил Толедо у мавров в 1085 году, он, должно быть, показался больше похожим на византийскую литургию, чем на что-либо западное, и

можно понять их горячее желание привести испанскую церковь в соответствие с римским канонem. С другой стороны, можно прочувствовать страстную приверженность мозарабов обряду, который они преданно соблюдали веками, даже под иностранным игом. История говорит, что они не соглашались на замену, пока оба обряда, римский и мозарабский, не пройдут испытания: сначала состязание между двумя заступниками, назначенными их представлять, а потом испытание огнем; и говорят, в обоих случаях победил мозарабский обряд. Римский же был введен королевским указом и силой оружия.

Французские священники были столь же очарованы обрядом, как и я. Признаться, я рассказал им кое-что, чего они не знали, и, полагаю, это самая любопытная вещь, какая известна мне о мозарабском молитвеннике (миссале). Оказывается, мозарабский обряд снова оживает в английской «Книге общей молитвы». Судя по всему, когда составлялся наш молитвенник, кардинал Хименес только что опубликовал мозарабскую литургию, и экземпляр, вероятно, попал в руки епископа Кранмера, на которого произвела глубокое впечатление красота молитв. Многие из них он или его сотрудники полностью перенесли из мозарабского ритуала в молитвенник. Наставления, начинающиеся словами: «Возлюбленные братья, Писание призывает нас...», — чисто мозарабские, а короткие молитвы — прямые переводы мозарабских или адаптированы с них, особенно рождественские молитвы, молитвы для первого воскресенья Великого поста и для дня святого Андрея. Французские священники были совершенно поражены и строчили в блокнотах, пока я описывал, как эта старинная — возможно, даже апостольская — литургия по странной прихоти судьбы снова обрела жизнь в книге протестантских молитв и стала частью

духовного и литературного наследия английского народа.

§ 8

Я отдал последний визит собору, «Погребению графа Оргаса» Эль Греко в церкви Санто-Томе, кафе на площади и, купив покрытый чеканкой нож для бумаг, сел на поезд в Мадрид. Среди посылок и писем, которые скопились в ожидании меня, был экземпляр книги Ричарда Форда «Впечатления из Испании», за которой я посылал в Лондон, возымев причуду прочитать ее в стране действия. Несмотря на привычку Форда писать так, словно он старый ипохондрик, я обнаружил, что эта книга идеальна для чтения перед сном в Испании.

Имя Ричарда Форда всплывает рано или поздно в любой современной книге об Испании, и его цитируют как сказавшего нечто мудрое, остроумное или язвительное о предметах, столь далеких друг от друга, как испанская церковная архитектура и использование чеснока в салатах. Кто же, может спросить читатель, был этот непогрешимый Форд и как он стал бесспорным авторитетом по Испании? Он жил в тот благословенный век, когда тысяча фунтов в год считалась богатством, а две тысячи — большим состоянием. В 1830 году, когда Ричарду Форду было тридцать четыре года, доктор велел его хорошенькой жене Гарриет Кэпел, дочери графа Эссекса, провести зиму за границей. Форд — тот самый английский счастливчик девятнадцатого века, образованный любитель, которому не приходилось зарабатывать себе на жизнь. Его отец, сэр Ричард Форд, одно время служил главным полицейским судьей на Боу-стрит и был создателем Лондонской конной полиции.

Идея Испании «вита́ла в воздухе» в 1830 году, когда миссис Форд посоветовали переехать в более теплый климат. Война на Пиренейском полуострове была свежа в памяти, Вашингтон Ирвинг только что опубликовал «Хронику покорения Гранады», а Форд дружил с Веллингтоном, Вашингтоном Ирвингом и с Генри Анвином Аддингтоном, который тогда служил британским послом в Мадриде. Именно благодаря советам и поддержке этих друзей Форд отправился в Испанию осенью 1830 года с женой, тремя детьми и тремя служанками.

На три следующих года Испания стала его домом. Он жил в съемных домах и некоторое время, как Ирвинг, провел в романтических кварталах Альгамбры в Гранаде. Когда он мог оставить семью, то уезжал на долгие экскурсии верхом на красивом, упитанном кордовском пони, иногда один, а иногда с друзьями вроде художника Дж. Ф. Льюиса, который жил у Фордов, пока писал «Альгамбрские зарисовки». Нет ни одного аспекта испанской жизни, не исследованного этим богатым и образованным дилетантом. Стоило Форду научиться говорить по-испански, как он, одетый в испанский наряд, всегда готовый хоть поболтать с герцогом, хоть поваляться на соломе с погонщиками мулов или бандитами, узнал об Испании из личных наблюдений и опыта больше, чем когда-либо удавалось любому иностранцу. Как ему удалось получить столько знаний и охватить столь большую территорию всего за три года, навсегда останется загадкой.

Он вернулся в Англию и жил в Хевитри-хаус в Эксетере, в доме, который снесли совсем недавно. Форд устроил сад террасами, на испанский манер, построил мавританскую башню и посадил кипарисы и другие деревья, выписанные из Испании. Уголок его ванной комнаты когда-то украшал Каса Санчес (дом Санчеса) в Альгамбре. Однажды за обедом издатель Джон Мюррей

спросил Форда, кого тот может порекомендовать в качестве автора путеводителя по Испании, и Форд ответил полушутя, что сделает это сам. Мюррей поймал его на слове, и на пять лет работа, которую Форд оптимистически намеревался завершить за шесть месяцев, стала радостью и проклятием его жизни. Один из друзей описывал, каким видел Форда за работой над «Путеводителем» в садовом домике в Хевитри: тот был одет в испанскую кожаную куртку и окружен огромной библиотекой испанских книг, ящиками, набитыми заметками, и грудami листов рукописи, разбросанными по стульям и полу. Он громогласно жаловался на рабство, на которое сам себя обрек, и можно вообразить его сетования! Форд обладал выдающимся даром к ругательствам.

Но муки сочинительства были только началом. Как только первое издание «Карманного путеводителя по Испании» напечатали, Аддингтону, напуганному непоследовательностью и чересчур откровенными замечаниями — два главных украшения фордовского стиля, — удалось убедить друга изъять тираж. Считается, что существует всего двадцать экземпляров первого издания, и они, конечно, являются раритетами. Форд засел переписывать и перекомпоновывать книгу и наконец создал исправленное издание. Этот человек был столь неисправимым путешественником, что, кажется, передал сие качество своей рукописи, потому что, когда та была закончена — и заняла большой чемодан, она пропала на лондонском вокзале, и сведения о ней поступили с севера Шотландии! Когда книгу напечатали, она имела огромный успех, и, конечно, иначе и быть не могло, потому что проницательная и язвительная личность Форда проявлялась в каждом слове. Это удивительная работа, замаскированная под один из путеводителей Мюррея, ни одна из великих книг никогда не

создавалась как столь прозаический поклон публике. «Путеводитель» создал репутацию Форда, а вскоре за ним последовали «Впечатления из Испании», в которых содержалось многое из запрещенного первого издания.

Слава Форда как писателя затмила его искусство кисти и карандаша. Около пятисот его лучших работ сейчас бережно хранятся у мистера Генри Бринсли Форда, его правнука, и по прошествии времени они вызывают еще больший интерес, как возможность взглянуть на Испанию 1830-х годов. Существует несколько портретов Форда, и все они показывают его весьма красивым человеком. Один из лучших портретов — набросок Дж. Ф. Льюиса, который раскрывает Форда в некий задумчивый момент: байронический воротник обрамляет лицо с правильными чертами — гладко выбритое, за исключением модных тогда маленьких бакенбард, которые мы лицезреем во всей красе на портретах священников девятнадцатого века. Великолепная акварель Дж. Беккера изображает Форда в шляпе с конической тульей, в андалуссийских рубашке, кушаке и штанах, расшитых пуговицами по шву; тем не менее он выглядит типичным англичанином.

Все современники говорили об очаровательности Форда-собеседника, его принимали во всем литературном Лондоне. Он давал советы и помогал Джорджу Борроу — странно, что этим двум великим писателям-испанистам выпало наступать друг другу на пятки — и от души восхищался книгой Борроу «Библия в Испании». Среди многих увлечений Форда была кулинария, и на кухне он сверкал столь же ярко, как и в гостиной. Иногда он приезжал в дом друга, чтобы приготовить испанскую еду, с парой бутылок вина в карманах плаща и нужными ингредиентами для салата в чемодане. Именно он познакомил Англию с такими деликатесами, как амонтильядо и ветчина

«монтранчес», чей жир, правильно разогретый, он сравнивал с расплавленными топазами.

Форд был женат три раза, и Теккерей обычно говаривал, что он всегда будет помнить номер дома Форда, 123 по Парк-стрит, по числу его жен. Он умер в возрасте шестидесяти двух лет, оставив потомкам огромное количество сокровищ и личных вещей. Мистер Бринсли Форд говорит, что у него хранятся 653 письма, написанных прадедом к друзьям, из которых только малая часть (те, что адресованы Аддингтону) была опубликована несколько лет назад. Паспорта Форда — а их сохранилось множество — показывают, сколько он путешествовал в юности, еще до поездки в Испанию. Только два из его знаменитых блокнотов, из которых вырос «Путеводитель», пережили костер, устроенный Фордом из своих записей незадолго до смерти.

Его язвительное остроумие и готовность бранить все, что ему не нравилось, особенно французов, создали мнение, что ему, в сущности, не было дела до Испании, но это совершенно неправильное истолкование. Форд любил Испанию как художник и ученый, но ненавидел нищету, лень и дурное руководство, а со всем этим он часто сталкивался и в таких случаях писал то, что чувствовал. Нечасто бывает, чтобы дух страны овладевал чужеземцем и словно говорил его голосом — а именно так всегда чарующая, но порой печальная Испания тридцатых годов девятнадцатого века звучит в воспоминаниях Ричарда Форда.

Глава пятая

Эстремадура

*Визит к Пресвятой Деве Гуадалупской.
— Человек в шелковой шляпе. —
Эстремадура. — Память о Кортесе и
Писарро. — Римская Мерида. — Джейн
Дормер.*

§ 1

Неогороженные каменистые земли тянулись по обеим сторонам дороги, усеянные пятнами жнивья там, где какому-то крестьянину удалось вырастить немного пшеницы на клочке плодородной почвы. Воздух имел то характерное прежде всего для Греции качество, которое напоминало Плутарху шелковую пряжу, и далеко впереди белая дорога убегала навстречу кастильскому небу. Мне внезапно показалось, что эта дорога — сама Испания. Едущий верхом на муле мужчина в широкой шляпе, затеняющей его лицо, представлял собой всех когда-либо рожденных испанцев, а женщина, стоявшая у дверей белой хижины и обменивавшаяся с мужчиной парой слов, когда он проезжал мимо, — всех испанок. Меня охватило чувство, что я уже бывал здесь раньше и видел мужчину на муле и женщину на этом самом месте, затем вспышка узнавания прошла, и не осталось ничего, кроме белой дороги, убегającej навстречу небу. Поразительно, как — из-за игры света или, быть может, настроения — дух страны высвечивается в обыденной сценке, мельком, словно птица, появляется и исчезает, прежде чем успеваешь его уловить.

В отдалении виднелась высокая колокольня бурой церкви, и пока я подъезжал ближе, на фоне синего неба постепенно вырисовывался большой колокол. Глинобитные стены, старые улицы, петляющие к церкви, внезапный и бесшумный бег черных коз, трясущих бородами, словно группа лекторов, девушка, наполняющая кувшин в обветшалом фонтане, старый священник в пыльной сутане, два стоящих под аркой мула с деревянными седлами на спинах, — и белая дорога снова вышла на равнину.

На окраине Талавера-де-ла-Рейна я остановился, чтобы осмотреть церковь и арену для боя быков, расположенные бок о бок. Старик в церкви, повернувшись на скрип двери, преклонил колена перед распятием, затем встал и окунул пальцы в святую воду. Он сказал мне, кивнув на арену, что здесь в двадцатых годах был убит великий матадор Хоселито. Старик сам присутствовал при этом. Его старые глаза изучали мое лицо, удостоверяясь, что я оценил ужасную трагедию, которой он стал свидетелем, — возможно, самую большую в его жизни. Мне подумалось, что старик в тот день получил за свои деньги сполна: такие, как Хоселито, всегда одни-единственные, и видеть, как смерть протягивает к нему костлявую руку, наверняка стало для зрителей колоссальным потрясением. Ни один испанец не сможет забыть такое событие.

На другой стороне дороги, на широком участке ровной земли мне открылся вид, который наверняка уже был древним, когда строились пирамиды: ток того типа, какие встречаются на настенных росписях в гробницах Фив и описаны в Ветхом Завете и у Гомера. Несколько фермеров привезли урожай своих полей на площадку, и хлеб лежал в снопах на току, готовый к обмолоту. Жернов медленно двигался по кругу, влекомый мулами, которыми управляли мальчики и мужчины, чуть отклонявшиеся назад, когда натягивали

поводья. Животные описывали медленные круги, выбивая зерно и превращая солому в мякину, а их погонщики за облаком пыли походили на воинов на колесницах. В Испании, как и в Ветхом Завете, эти токи — известные места, которые используются каждый год во время сбора урожая, и наверняка они имеют собственные имена, как гумно Орны Иевусеянина^[43], где Господь остановил язву. Мне показали одну из молотилок, которые во всех подробностях походили на примитивное орудие, названное в книге Иова «молотильными санями». Это оказалась просто тяжелая доска, чья нижняя сторона была утыкана кремнями или железными зубьями. «Вот, Я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым, — читаем мы в Книге пророка Исаии, — ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину»^[44]. Этот библейский инструмент был известен как *morag*^[45]; в Испании его называют *trillo*. Я спросил старого фермера, использовали ли когда-нибудь *trillo* с валиками, но он, видимо, меня не понял. Старик ответил, что их используют в Эстремадуре, но, возможно, он просто хотел доставить мне удовольствие. Тем не менее я бы не удивился, узнав, что эта римская провинция до сих пор применяет римский *tribulum* — таково латинское название улучшенной, на валиках, версии этой примитивной молотилки. Я порадовался, что увидел столь эпически-гомеровское зрелище, поскольку кто знает, как скоро *trillo* сменятся высокими башнями, пожирающими урожай, словно оголодавшие великаны.

Я остановился у станции технического обслуживания, чтобы купить немного бензина. Человек, покрытый смазочным маслом, появился из ремонтной мастерской и взялся за ручной насос. Его внешность говорила о непрерывной борьбе за удаление нагара и бесконечных схватках с внутренностями старых

моторов. Станции техобслуживания в Испании еще не модернизированы, и бензин продается не людьми в комбине зонах без единого пятнышка, а механиком, который в этот момент случайно не лежит на спине под очередной умирающей машиной. Я спросил у механика дорогу к монастырю Пресвятой Девы Гуадалупской, и он ткнул кривым указательным пальцем, посоветовав мне ехать через Оропесу до Навальмораль-де-ла-Мата, а потом свернуть налево, в горы, на грунтовую дорогу, которая, по его словам, вполне хороша в летнее время. Он сказал, что не отказался бы от американской сигареты, поэтому я вставил одну ему между губ, и он выдал мне улыбку заgrimированного под негра исполнителя негритянских песен, когда я поехал прочь.

Белая дорога со Сьерра-де-Гредос по правую руку привела меня в Оропесу. Я взглянул на холм и увидел там главу из Мэлори, укрепившуюся на вершине: стены, башни, бастионы и ворота, явно целые. Это был старый замок герцогов Фриас, а сейчас гостиница, находящаяся в ведении Государственного департамента туризма. Я испытал большое искушение заглянуть туда, но побоялся застрять на длинной горной дороге в Гуадалупе и поэтому поехал дальше, утешаясь мыслью, что в замке, должно быть, полным-полно важных немцев с «лейками».

Скоро я въехал из Кастилии в Эстремадуру, древнюю область, которая когда-то была частью римской Лузитании. Эта провинция, привычная к бедности и упадку после изгнания мавров, дала рождение морякам Колумба и конкистадорам, земля, чьи обнищавшие жители с великой радостью променяли родину на золотой сон об Индиях.

Я повернул на юг по грунтовой дороге и на следующие два часа оказался втянутым в бесконечную череду зигзагов и резких поворотов. Пейзаж украшали оливы и пробковые деревья, и каждый дюйм почвы,

который мог плодоносить, был возделан. С высокой горной дороги я любовался великолепной панорамой холмов, клонящихся и наползающих друг на друга, и кустистыми маленькими оливами, карабкающимися то тут, то там по крутым склонам — каждая стояла в маленькой лужице собственной тени. Дорожный серпантин был фантастическим. С истинно испанской любезностью радиатор вскипел перед тонкой струйкой воды, которая стекала по скале на дорогу. Весь ландшафт говорил о человеческой руке, хотя жилья нигде видно не было. Огромные расстояния, наверное, покрывались на муле или ослике, чтобы убрать маленькие — размером с носовой платок — поля золотой пшеницы и олив, и здесь, на прекрасно возделанной земле, снова будто бы впечатано: «Сделано руками».

Пресвятая Дева Гуадалупская, в чье святилище я ехал, — главное божество Эстремадуры, заступница за людей перед Господом. Она занимает особое место среди сотен испанских Мадонн; это первая испанская Богородица, чье имя появляется в истории Нового Света. За годы до того, как бороздили моря Кортес и Писарро, сам Колумб назвал в ее честь остров — неоспоримое доказательство, если они еще требуются, что этот мореплаватель происходил из Эстремадуры. Когда Колумб вернулся в Испанию после своего путешествия, то пришел в ее храм с восковой свечой весом в пять фунтов и вознес благодарность за избавление от ужасной бури, которая почти разбила его хрупкое суденышко на обратном пути. Он рассказывает эту историю в «Судовом журнале», датируя событие 14 февраля 1493 года. Как выяснилось впоследствии, каравеллы проходили недалеко от Азорских островов. Волны перекатывались через палубу, ветер усиливался, и Колумб доверил каравеллу шторму. Всю ночь они неслись по воле ветра, а с восходом солнца и ветер, и

ярость волн только усилились. В миг, когда смерть казалась неизбежным концом всем приключениям, Колумб созвал команду и велел дать обет совершить паломничество к Пресвятой Деве Гуадалупской; вдобавок моряки поклялись, что, если они переживут шторм, кто-нибудь из команды, на кого падет жребий, пожертвует в храм Святой Девы пятифунтовую восковую свечу. Он велел принести нут, по горошине на каждого члена экипажа, и вырезал на одной крестик. Затем горошины положили в шапку и хорошо встряхнули. Первым сунул руку в шапку сам Колумб — и вытащил помеченную горошину, «и с того момента считал себя паломником, обязанным выполнить обет». Клятву принесли в четверг, а шторм продолжал швырять корабли вплоть до ночи с субботы на воскресенье, когда путешественники достигли острова, который не смогли опознать, — это оказался остров Санта-Мария из Азорского архипелага.

Позднее вошло в обычай отделять часть трофеев из Америки Пресвятой Деве Гуадалупской. Ее имя Кортес и его *extremeños*^[46] распространили по всей Мексике, а из Мексики — по всей Южной Америке. Когда Кортес вернулся из своих походов, он отправился в Гуадалупе и молился в храме Богородицы в течение девяти дней. Дон Хуан Австрийский также приехал сюда, чтобы вознести хвалу за победу при Лепанто, и посвятил Святой Деве Гуадалупской часть трофеев той битвы.

Свой первый взгляд на Гуадалупе я бросил с вершины холма и увидел на склоне нечто наподобие укрепленного замка с деревней, сгрудившейся вокруг него. Пейзаж усеивали оливы, доходившие почти до стен монастыря. Размер здания меня удивил: оно выглядело не менее величественно, чем собор Святого Павла. Здание напомнило мне монастырь Святой Екатерины на Синае и монастыри Вади-Натруна в

Египте; пусть Гуадалупе значительно моложе, он тоже явно строился как крепость.

Через полчаса я уже стоял на крошечной площади в сердце совершенно средневековой деревни. Овальный фонтан изливал четыре струйки воды в круглую чашу, в которой девушки наполняли кувшины, а в нескольких ярдах от фонтана внушительный пролет ступеней вел в собор Пресвятой Девы Гуадалупской. Над средневековыми воротами виднелись железные балкончики и двери жилых комнат, поскольку собор поглощен монастырскими строениями, которые облепляют его со всех сторон. Ястребы свили гнездо между башенками; они парили в знойном небе и время от времени резко ныряли вниз.

§ 2

Я позвонил в колокольчик у дверей монастыря, но ничего не произошло. Тогда я постучал тяжелым дверным молотком, и отзвуки эхом прокатились по каменному коридору. Позвонил еще раз — и наконец услышал приближающееся шлепанье сандалий. Засовы отодвинулись, ключи в замке повернулись, и в дверях показался францисканец средних лет. Он, казалось, куда-то спешил и то и дело оглядывался через плечо. Могу ли я остаться в монастыре? *Sí, sí*, конечно, ответил он нетерпеливо, бросив еще один быстрый взгляд в коридор, но сначала я должен поставить машину в гараж, который за первыми воротами слева за углом. Он прислушался, снова оглянулся через плечо и закрыл дверь. Я терялся в догадках, что же его так взволновало.

Гараж меня потряс: это оказалась неиспользуемая церковь эпохи Возрождения, со слоем пыли и мусора, копившегося на протяжении по крайней мере двух

веков. Я въехал через западную дверь и припарковал машину под аркой в северном приделе. Плиты пола были сняты, алтарь вынесен, а на его месте построены подмости! Кто бы, недоумевал я, мог ставить пьесы в этом месте? Я вернулся в монастырь и дернул за шнурок звонка. Тот же самый францисканец убрал засовы и открыл дверь. Он пригласил меня войти и занести чемодан в коридор; потом, с тем же самым выражением лица, ринулся прочь, пообещав вернуться через *momentito* — восхитительное слово, означающее долю мгновения. Тем не менее *momentito* вырос до полноценного момента, затем до пяти минут, и я начал раздражаться. Я стоял в каменном коридоре, слева от меня он открывался в зал, где пролет ступеней вел вверх — предположительно в церковь. Я отправился туда на разведку и почти столкнулся с молодым человеком в утреннем костюме, с белой гвоздикой в петлице и шелковой шляпой в руке; не глядя на меня, юноша проскакал через две ступеньки вверх и исчез. Я смотрел ему вслед, вспоминая «Алису в Стране чудес», и думал, что теперь-то уж в Гуадалупе сюрпризов для меня не осталось; но я ошибался. Напротив лестницы обнаружилась комната, и, услышав шум голосов, я на цыпочках прокрался к ней и заглянул внутрь. Там сидела молодая женщина в свадебном платье, держа перевязанный атласной лентой букет белых цветов. Кисейная вуаль была откинута, вокруг суетились несколько модно одетых женщин с накрашенными ногтями. Единственный взгляд сказал мне, что они принадлежат к высшим кругам мадридского общества. Так вот в чем причина волнений! Очевидно, я прибыл сразу после венчания.

За комнатой, где сидела невеста, прятался маленький дворик с растущей в уголке пальмой. Здесь мужчины, участники брачного действия, положив шелковые шляпы на стулья, распивали кувшин

монастырского вина. Один из них, оглянувшись украдкой и удостоверившись, что за ним не наблюдает приглашенный священник, вытащил из кармана фляжку и налил в стакан кое-что покрепче вина. Он едва успел, поскольку в этот миг падре Херонимо Бонилья, как звали францисканца, уже успокоившийся, подошел ко мне и предложил следовать за ним. Он повел меня вверх по деревянной лестнице. На лестничных площадках стояли бамбуковые столики, покрытые благочестиво расшитыми ковриками с красными помпонами — несомненно, дар каких-нибудь почтительных сестер, — и мы все шли вверх, пока не очутились в длинной галерее с дверями по левой стене. Падре остановился у одной двери и пригласил меня в огромную голую комнату с четырьмя кроватями. Я задумался, кем могли оказаться мои компаньоны. Одна из кроватей стыдливо укрылась в стенной нише, завешенной полосой довольно роскошной парчи, которая выглядела вполне достойной небольшого приходского праздника. Доски пола были отскоблены добела, в комнате также имелись рукомытники и раковины, вешалка для шляп, не особенно лестная олеография Богородицы и маленький балкончик кованого железа, с которого открывался вид на пурпурную черепицу крыш Гуадалупе.

Падре Бонилья перечислил мне местные правила и сообщил довольно сурово, что ворота запираются в десять часов. Я спросил его о венчании, и он ответил, что это большая честь — сочетаться браком в соборе Пресвятой Девы Гуадалупской. Люди приезжают со всех концов страны, но особенно из Мадрида и городов и городков Эстремадуры, чтобы обвенчаться. Пара, которую я видел, была *madrileños*. Они приехали вчера днем и провели ночь в монастыре. Жених и невеста исповедались, посетили мессу и стали мужем и женой. Они возвращались в Мадрид нынче вечером. Падре

прибавил, что сейчас уже половина четвертого, и я могу получить обед в маленькой комнате около дворика. Обычная трапезная для гостей занята под свадебный банкет.

Я умылся и постоял минуту на балкончике, наблюдая, как парят в небе ястребы, затем сошел вниз. Старая крестьянка подала мне кувшин терпкого красного вина, яйца «*flamenco*», острые тушеные бобы с чесночными колбасками, мясо, плавающее в оливковом масле, и тарелку черешен. Я выкурил сигарету под пальмой и подумал, что надо бы спросить, как пройти в собор; но вокруг никого не было. Монастырь окутывала полнейшая тишина. Даже старая крестьянка исчезла. Я исследовал каменные коридоры, как туннели, и по чистой случайности нашел путь в собор через ризницу.

Это один из темных испанских соборов, и выглядит он меньше, чем на самом деле, из-за огромного *soto*, оккупирующего центр здания, — как церковь внутри церкви. Когда мои глаза привыкли к сумраку, я увидел Пресвятую Деву Гуадалупскую над главным алтарем, одетую в серебряную корону и мантию из блестящей парчи. Ступеньки вели на *soto*, и я посидел там некоторое время, разглядывая огромные сборники церковных гимнов на громадных вращающихся пюпитрах. Вдруг я понял, что в церковь вошел кто-то еще. Взглянув на главный алтарь, я увидел две фигуры, мужскую и женскую, на коленях у алтаря. Женщина встала и, довольно робко пройдя вверх по ступенькам, преклонила колена перед распятием и положила на алтарь букет цветов, перевязанный лентой. Затем она снова встала на колени и молилась с минуту, прежде чем воссоединиться с мужем. Потом новобрачные поднялись и молча покинули собор. Они не подозревали, что кто-то видит этот трогательный и прекрасный момент начала их совместной жизни; я помолился, чтобы ловушки и обманы, иногда

омрачающие священные узы брака, их миновали и чтобы они всегда смотрели друг на друга, как в тот миг, когда поднимались с алтарных ступеней Святой Девы Марии Гуадалупской.

§ 3

Деревня Гуадалупе по образу жизни — действующая средневековая община. Никто никогда не пытался улучшить ее, планировать или рассказывать жителям, насколько счастливее они станут с проводом холодной и горячей воды, внутренними санитарными удобствами, электричеством и радио. Поэтому люди выглядят радостными и довольными жизнью. Куры, цыплята и маленькие черные свиньи живут в дружбе с крестьянами и тоже выглядят умиротворенными. На большинстве домов балкончики из дерева или железа, и некоторые из них покрыты пурпурным вьюнком и алыми геранями, у некоторых домов есть выступающие верхние этажи; и поскольку многие улицы шириной всего несколько ярдов и вьются вверх-вниз по холмам, вид получается чрезвычайно живописный. Вечером женщины и девочки выносят стулья к дверям домов и сидят и шьют вместе или вяжут кружева на круглых пяльцах и делятся байками и сплетнями, не пропуская ничего из происходящего вокруг. Восхитительно видеть рядом седую голову старушки и черную юную головку, склонившиеся над одной и той же работой; иногда и четыре поколения женщин собираются в этих группах.

На одной из улиц я наткнулся на нескольких женщин и девочек, которые строили маленький храм возле дома. Они украшали его снопами пшеницы и пытались заставить дешевых целлулоидных кукол выглядеть как ангелы. Для кукол сшили красивые наряды и вырезали крылья и нимбы. Все выглядело

превосходно, кроме выражений круглых целлулоидных лиц — в них было маловато святости. Из веток девушки сделали маленькую беседку и расставили в банки и бутылки дикие цветы. Я спросил, для чего это, и старая женщина ответила: нынче канун дня Святого Иоанна; я вспомнил, что сегодня действительно двадцать третье июня.

Старушка, видя мой интерес, пригласила меня прийти на *fiesta*^[47]; я сначала не понял, и она забежала, как пожилая менада, и изобразила несколько танцевальных па со словами: «*Musica... musica...*», потом поднесла к губам воображаемую дудку: «*Flauta... flauta!*», потом принялась стучать одной рукой в невидимый барабан. Казалось, она способна вдохнуть душу и жизнь в любую вечеринку; узнав, что *fiesta* начнется не раньше одиннадцати, я вспомнил суровое предупреждение Бонильи насчет запираания ворот и с искренним сожалением признался, что не могу принять ее предложение. И все же было бы чрезвычайно интересно увидеть сохранившиеся обряды кануна Иванова дня, и я начал раздумывать, получится ли у меня сбежать из монастыря.

Ужин подавали в трапезной для приезжих, во главе стола восседал падре. Это была длинная комната, увешанная восхитительной глиняной посудой из Талаверы: тарелки и блюда, очаровательно расписанные животными и цветами, с толстым слоем глазури, как на византийской или арабской керамике. В углу стояла прекрасная маленькая сидячая статуэтка Пресвятой Девы Гуадалупской, и я пообещал себе, что если когда-нибудь буду проезжать через Талаверу, то зайду на фабрику и куплю себе такую. Присутствовали еще шесть гостей: хмурая французская пара, три пожилых испанца, совершавших паломничество, и разговорчивый и забавный молодой человек, который,

сочтя меня и французскую пару неблагодарной аудиторией, обращался исключительно к падре. Его истории, видимо, оказались хороши, поскольку падре, который начинал ужин похожим на Сурбарана^[48], закончил его уже почти братом Туком, трясаясь от смеха. Мы ели вермишелевый суп, котлеты из ягненка, за которыми последовало блюдо с черешнями, и пили то же местное вино, которое я пробовал в обед. Я счел его отличным, но французская пара морщила носы и разбавляла вино водой.

За ужином я продолжал думать о языческом празднике, слегка переделанном под христианский, который должен был скоро начаться в деревне; и чем больше я о нем думал, тем более языческим он мне казался и тем труднее мнилось получить разрешение уйти. Это был канун летнего солнцестояния, или середина лета (по старому стилю), — ночь, когда зажигались костры по всей Европе, когда девушки гадали и видели в воде лица своих будущих мужей, когда спрятавшиеся у церкви могли узреть, как те, кто должен умереть в следующие двенадцать месяцев, подойдут к дверям и постучат, когда скот защищали от ведьм; ночь — кажется, я слышал это предание в Ирландии, — когда души спящих покидают тела и спешат на тот пяточок земли или моря, где однажды погибнут. Я чувствовал, что целая глава из «Золотой ветви» Фрэзера разыграется в деревне этой ночью — а я буду заперт в монастыре!

Ужин закончился, падре скрутил зубочистку с истинно испанским усердием и погрузился в меланхолию. Я понял, что не наберусь мужества попросить его оставить дверь незапертой. Мы пожелали друг другу доброй ночи, и я очутился в своей огромной комнате, перед выбором из четырех кроватей. Ночь была теплая, и я вынес кресло на балкон и стал

смотреть на звезды. Деревня лежала внизу плотной мозаикой черепичных крыш. Я слышал, как плещется вода в фонтане на площади. Летучие мыши порхали вокруг моего балкона. В нескольких окнах виднелся свет свечей; иногда взлаивала собака. Человек, пересекавший площадь, прокричал другу: «Спокойной ночи!», и на деревню опустилась тишина. Как странно было не слышать никаких механических шумов, ни рокота автомобильных двигателей, ни радио, ни граммофона — ничего, кроме этой величественной тишины и красоты северных созвездий, горящих в ночи. Вдруг быстрая нить огней взлетела в темноту, и ракета взорвалась над Гуадалупе. Потом еще и еще, все от маленького храма. Праздник середины лета начался. Я подумал о крестьянах, которые со снопами пшеницы и зелеными ветками справляют обряд, более древний, чем христианство, — и всем сердцем пожалел, что не могу посмотреть на происходящее. Я улыбнулся при мысли о старой менаде, которая притворялась играющей на флейте и обещала мне *musica*, словно я был жрецом Пана. Хотел бы я сказать, что свил веревку из простыней с четырех кроватей и спустился по отвесным стенам монастыря, как поступали иные люди по поводам священным и мирским; но собор держал меня надежно, и после минуты сожаления я отвернулся от света звезд и отправился в постель. Я выбрал ближайшую к окну кровать и скоро уснул.

Проснулся я от шума и посмотрел на часы. Было три часа ночи. Все собаки лаяли. Я вышел на балкон и увидел Гуадалупе в потоках лунного сияния. Можно было ясно различить каждую черепицу на крышах. Затем я услышал визгливые перебивы дудки, которые, наверное, и разбудили меня: перебег вверх и вниз по звукоряду, громкий и грубый — глас языческого мира. Дудка прозвучала снова, ближе, и в свет луны на площадь вышел дудочник. Барабан свисал с его шеи; он

на ходу подносил дудку к губам и посылал несколько нот в лунный свет — просто так, по пути домой.

§ 4

История находки статуи Святой Девы Гуадалупской довольно обыкновенна. Статую закопали во времена арабского вторжения и нашли века спустя, как и многие другие статуи в разных местах Испании. Говорят, во время Альфонсо Мудрого — тринадцатый век — некие пастухи присматривали за скотом около Алии, когда корова, принадлежавшая пастуху из Касереса, вдруг пропала. Он безуспешно искал ее три дня, а затем решил посмотреть там, где сейчас стоит монастырь, и наткнулся на труп коровы.

Крестьянин вытащил нож и стал свежевать животное. Как принято в Эстремадуре, сделал первый разрез на груди в форме креста, но тут, к его испугу и удивлению, корова поднялась. Застыв от изумления, крестьянин вдруг увидел перед собой Богородицу, и она сказала: «Не бойся, Я Мать Спасителя нашего». Богоматерь велела ему отвести корову обратно в Касерес, а потом позвать сюда священника и копать на том месте, где лежала корова, поскольку там, скрытое в земле, хранится ее изображение. Она сказала, что выкопанный образ должен остаться там, где найден, поскольку в будущем здесь встанет святилище, на которое будут проливаться ее милосердие и благодать. Затем Богородица исчезла.

Пастух вернулся в Касерес, где нашел свою жену в великом горе: один из их сыновей лежал мертвым. Крестьянин со слезами взмолился Богоматери, умоляя вернуть жизнь его сыну, как она вернула жизнь корове. Некоторое время ничего не происходило, и мальчика решили похоронить около места явления Богоматери,

но когда священники уже готовились к погребению, мальчик очнулся и попросил отца показать, где явилась Святая Дева. Священники, убежденные этим чудом, начали копать на месте, указанном пастухом, и там, в старой могиле, нашли статую Пресвятой Девы Гуадалупской.

Сначала над статуей построили скромную маленькую часовню, но слава о ней распространилась по всей стране, и бесчисленные паломники потянулись поклониться святыне из дальних и ближних мест. Среди тех, кто посетил часовню, был Альфонсо XI; король повелел построить здесь монастырь с собором и принес в дар необходимые земельные угодья. Он приехал снова, в 1340 году, после победы над неверными у Рио-Саладо, и привез часть трофеев, чтобы посвятить их храму. Так зародилась многовековая связь королей Испании с Гуадалупе.

За несколько дней, проведенных мною в монастыре, я сумел увидеть эту знаменитую статую так близко, как только смог к ней подойти. Фигура вырезана из дерева, но настолько скрыта одеяниями, что я разглядел только почти черный овал лица и одну прекрасно вырезанную руку, держащую скипетр. Статуя примерно трех футов высотой, и можно посчитать — из-за одежды, которая полностью ее скрывает, — что она стоячая. Но это не так: Мадонна сидит и держит на левой руке Младенца Иисуса. На статуе надета украшенная драгоценностями юбка под мантией конической формы, расшитой жемчугом и алмазами, которая скрывает ноги, в традиционной испанской манере. Головной убор Мадонны состоит из двух рядов огромных жемчужин, прикрепленных к основе из золотых роз и бриллиантов, переделанных из ожерелья семнадцатого века, принадлежавшего графине де ла Рока. Археологи, видевшие статую, считают, что она может быть римской работы, а некоторые полагают ее подарком папы

Григория Великого архиепископу Леандру Севильскому в шестом веке.

Статуя Богородицы стоит на троне на значительной высоте над алтарем, а за ее спиной скрывается великолепный барочный зал из яшмы, мрамора и кипарисового дерева, куда Мадонну относят, чтобы переодеть в другое облачение. Это помещение, называемое *camarin*^[49] — типичная барочная реконструкция, и в семнадцатом веке сделали проем в стене над алтарем, а в нем — богато отделанную маленькую комнатку, или тронную залу, со стеклянной дверцей по размеру статуи Пресвятой Девы, чтобы ее можно было убирать из собора в *camarin*. Во многих церквях эти помпезные маленькие апартаменты служат гардеробной Богоматери, где ее переодевают для праздников.

Дверь из гуадалупского *camarin* ведет в сокровищницу. Комната обставлена стульями, столами и шкафчиками, все семнадцатого века, а стены затянуты алым шелком. Здесь можно увидеть поразительную коллекцию драгоценных украшений и корон, головных уборов и всевозможных ценных вещей, в разные времена принесенных в дар Богородице. И, конечно, такая забота о гардеробе статуи и количество драгоценностей, которые можно на нее повесить, могут поразить одних своей странностью, а других — связью с глубокой древностью. Это довольно курьезная форма поклонения, однако она очаровывает меня, и я часами могу смотреть, как монахи освобождают полки шкафов и извлекают диких одеяния, сопровождая свои действия экспертной оценкой вышивки и шитья. Монах, который показывал мне гардероб Святой Девы в Гуадалупе, оказался одним из таких энтузиастов, и было странно видеть, как он, в своем грубом рубище и сандалиях, перебирает парчу с почти чувственным

наслаждением и рассказывает, какое платье надевают на Богородицу во время праздника Тела Христова, а какие — в дни других великих праздников. Особенно красивые и ценные платья имеют собственные имена. В хранилище есть великолепное расшитое облачение, известное как «Платье инфанты», которое прислала из Фландрии дочь Филиппа II донья Клара Евгения в 1629 году; другое называется «Первое в церкви», а третье — «Богатое платье церкви», оба расшиты тысячами жемчужин. Это работа монахов восемнадцатого столетия; и какое странное занятие для мужчин, отвернувшихся от женского пола, — сидеть год за годом, творя роскошные сверкающие праздничные платья для Царицы Небесной! Монах обратил мое внимание на гербы из золота и эмали, с алмазами и жемчужинами в центре каждого креста, которые образовывали кайму одного платья, и на большой плащ, расшитый тысячами жемчужин так, что с любой стороны они складывались в слова «Ave Maria».

— В целом мире нет ничего роскошнее, — прошептал монах, закрывая шкаф.

Меня провели по длинной галерее, где в стеклянных витринах были выставлены сотни мантий и алтарных покрывал. Я увидел одно с пометкой «Покрывало королевы Англии, посланное монастырю в 1621 году». Это довольно загадочно, поскольку тогда королем был Яков I, а королевы не было: Анна Датская, супруга Якова, умерла в 1619 году. Возможно, подарок везли в Гуадалупе несколько лет; возможно также, что это — любопытное доказательство заигрываний Анны с Римом.

Меня провели в библиотеку, в которой содержится, как мне сказали, лучшая коллекция сборников хоралов в Испании; и конечно, здесь можно изучить испанскую иллюстрацию с пятнадцатого по восемнадцатый век — в прекрасно переплетенных книгах. Среди величайших

сокровищ Гуадалупе — восемь картин Сурбарана, иллюстрирующих жизнь святого Иеронима, они располагаются на длинной стене ризницы. Над алтарем висит турецкий фонарь. Это кормовой фонарь с корабля Али-паши, и он был поднесен Пресвятой Деве Гуадалупской Доном Хуаном Австрийским после битвы при Лепанто.

§ 5

Я предвкушал встречу с Эстремадурой, потому что впервые в тех пор, как был мальчишкой, перечитал Прескотта^[50] и теперь стремился увидеть землю, которая дала жизнь Кортесу и Писарро. Падре Бонилья пожал мне руку и велел непременно когда-нибудь возвращаться. Я вывел машину из нефа заброшенной церкви, словно солдат Кромвеля, и выехал на дорогу к Трухильо.

Я оказался в землях, более зеленых и менее суровых, чем Кастилия, но более заброшенных и более бедных, поскольку деревни отстояли друг от друга далеко, а хлебных полей было отчаянно мало. Пустынные мили в окружении гигантских камней перемежались рощицами дубов, обычных и пробковых, и редкими акрами пшеницы или ячменя, прищипленными к склонам холмов. Везде сновали свиньи, маленькие и бойкие, цвета черно-синих чернил. Они бегали по деревням, словно приятели местных жителей, копались под пробковыми деревьями и бродили по холмам под присмотром маленьких мальчиков с хворостинами в руках. Я охватил взглядом пейзаж, от гранитной вершины холма до неглубокой долины, и представил, какое удивление, наверное, испытывал человек из этой части Испании, оказавшись в джунглях, где деревья переплетены лианами, где

колибри зависают над цветами гибискуса, а попугаи ара порхают и кричат среди ветвей. Я подумал, что открытие и завоевание Южной Америки, особенно Мексики и Перу, — возможно, лучшая приключенческая история мира. Очень сомневаюсь, станет ли полет на Луну такой же сенсацией для слуха, как прорыв пятнадцатого века, когда внезапно известный до сих пор мир оказался только лишь половиной планеты, а за Западным океаном обнаружилось другое полушарие: новые земли, новые люди, новые цветы, новые плоды и животные и, что еще более поразительно, огромные города, чьи известняковые стены сияли, словно пластины из серебра, и конкистадоры, продравшиеся через зеленые леса, взирали на них с удивлением и восторгом. Нам непросто сейчас вообразить, как в те дни поразительные чудеса буквально громоздились друг на друга; повторяю, я не верю, что мы так же удивимся, когда нам расскажут, каково стоять на краю кратера Тихо и насколько толст покров пыли в море Дождей.

Странная случайность: этот новый мир достался Испании в ту пору, когда ее долгое противостояние с маврами было закончено, и людям, чьи предки сражались в мавританских войнах, выпало пересечь Атлантику с тем же боевым кличем «Santiago y cierra, España!»^[51], направлять своих коней, оседланных *a la gineta*, на ацтеков и инков — и осаждать Теночтитлан, как их отцы недавно осаждали Гранаду. Всего двадцать девять лет отделяли падение Гранады от падения Теночтитлана.

Я пришел в восторг, обнаружив, что «История завоевания Мексики» и книга о Перу читаются столь же хорошо, как и тогда, когда я был школьником. Удивительно, что этот огромный труд — работа человека, который был почти слеп. Жизнь Прескотта —

одна из самых героических в истории писательства. Он родился в Салеме, штат Массачусетс, в 1796 году, в весьма состоятельной семье с хорошими связями. Когда Прескотт учился в Гарварде, в университетской столовой произошли студенческие беспорядки, в ходе которых он получил в левый глаз куском черствого хлеба. Юноша перестал видеть этим глазом, и всю жизнь ему угрожала потеря зрения на втором глазу. Многие состоятельные люди предались бы унынию; Прескотт не только восторжествовал над болезнью, но и обернул ее к своей пользе. Частичная слепота научила его умственной дисциплине и дала выдающуюся память; возможно, она также усилила изобразительные качества его книг, поскольку прескоттовские описания цивилизаций ацтеков и инков и пейзажей, в которых оказываются испанские завоеватели, полны света и цвета. Один из его секретарей оставил рассказ об этом человеке за работой — в затемненной библиотеке, разгороженной ширмами, которые надо было переставлять почти с каждым облачком, пролетавшим по небу. Прескотт писал на забытом сейчас инструменте под названием ноктограф, созданном для слепых, который представлял собой раму со строчками, разделенными проволокой: слова писались по ним иголкой на копирке. Как человек с таким физическим недостатком, которому приходилось использовать глаза других людей, просить читать ему исторические источники, в том числе и на иностранных языках, который работал в Америке, далеко от европейских корней своих изысканий, — как этот человек смог упорядочить столь огромную массу исторических деталей в блестящий пример мужества и гениальности? Когда он писал «Историю завоевания Мексики», ему приходилось ограничиваться, из-за ухудшения зрения, одним часом работы в день, и этот час был разделен на два далеко отстоявших друг от друга периода по

полчаса. Откуда он взял силы продвигаться улиточьим шагом год за годом, главу за главой? Сам Прескотт писал в своем дневнике: «В конце концов, размеренное и постепенное сочинение большого исторического труда — лучший рецепт счастья для меня». И все время он укреплял свой дух, сражаясь с собственным телом. «Если бы я мог хоть немного использовать глаза!» — записал он в 1848 году. В следующем месяце он заметил: «Я использую глаза по десять минут кряду — час в день. Потому так и ползу». На следующий год Прескотт записал: «Я должен работать мозгами — так или иначе, — но только не глазами». И это продолжалось всю его жизнь. Для него, должно быть, стало истинным бальзамом признание читателей и критиков. Этот великий американец умер в возрасте шестидесяти трех лет, выпустив шестнадцать объемных фолиантов, узрев одним глазом больше, чем масса историков — двумя.

Если Прескотт и ошибался, то только в одном: он идеализирует цивилизации ацтеков и инков настолько, что многие читатели наверняка закрывали его книги с ощущением: «Конкистадоры — злодеи, а разрушенные цивилизации — остатки золотого века, и были они куда лучше христианства, пришедшего им на смену». Хотя всеми признано, что несчастный Монтесума является в известном смысле подобием Христа, и хотя нам трудно понять, как Кортес мог благочестиво отстоять мессу, а потом предать огню и мечу целую деревню, факт остается фактом: ацтеки, несмотря на экзотическое внешнее великолепие их цивилизации, на самом деле были расой варваров-каннибалов. Неважно, что мы думаем о самих конкистадорах, — миссионеры, пришедшие с ними, были людьми высочайших и благороднейших нравственных принципов; Испания имеет право гордиться ими.

Берналь Диас дель Кастильо, суровый старый солдат и один из наиболее часто цитируемых Прескоттом источников, стал автором одной из величайших книг о приключениях. Это история завоевания Мексики, какой ее наблюдал человек, который следовал за Кортесом повсюду и в конце концов написал: «На эту прекрасную экспедицию пошли все наши средства; нищие вернулись мы на Кубу, нищие и покрытые ранами»^[52]. Они были бедны, изранены, но — «прекрасная экспедиция»!

Диас родился в маленьком городке Медина-дель-Кампо между Вальядолидом и Саламанкой — где королева Изабелла умерла в замке, который можно увидеть до сих пор, — и отправился в Индии совсем юным. Он был еще молод, когда присоединился к экспедиции в Мексику, но его имя никогда не сделалось бы известным, не охвати Кортеса в старости чувство, которое Фицморрис-Келли назвал «первоклассным примером солдатского возмущения», и не опубликуй Диас историю завоевания Мексики. К тому времени в живых оставались только пятеро из первых конкистадоров, и Диас, радевший о том, чтобы дела его товарищей, а также его собственные не были забыты, засел на своей ферме в Гватемале, дабы рассказать правдивую историю — *historia verdadera*, — поскольку он своими глазами видел, как все происходило. Диас обладал превосходной памятью, помнил даже имена и масти восемнадцати лошадей, с которыми начинали экспедицию — и чей вид привел в ужас туземцев, никогда прежде не видевших лошади. Диас помнил клички своих товарищей и писал о них: «Мы жили как братья... Я помню их всех так хорошо, что смог бы нарисовать все лица, если б умел рисовать».

Наиболее интересное из его описаний — описание самого Эрнана Кортеса, величайшего из конкистадоров,

человека, обладавшего магией власти, а также невероятной удачливостью, одно имя которого вдохновляло его последователей; человека, погрузившегося с горсткой товарищей, искателей приключений, в джунгли и приведшего к гибели древнюю цивилизацию. Он напоминает нам Ганнибала и Александра или Улисса — с примесью Кромвеля и диккенсовского Билла Сайкса^[53] (а также Дон Кихота, но этот персонаж присутствует в некоторой степени во всех испанцах).

Кортес происходил из городка Медельин, расположенного неподалеку от римской Мерида в Эстремадуре, и был сыном обедневшего *hidalgo*^[54]. Высадившись в Индиях в возрасте девятнадцати лет, он стал колониальным чиновником. Когда Диас встретился с ним на Кубе, тридцатитрехлетний Кортес считался, говорят, «дьяволом по части женщин». Но к тому времени он уже встретил ровню в лице охотящейся за мужем дамы и скоро обнаружил себя крепко взнузданным красивой и очаровательной молодой женой, которая, как он, по слухам, заявлял поначалу, могла бы быть и герцогиней. Даму звали Каталина Хуарес, и она лишь единожды упоминается в истории — когда последовала за мужем в Мексику, чтобы насладиться статусом первой леди, и умерла через несколько месяцев в фантастической столице Монтесумы.

В 1518 году Кортеса назначили командовать экспедицией, которую губернатор Кубы решил послать вдоль почти неизвестного побережья Мексики. Хотя должность была доходной, Кортес находился в стесненных обстоятельствах, поскольку, как объясняет Диас, ему нужны были все деньги «на себя самого и на наряды своей молодой хозяйке». Поэтому он продал имущество, и — это характерно для человека

благородного, а также типично для поведения всех мечтавших о величии в те дни — прежде всего купил в качестве подготовки к вторжению в дикие и неизведанные районы земли «парадный камзол с золотыми галунами, а также... два штандарта и знамена, искусно расшитые золотом, с королевскими гербами». Планировалось исследовать побережье Мексики и обменять стеклянные бусы у туземцев на золото и серебро. Эти экспедиции организовывались по принципу, который позже стал обычным у купцов всех стран: несколько человек распродают свою собственность или иным способом добывают деньги, чтобы закупить корабли, лошадей, оружие и хороший запас безделушек, и убеждают солдат и прочих людей присоединиться к ним на тех условиях, что торговые прибыли или трофеи будут поделены в соответствии с договоренностью. Недостатка в добровольцах не бывало никогда, поскольку острова Западных Индий — испанского трамплина к материкам — полнились дюжими юнцами, покинувшими Испанию, чтобы найти свое счастье за океаном. Нет представления более ошибочного, чем уверенность, что король Испании финансировал завоевание Южной Америки: он только давал разрешение бандам авантюристов, а папа римский прибавлял свое благословение. Одна из наиболее удивительных особенностей завоевания — обыкновение конкистадоров созывать туземцев и торжественно зачитывать им через переводчика официальные объявления, подписанные «Yo, el Rey» — «Я, Король», а потом еще рассказывать о папе и императоре. Какие выводы делали из этого бедные туземцы, легко можем представить! Тем не менее захватчики заранее примирялись с Богом и римским законом, и местные получали законное предупреждение.

Берналь Диас принимает своих читателей в братство искателей приключений, идеология которого — самая странная смесь благочестия и насилия, какую знал мир. Каждый конкистадор вдохновлялся твердым намерением получить достаточно золота и стать дворянином. Они высадились с одиннадцати кораблей в феврале 1519 года: около шестисот человек, восемнадцать лошадей и десять маленьких пушек. Быстро подчинив себе прибрежных туземцев, Кортес узнал, что эти племена ненавидят властвующих над ними ацтеков, и завербовал их в союзники. Они согласились идти с ним в легендарную ацтекскую столицу и воевать с Монтесумой. Среди подарков, поднесенных дружественными вождями Кортесу, были маленькие съедобные собачки, обезьянки, ящерицы и двадцать юных дев.

На лесной прогалине, окруженной пальмами, где стояли в солнечном свете глинобитные дома, а стража с мушкетами на плечах патрулировала край леса, этих девушек торжественно окрестили. Серьезные, меднокожие, в самых ярких юбках, они стояли с цветами в прямых черных волосах и с браслетами, звенящими на тонких запястьях, пока славный монах отец Ольмедо принимал их в лоно христианской церкви — первые американские обращенные. Девушкам дали новые имена — имена матерей, сестер, жен и любимых в Испании и на Кубе, а затем Кортес разделил их между своими капитанами, теперь чувствовавшими себя вправе жить с этими женщинами в *barraganía*^[55], той форме брака, которая не являлась «браком на латыни», или церковным, но существовала в Испании много веков, унаследованная от мусульман. Так к конкистадорам попала Марина, молодая женщина, сыгравшая огромную роль в завоевании Мексики. Она говорила на диалекте побережья, а также на языке

ацтеков, и Кортес нашел в ней бесценную переводчицу. Именно через нее он смог впоследствии разговаривать с Монтесумой. Она была «самой красивой, умной и расторопной из всех» девушек, и странно, учитывая репутацию Кортеса, что он отдал ее одному из капитанов. Позже тем не менее она стала его наложницей и родила ему сына, который вырос испанским аристократом. Типично испанской была реакция этой банды авантюристов, когда они узнали, что Марина — принцесса, проданная в детстве злым отчимом, и оценили ее благородные манеры: они оказались столь ярыми поборниками этикета, что дали ей титул *Doña*. В те дни он был отнюдь не пустым звуком, ни один из конкистадоров, даже сам Кортес, не претендовал ни на что подобное — хороший пример желания строго соблюдать приличия во всем, что они делали. Здесь проявилось не лицемерие, но испанская педантичность в самой крайней форме.

В это время шпионы Монтесумы наблюдали за ними из-под полога джунглей. Они нарисовали изображения испанцев ацтекскими пиктограммами, и эти сообщения полетели по эстафете бегунов через джунгли, горы, мосты из древесных волокон, качающиеся над потоками и ущельями, вверх, на плоскогорье, где сверкал над озером Теночтитлан. Более пугающими, чем бородатые люди, оказались фантастические чудовища с двумя головами и четырьмя ногами, поскольку, никогда не видев лошади прежде, ацтеки посчитали всадника и животное одним существом. Увидев эти картинки, Монтесума пришел в смятение и ужас. Он вспомнил пророчество, что однажды Дети Солнца придут с востока и будут править Мексикой. Эти существа, очевидно, были богами. В своем простодушии Монтесума послал им массивные подарки из золота и умолял их вернуться на солнце, надеясь как-нибудь отложить исполнение пророчества. Испанцам хватило

одного взгляда на золото, чтобы они решили идти на Теночтитлан.

Для начала Кортес, словно римлянин, торжественно основал город Веракрус (его полное название было *La Villa Rica de Vera Cruz* — Богатый город Истинного Креста, подобающе и правдиво поминавший Господа) и этим задал тон завоеванию. Затем он сжег свои корабли, но, будучи Кортесом, позаботился снять с них железо и снасти, и это в последующие месяцы его спасло. Основав базовый лагерь и отрезав пути к отступлению, он вышел в путь, а в лагере оставил маленький гарнизон. Его силы составляли четыреста людей, тринадцать лошадей и шесть или семь пушек. Столица Монтесумы была в двухстах милях от берега, и путь занял у испанцев и их туземных союзников три месяца. Они прорубались через влажные джунгли, замерзали в горах, где Диас чувствовал холод сквозь доспех, проходили между соснами, где плотной паутиной висели чары и амулеты колдунов Монтесумы. Им пришлось сражаться, многие были ранены. Когда туземцы впервые убили лошадь, они отрезали ей голову и разослали по племенам, чтобы доказать, что это существо не бессмертно. На каждом шагу захватчики видели чудеса и ужасы странной земли, существовавшей с начала человеческой истории, но полностью отрезанной от знакомого для испанцев мира. На вершинах пирамид они нашли храмы, чьи стены были залиты человеческой кровью. Им встречались орды ужасных жрецов в черных одеждах, чьи волосы, никогда не остригавшиеся, слиплись от засохшей крови. Когда человека притаскивали на вершину пирамид, эти стервятники бросали его на алтарь, а один, в красных одеждах, вскрывал ему грудь обсидиановым ножом и вырывал оттуда еще бьющееся сердце. Затем мертвое тело скидывали туда, где жрецы ждали, чтобы расчленить. «Да, — говорит Диас, — я даже думаю, что

разрезанная человеческая плоть выставлялась для продажи на их *tianges*, то есть рынках». В одном храме конкистадоры нашли снятую кожу двух своих товарищей, которых захватили в плен, — бороды все так же торчали на их щеках. Диас и сам жил в постоянном страхе попасть в плен. Испанцев приводили в ужас и бесчисленные юноши, одетые женщинами, — им запрещали «зарабатывать на пропитание проклятым распутством». Таковы некоторые особенности цивилизации, о чьем конце печалились многие писатели.

Правда в том, что ацтеки, при всем их золоте и серебре и внешнем блеске, были настоящими дикарями. Железа они не знали, медь встречалась редко; кроме того, народ, создавший и поддерживавший систему коммуникаций, которая в Европе тех времен считалась бы чудом, а также прекрасные ботанические и зоологические сады, не знал колеса. Первыми колесами в Америке стали колеса пушек Кортеса. Овец у ацтеков не было, как и коров и пшеницы. Испанцам встретились два продукта, покорившие Старый Свет, как лошади, коровы, овцы и пшеница завоевали Новый. Это табак — мексиканцы курили его через трубки и мундштуки из черепахового панциря или нюхали — и какао, или шоколад: его ацтеки готовили особым способом, который теперь считается утерянным. Какао смешивали с ванилью, сбивали в почти твердую пену, охлаждали и ели ложкой.

Маленькая группа испанцев достигла плоскогорья, теперь известного как равнина Мехико, лежащего примерно в семи тысячах футов над уровнем моря; на плоскогорье раскинулся Теночтитлан — мексиканская Венеция на поверхности огромного озера. Когда испанцы пересекли озеро по одной из каменных дамб — единственному подходу к этой островной твердыне, — они увидели великолепное собрание, приближающееся

к ним: сам Монтесума выехал встречать их в золотом паланкине, чьи опоры покоились на плечах вельмож. Над его головой нависал серебряный балдахин с бахромой, сделанной из крыльев колибри и других разноцветных птиц. Когда Монтесума вышел из паланкина, его двор пал ниц, отводя глаза, поскольку этикет не позволял смотреть на императора; когда он шествовал, поддерживаемый принцами королевского дома, придворные шли впереди, бросая перед ним полосы хлопковой ткани, чтобы золотые сандалии не коснулись грубой земли. Монтесума в свои сорок лет был высок и худ, с прямыми черными волосами и более светлой, чем у подданных, кожей. Пока он приближался, испанцы с интересом разглядывали его наряд, затканый жемчугом и похожими на изумруды драгоценными камнями, называвшимися у ацтеков *chalciviti* (нефрит). На голове его была корона из зеленых перьев. Кортес бросил поводья своего коня оруженосцу и, спешившись, вышел навстречу императору. Монтесума посмотрел на суровое бородатое лицо под шлемом и поверил, что это — лик бога.

Как воспринимать то, что последовало далее? Было ли это чистое вероломство и злодейство или диктовалось необходимостью? Дворец в Теночтитлане, достаточно большой, чтобы вместить всех испанцев, отдали в их распоряжение. Монтесума обращался с ними так, словно они и вправду были богами. Он восторгался возможностью принимать таких гостей и изливал на них дождь подарков. Но положение испанцев было обманчивым, и они это понимали. Они пришли с войной, а к ним относились как к почетным гостям. Через четыре дня Кортес попросил разрешения подняться на большую пирамиду, или *teocallis*, и увидеть храмы мексиканских богов. Монтесума шествовал первым, при полном параде, за ним Кортес

на лошади, сопровождаемый кавалерией и охраной из пехоты; среди последних был и Берналь Диас. Они впервые близко увидели город, поскольку Кортес сразу велел всем оставаться в комнатах и садах дворца. Испанцев поразили людные улицы — население города, как говорят, составляло триста тысяч человек, — площади, каждая из которых была больше Пласа Майор в Саламанке, и рынки, где продавали гусиные перья, наполненные золотой пылью, трубочки с амброй, какао, шоколад, кукурузу, меха, перья и прекрасный хлопок, похожий на тончайший шелк. Когда они взобрались по ста четырнадцати ступеням на вершину храма, то остановились, напуганные чудовищными богами и их жрецами со слипшимися окровавленными волосами. «Проклятый храм... храм ада», — писал Диас. Он видел ужасного Уицилопочтли, бога войны, идола, чье «лицо и нос были весьма широкие, а глаза безобразные и свирепые; все его туловище было покрыто столь многими драгоценными камнями, золотом и жемчугом, прикрепленными мастикой». Перед статуей бога, на дымящейся жаровне, они увидели сердца трех человек, принесенных в жертву этим утром. Пол и стены почти почернели от засохшей крови, «и даже на бойнях Кастилии не было такого зловония»; также испанцы увидели огромный барабан из змеиной кожи, который позже гремел днем и ночью без перерыва. Вопреки совету отца Ольмедо, также присутствовавшего, Кортес храбро упрекнул Монтесуму за идолопоклонничество и попросил показать храм, в котором можно было бы поставить статую Девы Марии. Император был шокирован и оскорблен. «Для нас они — добрые боги, — сказал он. — Тебя же очень прошу оставить впредь всякое дерзновенное слово». Кортес извинился и ушел с пирамиды, а император остался, чтобы умиловать оскорбленных идолов. Кортес повел себя как ранний христианин в языческом храме, и с этого дня битва за

Мексику словно превратилась в битву Христа против кровавых богов изначальных времен. Спускаясь с пирамиды, христиане увидели рассеченный каналами город внизу и озеро, во всей прелести утра несущее на своих водах плавучие острова, покрытые цветами. Как почти везде в Мексике, красота здесь шла рука об руку с демонами.

Диас был с Кортесом, когда они с Мариной навещали Монтесуму во дворце, где император жил как полубог. Прежде чем войти в его обиталище, великим вождям приходилось набрасывать одеяние из мешковины на свои богатые накидки и нести на спине маленький сверток, изображающий тяжелую ношу; так, символически унизясь и отводя глаза, они приближались к императору. Триста блюд готовились каждый день, чтобы Монтесума мог выбирать, и ел он в одиночестве за золотой ширмой, обслуживаемый прекрасными девушками, которые никогда на него не смотрели. В конце обеда, после того как ему подавали королевский шоколад, девушки «преподносили несколько трубочек, весьма изящно позолоченных и расписанных, в которых находились амбра и особая трава, называемая “табак”... Их поджигали с одного конца, и он выпускал дым изо рта. Прodelав так некоторое время, он отправлялся на покой».

Христиане получили разрешение построить в своем лагере часовню Девы Марии, где — пока не закончилось вино — отец Ольмедо служил мессу. Заметив заложенную дверь, испанцы вытащили несколько камней и оказались в большой комнате, до потолка заваленной золотом и драгоценностями. Они снова заложили дверь. По прошествии времени они почувствовали перемену в поведении хозяев. Прежнее радушие и благоговение исчезли. Пришли новости, что вассалы Монтесумы на побережье напали на Веракрус и убили нескольких испанцев. Кортес и его люди начали

чувствовать себя загнанными в ловушку и боялись, что ацтеки могут напасть. Посовещавшись, они решились на самый, возможно, смелый план, приведенный в исполнение маленьким отрядом солдат в сердце воинственной нации. Испанцы решили захватить Монтесуму, выкрасть его из дворца и держать заложником. «Всю ту ночь, — говорит Диас, — мы молились Богу с отцом Ольмедо, чтобы просить у Всемогущего поддержку в святом деле».

Утром Кортес с доньей Мариной в качестве переводчицы и капитанами в полном облачении отправился во дворец; и через час ацтеки увидели, как королевский паланкин движется по направлению к испанскому лагерю, сопровождаемый слезами приближенных императора. То, что несколько наглецов могут похитить великого властителя из его собственного дворца, может показаться невероятным, если только властитель не был добровольным пленником, но Монтесума, видимо, чувствовал себя беспомощной куклой на ниточках судьбы. Кортес низко кланялся ему, солдаты снимали шлемы в его присутствии, но даже самому глупому мексиканцу наверняка стало ясно, что реальная власть в Мексике императору больше не принадлежит. Кортес имел мужество потребовать выдать ему того военачальника, который командовал нападением на Веракрус. Этот человек прибыл в лагерь подобающим образом, в паланкине и в наряде военачальника. Кортес сжег его живьем на рыночной площади. Пока происходила казнь, Кортес сам застегнул кандалы на ногах Монтесумы — по-видимому, в наказание. Позднее испанцы обнаружили, что приближенные императора держат оковы так, чтобы они не натирали императорское тело. Кортес встал на колени и расстегнул оковы. Несмотря на подобные унижения, отношения продолжали оставаться почти задушевыми. Монтесума завоевал

сердца своих пленителей уступчивостью, любезностью и желанием одарить их золотом и женщинами. Следующим шагом стала формальная клятва в верности Карлу V, которая была принята протоколистом, подписана, запечатана и отправлена в Испанию. За этим последовала обычная дань вассала господину. Веками ацтеки копили золото, и это золото теперь получили испанцы — и переплавили в слитки. Пятую часть невиданного богатства отправили королю Испании, а конкистадоры поделили остальное. Интересно — для тех, кто верит в возможность равенства доходов, — что за несколько дней многие солдаты проиграли свою долю, и впоследствии одни оказались такими же бедными, какими начинали поход, а другие разбогатели.

Захватив императора и получив его богатства, Кортес потребовал и получил разрешение освободить место для христианского храма на вершине пирамиды, рядом с идолами. Однажды, поднявшись на пирамиду, чтобы приглядеть за расчисткой места, Кортес внезапно вышел из себя и, схватив металлический прут, ударил идола Уицилопочтли между глаз, разбив его золотую маску и крикнув: «Мы должны чем-то рисковать ради Господа!» Это напоминает мне рвение святого Павла. Но даже Павел не разбивал статую Дианы Эфесской. Многие христиане были канонизированы за меньшее, чем поступок Кортеса на вершине пирамиды в Мехико. Это величайший миг в завоевании Мексики, и он ставит Кортеса особняком относительно всех прочих конкистадоров. Конечно же, он поплатился за свой пыл. Оскорбление богам посеяло среди ацтеков мысль о восстании. Монтесума умолял своих друзей бежать, пока это возможно; но, составляя планы побега, они прослышали, что в Веракрусе бросили якорь восемнадцать кораблей и некто по имени Нарваэс высадился на берег с девятью сотнями солдат, включая

восемьдесят всадников, восемьдесят мушкетеров, восемьдесят арбалетчиков, а также с некоторым количеством пушек. Воины Кортеса обрадовались, сочтя новые войска пополнением, но Кортес понимал, что это враги, с которыми придется сражаться. Он правильно угадал, что губернатор Кубы послал новый отряд, чтобы подчинить его и наказать за то, что он создал себе имя и авторитет завоевателя. Окруженный врагами, Кортес действовал быстро и решительно. Оставив маленький отряд в Мехико, чтобы удерживать город, он ушел форсированным маршем с прискорбно маленькой армией — и ту едва удалось собрать — из двухсот шестидесяти шести человек, только пять из которых ехали верхом. Но все были крепкими бойцами, привыкшими сражаться в джунглях. Пока Нарваэс и его воины считали, что Кортес от них в сотнях миль, их атаковали в потоках тропического ливня и разбили наголову. Нарваэс потерял один глаз, его войско сдалось. Диас дарит нам очаровательную легенду: меньшему отряду помогал рой светлячков, заставляя противников вообразить, что это горящие запалы бесчисленных мушкетов.

Разгромив Нарваэса, Кортес узнал, что в Мехико вспыхнуло восстание. Он отправился назад, укрепив армию вновь прибывшими, которые с готовностью присоединились к нему в надежде пограбить. Они обнаружили гарнизон в осаде мексиканцев. Ярость ацтеков была неопишуема и, кажется, удивила даже Кортеса. Монтесума огорчился, когда Кортес отверг его дружбу. Однажды император, надев королевскую белоголубую мантию, золотые сандалии и диадему, появился во всем великолепии на башне дворца. Упала тишина, когда беснующаяся толпа узнала императора. Он приказал прекратить военные действия, мол, тогда белые люди уйдут из Мехико. При упоминании об испанцах послышался ропот. В императора выпустили

стрелу и бросали камнями, один из которых заставил его без чувств упасть на землю. Монтесума постиг всю глубину унижения и через три дня умер. Отец Ольмедо стоял около него на коленях с распятием, но Монтесума отвернулся. «Мне осталось всего несколько мгновений, — сказал он, — и я не предам богов моих отцов». Испанцы оплакивали его, «точно он был им родной отец» (говорит Диас): «Пусть никто не дивится нашему поведению. Монтесума был великий и добрый человек!» Я не однажды задавался вопросом, как получилось, что чудовищная вера, которой этот человек остался предан, самая кровожадная из известных нам и самая примитивная, произвела характер, исполненный поистине христианской кротости.

Кортес счел необходимым бежать из Мехико. Он решил вывести свою маленькую армию ночью по самой короткой из трех дамб через озеро. Но сначала во дворце произошла поразительная сцена. Несколько лошадей, хромых или раненых, нагроутили золотом, часть которого была отложена для короля Испании. Затем впустили солдат и сказали тем, что они могут брать, что захотят. Благоразумные, вроде Диаса, взяли по горсти драгоценных камней, но жадные и глупые похватали куски золота, которые скоро привели их к смерти. В темноте испанцы начали переходить дамбу. Вдруг огромный барабан из змеиной кожи начал бить на *teocallis*, и на испанцев напали тысячи воинов в каноэ. Утыканные стрелами, побитые камнями, израненные копьями, беглецы бросались в озеро и попадали в плен к ацтекам, а задние ряды впали в замешательство. Золото, лошади, пушки, весь багаж Кортеса, несколько сотен испанцев и несколько тысяч туземных союзников были потеряны в дикой неразберихе этой ночи. Когда всего несколько несчастных, без оружия, добрались до берега, Кортес посмотрел на них и зарыдал.

Они бежали на юг, в страну своих союзников-тласкаланцев, которые, как ни странно, остались им верны. У беглецов не было ни мушкетов, ни пушек, ни пороха. Почти все были ранены. Отступая, они выдержали ужасную битву при Отумбе, которую выиграл Кортес, проскакавший к вражескому военачальнику и его зарубивший. Исцелив свои раны среди туземных союзников, Кортес начал планировать отвоевание Мехико. И постепенно удача начала возвращаться к нему. Прибыли корабли с пополнениями для Нарваэса, поскольку губернатор Кубы не знал, что тот разгромлен. Их переманили на службу к Кортесу. Так он получил пушки, лошадей, тетивы для арбалетов, мушкеты и порох. Он задумал план, столь же дерзкий, как пленение Монтесумы. У него не было кораблей, но во время отступления он понял, что для нападения на Мехико корабли необходимы — чтобы удерживать дамбы. Кортес послал туземных союзников рубить деревья для тринадцати бригантин под надзором корабельного плотника Мартина Лопеса и использовал металлические части и оснастку, спасенные с кораблей, которые он сжег после высадки в Мексике. Ему пришлось строить корабли по частям, чтобы перенести их через горы и собрать на берегу озера. Через шесть месяцев после своего разгрома Кортес был готов снова идти на Мехико. Его армия теперь состояла из пятисот пятидесяти солдат, восьми маленьких пушек и орды тласкаланцев, которые жаждали увидеть падение своих потомственных врагов. Среди тех, кто обедал за столом Кортеса, был юный ацтекский принц королевской крови, который стал христианином и принял испанское имя. Завоеватель редко о чем-либо забывал.

Идя на Мехико, они находили ужасные свидетельства судьбы тех испанцев, которые попали к врагам. В одном городе, говорит Диас, «стены местного

святилища были забрызганы испанской кровью; на алтаре пред их идолами лежала, в виде масок с бородами, кожа, содранная с двух голов, выделанная так же, как мы готовим кожу для перчаток». В другом храме нашлись шкуры пяти лошадей, «выделанные столь прекрасно, как нигде в мире, с ногами и копытами». Они были поднесены идолам вместе с одеждой зарубленных в жертву испанцев.

«Прослушав мессу и вручив себя Богу», армия вышла на самую трудную и крутую дорогу в Мехико; разобранные бригантины следовали за ней на плечах восьми тысяч туземцев. Так вышли к озеру и городу, в котором столько рисковали и страдали. Осада продолжалась почти три месяца и доказала воинскую доблесть ацтеков. Улицы были завалены трупами, а голодающие женщины и дети, которые выбирались из города и бродили вокруг, жуя кору деревьев, пробуждали в испанцах жалость и заставляли Кортеса вновь и вновь тщетно призывать к сдаче. «Барабан преисподней» звучал почти непрерывно; и на пирамидах, на виду у всех, черные жрецы склонялись над жертвами. Сам Кортес едва избег плена, и те испанцы, которые были убиты в бою, считались счастливыми. Иногда осаждающие поднимали взгляд на пирамиды, где огни горели день и ночь, и с ужасом видели своих плененных товарищей, гротескно украшенных перьями — их заставляли плясать перед идолами, прежде чем пригвоздить к жертвенному камню. Наконец Кортес с глубокой печалью, поскольку это был «самый прекрасный город в мире», решил сжечь ацтекскую столицу; его армия подошла под прикрытием стены огня. Умиравший от голода город сдался, и Мексика была завоевана.

Кортес почти сразу начал строить город, из которого впоследствии вырос Мехико. Существующий ныне королевский дворец на главной площади — Пласа

Майор — стоит на месте резиденции, которую Кортес воздвиг на руинах дворца Монтесумы. Собор сменил ужасные *teocallis*, но площадь озера теперь уменьшилась, и сейчас там, где первые испанцы видели тысячи каноэ, лишь сухая земля.

Едва завоевание завершилось, прибыла донья Каталина, чтобы воссоединиться с супругом. Ее здесь не особенно ждали, но муж дал ей положение королевы. Говорят, она была чрезвычайно ревнива, и хотя донья Марина уже не могла с ней соперничать, вероятно, существовали и другие женщины. Донью Каталину нашли мертвой в постели через несколько месяцев после приезда, при обстоятельствах, которые многие враги ее мужа не забыли.

Кортес, которому ко времени завоевания Мексики исполнилось тридцать шесть лет, стал, пожалуй, величайшим испанцем своего времени, королем во всем, кроме титула. Но он был обречен: его успех породил слишком много врагов. Его прославляли и осыпали почестями в Испании. Он стал маркизом Оахака и женился на прекрасной и благородной донье Хуане де Суньига; но Мексику передали Колониальному управлению, и Кортесу, пусть дворянину и обладателю титула, пришлось уступить королевским наместникам из Мадрида. Последние годы он провел в битвах против неравных противников: злобы, зависти и ревности — и, как говорят, со временем перестал допускаться на прием к королю. Он умер недалеко от Севильи, несчастный и озлобленный, в возрасте шестидесяти двух лет. Его останки перевезли в Мексику, но потом тайно вывезли накануне утверждения национальной независимости в 1823 году. Считается, что их переправили на Сицилию, где тогда жил глава его рода; но где они сейчас — неизвестно.

Среди дополнительных сведений о вторжении в Новый Свет имеется книга «Лошади конкисты», написанная прекрасным наездником Р. Б. Каннингемом Грэмом, которого в давно прошедшие 1920-е годы я, помнится, видел в Гайд-парке восседающим на мексиканском пони-иноходце. Он утверждает, что первые лошади Нового Света происходили от знаменитой кордовской породы, с тех пор давно исчезнувшей. Считается, что эту породу вывели во времена Арабского халифата от четырех жеребцов, привезенных из Хиждаза и скрещенных с местными кобылами. Кортес, Писарро и другие конкистадоры покупали лошадей у конезаводчиков Кубы и островов Вест-Индии, которые вели процветающую торговлю лошадьми, выводя специальных боевых коней. Лошади, вывозимые из Испании этими заводчиками, вероятно, относились к тому же типу, что и лошади на картинах Веласкеса, с короткой спиной и небольшим просветом под брюхом. Ужас, вызванный в Мексике первыми лошадьми, был таков, что многие рассказы о завоевании содержат предложение: «Ибо, благодаря Господу, мы обязаны победой лошадям». Ацтеки так и не смогли преодолеть свой страх; с другой стороны, инки в Перу быстро научились ездить верхом, как и патагонцы. Через пятьдесят лет после того, как дон Педро де Мендоса бросил семь лошадей, когда первая оккупация Буэнос-Айреса провалилась, патагонцы стали конниками и редко ходили пешком. В 1580 году, когда дон Хуан де Гарай пришел в Патагонию, провинция оказалась полна диких лошадей, потомков семи кобыл и жеребцов, оставленных там в 1535 году. Новый Свет, с его обширными равнинами и культурой возделывания кукурузы, был идеальным местом для размножения лошадей, которые в этих условиях быстро видоизменились и лишь слабо напоминали оригинал.

Каннингем Грэм упоминает о судьбе черного коня Эль Монсильо, на котором Кортес ездил во время исследования Юкатана в 1525 году. Животное так охромело, что Кортес, к своей печали, был вынужден оставить его у озера Петен-Ица, у индейского вождя, который обещал присматривать за конем. Прошло сто семьдесят лет, прежде чем белые вернулись в этот район. В 1697 году два францисканских монаха вышли на каноэ по реке Тапия в озеро Петен-Ица. Они входили в состав экспедиции, которая скоро прибыла с лошадьми. Францисканцы удивились восторгу, выказанному одним из туземцев, вождем по имени Искуин, при виде животных. Он скакал вокруг на четвереньках, издавая ржание. Им показалось весьма замечательным, что он так много знает о лошадях. Францисканцы, обнаружившие, как трудно обращаться этих туземцев, узнали об их великом боге Циунчане — боге грома и молнии, а позже их отвезли на остров посреди озера, где стоял храм божества. К их удивлению, бог Циунчан оказался каменной статуей лошади. Монахи по кусочкам сложили историю и выяснили, что богом стал Эль Монсильо, оставленный когда-то Кортесом. Индейцы, очевидно, обращались с ним с величайшей добротой, хотя этим и убили: он отказывался есть фрукты и даже цыплят, положенных перед ним, зачах и умер. Его похоронили на острове; скоро появился культ, и Эль Монсильо быстро вытеснил другие местные божества. Поистине жаль, что монахи в негодовании разбили статую на кусочки. Конкистадоры, как и их испанские предки, ездили с короткими стремянами по мавританскому обычаю, но когда лошади в Южной Америке одичали, стремяна пришлось удлинить. Современный гаучо ездит с длинными стремянами, но все еще сидит в мавританском седле — теперь оно называется мексиканским, — изначально принесенном конкистадорами.

Подъехав к горному городку Трухильо, я увидел, что бастионы, казавшиеся издалека целыми, представляют собой осыпающиеся стены, а мавританский алькасар — пустая оболочка. Крутые улочки, скрывающие множество прекрасных ренессансных дворцов, ныне полуразрушенных, вели на верхний ярус города. Я увидел угольщика, наполняющего свои мешки на свалке у некогда великолепного въезда во дворец; восхитительный запах свежего хлеба привел меня к другому дворцу, где у дровяного огня я понаблюдал за женщиной, вытаскивающей буханки из печи, сооруженной на когда-то роскошном дворе. Все эти дворцы были построены с помощью богатств Перу. Их фундаментом служило золото инков, а раствором, связующим их камни, — кровь и удача. Сколь немногие из конкистадоров получили хоть какую-то выгоду от своих приключений! Их убивали в бою, а когда приходило время дележа добычи, они нередко обнаруживали, что их доля едва позволит купить новую лошадь или меч. Но дворцы Трухильо доказывают, что некоторым все же удалось добраться до американского золота.

Величественную площадь в нижней части города обрамляет ряд великолепных средневековых домов, построенных над каменными арками; а на противоположной стороне стоит самый помпезный дворец в городе — с гербом высотой около двух этажей, вырезанным на фасаде. Мне сказали, что это дворец маркизы де ла Конкиста, нынешней носительницы титула Писарро. История этого титула необычна, поскольку Писарро никогда не был женат и титул стал недействительным после его смерти. Однако он жил с инкской принцессой, дочерью убитого им Инки, и имел

от нее дочь. Эта женщина вышла замуж за своего дядю, Эрнандо Писарро, который пережил Франсиско, и маркизат возродили для их наследников. Если бы титул передавался по прямой линии, его носители могли бы похвастаться кровью великого Писарро и также Инки Атауальпы. Туристам рассказывают, что этот дворец был домом Писарро, но это не так. Завоеватель никогда не вернулся в Трухильо — он остался в Перу, где его в конце концов и убили.

Аисты гнездятся по всему Трухильо: на колокольные церкви, на монастыре и на дворце. Они наполняют воздух сухим щелканьем клювов (*crotonasia*, как говорили древние); застывшие на одной ноге, внимательно глядящие на улицу, не пугливые, поскольку очаровывают человечество уже многие века, они вполне могли бы оказаться духами самых щедрых горожан. В поисках спасения от жары я зашел в кафе «Виктория», смотрящее на романтическую статую Франсиско Писарро. Завоеватель скачет в полном вооружении, сжимая меч, перья на шлеме развеваются — душа благородного рыцарства. Статуя — произведение американского скульптора Марии Хэрримен Рамси, и ее копия стоит перед собором в Лиме. Потягивая *manzanilla*, я размышлял, что Трухильо, как и многие городки Англии, отражает желание недавно разбогатевших людей строить свою жизнь по образцу дворянства. Конкистадоры, всего добившиеся собственными силами, и их потомки использовали богатство Перу, чтобы возводить дворцы, во всем подобные дворцам рыцарей — так же, как богатые меднолитейщики и прочие во времена промышленной революции ориентировались на английских графов. Можно представить, с какой гордостью разбогатевшие крестьяне и свинопасы Эстремадуры возвращались в родные городки богатыми дворянами, и собственный герб на главных воротах, должно быть, казался им

более чудесным, чем все происходившее с ними в Индиях.

Руины старого дворца на вершине холма в древнем городе известны как «дом Писарро» — совершенно ошибочно, поскольку у него никогда не было дома в столь помпезном значении. Это обиталище дворянина, с гербом над воротами, и, возможно, дом его отца, но не матери. Полковник Гонсало Писарро, офицер в отставке, был повинен в том, что испанцы называют *desueto*, интрижке с молодой женщиной скромного достатка, и плодом этой интрижки стал будущий завоеватель Перу Франсиско Писарро. Мальчик не получил никакого образования и до конца жизни не умел ни читать, ни писать. Как и большинство мальчишек в Эстремадуре, он пас свиней, а потом отправился искать свое счастье в Индию. Полковник еще по крайней мере дважды провинился подобными неосторожностями — братья получили имена Гонсало и Хуан. У него также был законный сын, Эрнандо Писарро, старше трех сводных братьев. Заносчивый аристократ Эрнандо всегда смотрел на Франсиско сверху вниз, хотя тот стал источником его богатства, а Франсиско на него — снизу вверх, с завистью и восхищением. Таковы четверо Писарро, проскакавшие по Перу, как четыре всадника Апокалипсиса, и приведшие к падению цивилизацию, которая, на первый взгляд, обладала многими достоинствами. Инки не были жестоки, как ацтеки, и каннибалами тоже не были. Они потчевали своих богов жареной ламой и с помощью послушных крестьян создали раннюю форму «государства всеобщего благосостояния».

Одна из примечательных особенностей четверых Писарро — их относительно пожилой возраст. Кортесу исполнилось тридцать три, когда он высадился в Мексике, но Франсиско Писарро ко времени завоевания Перу было за пятьдесят, а его единокровному брату

Эрнандо — еще больше. Ни одного из перуанских конкистадоров невозможно назвать столь же симпатичным, как Кортес: это грубая толпа, жестокая, вероломная и мстительная. Смерть Монтесумы — ужасная трагедия, винить за которую, конечно, следует Кортеса; но это никак не подлое преступление, в отличие от «законного» убийства Инки. Писарро пригласил монарха на обед, пленил, убил его безоружных спутников и согласился отпустить его, только если он набьет золотом целую комнату. Когда Инка это сделал, Писарро приговорил его к смерти через сожжение по сфабрикованному обвинению и смилостивился до удушения, когда бедняга принял христианство на костре — чудовищная пародия на инквизицию и наверняка самый подлый поступок в истории Нового Света. Писарро и их приспешники стали первыми американскими гангстерами, и их кровавые стычки друг с другом словно прописали сценарий для всех южноамериканских революций.

Тем не менее им довелось пережить приключения, какие выпадали немногим. Писарро в изумлении глазели на украшенные драгоценностями сады Инки в Куско, где цветы из драгоценных камней и изумрудов сияли среди золотых ветвей и серебряных листьев; они видели королевские мумии храма Кориكانча — каждая восседала на резном золотом троне, в одеждах, украшенных драгоценностями; они видели великий храм Солнца, каким он был прежде, чем они содрали семьсот золотых дисков с его стен и сняли карниз из чистого золота, окаймлявший храм. Эти люди, никогда не имевшие за душой ни гроша, теперь проигрывали в карты золотые диски и изумруды и унеслись прочь, словно стая волков, в поисках нового богатства. Они также первыми услышали фантастическую историю Эльдорадо, историю, которая впоследствии привела к смерти Уолтера Рэйли. Этот Эльдорадо был, по легенде,

королем золотого города, называемого Маноа, и каждый день раздевался, обмазывался каучуком и вываливался в золотой пыли. Вечером вельможи вывозили его на лодке на середину озера, где он бросался в воду и смывал золотую пыль. Говорили, что в озере теперь не только золотая пыль, но и разнообразные золотые приношения, брошенные туда последователями Эльдорадо. Гонсало Писарро один из многих пытался найти чудесный город Маноа, но вместо этого столкнулся с ужасными и невероятными трудностями.

Все три незаконнорожденных Писарро погибли насильственной смертью. Хуан умер от ран, полученных в битве. На Франсиско, уже старика лет шестидесяти пяти — семидесяти, напали вооруженные люди и убили в собственном доме. Гонсало, разгромленный во время восстания против наместника Перу, был обезглавлен. Три этих жестоких человека погибли, как и жили. Только заносчивый и высокомерный Эрнандо, старший и единственный законный сын Писарро, выжил — возможно, потому, что сидел в безопасности, в тюрьме в Испании, ожидая одного из тех испанских судебных разбирательств, в коих присутствуют все элементы вечности. Его держали в тюрьме двадцать лет. Очевидно, это было формальное заключение, поскольку ему позволили, пока он сидел в одиночке, жениться на своей племяннице, дочери Франсиско и инкской принцессы, — и через такой неприглядный союз продолжилась линия Писарро. Когда Эрнандо выпустили из тюрьмы, он был почтенным старцем девяноста лет. Все его враги и современники уже умерли, и его жалобы и печали больше ничего ни для кого не значили, ибо он принадлежал ушедшей эпохе. Говорят, старик дожил до ста лет.

Я взобрался по улочкам старого города и при свете спичек разглядел фигуру коленопреклоненного рыцаря

в церкви Санта-Мария де ла Консепсьон и слово «Писарро», высеченное в камне. Примечательно, что путеводители и недавние путешественники — возможно, повторяя одну из немногих ошибок Ричарда Форда — называют эту гробницу могилой Франсиско Писарро. Но Франсиско похоронен в Лимском соборе, и его останки можно увидеть там в стеклянном гробу. После убийства его труп был поспешно унесен преданными домашними слугами в старый собор и закопан в темном углу. Когда строился новый собор, могила превратилась в помпезное надгробие, где тело Писарро лежит бок о бок с останками наместника Мендосы.

§ 7

Люди в Мериде с гордостью рассказывали мне, что город имеет репутацию самого жаркого места в Испании. Большинство путешественников в *parador* лежали, измученные жарой, в затененной комнате отдыха или апатично сидели во дворике, который был накрыт огромным тентом. Его натягивали рано утром с помощью искусного управления рычагами и веревками и убирали после заката, открывая ночной свежести. Было чрезвычайно интересно встретить столь прекрасный пример повседневного использования римской *valeria*^[56] в бывшей римской Эмерите; впрочем, меня ожидали и другие ожившие реликты Рима.

Я решил не обращать внимания на жару и отправился бродить в поисках впечатлений. Много интересного я увидел, слоняясь по улицам и благоразумно держась теневой стороны. Известная достопримечательность города — вокзал, откуда огромные черные локомотивы уезжают, пуская клубы дыма, на запад, к Бадахосу и португальской границе, по

аркам римского акведука, а аисты задумчиво смотрят на них свысока. Они напоминают железнодорожных чиновников, сверяющих время прибытия и отправления поездов, и их совершенно не беспокоят клубы пара и облака дыма. Неподалеку прекраснейший римский мост в Испании протянулся на полмили через Гуадиану чередой великолепных арок. Лето иссушило реку, и она разделилась на два рукава, приближаясь к мосту, и оставила посреди своего ложа островки, где стайки иссиня-черных эстремадурских свиней деловито обнюхивают речные камни. От воды я посмотрел сквозь одну из арок и увидел за ней обрамленные античными постройками и отраженные в воде стены с башенками римского *castrum*^[57], превращенного маврами в алькасар, а рыцарями ордена Святого Яго после Реконкисты — в монастырь. Вид на редкость древний и романтичный; умею я рисовать, я бы выбрал момент, когда несколько свиней, гонимых маленьким босоногим мальчиком, заняли передний план, а группа погонщиков мулов, проштрихованная алыми лучами, пересекала мост наверху.

Я часто ходил посидеть в римском амфитеатре, одном из наиболее сохранившихся из тех, что я видел. Сектор сидений, разделенных по семь, не поврежден почти до верхних рядов, а просцениум с величественными колоннами и статуями практически совершенно цел. Мы считаем наш век чрезмерно стандартизованным, но города в Римской империи были похожи друг на друга почти как станки с одной фабрики. Одинаковость римской городской архитектуры наверняка вызывала скуку, повторяемая с неумолимой монотонностью от провинции к провинции. Однако приятно представлять, что, возможно, Адриан или Траян и наверняка Сенека и Марциал (все — римские испанцы) могли когда-то сидеть в амфитеатре

Мериды. Я где-то прочитал, что первым городом вне Италии, принявшим римское право и язык, стал Кадис, который римляне знали как Гадес. Танцовщицы из Гадеса славилась в Риме — и везде, где были Тримальхионы, задававшие пиры; некоторые, в том числе и эрудит Форд, полагают, что память об их топоте и позах до сих обнаруживается в танцах андалусийских цыган.

В нескольких шагах от театра находится цирк, где проводились бои гладиаторов. Также арену использовали для потешных водных сражений, и приспособления для этого хорошо сохранились. Многие полагают, что такие представления проходили на искусственных озерах, на которых галеры могли свободно маневрировать и создавать впечатление морской битвы, но в провинциальных цирках зрелище было куда менее впечатляющим, чем в Риме. В Мериде можно увидеть, как вода заполняла каналы, и, видимо, именно по этим каналам двигались корабли — почти как ялики, ожидающие прохода через шлюз. Очевидно, сражение было главным действием представления. Еще более интересны подземные клетки, в которых держали диких зверей, прежде чем поднять их на арену. Двери узилищ открывались в тяжелую сетчатую клетку, которую затем поднимали до арены с помощью лебедки. По достижении уровня арены крышка клетки откидывалась, и львы и тигры выскакивали наружу. За исключением формы, продолговатой, а не круглой, этот римский цирк выглядит точно так же, как любая арена для боя быков в Испании — и имеет примерно такой же размер.

Но самый, пожалуй, необычный пережиток языческих времен я увидел в Мериде в апсиде маленькой церкви святой Евлалии, которая стоит на одной из главных улиц. У стены построена открытая часовня, выглядящая в точности как маленький римский

храм: колонны, архитрав и камни — все с развалин римского города. Особенно примечательно то, что часовня увешана женскими волосами. Впечатление такое, будто остригли дюжину школ для девочек и развесили косы, черные, каштановые и золотистые, вокруг образа юной святой. Здесь есть и локоны, покрытые дорожной пылью; некоторые длинные и кудрявые, другие тонкие и безжизненные. Можно ли представить более языческий обычай из сохранившихся, чем жертвование своих волос божеству?

Святая Евлалия — девица примерно двенадцати лет, чьи родители были богатыми гражданами римской Эметрии. Она жила во времена той прискорбной главы в истории мученичества при Диоклетиане, когда христиане совершали самоубийства в стремлении стать святыми. Они публично оскорбляли императора, богов и законы, пока городским властям, не желавшим того, но исчерпавшим терпение, не приходилось их казнить; и христиане шли на самую лютую смерть, распевая гимны. Позже церковь постановила, что эти люди, пусть бесстрашные и искренние в вере, все же недопустимо испытывали благосклонность небес. Юная Евлалия была полна решимости принять смерть и грубо обошлась с наместником, который пытался спасти ее от самой себя. Пруденций, испанец, живший в четвертом веке и писавший о мучениках, оставил в своем третьем «Венце» («Перистефанон») рассказ о ней. Описав попытку игемона утихомирить девочку, он говорит:

Ни слова ему не молвила
Та мученица младая,
Но лишь зарычала, гневная,
И плюнула прямо в очи
Тирану, пред ней сидящему,
Всех идолов растолкала

И, наземь швырнув курильницы,
Отпнула с своей дороги.

Евлалию сожгли заживо, и часовня, как считается, стоит на месте печи, в которой казнили девочку.

После нескольких дней жары я проснулся с головной болью и, чувствуя головокружение и чрезвычайную слабость, понял, что получил честно заслуженный солнечный удар. Слишком слабый, чтобы читать, я провалялся весь день в жаркой темной комнате в *parador*, с кружкой ледяного лимонада на прикроватном столике. У меня было много времени, чтобы поразмыслить над вопросом, который озадачивает немногих путешественников в Испании: судьбой трупов еретиков. Здесь не принято кремировать, и до новейших времен протестантов хоронили на берегу в полосе прилива. Что происходило во внутренних землях, я не знаю. Форд рассказывает, что в его время было всего три протестантских кладбища: в Мадриде, Малаге и Кадисе. Также он говорит о прибрежных захоронениях: «Даже эти уступки оскорбляли католических испанских рыбаков, которые, боясь, что может заразиться камбала, выкапывали тела ночью и вывозили их на глубину, на корм акулам». Во многих книгах о путешествиях я наткнулся на рассказы о том, как в Испании к еретику на смертном одре приходит священник, делающий все возможное, чтобы вырвать его душу из адского огня.

Пухленькая юная горничная — я смутно опознал в ней девушку, которой улыбался на лестничных площадках, — вошла в мою жизнь с тарелкой супа. Чтобы не задеть ее чувства, я проковылял в ванную и вылил суп, как только она отвернулась; удача не покинула меня, когда горничная принесла бифштекс —

поскольку в этот момент под окном случайно проходила собака, которой выпало стать самой довольной псиной в Испании. Я развеселился, заметив, как постепенно росло в девушке ощущение владычества, пока она взбивала мне подушку, разглаживала простыни — и обращалась со мной так, словно мне было от силы лет восемь. Типичная крестьянка с пышным бюстом, плотно сложенная, невысокого роста, прямая наследница тех женщин, что век за веком носили на головах кувшины с водой. Она не ходила, а скользила, как скользят женщины вдоль дорог Конго с невообразимых размеров корзинами на головах. Она не была красавицей, но обладала грацией и спокойствием своей нации. Также в ней присутствовала та уверенность в себе, которая приходит к женщинам в стране, где считается, что все они красивы. Меня, больного, насмешило, как большинство женщин любой национальности радуются возможности опекать беспомощного мужчину. Когда мне стало лучше, горничная привела свою подругу посмотреть на «американо» — я был слишком изможден, чтобы возражать, — которого она своими заботами вернула к жизни; и восхитительно было наблюдать, как они болтают, так быстро, что я не поспевал за ними. Затем медленно, словно маленькому ребенку, они рассказали мне о новостях *parador*. Французская семья из Марокко привезла машину и едет через Испанию во Францию. Жена кладет слишком много помады, а дочери — здесь девушки чуть не лопнули от смеха — носят голубые штаны! А еще знатный португалец со взрослой семьей — они остановились здесь на пару дней по пути на большую *corrida* в Севилью. Они богачи — миллионеры! Жена — красивая бразильянка, но ее спальня! Надо видеть ее спальню, где ничего не убирают и все валяется прямо на полу! Вы бы никогда не поверили, увидев ее в дорогом черном платье за обедом, такую красивую

неряху. Девушки вновь рассмеялись, и одна сказала: «Хотела б я такое богатство, чтоб быть неряхой».

В один из дней мне принесли восхитительный холодный суп *gazpacho* — это специфическое блюдо Андалусии, которое, впрочем, обнаруживается в большинстве районов Испании в жаркую погоду. Он делается из процеженного томатного сока, загущается кусочками хлеба, приправляется чесноком и подается холодным, с маленькими тарелками нарубленной ветчины, сосисок, огурцов, перчиков чили — да почти со всем, чего вам захочется; их вы высыпаете в холодный суп в любой угодной пропорции. *Gazpacho*, описанный Фордом, состоял из оливкового масла, уксуса и воды, в которых плавали овощи и другие добавки. Форд утверждает, что это и была знаменитая *posca*^[58] входившая в рацион римской армии, — возможно, тот самый «уксус», предложенный римским стражником Спасителю на кресте.

Я поднялся с одра болезни как раз вовремя, чтобы увидеть отъезд богатой португальской семьи на огромном «кадиллаке». Жена действительно оказалась элегантно и яркой женщиной, но у нее был усталый и брюзгливый вид человека, который держит природу в узде с помощью строгой диеты. Все вышли посмотреть, как они уезжают на бой быков; дама отбыла с бледной улыбкой, похожая на отощавшую темнокожую королеву.

Моя первая прогулка привела меня на окраину города, где призрак римского цирка стоит на широкой полосе пустой земли. Ярусы сидений исчезли, а камни давным-давно вывезены на тачках — на постройку домов и церквей; но высокая земляная насыпь все еще окружает огромный овальный стадион, и даже центральная *spina*^[59], где разворачивались колесницы, отмечена земляным валом в несколько футов высотой. В

тени дерева сидели сержант и около двадцати молодых солдат, все они напряженно наблюдали за ареной. Вдруг вдалеке появились четыре крошечных фигурки, которые скоро превратились в четырех мотоциклистов, едущих в ряд, совсем как колесницы, запряженные четверками, подъезжали сюда в стародавние времена. Приблизившись к нам, солдаты в высшей степени осторожно изменили позы, медленно поднялись с сидений мотоциклов и, установив равновесие, подняли левую ногу в воздух, как цирковые мотоциклисты, и докатились до финишного столба — все, кроме одного, который опасно зашатался и отстал. При виде этого сержант вскочил на ноги и, сбегав вниз — к тому, что в римские времена, должно быть, служило оградой бельэтажа, — проорал слова, которые я перевел, исходя из тона, каким они произносились, как: «Какого дьявола, что ты делаешь, номер четыре? Ты похож на мартышку на палочке! Вытягивай носок левой ноги полностью, голову прямо и держи руль ровно, ты, баба бестолковая!..»

Четыре новых наездника сбегали в амфитеатр и унеслись к старту; а я подумал, что это великолепное зрелище: римская трасса для состязаний, все еще использующаяся для тех же целей, для каких ее построили столь давно.

Я описал увиденное испанцу, завернувшему в монастырь — поскольку *parador* когда-то был монастырем, — очаровательному молодому человеку, который говорил на прекрасном английском и прожил несколько лет в Лондоне. Он хорошо знал Мериду, у него были здесь родственники. «Если вы интересуетесь римскими древностями, — сказал он, — то вам нужно взглянуть на то, что я считаю самым экстраординарным из всех наших реликтов. Это Casa del Conde de los Corbos^[60], старинный дворец, построенный вокруг

римского храма. Были там? Я отведу вас и представлю владельцу, очень богатому старику, а по дороге расскажу его историю».

Был уже вечер, и *paseo* только начинался на главной улице Мерида, очаровательном месте для гуляния, по которому запрещен проезд транспорта, как и во многих других городах Испании. Пока мы шли, мой знакомец рассказывал, что владелец римского храма начал жизнь бедняком, путешествующим из города в город, но разбогател; теперь он банкир и промышленник — и все, что к этому прилагается. «Вы сами увидите», — закончил он.

Мы поднимались по узкой, запруженной толпой улочке, а прямо перед нами шли два маленьких мальчика, похожие на пажей, несущих знамена: они держали щиты, рекламирующие фильм, который шел в Мериде на этой неделе. Он назывался «El Final de Una Leyenda» — «Конец легенды». Мы следовали за ними по улице и пришли наконец к внушительному зданию: утопленный в фасад ряд коринфских колонн около сорока футов высотой. Дом стоял на возвышении храма, и к нему вела двойная старинная каменная лестница. Нас остановила молчаливая и внимающая толпа, и мы как раз успели подивиться происходящему, когда из дверей дома показались люди в черном, несущие завешенный покровом гроб. Колокол на церкви напротив начал бить, и все в толпе перекрестились.

— Боюсь, мы пришли слишком поздно, — прошептал молодой человек. — Это владелец. Говорят, он умер вчера.

В передних рядах толпы стояли мальчики, рекламирующие «El Final de Una Leyenda»; все женщины с окрестных улочек надели черное, покрыли волосы вуалями и стояли, глядя на торжественную процессию и, как настоящие испанки, извлекая из нее весь драматизм до последней капли. Они могли не любить

старика, пока тот был жив, могли считать его скрягой, но теперь он стал бессмертной душой, и эта его часть, улетавшая к престолу Предвечного Судии, вызывала уважение и благоговение. Когда гроб скрылся в церкви, соседи продолжали перешептываться, бросая взгляды на дом, а два мальчика, по-прежнему похожие на герольдов или пажей, подняли свои щиты и пошли обратно по улице. Мы заглянули в маленький садик и увидели, что коринфские колонны продолжаютсь вокруг всего дома. Это был застроенный римский храм — такой же некогда привел в трепет братьев Адам, узревших дворец Диоклетиана в Сплите. Последний послужил моделью для квартала Адельфи в Лондоне, центральной площади в Бате и половины лондонских площадей.

— Мы пришли в неудачный момент, — сдержанно заметил мой спутник. — Жаль, что вы не сможете увидеть дворец изнутри.

Утром я уехал еще до того, как солнце полностью поднялось; но прежде я подарил моей юной спасительнице лучшую нитку жемчуга с Майорки, какую только смог найти в Мериде. «Ах, *señor...* Как красиво!» — можно было подумать, я вручил ей алмаз «Кохинор». Она обещала надеть жемчуг в тот день, когда выйдет замуж за своего *novio*^[61] который работает на железной дороге.

§ 8

По дороге, ведущей на юг, к Севилье и побережью, я высматривал то, что счел одной из особенностей Эстремадуры: породу миниатюрных собачек, полных отваги и энергии, которую я заметил только в этой части Испании. Они едва ли больше кошек; некоторые похожи на маленьких колли, другие — на миниатюрных

терьеров. И правда, через какую бы деревню я ни проезжал, они были там: энергично сновали туда и сюда, сидели у передних дверей домов или следовали за хозяевами в полях. Когда я впервые заметил их, то решил, что в их размере повинно близкородственное скрещивание или скудная кормежка, но затем меня осенило: ведь это может быть особая порода. Так ли уж надуманно предположение, что их предками могли быть те маленькие собачки, которых, как рассказывает нам Диас, разводили для еды ацтеки? Эти собачки часто входили в число даров, которые туземные вожди преподносили испанцам, говорит Диас, и фраза «на ночь покушали мы щенят» часто встречается в его повествовании. Или это просто забавное совпадение, что маленькие собачки — столь яркая черта страны конкистадоров?

Примерно в сорока милях от Мерида боковая дорога за несколько минут довела меня до прелестного маленького городка Сафры, выглядевшего чрезвычайно живописно со своими башенками и колокольнями. Я хотел посмотреть замок того герцога де Фериа, который был среди вельмож, сопровождавших Филиппа II, когда король отправился в Англию, чтобы жениться на Марии Тюдор. Будучи в Англии, Фериа обвенчался с Джейн Дормер, близкой подругой и наперсницей Марии. Герцог также служил испанским послом в Лондоне, когда королевой стала Елизавета; и даже если ему не принадлежала идея женить Филиппа на Елизавете, он совершенно точно сделал это смелое предложение королеве и лорду Сесилу. Герцог Фериа был богатым вельможей и владел недвижимостью в других частях Испании, но Сафра была его главной резиденцией, и именно туда он впоследствии привез свою герцогиню-англичанку.

Это очаровательный яркий городок, с широкой площадью на окраине, от которой отходят сеть

старинных улочек и главный магазинный проспект, закрытый для транспорта. Было так рано, что еще не открылись лавки и не закончилась месса. Я прогулялся до старого дворца, расположенного в самой высокой части города, рядом с мавританской башней. Это разросшееся средневековое здание, частично разрушенное в эпоху Возрождения, чтобы освободить место для модного итальянского *palazzo*, воздвигнутого в его сердце. Я заметил пять фиговых листков, эмблему дома Фигероа, над воротами и вошел во двор с фонтаном в центре и балкончиками с колоннами. Ныне здание оккупировал муниципалитет, но мраморные дворцы не смиряются с пишущими машинками, шкафами с папками и низкооплачиваемыми раздражительными бюрократами.

В маленькой церкви Святой Марины поблизости я предполагал найти могилу Джейн Дормер, поскольку знал, что она похоронена в Сафре. Но там могилы не было. Вместо этого я нашел табличку, увековечивающую смерть и погребение Маргарет Хэррингтон (написано «Харинтон», как, полагаю, испанцы и произносили), кузины Джейн. Надпись гласит: «Донья Магарита Харинтон умерла в Мадриде в 1601 году». Священник знал о Маргарет Хэррингтон только то, что она была английской дамой, дочерью лорда, зато сообщил мне, что Джейн Дормер — герцогиня Фериа — похоронена неподалеку, в монастыре Санта-Клара.

Я отправился туда и обнаружил прелестный дворик с навесом от солнца. Когда я позвонил в колокольчик, ничего не произошло, и я присел выкурить сигарету и поразмыслить, сколь странный кусочек истории Тюдоров связан с этим отдаленным испанским городком. Джейн Дормер воспитывалась при дворе Генриха VIII и была примерно одного возраста с маленьким принцем Эдуардом. Его наставник часто

посылал за ней, чтобы танцевать и петь принцу и, поскольку она была умненькой девочкой, иногда ему читать. Мария Тюдор, страстно любившая детей, очень ей благоволила, и они сделались большими друзьями, хотя Мария была на двадцать два года старше Джейн. Когда Мария стала королевой в возрасте тридцати семи лет, Джейн Дормер только исполнилось пятнадцать. Она, вероятно, была девушкой большой красоты и очарования, поскольку ее руки добивались Эдуард де Куртене, граф Девонширский, герцог Норфолкский и граф Ноттингемский. Мария, которой все испанское казалось совершенством, пришла в восторг, когда Джейн увлеклась графом Фериа, и решила, что они должны пожениться. Но, прежде чем это произошло, Мария умерла. Джейн сидела у постели королевы, и ей Мария доверила свои драгоценности с поручением передать их Елизавете. Как только Фериа учуял перемены в английской атмосфере в связи со вступлением Елизаветы на престол, он быстро женился на Джейн; вскоре после этого она присоединилась к нему во Фландрии вместе с кузиной, Маргарет Хэррингтон, и двумя старыми и преданными горничными Марии Тюдор, миссис Пестон и миссис Кларенсье. Эти изгнанники католического двора Англии провели пару лет на континенте, а затем медленно и дорого (графу пришлось одолжить пятьдесят тысяч дукатов) проехали через всю Европу в почти королевской пышности, направляясь в Испанию. В Париже Джейн подружилась с юной Марией Стюарт, которая потом писала ей, подписываясь «Твой истинный друг». Наконец кареты вкатились в Сафру, и молодая английская графиня стала хозяйкой настоящего замка в Испании. Фериа был произведен в герцоги в 1571 году, но умер на много лет раньше своей жены, оставив на ее попечение всю собственность и долг в сто тысяч дукатов. Вдовство Джейн провела, оказывая поддержку

английским католикам и содействуя возвращению Англии в римскую веру, а также оплачивая долги мужа. В последнем она столь преуспела, что все было выплачено до того, как ее сын, второй герцог Фериа, достиг совершеннолетия. Она всегда держала во дворце гроб, чтобы напоминать себе о своей смертности, и повесила на четки маленький череп. Джейн прожила достаточно долго, чтобы услышать новости о смерти Елизаветы; интересно, что она подумала, когда узнала, что злобной старухи — которую она помнила никому не нужной юной принцессой, опасавшейся заключения, — больше нет. Также интересно было бы выяснить, о чем она и ее кузина Маргарет, а также английские изгнанники, беглецы и шпионы, которые постоянно приезжали в Сафру, говорили наедине в старом дворце на холме. Странно и трогательно: Джейн завещала, чтобы ее сердце увезли в родную Англию.

Я еще раз позвонил в колокольчик, решетка наконец отодвинулась, и невидимая монахиня спросила, чего я хочу. Когда я ответил, что хотел бы увидеть могилу герцогини Фериа, маленькая вращающаяся коробочка повернулась, и в одном из ее отделений оказался ключ от церкви. Я нашел герцога и герцогиню в темной гробнице над склепом — когда-то ее обстреляли святотатцы из наполеоновской армии.

Я ушел, размышляя, что могилы англичан и англичанок, встречающиеся в других странах, всегда одиноки и печальны; не могу сказать, почему. На самом деле, неважно, где человек похоронен, и многие выбрали место успокоения как можно дальше от дома. Но мне кажется, что это весьма печально — умереть за границей и никогда не вернуться домой, не упокоиться под английским небом.

Каким бы путем вы ни ехали в Андалусию, вам придется пересечь горы и спуститься в прекраснейшую

и плодороднейшую провинцию Испании. Дорога начала подниматься к могучим склонам Сьерра-Морена и так изгибаться и поворачивать, что в один миг солнце светило мне в глаза, а в следующий — в спину. В этой местности еще столетие назад бесчинствовали разбойники, и люди писали завещание, прежде чем ехать сюда — как поступали у нас в восемнадцатом веке перед поездкой в шотландский Хайленд. Говорят, несколько бандитов все еще скитаются по *Sierra*, в чьих труднодоступных районах, как вы, может быть, помните, претерпел свое наказание Дон Кихот.

Южные склоны привели меня в огненную страну, где из красной почвы росли оливы и лилась с холмов Рио-Тинто. Долины здесь прелестны, в полях пасся скот, а беленые домики выглядели белее, чем в любой другой части Испании. Потом я увидел Севилью. Город распластался по равнине, а в центре его, словно мастодонт, громоздился собор.

Глава шестая

Коррида и херес

*Севилья в июне. — История рубина
Черного Принца. — Бои быков. — Коррида
сегодня. — Библиотека Колумба. —
Монастырь Ла Рабида. — Порт Палос. —
Посещение Хереса.*

§ 1

Моя комната в Севилье выходила на сад, расчерченный тропинками из красного гравия, где под пальмами цвели клумбы алых канн. Несколько фонтанчиков пускали блестящие струйки к солнцу. Утром меня будил звук садовничьих грабель, сгребающих жесткие листья канн, и через открытое окно я видел, что сегодня будет еще жарче вчерашнего.

К Севилье подъезжаешь, представляя бабушку и прабабушку, которые когда-то давно выходили с акварелью и рисовали прелестные картинки: осликов и мулов, нагруженных кувшинами с водой, и красивых андалусийцев в широких шляпах и красных кушаках — все это сохранилось во множестве семейных альбомов. Именно в Севилье в девятнадцатом веке родилась Испания с туристического плаката; и во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Без сомнения, если бы наши предки приближались к Испании старым путем, через Пиренеи или Ла-Корунью, плакатно-романтическая Испания получилась бы немного иной; и андалусиец с его кордовской шляпой, бакенбардами, короткой курткой и узкими штанами, не

стал бы типичным испанцем для стольких людей по всему миру. Наверняка кастильцам, астурийцам, галисийцам, баскам, каталонцам и всем прочим испанцам смешно видеть, что весь мир принял андалусийца, вероятно, наименее типичного из всех представителей Испании, за основной типаж нации. Так можно было бы объявить ирландца девятнадцатого века, с его дубинкой-*shillelagh*^[62], типичным англичанином; в самом деле, мне порою кажется, что кастилец относится к андалусийцу с тем же ласковым терпением, каким англичанин нынешнего века одаряет «Падди», удивительного, непоследовательного, но всегда очаровательного и забавного ирландца.

Легенда о танцующей Испании появилась после войны за Пиренейский полуостров, когда впервые со времен Тюдоров английский взгляд обратился к Пиренеям. Южная Испания внезапно стала модной: Вашингтон Ирвинг, «Тысяча и одна ночь» Лейна, «Севильский цирюльник», молодые моряки и стрелки, приехавшие из Гибралтара домой на побывку, возрождение шерри как модного напитка в Лондоне — по слухам, благодаря поездке лорда и леди Холленд в Испанию, — все это помогало приманить англичан в Андалусию. К счастью для всех, для богатых средних классов девятнадцатого века было столь же легко попасть в Севилью из Кадиса, как в средние века для английских паломников добраться в Сантьяго-де-Компостела из Ла-Коруњи. Одно за другим: шерри в Хересе, шахты Рио-Тинто и Гибралтар, — и английское влияние на юге Испании оказалось довольно велико; а поездка в Севилью на Пасху, когда в Англии нередко еще холодно и тоскливо, стала обычным делом.

На испанской почве легенды растут сами собой, а легенда, что Испания — солнечная страна мавританских узоров и волнующих женщин, была весьма выгодной. Во

время визита к высокопоставленному чиновнику Государственного департамента туризма в Мадриде я немало повеселился, обнаружив, что он инспектирует будущие плакаты. Все до единого изображали испанские сценки, какими их ожидают увидеть: танцовщицы с кастаньетами — руки подняты над головой, а ноги отстукивают *taconeado*^[63] — которые, чиновник знал не хуже меня, настолько же типичны для Испании, как Обанские игры^[64] для Англии. Но это курица, несущая золотые яйца.

Мой отель был огромным, роскошным и пустым, поскольку в июне в Испании очень мало туристов. Он построен во время краткого правления Эдуарда VII, когда богатство, словно зная, что уготовано ему судьбой, блистало последними всплесками. Чем больше я смотрел на свой туалетный столик, тем больше уверялся, что некогда он отражал плечи какой-нибудь красавицы, написанной Сарджентом; мне чудился даже призрак горничной — она грела щипцы для завивки над пламенем метиловой горелки и раскладывала на кровати белый атласный наряд с рукавами-буфами. А в соседней комнате «дорогой Джордж», который охотился на болотах до зари, снимал куртку с поясом, бриджи-никербокеры, замшевые гетры и твидовую шляпу с наушниками и пуговкой на макушке, потом принимал ванну, одевался и вооружал глаз моноклем. Длинные коридоры с бесконечными рядами дверей из красного дерева, казалось, помнили таких призраков — сейчас они для нас столь же архаичны, как и елизаветинские.

Со страдальческой покорностью судьбе, подумал я, величественный холл этого отеля принимает еженощное бремя нынешних путешественников. Сначала большой автобус заезжает в портик, и невысокий гид выбегает и совещается с прилизанным

молодым человеком за конторкой. За ним следует отчужденная и усталая вереница англичан, американцев и французов — все несут маленькие свертки или пакеты, а некоторые держат красные керамические *jarras*^[65] или кожаные *botas*^[66], которые им всучили крестьяне. Большие отели Европы уже подстроились под новый мир, и к путешествиям с гидом больше не относятся с насмешкой и презрением. Теперь гостям на одну ночь не предлагают презренный *table d'hôte*^[67] и не размещают за ширмами, словно их следует стыдиться; наоборот, мудрые отели знают, что блистательные дни богатых милордов никогда не вернутся и одинокий путник ныне — если он не пеший турист или велосипедист — абсолютная аномалия.

§ 2

Нет ничего более трудного для поддержания, чем репутация веселости. Бывают моменты, когда улыбке нужно исчезнуть с губ, когда остроумная реплика должна остаться несказанной, а искра в глазах — померкнуть. Именно такова, по моему ощущению, Севилья в июне. Когда снова начнется Страстная неделя, сказал я себе, и *pasos*^[68] поплывут по улицам на плечах кающихся грешников, когда *cofradías*^[69] в капюшонах начнут ронять капли свечного воска на полночные мостовые, и *saeta*^[70] опалят темноту — тогда это будет Севилья, о которой я читал; а за этим последует великая *Feria*^[71], когда девушки с блестящими волосами наденут оборки в горошек и займут задние сиденья велосипедов и мотоциклов за спинами узкобедрых юношей в кордовских шляпах; в парках поставят *casetas*^[72] и звук гитар и кастаньет

будет приветствовать зарю. Тогда, заключил я, Севилья снова станет собой.

Удивительно видеть город в межсезонном настроении: в одном дворике Мадрида больше жизни, чем во всей Севилье. Люди, оставшиеся в этом раскаленном городе, выглядели бедными и сердитыми. Не было ни сияющих *señoritas*, ни галантных *caballeros*, ни кокетливых знаков веером, ни смеха, ни влюбленного шепотка — по крайней мере, насколько я мог судить. Вместо этого толпы рабочих сражались по вечерам, чтобы попасть на трамвай до дома, они казались раздраженными и угрюмыми, даже при всех скидках на испанское неуважение к работе.

Я прошелся по знаменитой Сьерпес — улице, куда не допускается никакой транспорт. На вид она совершенно мавританская, и в летнее время над ней натягивают тенты, создавая желанную тень. Я ожидал найти окна ее лавочек заполненными удивительными и дорогими вещами, но в них был только хлам для туристов: кастаньеты, маленькие фигурки танцовщиц, деревянные быки, утыканные *banderillas*, маленькие китайские украшения и поддельные мавританские изразцы. То там, то тут на мостовой сидели группками, почти на краю дороги, пожилые хорошо одетые мужчины, болтали и курили сигары. Такие сборища можно увидеть в большинстве испанских городов. Они похожи на совет старейшин или игроков фондовой биржи, а на этой узкой мавританской улочке кажется, что мужчины должны носить тюрбаны. Помню, я спросил американку, вышедшую замуж за испанца, о чем так торжественно и сурово говорят эти мужчины, сидя на стульях у дороги.

— О женщинах, — ответила она без колебаний. — Это единственная тема.

Улицы старого города — одни из самых живописных в Испании, и совсем по-восточному внешность дома

ничего не говорит о его интерьере. Прекрасные кованые ворота позволяют разглядеть очаровательные дворики, где можно увидеть фонтан, несколько гераней в горшках, пальму или облицовку мавританскими изразцами.

Я скитался по лабиринту узких улочек, выходя на неожиданные маленькие площади, и снова нырял в белые туннели, которые ожидаешь увидеть скорее в Африке. Иногда я слышал голос, поющий пронзительную песню в минорном ключе, которая обрывалась внезапно, словно прикушенная в воздухе. Поразительно: хотя мавров изгнали еще Фердинанд и Изабелла, голос Андалусии — до сих пор мавританский.

Как раз на одной из таких старинных улочек я набрел на идеальную антикварную лавку. Здесь были барочные святыне, старые картины, ювелирные украшения, зеркала, мечи и кинжалы, монеты, полосы покрытого великолепной резьбой и вызолоченного дерева, стулья, столы, стеклянные шкафчики, поблескивающие безделушками; и все это покрывал слой пыли. За этими обломками иного мира, словно за решеткой тюрьмы, я увидел пару старых и печальных испанских глаз под потертой фетровой шляпой. Когда я заговорил, глаза на секунду вспыхнули в вере, что я американец, потом снова наполнились привычным унынием. В оцинкованной жестяной ванне я обнаружил прекрасный резной замок XVII века вместе с ключом. Задвижку заело от ржавчины, и минуту я размышлял, не купить ли замок ради удовольствия почистить и заставить ключ снова работать, как было когда-то, когда замок впускал неизвестно кого к бог весть кому. Другой очаровательной и забавной вещицей оказалась музыкальная шкатулка, все еще работающая. На крышке сидела мышка в клетке, а лицом к ней стояла старуха, одетая как ведьма и с палкой в руке. Едва шкатулка выпускала тоненькую струйку мелодии, мыш

начинала выбегать из клетки, а старуха лупила ее палкой, всякий раз промахиваясь. Когда музыка замедлялась, рука старухи приходила в исходное положение, а мышка юркала обратно в клетку.

Вечером обманчивое ощущение веселья словно бы вторглось в Севилью вместе с *paseo*, который, однако, не имел ничего общего с живостью мадридского. Везде прогуливались невысокие смуглые девушки, их в Испании неиссякаемый запас. Я видел гойевскую «Маху» сотни раз и побился бы об заклад, что она отнюдь не была герцогиней Альба. Когда я подошел к сигаретному киоску, хорошо одетый мужчина купил одну сигарету. Я никогда раньше не видел человека, покупающего всего одну сигарету.

Позже тем вечером в своей гостинице я встретил англичанина, который колесил по Испании с женой. Они жили в Южной Африке и привезли свою машину из Кейптауна в Лиссабон на португальском корабле. Их совершенно очаровали любезность и доброта испанцев, хотя жара Мерида и Севильи оказалась куда более жестокой и изматывающей, чем все, что бывало в Кейптауне. Муж рассказал мне о приключении, которое выпало им в тот день в Севилье.

— Мы гуляли по бедным районам старого города, — сказал он, — и вдруг увидели несколько машин, припаркованных во двореке одного здания. Сейчас это кажется смешным, но мы решили, что там гараж, и зашли внутрь. И сразу же обнаружили свою ошибку — мы оказались во дворце! Было уже слишком поздно ретироваться, поскольку лакей в белых перчатках спросил, чего мы желаем. Я пытался объяснить ему, что мы ошиблись, когда появилась испанская леди средних лет и заговорила с нами на великолепном английском. Она рассмеялась, когда я сказал ей, что мы приняли ее дворец за гараж. «Я ничуть не удивлена, — сказала она. — Машины принадлежат моим сыновьям!» Она

пригласила нас осмотреть дворец, оказавшийся очень старым и интересным. И так, с двумя ливрейными лакеями, идущими впереди и открывающими двери, мы прошли по дворцу, который напомнил нам алькасар. Там были роскошно расписанные мавританские комнаты с диванами вдоль стен, и комнаты, украшенные гербами, а герцогиня — поскольку мы уверились, что это она, — рассказала нам, что летом вся семья перебирается на верхние этажи дворца, а нижние занимает только зимой. Попрощавшись с нашей очаровательной хозяйкой, мы вышли из всего этого великолепия — в трущобы!

§ 3

Если попытаетесь вообразить собор Святого Петра в центре городка размером с Брэдфорд, вы получите некоторое представление о несоразмерном пространстве, занимаемом Севильским кафедральным собором. За милю вы видите эту готическую пирамиду, поднимающуюся над равниной, а в самой Севилье его громада доминирует надо всем городом. Он похож на гору посреди города, с маленькими дверцами, через которые входят и выходят люди — как гномы прячутся в склон холма.

Путеводители называют этот собор самой крупной готической церковью в мире и самой большой вообще после собора Святого Петра; но он неизмеримо необычнее последнего. Чтобы понять Севильский кафедральный собор, нужно сначала увидеть Кордовскую мечеть. Более скромная, чем Севилья, Кордова решила построить собор внутри мечети и оставить мечеть стоять вокруг, а в Севилье постановили снести мечеть и покрыть христианской церковью колоссальную площадь, которую та занимала

прежде. Любопытна мысль, что архитекторами Севильского собора на самом деле были мусульмане, и вопреки всему мечеть все еще просвечивает в прямоугольной форме огромной церкви.

Когда я вошел в бесконечный сумрак собора, маленькая нищенка приблизилась ко мне и залопотала, заламывая руки, будто черная летучая мышь, христианский вариант фразы: «Подайте во имя Аллаха»; а когда я вложил ей в руку мелочь, благословила меня и растворилась в тенях. Я стоял, потрясенный размером собора — не восхищенный и пораженный, как в соборе Святого Петра, но ошеломленный этой необъятностью полумрака, колоссальными колоннами нефов, взлетающими к ячеистому своду. На огромном пространстве пола группа туристов или священник с аколитом выглядели как насекомые, переползающие дорогу.

Боковые капеллы, где служились мессы, сверкали, точно маленькие ювелирные лавочки на огромной пустынной рыночной площади. Подойдя к могиле Колумба, я увидел четырех гигантских герольдов, представляющих Кастилию, Леон, Арагон и Наварру и несущих на плечах гроб с телом мореплавателя; эти фигуры больше человеческого роста казались, как и все прочее, неподходящими по размеру.

Собор полон изысканной утвари. Южноамериканское золото, вероятно, все еще сверкает на коронах мадонн и телах купидончиков, а на *retablo* за алтарем, кажется, уместилось бы население средневекового городка приличного размера; но, чтобы оценить это, вам понадобится либо стремянка, либо бинокль.

Каждый год в праздник Тела Христова хористы в нарядах трехвековой давности танцуют перед алтарем под звуки кастаньет; если бы я мог выбирать, я бы предпочел увидеть этот «Танец певчих», а не

знаменитые церемонии Страстной недели. Мальчики наряжаются в атласные бриджи до колен, куртки, свисающие с одного плеча, туфли с пряжками и шляпы с плюмажами — и совершают торжественное и величавое действо. Это уникальный пережиток религиозного танца, который всегда был популярен в Испании, хотя церковь немало сомневалась на его счет. Судя по тому, что я прочитал о «Танце певчих», это последний реликт таких древних балетов. Тем не менее Рим стремился его запретить, но папа Евгений IV разрешил танец, так что история продолжается — только пока живы костюмы. Говорят, чтобы поддерживать обычай, наряды хитроумно чинятся и перелицовываются, в итоге не остается почти ни лоскутка от первоначальных платьев.

Дружелюбный служитель провел меня в *capilla mayor* и показал серебряно-бронзовый гроб, который открывают четыре раза в году, чтобы народ Севильи мог почтить нетленные мощи святого Фердинанда, который отбил Севилью у мавров в 1248 году. Для посетителя-англичанина это одна из самых интересных реликвий Испании. Фердинанд III был внуком Элеоноры, дочери Генриха II Английского. Она вышла замуж за Альфонсо VIII Кастильского. Дочерью Фердинанда была Элеонора Кастильская, супруга Эдуарда I, которая, как известно любому школьнику, отсасывала яд из руки мужа, когда того ранил кинжалом асассин в Святой Земле. Она стала матерью маленького принца Уэльского, которого представили вождям кланов Уэльса на щите в Карнарвоне, и ее безвременная смерть побудила скорбящего мужа поставить цепь погребальных крестов, которая заканчивалась на Чаринг-Кросс.

Непривычно сознавать, что в Эдуарде II было столько испанской крови, которую он передал Эдуарду III и, таким образом, Черному Принцу и Джону Гонтю.

Кампания Черного Принца в Испании в защиту лишившегося трона Педро Жестокого становится полностью понятной, когда мы обнаруживаем, что он сражался за права семьи своей прабабушки.

— Пойдемте, — пригласил прислужник, — я покажу вам еще кое-что.

Он провел меня вниз по мраморным ступеням в маленький склеп, или *panteon*, под алтарем, где священные реликвии и человеческие останки лежат, заключенные в красивые гробы и стеклянные футляры, под светом электрических ламп. Прислужник указал на маленькое распятие из слоновой кости, которое святой Фердинанд всегда брал с собой в битву, и мы осмотрели гробы и ларцы, многие из которых снабжены ярлыками, словно музейные экспонаты. Здесь я нашел две маленьких шкатулки, перевязанные официальной красно-желтой лентой. В одной — кости Педро Жестокого, а в другой — единственной женщины, которая имела на него влияние, его метрессы Марии де Падилья.

Она была матерью нескольких детей, в том числе Констанции, которая вышла замуж за Джона Гонта, и Изабеллы, жены Эдмунда Лэнгли. Как я уже говорил, кровь этих женщин перешла в Англии к Эдуарду IV, Ричарду III и, через Елизавету Йоркскую, к Генриху VIII и Елизавете. Поистине сложно представить тонкую струйку этой страстной испанской крови в Королеве-девственнице! С испанской стороны линия продолжилась через Хуана II и Энрике IV к Изабелле и далее, через ее дочь Хуану, к Габсбургам.

Когда Мария де Падилья умерла, Педро созвал особое собрание кортесов в Севилье и объявил, что они с Марией были давно и законно обвенчаны. Свидетелями этого брака он назвал своего капеллана, канцлера и брата Марии. Архиепископ Толедский принял клятвы свидетелей, и король со своей мертвой

метрессой были объявлены мужем и женой, а их дети — законными. Я прочел на этикетках посмертных шкатулок доказательство того, что Мария де Падилья была названа *esposa*, то есть супругой, Педро. Это решение случайно также стало узакониванием двоеженства, так как Педро сочетался браком с Бланкой де Бурбон, уже будучи женат на Марии де Падилья!

— У вас есть поговорка о скелетах в шкафу? — спросил я прислужника.

Но он меня не понял.

Констанция была всецело предана отцу, и одной из причин брака с Джоном Гонтом явилось то, что он мог стать мстителем убийцам Педро. Фруассар говорит, что, когда Джон Гонт и Констанция привели английскую армию в Испанию, чтобы отобрать корону Кастилии, Констанция воспользовалась первой же возможностью найти останки своего отца, которые выкопали и перевезли в Севилью «и там наидостойнейше захоронили»; впрочем, это вряд ли подтверждается шкатулкой с костями в маленьком склепе под алтарем.

— Вы когда-нибудь слышали историю большого рубина, который Педро Жестокий отобрал у короля Гранады? — спросил я прислужника.

— Конечно, *señor*, все в Севилье знают о большом рубине.

— А вы знаете, что дон Педро отдал рубин Черному Принцу и теперь камень находится в короне Англии?

Прислужник удивился и решил, что я все придумал.

— Это правда?

— Истинная правда. Вы можете увидеть его в любой день, если посетите сокровищницу британской короны в лондонском Тауэре.

Думаю, он засыпал бы меня вопросами, если бы в этот миг на его лице внезапно не проступило волнение, и со словами: «Быстрее, *señor*, надо идти!» — он не

побежал бы вверх по лестнице. Мы едва успели: хор и каноники уже занимали места на *сого*.

§ 4

Помню, как много лет назад сирийский торговец провел меня по улочкам Дамаска к двери в стене где-то в трущобах. По другую сторону стены обнаружился дворик с апельсиновыми деревьями, фонтаном и ручной газелью. Комнаты вокруг дворика были завалены коврами и половиками, которые привезли по суше — караваном из Персии. Там были шелка, парча, украшения, керамика и прочие обычные вещи, которые выглядят такими чудесными на Ближнем Востоке и такими неуместными, когда вы привозите их домой. После нескольких чашечек кофе я поторговался за два верблюжьих коврика, которые сохранились у меня до сих пор, а после заключения сделки торговец, в котором вскипела кровь, провел меня по ряду комнат, освещенных висячими лампами из цветного стекла. Стены украшали арабески, покрытые изящной резьбой, вызолоченные и раскрашенные — некоторые из них были прекрасными и действительно старинными.

— Я продам вам любую комнату, какая больше понравится, — сказал торговец, хлопая в ладоши, чтобы принесли еще кофе. — Очень дешево! Как хорошо эта комната будет выглядеть — или, может, та, что меньше, с золотыми диванами, — в вашем доме в Англии...

Ошибочно приняв мое замешательство за интерес, он продолжал:

— Я погружу эту комнату для вас на корабль, сэр, каждая секция будет понятно помечена, чтобы ваш плотник мог сложить ее в точности такой же, какой вы видите ее сейчас. А когда вы пригласите друзей и подадите им кофе, они подумают, что оказались в

Дамаске. Смотрите, каждая стена сделана из секций, которые подогнаны друг к другу. Она вся разбирается на части и упаковывается в коробки...

Уходя, я подумал, что получил хороший урок арабской архитектуры. Это архитектура кочевника. Даже сложенное из камня имеет вид вырезанного из дерева: все можно снять, упаковать, как декорацию, водрузить на спины верблюдов и перевезти через пустыню, чтобы заново построить в каком-нибудь другом месте.

Я вспомнил этот разговор, когда вошел в севильский алькасар. Возможно, большинство европейцев, если они честны с собой, признаются: когда прошел первый миг восторга и удивления, они бредут дальше по мавританским залам с нарастающей скукой. Первое впечатление незабываемо: фантазия, легкость, игра тени и света, грозди золотых медовых сот на уровне крыши, стройные парные колонны, островерхие арки и похожие на ожерелья арабески над ними, — но это продолжается и продолжается, словно бесконечный, полный повторов арабский анекдот, пока не возникает ощущение таблицы умножения, положенной на музыку. Поначалу я думал: алькасар — самое красивое из всего, что я видел в Севилье. Это арабская архитектура позднего Средневековья, построенная для христианина — для Педро Жестокого; можно увидеть надпись, бегущую вокруг входного *patio*, в которой короля называют «султаном». Какой необычайной помесью были, наверное, средневековые испанцы! Даже Сид говорил по-арабски и любил иногда носить мавританские одежды, как и святой Фердинанд, а Педро соблюдал арабский обычай (если только это не клевета врагов) сохранения вражеских голов в ящиках с солью и камфарой.

Алькасар дает самые любопытные доказательства, какие только можно найти в Испании, подтверждающие

заявления профессора Тренда о том, что «испанская средневековая история не может быть понята в грубых терминах Реконкисты». Я уверен, многие туристы, которым показывают этот дворец, полагают, что осматривают дворец мавров; но он построен христианскими королями на месте старого мавританского дворца, от которого едва ли остался хоть какой-нибудь след. Это замечательное свидетельство того, как арабские привычки и обычаи проникали в жизнь христианской Испании. Как ни странно, алькасар все еще используется как дворец, и генерал Франко, когда приезжает в Севилью, живет здесь, в викторианской обстановке, перенесенной в окружение арабесок. В этом мавританском дворце стоят бронзовые кровати, а хрустальные люстры свисают с золоченых потолков. Мне рассказали, что Альфонсо XIII любил алькасар больше остальных своих дворцов. Несомненно, дворец хорошо подходил к романтическому настроению, и его величество мог выбраться ночью через маленькую боковую калитку в квартал Веракрус, где даже в жаркие дни лета можно иногда услышать гитару из окна верхнего этажа.

Я спросил гида, слышал ли он о рубине Черного Принца, и он ответил, что нет. Когда я уточнил, слышал ли он когда-нибудь о рубине, который Педро украл у короля Гранады, его глаза засияли, и он рассказал мне такую историю.

Абу Саид узурпировал трон Гранады и явился в Севилью просить поддержки Педро в сопровождении большой свиты и со многими богатыми дарами. Он весьма неосторожно взял с собой коллекцию драгоценностей, в том числе огромный неограниченный рубин размером почти с куриное яйцо; и эту драгоценность Педро возжаждал всем сердцем. Он ласково приветствовал Рыжего короля, как называли Абу Саида, и разместил его со свитой подобающим

образом, но замыслил предать своего гостя и украсть драгоценности. И когда Рыжий король и его приближенные были схвачены, с Абу Саида сняли одежды и, усадив на осла, унижительно отвезли в поле за Севильей. Здесь Педро и его рыцари поскакали на него с копьями. Педро при каждом движении копья кричал: «Это за договор, который ты заставил меня подписать с Арагоном!» и «Это за замок, что ты отнял у меня!»; наконец сарацин упал, получив смертельную рану. Так Педро Жестокий завладел рубином Абу Саида.

Как и прислужник в соборе, гид не знал финала истории: после битвы при Нахере (иначе Наваррете), когда Черный Принц и английская армия обратили в бегство французские войска, противостоявшие Педро, кастильский король в благодарность подарил рубин Черному Принцу. С этого момента камень начал свою долгую и насыщенную событиями жизнь в Англии, где его всегда называли «рубином Черного Принца». Рубин был просверлен в стародавние времена, и сквозь это отверстие Черный Принц пришил рубин к бархатной шапочке, которую носил под короной. Камень перешел к его сыну, Ричарду II, но не появлялся больше в истории до битвы при Азенкуре, когда Генрих V надел его на налобье шлема. Среди драгоценностей короны, проданных после казни Карла I, был «один балласный рубин, завернутый в бумагу». Кто его купил, неизвестно, но камень таинственно вернули Карлу II. Когда полковник Блад попытался украсть корону из Тауэра, рубин Черного Принца нашли в кармане Паррета, одного из сообщников Блада. С того времени и до сего дня рубин переходил в ненарушаемой последовательности к королям и королевам Англии и занял горделивое место в центре государственной короны.

Это не слишком красивый камень. Он неправильной формы и непосвященным кажется продолговатым

кусом темно-красного стекла. В давние времена его оправили в золото, и камень настолько стар, что придворные ювелиры не решились снять уродливую золотую оправу, чтобы точно взвесить драгоценность. Считается, что камень был изначально привезен из Бирмы и просверлен, чтобы служить подвеской в ожерелье.

Алькасар... Педро Жестокий... Рыжий король Абу Саид... Черный Принц... Азенкур... Корона Англии. Полагаю, мог бы получиться весьма добротный фильм, если бы не все эти убийства и страсти.

Я решил, что сады алькасара — самое красивое место в Севилье, и никогда не получал повода передумать. Здесь та Севилья, о которой читают в книгах: апельсиновые деревья, розы, живые изгороди из эвкалиптов и миртов, кипарисы и пруды с рыбками. Здесь и восхитительно детская водяная шутиха в маленьком саду, где король мог обливать своих гостей струями воды, бьющими из мостовой под их ногами — типично арабская шутка. Она напомнила мне об искажающих зеркалах, в которых сконфуженный посетитель поправляет галстук — или пытается это сделать — во входном зале дворца короля Иордании в Аммане. Эти мальчишеские шутки с водой стали популярны в садах эпохи Елизаветы: Спринг-Гардене, теперь узкий маленький перекресток около арки Адмиралтейства, сохраняет память о том, что одна из таких шуток была пикантной особенностью старого дворца Уайтхолл.

Века садового искусства предстают воображению в этом месте, и многие монархи с нетерпением ждали зимы, когда можно вскапывать, поправлять и переделывать (садовничество — не мирное занятие, каковым почему-то считается, но вечный и неустанный поиск совершенства). Карл V и Филипп II копали, сажали

и поправляли, строили павильоны, пруды и даже лабиринты; а в более поздние времена другие короли вводили барочные новшества, такие как капающие гроты, садовые калитки, настенные фонтаны и каменные стены с рустиками. Здесь есть прекрасный пруд с рыбками и с маленьким бронзовым Меркурием, стоящим по центру, словно в Италии. Цветочные клумбы пестрят каннами и африканскими тюльпанами, в цвету стоят плюмбаго и жасмин; я сидел на скамье, покрытой мавританскими изразцами, под одной из самых больших *Magnolia grandiflora*^[73], какие я когда-либо видел. Ярдах в десяти я заметил маленькую белую кошечку, наблюдавшую за мной с подозрением. Я стал подзывать ее к себе, но случайное резкое движение заставило животное отскочить. Постепенно мне удалось подманить кошку. Медленно я опустил руку и коснулся ее, но она отпрыгнула и выгнула спину. Потом кошка вернулась и позволила себя погладить, но выглядела при этом больше озадаченной, чем довольной, будто никто раньше ее не гладил. Будь у меня с собой что-нибудь съестное, она могла бы замурлыкать, но слишком поспешное движение отправило ее в цветочные клумбы; и хотя я возвращался позже с небольшим запасом мяса, больше я никогда этой кошки не видел.

§ 5

Я был настолько разочарован Севильей в первый день, что решил не использовать рекомендацию для знакомства, которую мне дали, и тихонько ускользнуть в Кордову. А потом я все же воспользовался рекомендацией, и моя жизнь мгновенно изменилась! Меня таскали по кафе, ресторанам, барам, общественным зданиям и даже в странные клубы у

дороги; и за несколько часов я запомнил двадцать человек по именам и куда больше — в лицо. В большинстве своем они были молоды и полны энтузиазма и разговаривали вот таким образом: всегда на фоне звякающих бокалов, кофейных чашечек, бесед других людей и скрипа стульев и столиков по камням мостовой.

— Вы встречались с доном Фелипе? Нет? Ну, это можно устроить. Он англичанин, и вам он понравится. О, *muuy simpatico*!^[74] Он очарователен. Он прекрасен! Мой дорогой Аурелио, разве ты не считаешь, что дон Фелипе — прекраснейший человек?

— Несомненно.

— Но я не выношу прекрасных людей. Я от них бегу как от огня.

— Но вам понравится дон Фелипе! Он чудесный, очаровательный, он самый молодой старик, которого мы когда-либо встречали. Разве не так, Аурелио?

Здесь живешь, словно в словесном суфле. Эти люди принимали меня с ирландской пылкостью. Для них я обладал очарованием новизны и был великолепной аудиторией. Наконец они разыграли для меня представление, и я тоже стал прекрасным, несравненным и — величайший комплимент из всех — исполненным *españolismo*!^[75] Впрочем, прожив на этой планете некоторое количество лет, я и прежде встречал темпераментных экстравертов и знал, что для их энтузиазма существует временной предел и каждая встреча делает меня чуть менее *precioso*^[76] а когда я уеду, меня тут же забудут. Это не поверхностность или неискренность, а просто жизнь в текущем мгновении, как у детей.

Они тащили меня во многие места, но легко сбивались с курса. Мы могли отправиться в одно кафе, а попасть в другое, потому что по дороге кто-нибудь

очень андалусийский и *precioso* останавливал нас и настаивал, чтобы мы изменили свои планы. Одним из наших первых визитов была самая известная Мадонна в Севилье, покровительница быкоборцев *Nuestra Señora de la Esperanza*, известная также из-за района, в котором стоит ее храм, как *La Macarena*. Все знаменитые *espadas*^[77] почитают ее и молятся ей, даже посвящают свои расшитые костюмы. Это красивая плачущая Мадонна со склоненным лицом, но оплакивает она матадоров, быков или лошадей, я не знаю. В ризнице нам показали ее гардероб, и рядом с парадной мантией, в которую она облачается на Страстную неделю, мы рассмотрели с благоговением матадорский костюм, принадлежавший великому Манолете, который погиб в Линаресе в 1947 году.

— О, как печально, как *emocionante*^[78] и все же как прекрасно... Вы знаете, дон Энрике, что прежде чем Манолете поехал в Мексику, он пришел сюда и, стоя на коленях перед Святой Девой, поклялся, что если она приведет его живым и невредимым обратно домой, он посвятит ей свой плащ. Он вернулся домой — но только чтобы умереть. А здесь, — служитель отпер стеклянный шкаф, — поглядите, потрогайте и почувствуйте его, великого Манолете, *traje de luces*^[79]...

Друзья уволокли меня в приют для нищих стариков, где маленькая пожилая сестра милосердия показала нам чудовищную картину Вальдеса Леаля, изображающую мертвого епископа, в облачении и короне, лежащего в гробу.

— *Por Dios, hombre*^[80], это ужасно! Это чудовищно! Я никогда не могу смотреть на нее без тошноты. Мурильо говорил, что зажимал нос, когда глядел на нее.

Они увели меня в мирный *patio* в переулке, где вокруг фонтана поднимались колоннады, дающие тень, а в комнатах наверху жили постаревшие и одряхлевшие

священники — невысокие старички в пыльных черных ризах и с очками на носках; еще здесь был ломтик южного синего неба вверху и птичка, поющая в клетке. Мы даже поднялись по наклонным переходам на вершину башни Хиральда, которая раньше была минаретом, и с нее увидели Севилью, лежащую внизу в зное летнего утра, и Гвадалкивир, бегущий серебряной нитью с холмов. Естественно, после потери такого количества энергии нам пришлось пойти в кафе и подкрепиться креветками с оливками и всякой мелкой всячиной, которой севильцы, похоже, и живут; пока мы сидели там, все новые очаровательные, прекрасные и симпатичные люди подходили и вели себя очень по-андалузски. Я размышлял, не попал ли я в какое-то общество взаимного восхищения; наверняка где-то в Севилье должен быть хоть один несимпатичный человек! И все говорили о прекрасном доне Фелипе, которому до смерти хотели меня представить. Но, поскольку он так и не появился, я начал думать, что это некий воображаемый англичанин.

Они были очень вежливы и изо всех сил пытались говорить со мной по-английски или по-французски — как я заподозрил, чтобы спастись от моего испанского.

— Во многих книгах об Испании, — сказал я, — читаешь, что ночью в Андалусии можно увидеть влюбленного, прижавшегося к железным оконным решеткам и перешептывающегося с возлюбленной. Я везде присматривался и ни разу такого не видел.

— А, — сказали мне, — так было до самой гражданской войны, но, как и многое в Испании, ушло вместе с теми временами. Теперь влюбленному не нужно шептать сквозь *rejas*^[81]; он может делать это где угодно, потому что девушки теперь не сидят за решеткой.

— Это чистая правда, — добавил кто-то. — И теперь куда больше незаконных детей!

— Я как-то разговаривал со священником, — сказал третий, — который рассказывал мне, насколько теперь больше незаконных детей, и заметил, что во времена республики и гражданской войны испанские девушки получили свободу слишком быстро. Он говорил, что недавно одна девушка сказала ему, что у нее будет ребенок, а его отец — молодой солдат, служащий в Севилье, ее *novio*. Священник попросил ее привести этого юношу, чтобы посмотреть на него, и тот с радостью пришел. Парень сказал священнику, что у него очень беспокойно на душе: ведь у него еще четыре *novias* в разных городках Испании, и у каждой ребенок. А он, на свою беду, не знает, на какой из *novias* ему следует жениться, потому что его любовь к ним одинакова. И умолял священника дать ему совет.

— И что священник посоветовал?

— Ну, он, как говорят в Америке, перевел стрелки. Велел парню ехать исповедоваться священнику его родной деревни и просить совета у того.

— Как интересно, — сказал четвертый. — А что бы вы посоветовали?

— Тут вопрос в том, — сказал пятый, — первая или последняя любовь долговечнее. Надо было посоветовать парню жениться на первой *novia* или на последней.

— Надо задать этот вопрос дону Фелипе, — сказал еще один собеседник.

К нашему столу подошел молодой человек и начал без всяких околичностей:

— Я только что слышал анекдот, прекраснейший анекдот! Американский миллионер предложил полмиллиона долларов тому, кто найдет зебру с синими полосками. Англичанин, француз, немец и испанец решили принять вызов. Англичанин купил шлем от

солнца, винтовку и палатку и сел на первый же самолет в Африку. Немец пошел в библиотеку и начал читать все, что написано о зебрах. Француз купил мула, нарисовал на нем синие полосы и потребовал приз!

— А что же испанец?

— Испанец заказал себе дорогой обед, и, покуривая сигару, стал размышлять, что он сделает с полумиллионом долларов.

Кем были все эти жизнерадостные люди? Я не знаю. Нет ничего более загадочного для путешественника в Испании, чем тайна, как люди — кроме крестьян — живут, что они собой представляют и когда работают. Я предполагаю, что, как и в восемнадцатом веке, большинство работ — возможно, самые лучшие — это синекуры; а остальные — нищенски оплачиваемые государственные должности, которые вынуждают человека искать дополнительный заработок. Думаю, существует и настоящее богатство: в земле и разведении быков; также меня представили молодому человеку, разъезжавшему на «кадиллаке» последней модели (он, как мне сказали, владел вольфрамовым рудником близ португальской границы и стоил несколько миллионов).

Одним вечером после ужина меня отвели на мрачную улочку в квартале Триана, где мы спустились в подвал, в который ни один иностранец не отважится войти. Там была маленькая комнатка, загроможденная стульями и столами, и деревянная сцена, чуть приподнятая над полом с одного конца. На стенах висели плакаты *corrida*, с которых легендарные быки огромного веса и свирепости бросались прямо на зрителя. Комната была синей от сигаретного дыма, и в ней толпилось множество смуглых, похожих на цыган испанцев, потягивающих *manzanilla* или светлое пиво. Мои друзья похлопали личностей особенно зловещего вида по спине, начались восторженные беседы,

хватание за лацканы и шутливые перепалки. Подошел меланхоличный юный стоик и немного посидел с нами. Это был молодой *matador*, идущий в гору. Он явно ломал комедию, холя и лелея себя и свою персону для грядущих великих дней. Но я чувствовал, что он по сути — практичный юноша без каких-либо иллюзий. Юноша обладал сказочным самоконтролем, и все, что он делал, было просчитано — даже способ, которым он зажигал и курил сигарету. Я решил, что он станет хорошим *matador*. Все мои друзья, конечно же, сказали, что он чудесен.

Я услышал звук гитары и, взглянув на маленькую сцену, увидел четверых сонных андалусийцев, явно не побрившихся с утра: они сидели на кухонных стульях, лениво перебирая струны пальцами, а пепел сигарет падал на их жилеты. Они бренчали монотонно, словно в ритмической коме. Потом старуха, выглядевшая так, словно заглянула на секунду из кухни, заняла стул возле сцены и достала клубок пряжи. Подобно гитаристам, она выглядела совершенно отрешенной. Как это по-восточному, подумал я; подобные сцены я наблюдал в Марокко, Сирии и Египте. Один из музыкантов, вынырнув из глубин мрачности и меланхолии, врожденного свойства всех испанцев, сказал пару слов другу из публики и продолжил играть. Потом на сцену вышла девушка и, небрежно поправив туфлю, хлопнула в ладоши раз-другой и начала плясать. Она была маленькая, пухленькая, лет, наверно, шестнадцати, в длинном голубом хлопчатом платье, ниспадавшем до пят несколькими рядами оборок. Ее волосы разделял прямой пробор, а за ухом красовался цветок. Девушка подняла руки, кастаньеты щелкнули, она начала танцевать на месте, отбивая ритм каблуками. Ритм ускорялся, ее тело слушалось, каблучки все быстрее стучали по доскам; потом, внезапно окаменев, она застыла в изящной позе, а

затем, подобрав юбки, ушла со сцены. Старуха сложила вязание в сумочку и последовала за ней.

— *Duenna?* — спросил я.

— Ее мать, — ответили мне.

За первой последовали другие девушки, танцевавшие *flamenco*: одна сплясала быструю веселую *alegría*, а другая, принимавшая тореадорские позы, — танец под названием *farruca*. Но ни одна из этих плясуний, казалось, не заинтересовала мужчин: они продолжали пить *manzanilla*, курить сигареты, болтать и время от времени бросать взгляды в сторону сцены. Очень тяжелая публика — но девушкам словно не было до этого дела. Они тоже выглядели абсолютно отрешенными, будто танцевали в пустой комнате.

Однако в беседе наступил перерыв, когда сцену заняла тощая смуглая черноволосая девица темпераментного вида, с огромными сверкающими глазами и густыми черными бровями. Ее кожа, чуть грубоватая на щеках, была цветом как у индианки. Раздался взрыв аплодисментов и приветственных криков, на которые девушка совершенно не обратила внимания. Она даже не снизошла до улыбки. Просто стояла некоторое время в своем длинном, красном в белый горох платье, с полузакрытыми глазами, ожидая чего-то, а гитаристы бренчали на заднем фоне. Публика начала хлопать и стучать ногами под музыку, но девушка оставалась неподвижной, словно беседуя с далекими призраками. И вдруг внезапно взлетели руки, защелкали кастаньеты, и музыка понеслась за ней, когда она сорвалась в танец, обладавший, как мне показалось, чудесным и редкостным ароматом древности. Эта танцовщица заставила остальных выглядеть новичками. Она обладала огромной притягательностью и энергией — всем тем, что привлекает внимание зрителя. У нее были стиль, отточенность, страсть. Ни звука не слышалось в зале,

пока она плясала: только гитары и перестук высоких каблучков: а для меня ее платье стало многооборчатым нарядом критских «богинь со змеями», чьи алтари завешивали раковинами моллюсков-сердцевидок — возможно, первыми в мире кастаньетами. Мгновениями ее тело становилось неподвижным — за исключением легкого перестука каблучков, но руки все так же выплетали в воздухе неторопливые узоры. Потом она снова срывалась в корибантское неистовство, изгибалась, кружилась и оглядывалась через плечо. И все время то над ее головой, то у пояса, то в самом воздухе вокруг нее раздавался резкий треск, словно стрекот цикады в летний день: Марциал называл этих цикад *Boetica crusmata*. Вихрем своих пыльных юбок девушка отменила и уничтожила современный мир, и мне виделась финикийские галеры, заходящие в Гадес, зал пиров Ирода и греческие вазы с танцовщицами в Британском музее. И вдруг, когда я меньше всего ожидал этого, звон гитар оборвался, девушка застыла, словно раскрашенный мрамор, едва дыша, и залп «Ole!» наградил живую пришлицу из мира, исчезнувшего, как нас уверяли, три тысячи лет назад.

Тогда чары рассыпались, и я увидел, что даже у этой пантеры есть своя *duenna*. Маленькая старая цыганка, наверняка ее бабушка, поднялась со стула возле сцены и последовала за своей Телетузой^[82] из комнаты.

— Пойдем-пойдем, — сказали мне друзья. — Ничего лучше мы сегодня вечером не увидим.

Была уже почти полночь, и мы отправились в кафе, которое оказалось переполненным. Пока мы беседовали, я заметил невысокую копию фельдмаршала Сматса, с белой бородкой-эспаньолкой и такими же отстраненными голубыми глазами. Фигура двинулась к нам, лавируя между столиками.

— *Hola!* Дон Фелипе, где вы были все это время? Мой дорогой дон Фелипе, мы так по вас соскучились!

И меня представили невысокому подвижному англичанину лет, пожалуй, ближе к семидесяти; мне он сразу же понравился. Позже он повернулся и спросил: «Как думаете, сколько мне лет?» Это неудобный вопрос, и, поскольку я обладаю несчастливым даром угадывать возраст людей, мне всегда приходится подтягивать ответы в нужную сторону, чтобы не нанести обиду; ничто не раздражает стариков так сильно, как правильное угадывание их возраста.

— Ну, — сказал я, — вам, пожалуй, лет шестьдесят пять.

— Мне семьдесят шесть, — ответил он с гордостью. — Иногда я жалею, что не чувствую себя на этот возраст.

§ 6

Не имея никаких дел в воскресенье днем, я подумал, что надо бы сходить на бои быков. Я заплатил сто двадцать песет — около одного фунта — за хорошее место в тени и потом бродил вокруг арены, глядя, как взволнованные толпы ищут свои места и берут маленькие плоские подушечки, по песете штука, лежащие грудами у каждого входа. Мне такого раньше не встречалось, но греки и римляне наверняка брали подобные подушечки в свои каменные цирки. Я подружился с невысоким толстячком из служителей, который любезно открыл для меня одну из медицинских палат. Она была точно такой же, как я видел в фильме о корриде: чистая, словно в больнице, белая комната с застеленными кроватями, готовая к приему пронзенных рогами *matadores*. Здесь стоял операционный стол и стеклянный ящик с инструментами; а дверь в конце

комнаты вела в маленькую часовню, где современная статуя Богоматери нежно улыбалась из пыльного алтаря. Когда я сказал толстячку, что хочу увидеть, как *matadores* молятся перед боем, циничная усмешка пробежала по его небритому лицу, и я понял: такое возможно в наши дни только в Голливуде.

— Если они и перекрестятся перед тем, как выйти из отеля, — сказал он со смешком, сильно отдающим чесноком, — это все, на что эти парни способны!

Видимо, я выглядел шокированным, потому что служитель добавил:

— В старые времена — да! Но тогда быки были большие и сильные. — Он жестами изобразил нечто ужасающее: при своем маленьком росте, он вдруг стал выглядеть как *toro bravo*^[83] мотнул головой и подикарски сгорбился, потом поднял плечи, пока его шея совсем не исчезла, в испанском жесте отчаяния. — Но больше нет! Только трусливый *torero* станет молиться о спасении от таких быков, как сейчас...

Какая странная точка зрения — однако, думаю, сугубо практичная. Зачем беспокоить Мадонну, если можешь справиться с быком сам!

Ища дорогу к своему месту, я заглянул в ворота и увидел мясников, ставящих подмости с блоками и веревками и острящих ножи, чтобы разделывать убитого быка. Все знают, что, как только быка убивают, на арене, позвякивая, появляется упряжка мулов и утаскивает тушу за рога, чтобы потом передать ее мясникам. Я спросил, что делают с мясом, и мне назвали ресторан, где я мог получить бифштекс прямо с арены. Джон Маркс, написавший лучшую книгу на английском языке о бое быков, говорит, что стоимость шести быков, участвующих в *corrida*, равна 1250 фунтам стерлингов. Я прочитал где-то в другом месте, что первоклассный *matador* может получить 1250 фунтов или даже больше

за дневную работу — то есть за убийство двух быков, а поскольку в большинстве *corridas* быков шесть, а *matadores* трое, то стоимость дневного мероприятия составляет около 5000 фунтов.

Я протолкался к своему сиденью через болтающую и кричащую толпу и обнаружил, что сижу рядом с тремя юными девами того типа, которые восхищаются успешными *matadores*. Они разглядывали себя в зеркальца на сумочках и клали еще больше красного тона на губы. Даже вне арены, подумал я, *matador* живет в постоянной опасности. Все до единого иностранцы, оказавшиеся в Севилье, собрались здесь; я слышал английский, французский и немецкий языки на участке в несколько ярдов. Прямо за мной сидел молодой священник, что меня удивило, так как священникам вроде бы не полагается посещать бои быков; потом я услышал, что он говорит по-французски. *Aficionados*^[84] создавали чудовищный шум, непрерывно что-то поедая и открывая бутылки, а мальчики в белых куртках стояли лицом к толпе с подносами на шеях и кричали: «*Caramelos!.. Cigarros!.. Limonada!..*» Впервые толпа испанцев не показалась мне обычной, сдержанной и исполненной достоинства группой людей.

Пробили часы. Шквал аплодисментов, когда в свою ложу вошел президент — единственный пример того, что испанцы могут соблюсти время встречи с точностью до секунды. Он подал сигнал, ворота широко распахнулись, показалась причудливая процессия, которая многим очевидцам напомнила Древний Рим. *Matadores* в расшитых золотом куртках, бриджах до колен, плоских шляпах, с переброшенными через левую руку плащами цвета фуксии шествовали по песку размашистым шагом, равнодушные к аплодисментам. Все трое шли рядом; позади вереницей шагали их *cuadrillas* — помощники, одетые хоть и не так роскошно,

в том же стиле. Здесь *banderilleros*, вонзающие дротики в быка, и *picadores*, которые колют его в шею и кружат на лошадях, чтобы животному было кого атаковать и поддевать рогами. Кажется почти невозможным, что такие лошади могут идти гордо. Это несчастные, запуганные старые клячи, черные от липкого потного страха. Их губы оттянуты над зубами цвета табачного сока, правые глаза завязаны, чтобы они не видели быка, когда тот подбегает разодрать им брюхо. Не все знают, что голосовые связки у них перерезаны, потому что вопль лошади — не тот звук, который способен доставить удовольствие толпе зрителей. С одной стороны костлявых боков свисают лоскутные коврики, которые в теории защищают их от поднимания на рога. Таковы финал и награда у жизни на службе человеку.

Пока *matadores* и их команды шли вперед, чтобы поклониться, я заметил, что все они идут не в ногу. Англичане или немцы не смогли бы такого сделать, разве что с большим трудом; для них неестественно идти не в ногу, в отличие от испанцев. И все же есть что-то индивидуалистичное и волнительное в отсутствии чеканности шага: каждый демонстрирует свою манеру ходить. *Matadores* поклонились. Они не приподнимали шляп, но прижимали те еще плотнее к голове. Они не оглядывали публику и никак не заискивали перед своими шумными поклонниками. Обычай требует от них выглядеть непринужденно и беззаботно, торжественно и сурово, как жрецы Митры, готовые совершить жертвоприношение.

Арена опустела. Президент подал знак. Дверь загона открылась; хотелось бы написать, что несколько тонн черной ярости выплеснулись на арену. Вместо этого выбежал некрупный черный бык — неторопливо, думая, что свободен и через минуту догонит стадо. Потом он понял: что-то не так. Шум. Станные запахи. Когда он появился из загона, кто-то, чтобы взбодрить

его, воткнул ему в левое плечо дротик, на котором болтались ленты цветов заводчика. Рана кровоточила и причиняла боль. Бык больше обескуражен, чем зол. Пока он недоумевал, что бы это могло означать, перед ним появились двое мужчин, бегущих маленькими легкими шажками, обутых в черные танцевальные туфли и манящих плащами. Бык никогда раньше не видел плаща — потому-то сражаются именно с быками. Он смотрел на плащи с недоумением, потом, решив, что они если не опасны, то уж точно раздражающи, бросился на них и промахнулся. За барьером *matador* прикидывал, каким рогом ему воспользоваться.

Оценив быка, *matador* вышел — все остальные исчезли с арены — и привлек внимание быка взмахом цветного плаща. Он стоял почти неподвижно, едва переступая ногами, и пропускал животное мимо себя. Всякий раз, как он совершал одно из этих красивых движений, в которых в равных долях присутствуют грация и отвага, низкий вопль, который звучит как «Алла!», вырывался у толпы, и каждый проход быка преследовал тот же крик. «Алла! Алла! Алла!» — со всех сторон. Так произносится «Olé!». Право же, это голос мавританской Испании! Где я слышал такой раньше? Я вспомнил. Это было на улицах Багдада, когда, скрытый за занавеской, я видел полуголых шиитских кающихся, которые бичевали себя на улицах во время шествия в месяц мухаррам и кричали всякий раз, как хлысты падали на их окровавленные спины: «А-ал-ла!.. Ул-ла! Ал-ла!.. Ул-ла!» На мой слух, чудовищный рев «Olé!» звучал точно так же.

Matador удалился, и выехал *picador* верхом на безгласной жертве. Теперь быку надо пустить кровь. Говорят, что ни один человек не может убить быка мечом, пока шейные мускулы животного не ослабнут настолько, что оно склонит голову для

жертвоприношения. Поэтому первую кровь ему пускает *picador*.

Завидев гротескного противника, бык бросился на него. *Picador*, схватив шестифутовое копье, направил острие в шею быка, и так они застыли на секунду: человек колот, бык толкал. Вдруг животное отдернулось от копья и кинулось на лошадь. Послышался звук удара, когда рога вонзились в *peto* — защитный коврик; конь настолько немощен, что не устоял на ногах. Он упал не потому, что бык силен и свиреп, а потому, что сам слаб и стар. Он подставил брюхо под рога. Свалка и неразбериха; *picador* поднялся, а другие члены труппы выскочили ему на помощь. Бык, найдя наконец хоть что-то уязвимое, пропорол коню брюхо. Обезумевшее от ужаса животное вскинуло длинную жилистую шею; его незавязанный глаз полон ужаса; широко открытая пасть обнажает стертые побуревшие зубы. Но не слышалось ни звука; а бык продолжал наносить удары.

Замелькали красные плащи. Бык отвлекся. Большая кровавая роза пузырилась на его плече, куда вошло копье. Лошадь лежала на земле, судорожно дыша. Какой-то человек подбежал и потянул за повод, отвесил пинок в костлявые ребра; с чудовищным усилием бедная кляча поднялась. Теперь это еще большая карикатура на лошадь, чем прежде. Задние ноги отнялись, животное в агонии мотало головой из стороны в сторону. Я понадеялся, что оно умирает; внутренности свисают из его брюха — вся палитра красного. Человек подобрал кусок кожи с арены и попытается запихнуть их обратно, но они выскальзывали, словно красные угри. Наконец лошадь утащили с арены. Она умрет в стойле, а если сможет стоять, в рану напихают соломы и снова вытолкнут на арену.

Начался второй акт. Вперед выступили *banderilleros*, изящно взяв на изготовку гарпуны, увенчанные цветной бумагой. Они жеманно держали оружие за кончики, а острия, которые воткнутся в быка, были зазубрены, словно рыболовные крючки. Едва бык приблизился, *banderilleros* встали на цыпочки и аккуратно всадили гарпуны в плечи животного, когда то пронеслось мимо. Быку больно и странно. Он остановился, жалко замер в центре арены, мотая головой и пытаясь слизать кровь со спины. Всякий раз, когда он шевелился, зазубрины впивались в его плоть, раны вскипали розовыми пузырями. Бык не мог стряхнуть дротики. Он полностью был поглощен болью, потом медленно потряс головой и замычал, как корова, — низко, жалостливо, обиженно, словно спрашивая: «Почему вы это делаете? Выпустите меня. Я не понимаю». Немедленно перед ним вырос новый *banderillero*, с двумя дротиками наготове. Но бык не атаковал. Человек и бык смотрели друг на друга, и ничего не происходило. Человек подпрыгнул, как чертик из коробочки, чтобы раздражить быка. Толпа засмеялась, слышались советы. Впрочем, скоро публика начала злиться, и раздался свист.

Banderillero, подгоняемый криками неодобрения, подбежал к быку и вонзил в его плечо еще два дротика. Животное завертелось на месте, облизывая раны и пытаясь избавиться от этих штук, рвущих его плоть. Кровь запеклась на его боках темными потеками. Бык, чужая ее запах, испугался, побежал к ограде арены, *banderillas* дрожали и постукивали друг о друга. Животное вызывало жалость, но толпа насмеялась над ним, потому что этот бык — не *toro bravo*. Его смерть, очевидно, будет не слишком интересной. Пора проявить благородство и выйти к нему с гуманным орудием убийства. Но церемонию следует разыграть до конца. Взмах платка из президентской ложи, трубы загремели,

словно возвещая нечто, и вперед вышел *matador* с мечом. Время жертвоприношения настало.

Matador, держа меч на изгибе локтя, громко посвятил быка кому-то из толпы. Трубы загремели снова, когда он приблизился к жертве. Та явно думала только о своей боли. Кровь бежала на песок. Бык стоял с опущенной головой. Я вспомнил, глядя на него, всех замученных в Испании христиан. У них, судя по картинам, тот же вид, усталость, безнадежность изнеможения. Кровь, на которой делают акцент испанские художники, точно так же прочерчивала их тела. Умирающий бык и умирающий Спаситель...

Быку хотелось пить. Он скреб горячий песок копытом и опустил морду, принюхиваясь. *Matador* стоял от него в нескольких ярдах, держа меч, скрытый за *muleta* — полосой красной бумазеи. Он дразнил быка, обзывал и понукал напасть. Удивительно, но бык действительно напал. *Matador* был готов к этому и ускользнул, как обычно, когда животное промчалось мимо; бык же, устав от обмана, вместо возвращения к неравной битве потрусил на прежнее место. Три или четыре раза *matador* побуждал быка нападать, но тот просто стоял с опущенной головой, подставляя участок — говорят, размером с полкроны, — который ведет прямо к сердцу. Момент настал — прославленный «момент истины». Вот он!

Matador посмотрел вдоль лезвия шпаги, и — бык пролетел мимо со шпагой, торчащей в его шее! *Matador* попал в кость. Животное взбрыкнуло, пытаясь стряхнуть шпагу. Это ему удалось. Толпа засвистела и принялась выкрикивать оскорбления. *Matador* взял новую шпагу. На сей раз он всадил ее глубоко, по самую рукоять. «Ул-ла! Ал-ла! *Olé!*» Бык полным достоинства шагом удалился, полагая вернуться на свою *querencia*^[85], — но не дошел, остановился на полпути:

голова наклонилось, тело словно просело, вид такой, будто его сейчас стошнит. Так и есть. Темная кровь хлещет из его рта. Медленно, очень тихо бык опустился на колени, словно в молитве. И вдруг упал замертво. *Olé!*

Matador поклонился, словно актер. Накрашенные девушки передернули плечиками и стали рыться в сумочках, ища помаду. Три мула, запряженных в ряд, вбежали на арену под звон колокольчиков, за рога быка зацепили веревку; последнее, что мы увидели, — туша без всякого достоинства, копытами кверху, оставляющая красную дорожку в песке. Ворота отворились и захлопнулись. Мясники взялись за ножи.

Снова трубы.

Дверь *toril*^[86] опять открылась, и выбежал второй бык. Через двадцать минут он тоже мертв. Когда шестой бык выкашлял сердечную кровь, дневное жертвоприношение окончилось. Толпа расходилась, излив эмоции, чтобы растечься по кафе и барам и обсудить каждое мгновение в мельчайших подробностях, находя красоты, которых никто, кроме испанцев, не способен оценить.

§ 7

Ни один человек, воспитанный на книжках Беатрикс Поттер, не может понять — и еще меньше принять — бои быков, и с этим ничего не поделать. Ритуальное убийство животного, со всеми полагающимися кровожадными формальностями, не кажется жестоким испанцам — по крайней мере, тем из них, кто вырос на тавромахии. Что сказали бы испанцы, которые не видели *corrida* до тридцати лет, — другой вопрос.

Однако будет неправильным уходить с боя быков, уверившись, что испанцы жестоки с животными. В своих

домах и на фермах они обычно добры и заботливы; кошки и собаки в Испании выглядят сытыми и счастливыми. Испанец также всегда был великим любителем и ценителем лошадей, и немного сложно понять, как народ лошадиников, народ, который уважает достоинство и благородство, может выносить чудовищную деградацию лошадей на боях быков — ведь большинство этих одров следовало безболезненно усыпить еще несколько лет назад. Не спектакль смерти отвращает незнакомого с боями быков человека и не вид крови, ибо в наши дни старые леди в Кенсингтоне видели куда более кровавые зрелища, чем любое, засвидетельствованное на самых кровавых *corridas*, но ритуальная пытка, которая предшествует так называемому «моменту истины».

И все же сколь удивительна Испания! Всего в нескольких сотнях ярдов от арены, где каждое воскресенье в сезон убивают быков, а перепуганные клячи вывозят наездников на ринг, А. Ф. Чиффели, посещая в Севилье школу выездки лошадей «Los Remedios», которую держал цыган по имени Франсиско Родригес, перевел следующее из листка на конюшне:

ПРОСЬБА ЛОШАДИ

Мой дорогой хозяин,

Прости меня, пожалуйста, за обращение к тебе с просьбой. После работы и усталости дня дай мне укрытие в чистом стойле. Накорми меня щедро и утоли мою жгучую жажду. Я не могу объяснить тебе, когда я хочу пить, голодна или больна. Если за мною правильно ухаживать, я смогу служить тебе хорошо, потому что у меня будут на это силы. Если я оставляю свою пищу нетронутой, проверь мои зубы. Пожалуйста, не

отрезай мне хвост, ведь это единственная моя защита от мучающих меня мух и прочих насекомых. Пока работаешь для меня, поговори со мной, потому что твой голос убедительнее, чем узда и хлыст. Приласкай меня и побуди работать добровольно. Не торопи меня вверх на крутом склоне и не тяни за трензель, когда я иду вниз. Не заставляй меня нести или везти слишком тяжелую ношу. Я служу тебе, не жалуясь, до предела сил. Если ты забудешь это, я могу умереть в любой миг, изо всех сил попытаюсь выполнить твою волю. Обращайся со мною заботливо, как и следует с преданным слугой, и если я не понимаю тебя немедленно, не гневайся и не бей меня, поскольку это может быть не моя вина. Осмотри мои поводья — возможно, они плохо передают твои приказы, запутались или перекрутились. Погляди на мои копыта и подковы, чтобы знать, что они не причиняют мне боли. Дорогой хозяин, когда годы состарят меня и сделают бесполезной, убей меня, но сделай это сам, чтобы уменьшить мои страдания. Самое главное, когда я уже буду тебе без пользы, пожалуйста, не обрекай меня на пытку арены.

Прости меня, что я отняла твое время этой скромной просьбой, и молю не забывать о ней. Я прошу тебя об этом во имя Того, Кто родился в яслях...

Трагедия и страдания, на которых животных обрекают бездумность и бесчувственность хозяев, выражены этим испанским цыганом с наибольшей возможной чуткостью; и приятно сознавать, что «Просьба лошади» написана в квартале тавромахии.

Думаю, большая часть романтики бычьих боев исчезнет, когда мы узнаем, что в современной, приниженной и коммерческой форме *corrida* существует только с восемнадцатого века. Французский король Филипп V преуспел в прекращении старомодного аристократического боя быков, сделал их немодными, и это развлечение перешло к конюхам и слугам, скотоводам и пастухам. Искусство убивания быка, которое мы наблюдаем сегодня, было изобретено плотником из Ронды Франсиско Ромеро. Он придумал *muleta*. Костюмы словно из цирка, которые носят быкоборцы, тоже изобретены не слишком давно.

Насколько бой быков, переданный черни, нуждается в формализации и регулировании, можно уяснить из записок путешественников, которые видели его в восемнадцатом веке. Интересная книга об Испании написана капитаном Джорджем Карлтоном, который принимал участие в экспедиции лорда Питерборо в Испанию в 1705 году. Он описал в своих «мемуарах», как был взят в плен и провел несколько счастливых лет со своими добрыми хозяевами, позволявшими ему любую свободу. Вот его описание боя быков.

В первый из назначенных дней (ибо бычий праздник обыкновенно длится три дня) все мелкое дворянство города и окрестностей собирается на Пласе в самых ярких своих одеждах. Те, кто рангом пониже, вооружаются копьями или несметным числом маленьких дротов, которые они не упускают случая вонзить или бросить, как только бык своей близостью даст им такую возможность. Так что бедное создание, можно сказать, сражается не только с *tauriro* (быкоборцем — человеком, всегда нанимаемым для таких целей), но со

всею многолюдностью низшего класса, по меньшей мере.

Все сидят на местах, самая верхняя дверь открывается первой; и едва бык завидит свет, он выбегает, нюхая воздух и оглядываясь вокруг, словно в восхищении от зрителей; задрав хвост, он роет землю передним копытом, будто намерен бросить вызов пока не появившемуся противнику. Затем, через дверь, предназначенную для этой цели, входит *tauriro*, весь в белом, держа плащ в одной руке и обоюдоострый узкий меч в другой. Бык не отводит от него взора и, дико глядя, медленно движется к нему; потом постепенно прибавляет шаг, пока не приблизится к *tauriro* на расстояние примерно в двадцать ярдов; тогда рывком бросается на него всей своей мощью. *Tauriro*, зная по частому опыту, что ему следует быть осмотрительным, ускользает вбок, когда бык уже перед ним; набросив свой плащ на рога, он наносит быку удар или два, всегда целясь в шею, где есть особое место, поразив которое, как он знает, быка легко повергнуть наземь. Я сам наблюдал истинность этого опыта, проведенного на одном из быков, который получил не более одной раны, которая, придясь в роковое место, столь его ошеломила, что он совершенно оцепенел, а кровь текла из раны, пока, после страшного содрогания, он не пал мертвым.

Но так редко происходит, и бедное животное чаще получает много ран от бесчисленных дротов, прежде чем умрет. Однако когда оно чувствует свежую рану от дрота, копья или меча, его ярость получает от нее прибавление, и бык преследует *tauriro* с

возросшей злобой и свирепостью. И столь же часто, как он бросается на противника, *tauriro* старается, со всей своей ловкостью, избежать рогов и завоевать пристальное внимание животного новой раной.

Иные из этих быков играют свою роль куда лучше прочих; но лучшие должны умереть. Ибо когда они ведут себя со всей возможной и похвальной свирепостью, ежели *tauriro* выбился из сил и не сумел произвести убиение, то на быка спускают собак, подрезают поджилки и всего утыкивают дротами, покуда, с потерей крови, он не положит конец их жестокости.

Когда бык умирает, человек выводит двух мулов, убранных колокольчиками и перьями, и, закрепив веревку вокруг рогов, утаскивает быка под крики и одобрительные возгласы зрителей, как будто неверных из-под Сеуты.

Я почти забыл другую, весьма нередкую часть варварского удовольствия от этого развлечения. *Tauriro* иногда втыкает одно из копий глубоко в землю, наискось, но направив как можно точнее в грудь быка; потом, показавшись быку, прямо перед острием копья, когда тот начинает свой разбег к *tauriro* — который, как меня заверили, всегда закрывает глаза, — *tauriro* отступает вбок, и бедное животное со всей яростью часто накалывает себя, а иногда ломает копье в груди и бегаёт с обломком, пока тот не выпадет.

Этот *tauriro* считался одним из лучших в Испании; и действительно, я видел, как он вскакивал на спину одного из быков и ехал на оном, нанося удары, пока не утомил его совсем. Тогда, спешившись, он убил его с большой легкостью и к восторгу публики, ибо

разнообразность жестокости, равно как и ловкость, вызывают у нее радость.

Праздник завершился, говорит Карлтон, великолепным зрелищем, когда молодой дворянин по имени Педро Ортега, верхом на отличной лошади, сразился с быком в старом стиле. Интересно, что этот бой 1708 года был явно спектаклем одного актера; любопытно также, что современные эксперты отказались бы признать, будто пеший человек способен убить быка, пока шейные мускулы животного не ослабит бодание лошади, хотя в восемнадцатом столетии это, как следует из рассказа Карлтона, проделывали с легкостью.

К тому времени, когда преподобный Джозеф Таунсенд, автор «Путешествия по Испании», посетил бои быков в Аранхуэсе в 1786 году, ритуал уже устоялся, и Таунсенд мог бы описывать современное зрелище; впрочем, быки раньше были огромными и свирепыми. *Picadores*, *banderilleros* и *matador* выступали друг за другом, и время, выделенное на убийство каждого быка, было таким же, как ныне: двадцать минут. «Однажды утром я видел, как убили тринадцать лошадей; но иногда бывало и много больше», — писал Таунсенд. Конечно, в королевском городе Аранхуэсе он видел лучшие из боев и, без сомнения, выступавшие с отличием закончили королевскую школу матадоров. В глухих деревнях и городках, однако, можно было увидеть странные зрелища. Джон Макдональд, написавший «Мемуары слуги восемнадцатого века», был в Кадисе со своим хозяином в 1778 году и видел бабуина, привязанного к столбу в центре арены. «Иногда он [бык] бежит за обезьяной, и тогда поднимается всеобщий смех». Умный и наблюдательный немец Фридрих Августус Фишер рассказывает в «Поездках по Испании», что видел быков, которых

травили на площади в Бильбао в 1797 году. Сначала животное атаковали пиками, вилами и палками, толпа при этом кричала: «*Los perros!*»^[87] Потом на него спустили бульдогов. Собаки привели быка в ярость, и он стал прыгать по арене, а псы висели на нем и не отпускали, пока восемь сильных мужчин не повалили быка; очевидно, это был молодой бык, не того уровня, что наблюдали Карлтон и Таунсенд. Так затравили шесть или семь быков под дробь барабана, рассказывает Фишер.

Среди тех, кто посещал бои быков, проводившиеся в Кадисе в июне 1793 года, был и Нельсон. Он приехал как официальный гость с офицерами шести британских линейных кораблей. Это были хорошие бои: пять лошадей выпотрошили, два человека сильно пострадали от рогов. Нельсон, вроде бы привычный к виду крови, ощутил позыв к тошноте и усомнился, сможет ли высидеть до конца, но все же выдержал. Он писал своей жене, что не отказался бы увидеть, как зрителей поднимают на рога. Когда бои закончились, Нельсон и его офицеры вернулись на свои корабли, не подозревая о реальном значении и красоте зрелища, которое увидели, ибо в обычной глуповатой британской манере они признавались, что «сочувствовали быкам и лошадям».

§ 8

Среди величайших достопримечательностей Севильи — «Архивы Индий» и библиотека, где книги, принадлежавшие Колумбу и им откомментированные — он был великим писателем на полях, — содержатся в стеклянных шкафах.

Меня отвела туда американка-профессор, которая сказала, что проработала в архивах много лет. Больше

тридцати тысяч документов, относящихся к открытию Америки и испанским колониям, хранятся в этом здании.

Мне показали автографы Америго Веспуччи, Кортеса, Писарро, Магеллана и — самое интересное из всех — письмо Сервантеса с просьбой предоставить ему работу в Америке! Письмо написано в Севилье в 1590 году, когда Сервантесу было сорок три года, и он провел годы за тяжелейшей и скучнейшей работой, помогая снабжать провиантом Армаду, а после ее поражения — занимаясь поставкой продовольствия на галеры. Поперек петиции чиновник Совета по делам Индий написал: «Пусть подыщет что-нибудь поближе к дому». Интересно, появился бы «Дон Кихот», если бы Сервантес уехал в Америку? Печальная мысль: великий Сервантес мог сойти в могилу усердным клерком в министерстве по распределению государственных средств Колумбии!

Мы перешли в *Biblioteca Colombina*^[88] расположенную в старом здании позади собора, выходящем во Дворик апельсиновых деревьев. Здесь, в длинной, разлинованной книгами комнате, мы подошли к книжному шкафу со стеклянной передней стенкой, и для нас его открыли. К моему удивлению и даже замешательству, ибо столь бесценные сокровища не следует трогать руками, книги, принадлежавшие Колумбу — их всего около десятка, — дали мне в руки. Они на латыни или испанском: Марко Поло, «Жизнеописания» Плутарха, трагедии Сенеки, «Естественная история» Плиния Старшего, отпечатанная в Венеции в 1489 году, и «Imago Mundi» кардинала Пьера д'Айи, в которых Колумб сделал множество пометок на полях. Только впоследствии человек может оценить подобный опыт. В тот момент я с трудом мог поверить, что старинные побуревшие

слова на полях книги действительно написаны Христофором Колумбом; я оказался неподготовленным к такому откровению, поскольку представлял себе Колумба на палубе «Санта-Марии», вглядывающимся в туман и бурю — и никогда мирно сидящим дома и читающим Плутарха.

Я открыл книгу и увидел написанный Колумбом удивительный шифр:

.S.

S. A. S.

X M Y

Под этими загадочными буквами он обычно писал свое имя, а иногда «х. р. о. Ferens» или просто «El Almirante». «Эта подпись стала одной из любимых игр для охотников за тайнами, — пишет Сальвадор де Мадариага, — и прочтения ее варьировались от сверхзаумных до идиотически простых». Многие считали, что этот шифр — обращение ко Христу, Богородице и святому Иосифу, а другие (среди них и Мадариага, полагающий происхождение Колумба еврейским) думают, что это каббалистический шифр и еще одно доказательство того, что Колумб мог быть крещеным евреем, или *converso*, каковыми являлись, кажется, почти все способные люди в Испании того времени.

Какого рода пометки делал Колумб на полях своих книг? Почти все они посвящены богатству, золоту, драгоценностям, драгоценным камням и металлам. Почти всякий раз, натываясь на слово «золото», он подчеркивает его; и в своем экземпляре труда Марко Поло подчеркнул такие слова, как «благовония», «жемчуг», «драгоценные камни», «золотая одежда», «слоновая кость» и «перец», — иными словами, все, что имело коммерческую ценность. И это очень естественно. Старые караванные пути на Восток оказались закрыты, когда турки захватили

Константинополь в 1453 году; соперничество между Испанией и Португалией, в котором лидировала последняя, состояло в нахождении морского пути в Индию, к сказочным богатствам великой «торговли пряностями». Первой победой стало постепенное исследование португальцами западного побережья Африки, а наивысшим успехом — великое достижение Бартоломео Диаша, обогнувшего мыс Доброй Надежды и обнаружившего, что плывет уже не на юг, а перед ним лежит Индия. Самые интересные из заметок на полях Колумб написал в «Imago Mundi» Пьера д'Айи.

Отмечаю: что в декабре сего 1488 года Бартоломеус Дидакус, командующий тремя каравеллами, которые король Португалии послал в Гвинею искать землю, бросил якорь в Лиссабоне. Он доложил, что достиг мыса, который назвал *Cabo de Boa Esperanca* [мыс Доброй Надежды]... Он описал свое путешествие и нанес его, лига за лигой, на морскую карту, чтобы представить его пред очи одного короля. Я при сем присутствовал.

Колумб не только не догадывался о существовании Америки и до самой смерти не знал, что открыл ее, но пытался всего лишь найти более быстрый путь в Индию, чем на юг, огибая Африку. Он полагал, что, поскольку Земля — круглая, достаточно длительное путешествие на запад от Испании будет коротким путем в Индию; так бы и вышло, будь Земля такой маленькой, как воображал Колумб, и не находишь в промежутке Американский континент. Однако географическая ошибка пятнадцатого века достойно увековечена. Мы говорим о вест-индцах, подразумевая жителей Карибских островов; что еще более абсурдно, ошибка откочевала на север, в Соединенные Штаты и Канаду,

исконный дом краснокожих. В истории открытий мало столь же трогательных моментов, как мысли Колумба у берегов Вест-Индии: он-то считал, что в любую минуту может очутиться в Японии.

§ 9

Я покинул библиотеку с полной Колумбом головой, а разве есть место лучше Севильи, чтобы поразмыслить о поразительной истории этого человека? Никто точно не знает его происхождения. Заявляли, что он итальянец, португалец, каталонец или галисиец; мы знаем, что он говорил по-кастильски с иностранным акцентом.

Он родился в Генуе, в семье ткача, и отправился в море совсем юнцом. Есть основания считать, что он посещал Англию с генуэзскими судами, которые прибыли в конце 1476 года, когда королем был Эдуард IV. Если так, это был год, когда Кэкстон покинул континент, чтобы начать печатное дело в Лондоне; и приятно представлять, что Колумб и Кэкстон могли столкнуться на Лондонском мосту в толпе людей, которые бы удивились, узнав, какие новые, незнакомые миры они задевали плечом.

Те, кто был знаком с Колумбом, повествуют о высоком, красивом, всегда чисто выбритом мужчине с преждевременно поседевшими волосами. Он был великим болтуном, и некоторые люди считали его сумасшедшим, а другие — докучливым; но сам Колумб придерживался очень высокого мнения о себе, и, несмотря на бедную одежду, от него исходило ощущение благородства. Он обосновался в Лиссабоне, где в те времена о достижении Индии по морю говорилось столько же, сколько сегодня — о высадке на Луну. Некоторые полагали, что лучший путь — вокруг Африки, другие считали, что короткая дорога лежит

через Атлантику, и эта привлекательная теория завладела мыслями Колумба. Главной целью его жизни стало найти монарха, который финансирует его путешествие.

Он женился на португалке с хорошими связями, дочери известного морского капитана, и у них родился сын Диего. Через несколько лет брака жена Колумба умерла, и, потерпев неудачу с королем Португалии, Колумб решил представить свой проект Фердинанду и Изабелле. Он прибыл в Испанию, бедный, но полный энтузиазма, с пятилетним сыном. Монахи Ла Рабиды приняли на себя опеку над мальчиком, пока Колумб отправился завоевывать двор, который тогда находился в Севилье.

К тому времени ему исполнилось сорок лет — довольно пожилой возраст по тем временам, — и он не мог выбрать худшего момента. Фердинанд и Изабелла были совершенно поглощены последними битвами Реконкисты, и единственным, что имело для них значение, было сокрушение уцелевших твердынь неверных. План этого фанатичного седовласого человека казался расточительным безумием по сравнению с изгнанием мавров. Его продержали в ожидании шесть лет, что долго даже для Испании. В этот период Колумб завел любовную интрижку с женщиной, о которой мало что известно, кроме того, что ее звали Беатрис Энрикес и она была родом из Кордовы. Она стала матерью его сына Фердинанда, и можно только гадать, почему эмоциональный, одинокий и разговорчивый вдовец не женился, поскольку он любовно заботился о ней всю оставшуюся жизнь и упомянул в завещании. За эти семь лет Беатрис наверняка узнала все то, что хотелось бы знать биографам о Колумбе — он наверняка изливал ей душу в этот период разочарований и крушения надежд, — и эти сведения она унесла с собой в могилу.

Королю и королеве, а также их советникам Колумб наверняка казался пустым мечтателем, но условия, составленные им для путешествия на запад, к Индиям, доказали, что он также был опытным и проницательным бизнесменом. Он настаивал на титуле, на вице-королевстве и десяти процентах от всех прибылей. Сальвадор де Мадариага называет его «прединкарнацией Дон Кихота». И конечно, при дворе никогда не видели более странного персонажа, чем этот говорливый искатель приключений с его заносенным ощущением величия, настаивающий, что среди его наград должно быть право носить золотые шпоры (странное желание для моряка!) и титул гранд-адмирала Океана — еще до какого бы то ни было открытия.

Последним ударом для Колумба стал вердикт королевской комиссии, которой потребовалось четыре года, чтобы прийти к заключению: проект «тщетен и достоин полного отвержения». Дальнейшие споры стали невозможны. Тогда он решил предложить свой проект Франции и в печали отправился в монастырь Ла Рабида — возможно, чтобы забрать Диего, которому уже исполнилось одиннадцать лет. И здесь произошло событие, которое является величайшей загадкой в истории Колумба. Насколько я знаю, ей все еще нет удовлетворительного объяснения. Он, должно быть, поверил свои печали отцу Хуану Пересу, который заинтересовался Колумбом уже после первого появления путешественника в монастыре; предположим, гость рассказал святому отцу нечто столь секретное и важное, что добрый монах сел и написал королю и королеве. Только дело огромной срочности могло заставить монаха писать их величествам, на которых тогда устремились взоры всего христианского мира — накануне последней битвы с неверными. Еще более странно, что, получив письмо,

королева повелела монаху приехать к ней. Необычайное событие! Колумб обивал пороги двора шесть лет, королевская комиссия сочла его план фантазией, и все же, получив письмо от монаха, королева — в критический момент в делах государства — решила сама выслушать то, что хотел ей поведать монах. Он оседлал мула и поехал ко двору — можно сказать, добрый отец Хуан Перес вез с собой будущее Америки.

Когда монах вернулся, он передал Колумбу приказ явиться ко двору под Гранадой. Ему прислали денег, чтобы купить подобающее платье и мула. И под январским солнцем 1492 года первооткрыватель Америки увидел волну христианских рыцарей, катящуюся к красным башням Гранады — и серебряный крест перед нею. Он видел, как открылись ворота города и оттуда выехала кавалькада арабов: их лица под тюрбанами были смуглыми и истощенными. Они отдали ключи от города — ключи мавританской Испании, хор Королевской капеллы пропел «Te Deum»; рыцари соскочили с боевых коней и преклонили колена, как и лучники, и копьеносцы, — несомненно, Христофор Колумб тоже встал на колени.

Через семь месяцев он отплыл на запад. Его корабли были снаряжены в маленьком порту Палое, рядом с монастырем Ла Рабида. Восемьдесят восемь человек вышли в море на трех кораблях, и первое пересечение Атлантики заняло семь недель. Колумб был первым, кто вышел в открытое море, ориентируясь по звездам. Его мужество и вера оказались вознаграждены как-то вечером пушечным выстрелом с «Пинты», сообщившим, что видна земля. Многие полагают, что той землей был остров Багамского архипелага, который сейчас называется островом Уотлинга. Мечта стала явью.

Колумб обрел богатство и влияние, но потом удача отвернулась от него. Он обнаружил новый мир, но не

смог управлять им, как не смог наполнить его реки и шахты золотом. Четыре раза пересекал он Атлантику туда и обратно. Слава и почет, которых он так жаждал, пришли к нему, не принеся с собой счастья. Через четырнадцать лет после своего бессмертного путешествия он умер, больной и жалкий, все еще веря, что Америка — это Азия.

§ 10

Примерно в сорока милях от Севильи, на голом мысу, выходящем на соленый эстуарий, где Рио-Тинто и Одьель выносят через болота свои воды к морю, стоит маленький францисканский монастырь Ла Рабида. Нигде в мире нет места, более тесно связанного с открытием Америки. Здесь принимали под кров Колумба, когда тот впервые приехал в Испанию; здесь заботились и учили его маленького сына; здесь утешали исследователя в отчаянии; и не может быть сомнений, что настоятель монастыря отец Хуан Перес в своем разговоре с королевой Изабеллой побудил правительницу пересмотреть решение королевской комиссии.

Увидев утром низкое здание, побеленное и крытое красной черепицей, с синим простором моря позади и гудящей от пчел клумбой с цветами впереди, я подумал, что монастырь не мог сильно измениться с тех пор, как Колумб прибыл сюда. Здесь есть крытая терраса и колокольчик; никто не ответил на мой звонок, так что я уселся на террасе и стал наблюдать, как ласточки кормят своих птенцов в гнезде, прилепившемся в углу крыши. Колумб, наверное, приехал в Палое на корабле и прошел нелегкую дорогу до монастыря, все время в гору. В его дни Палое был оживленным маленьким портом, с собственными

верфями и процветающей каботажной торговлей с Лиссабоном, но теперь море отступило, оставив Палое на высоком берегу. Доведись Колумбу увидеть город сегодня, он бы удивился. Еще одним сюрпризом стала бы колоссальная статуя его самого на другой стороне эстуария — величественный монумент того же тяжеловесного рода, что и статуя Свободы.

Наконец монах открыл ворота и пригласил меня в маленький дворик. В Ла Рабиде сейчас всего три монаха, сказал он, но во времена Колумба было около сорока. Мы зашли в церковь, где над алтарем висит изможденный Христос, а в маленькой боковой капелле я увидел потемневшую от времени Богоматерь Ла Рабиды.

— Колумб молился перед этой статуей Святой Девы, — сказал монах. Его голос звучал как граммофонная запись.

Он рассказал мне историю, которую выслушивают все посетители: как однажды в 1484 году высокий мужчина, держащий за руку маленького мальчика, позвонил в колокольчик и попросил разрешения остаться в монастыре. Приор, отец Хуан Перес, «увидев, что он выглядит как человек из другой провинции или королевства и чужестранец по языку, спросил гостя, кто он и откуда приехал»; и, видимо, отец Хуан Перес и другие члены братства, включая отца Антонио де Марчену, монастырского астронома, попали под обаяние Колумба.

Мы поднялись по лестнице в аскетическую маленькую келью отца Хуана Переса, где столько бесед и споров происходило между Колумбом, монахами и Мартином Алонсо Пинсоном — местным корабелом, который впоследствии пересек Атлантику. К сожалению, в Ла Рабиде нет ничего, что могло бы пролить хоть какой-то свет на то, что Сальвадор Мадариага назвал «кроссвордом-головоломкой

Колумба». Монахи здесь знают не больше, чем кто-либо иной, о происхождении и рождении мореплавателя, обстоятельствах его так называемого «бегства» из Португалии или о загадочном секрете, поведенном Пересу и приведшем к повторному появлению Колумба при дворе Фердинанда и Изабеллы. Я спросил францисканца, не знает ли он, почему Бернальдес, который хорошо знал Колумба, говорил о нем как о «торговце печатными книгами». Был ли Колумб продавцом подержанных книг? Монах пожал плечами:

— *Quién sabe?* Возможно! Почему нет? Он провел многие годы жизни за книгами и картами. Что может быть более естественно, чем продавать их? Всем надо жить.

В этой маленькой каменной келье планировалось открытие Америки. Колумб и Пинсон наверняка сидели рядом, с картами и компасами, со списками припасов; и можно вообразить двух монахов в коричневых рясах, склонившихся над их плечами, ловящих каждое слово, увлеченных дерзостью замысла.

Монах отпер дверь, и мы вошли в комнату, заставленную маленькими коробочками из разных пород дерева. Их было штук шестнадцать или двадцать, расставленных на полке, а над ними висели флаги южноамериканских республик.

— Республики Южной Америки прислали немного своей земли в шкатулках, сделанных из их деревьев, — пояснил францисканец.

Я открыл шкатулку с надписью «Мексика». Она была полна темной красноватой земли. Почва Перу оказалась чуть светлее. Я поднял взгляд на флаги и прочел названия: Мексика, Перу, Бразилия, Чили, Аргентина, Сальвадор, Доминиканская Республика, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Боливия, Гватемала. Довольно странный способ выразить почтение, подумал я, и несколько ироничный: ведь некоторые из

республик, приславших эти шкатулочки с землей, никогда не упускали случая облить материнскую страну грязью!

Монах поспешил прочь, чтобы принять партию смуглых мексиканцев, в которых, мне показалось, обрел новую жизнь Монтесума. Они благоговейно, на цыпочках обошли комнату, разглядывая шкатулочки. «О, Мексика!» — они с любопытством склонились над парой фунтов собственной почвы. Они не стали плевать, когда открыли коробочку Перу и еще нескольких южноамериканских стран, но я почувствовал, что их интерес сильно уменьшился.

Я попрощался с монахом и спустился к старому порту Палоса; зашел в рощицу высоких деревьев — возможно, потомков тех, чья древесина совершила первое путешествие в Америку. Теперь Палос — убогое местечко. Вода, которая когда-то поднималась чуть ли не до дверей, ушла вниз, на болота, но старинный кирпичный фонтан или колодец, из которого Колумб наполнял свои фляги, все еще сохранился в нескольких ярдах от дороги. Поблизости никого не было, и я решил, что народ, наверное, в полях. В траве я нашел несколько ржавых колец. Не к этим ли кольцам, подумал я, чалились «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья»?

Имена кораблей интересны сами по себе. В них нет ничего героического. Эти названия вы найдете сегодня на скромных рыбацких лодчонках в любой гавани. «Нинья» значит «Девочка», «Пинта» — «Накрашенная женщина»; и многие из тех, кто изучал этот вопрос, полагают, что Колумб переименовал свой флагман в «Санта-Марию» из «Марии Таланте», что означает «Прекрасная Мария» или — осмелится ли кто зайти так далеко? — «Красотка Мэри». Я также вполне могу представить, как Колумб, с его чувством собственного достоинства, вдохновленный ниспосланной свыше

миссией, решил, что «Мария Таланте» — слишком обыденно и легкомысленно для путешествия, которое обещало стать — и история это подтвердила — самым значительным из когда-либо совершенных человеком. Даже при этом названия кораблей остаются очаровательно банальными; мы все видели их в Лоустофте и Абердине, когда красноглазые сельди катились серебряными потоками по желобам из их трюмов.

Пока я размышлял обо всем этом, ко мне приблизился одинокий человек в черном. Это оказался деревенский священник. После обычных любезных приветствий и приподнимания шляп я спросил:

— Все эти кольца...

Заканчивать вопрос не пришлось.

— Да, *señor*, это кольца, за которые чалились его корабли, — ответил священник, пока мы шли по лугу.

Он оказался горячим поклонником Колумба и привык встречать самых разных людей, добравшихся до Палоса. Мы зашли в церковь. Он рассказал мне, что 2 августа 1492 года Колумб велел всем членам команды взойти на борт, и никто не ложился спать той ночью в Палосе. Фонари и лампы отражались в воде, ныне превратившейся в луг, и силуэты трех маленьких каравелл обрисовывались на фоне неба. Уже перед рассветом 3 августа Колумб и его люди отстояли мессу и причастились. Священник поборолся немного с дверью церкви, пока та наконец не распахнулась.

— Вон туда они пошли, к кораблям, — сказал он; но перед нами не было ничего, кроме луга и старых колец в траве.

За полчаса до того, как встало солнце, Колумб дал сигнал, утренний ветер наполнил паруса, и три корабля вышли в Атлантику.

На обратном пути в Севилью я заехал в беленький андалусский городок; словно корона, на холме позади него высилось одно из тех средневековых видений, что встречают путешественника в Испании. Оно выглядело как настоящий обнесенный стеной город, полный рыцарей и прекрасных дам. Казалось, можно расслышать, как трубадуры настраивают свои лютни, а герольды репетируют новую мелодию. Но из приобретенного с годами опыта я знал, что видение рассыплется на несколько пролетов ветхих укреплений, пыльные улочки, полуразрушенные дома и тележки, запряженные мулами. «Как эти чародеи ненавидят меня, Санчо», — произнес я, вылезая из машины в городке внизу и взбираясь по пыльной тропе, прекрасно зная, что волшебная картина скоро распадется в пыль и руины. И вошел в городок под огромной мавританской аркой.

Все оказалось именно так, как я ожидал. Городок в далеком прошлом был великим и могучим; но тысячи жителей его покинули, великолепие позабылось, и теперь в нем жили несколько сотен крестьян в маленьких каменных хижинах. Мулы, позванивая колокольцами, брели в пыли, из городка внизу приехал фургон, запряженный быками, а у дверей и в тени сидели на корточках мужчины, словно шахтеры из Ланкашира и долины Ронды. Группа разделилась с моим появлением, один мужчина зажал под мышками пару бойцовых петухов со злобными глазами-искорками. Там, где дома рухнули, остались пустыри, а в центре городка виднелся каср, или алькасар, — огромное скопище бугров, насыпей и обрушенных машикулей, где среди заросших темниц играли мальчишки.

Я услышал церковный колокол и пошел на звук. Там стояла белая маленькая церковка, дверью которой служила мавританская арка, а колокол висел на башне рядом с мавританским бассейном для омовений. За веревку колокола дергал маленький мальчик, а вокруг башни стояла стайка ребятишек. Из церкви вышел священник и с любопытством посмотрел на меня: незнакомцы здесь явно бывали редко. Он сказал мне, что церковь посвящена *Santa María de la Granada*, но покровительница ее *Nuestra Señora del Pino* — Святая Дева Сосновая.

— Этот город, — сказал священник, обводя жестом руины, — был римской Илипой; мавры называли его Либлах, а мы зовем Ньебла.

Пока мы разговаривали, я заметил двоих гвардейцев в опрятной униформе, стоявших навтыжку, словно пара юных Наполеонов в черных лаковых кожаных шляпах, — они явно пришли ко мне. Когда я повернулся к ним, один выступил вперед, отсалютовал и вручил мне маленькую брошюру о городе. Я поблагодарил их, они снова отдали честь, развернулись и исчезли. Что могло быть любезнее? Наверняка они видели, как я выходил из машины в городке внизу, и следовали за мной с экземпляром городской рекламной брошюры; когда у меня нашлось время изучить ее, я обнаружил, что это программа, напечатанная в 1951 году к празднику Святой Девы Сосновой. В ней было несколько фотографий города, но больше почти ничего, и цена печати покрывалась рекламными объявлениями баров и *ultramarcos, mercería* и *exquisitos vinos y licores*^[89] в окрестных местечках.

Священник провел меня в церковь к Святой Деве Сосновой в серебряной короне, слишком для нее большой; в одной руке она держит скипетр, а на сгибе другой — Младенца Иисуса. Церковь была полна

древних мавританских изразцов, а около двери обнаружился реалистичный мертвый Христос в стеклянном гробу.

— Ньебла когда-то была такой же могущественной, как Севилья, — сообщил священник, — и обе они восстали против мавров и истребили гарнизоны; но Муса их подчинил.

Он говорил о вестготском восстании двенадцативековой давности так, словно оно случилось на прошлой неделе. Потом, вежливо извинившись, поскольку ему надо было вести урок у детей в церкви, он позвал маленького мальчика и попросил показать мне музей. Мы прогулялись по пыльному городку — мальчонка шел в нескольких футах впереди, оборачиваясь время от времени, словно я был животным, которое он вел. Услышав, как я говорю по-испански, он совершенно перепугался и отказался произнести хоть слово. Это поставило меня на место, и я просто следовал за ним, пока мы не пришли к маленькому домику, где он любезно отступил в сторону и пригласил меня войти. Я оказался в гостиной, набитой безделушками и картинами на священные темы. Здесь едва хватало пространства, чтобы передвигаться. Маленький домик был построен из огромных каменных блоков и казался нерушимым. Мальчик попросил ключ от музея. Три женщины начали поспешно его искать, заглядывая за вазы и украшения, спрашивая друг у друга, когда ключ видели в последний раз, и после того, как перевернули все вверх дном, сказали, что ключ потерялся.

Тогда мальчонка поманил меня за угол и указал на окно полуподземного подвала. Когда я отскреб паутину и грязь, мне удалось бросить взгляд на римские колонны, обломки водосточков, мавританские изразцы и прочие останки прошлого Ньеблы, сваленные грудami в темноте.

Я купил мальчику мешочек конфет, огорошил его несколькими прощальными словами и продолжил путь в Севилью.

§ 12

Примерно в сорока милях от Севильи, на пути в Кадис, лежит красивый и процветающий город Херес — центр и главный источник шерри. В нем множество пальм и банков, *bodegas* и любителей Англии, приятных во все времена, но столь редких в наши. Мужчины, которые выглядят как типичные англичане, в хорошо сшитых твидовых костюмах (а некоторые и с галстуками), называют при знакомстве фамилии вроде Гонсалес. Тесное общение Англии и Шотландии с Хересом установилось в семнадцатом веке, и во многих родовитых семьях города велика доля северной крови.

Самый интересный неалкогольный объект в округе находится в трех милях от города; это красивейший картезианский монастырь, чье главное здание медового цвета — по-моему, самое прекрасное барочное строение, какое я видел в Испании. У стен монастыря течет река Гуадалете, где последний готский король Родерик исчез во время великой битвы с маврами, оставив после себя лишь коня в роскошной сбруе.

Но только самые решительные посетители заходят так далеко от *bodegas* Хереса, которые предлагают путешественнику больший и лучший выбор шерри, чем он когда-либо встречал в своей жизни. Кстати, «шерри» — особое слово. Это искажение названия города «Jerez» (произносится как «Херес»), которое, в свою очередь, считается мавританским искажением более раннего римского названия *Asido Caesaris*. Довольно странная мысль: всякий раз, прося стаканчик шерри, человек взывает к Цезарю. На самом деле это вино — не

испанский напиток, ибо воздержанный испанец считает его слишком крепким и тяжелым; хотя иногда можно увидеть испанца, пьющего шерри как настойку! Первый шерри, кажется, прибыл в Англию вскоре после Екатерины Арагонской, поскольку это обычное дело для торговли — следовать за королевской невестой; за французскими принцессами часто катилась мощная волна бургундского и кларета. В старину Херес писался и произносился как «Шерес», поскольку испанское «х» произносилось в шестнадцатом веке как «ш» — отсюда получаем «шеррис» и «шеррис-сэк», или сухой шерри, о котором столь часто и любовно упоминает Шекспир. «Будь у меня хоть тысяча сыновей, — говаривал Фальстаф, — я первым долгом внушил бы им следующее жизненное правило: избегать легких напитков и пить как можно больше хересу»^[90]. Хотя шерри время от времени выходил из моды в Англии, он всегда возвращался. В Хересе полно винных погребов, или *bodegas*, где иностранец — более чем желанный гость и где, как отмечает осторожный Бедекер, «хорошо полакомиться бисквитами или чем-ни-будь вроде того».

Меня пригласили в одну из самых больших *bodega* и показали достаточно шерри, чтобы пустить в нем плавать целый флот. Я никогда не любил шерри, но не осмелился сказать об этом в соборе амонтильядо и «Тио Пепе». В Хересе, естественно, серьезно относятся к шерри, и упоминание портвейна здесь — своего рода кощунство. Виноград растет на окрестных холмах на почве, называемой *albariza*^[91], в которой много извести. Все сорта винограда любят известь и прививаются черенками *Palomino* — лозы, дающей мелкий белый виноград. Лозы сильно подрезают, и в сезон сбора, в сентябре, виноград давят в мелких деревянных корытах, а сок, который ферментируется около двух

месяцев, потом или хранят в бочонках до зрелости, или добавляют в старые бочонки «материнского вина», как его называют.

После такого посвящения меня сочли достойным попробовать немного шерри. К этому моменту к нам присоединился Бахус Хереса — пожилой мужчина в белом пиджаке, чьи обязанности состоят в потчевании приезжих вином. При нем была металлическая кружка, приделанная к длинной ручке, которую он погружал во тьму бочонка и, держа правую руку в воздухе, переводил золотой поток шерри из черпака в стакан, не проливая ни капли. Этот акт сам по себе служил доказательством того, что Бахус редко пробовал шерри, однако в нем ощущался дух давних возлияний: вокруг его шляпы мне чудились призраки переплетенных виноградных листьев. Самыми представительными выглядели тринадцать огромнейших бочек, называемых — с обескураживающей фамильярностью набожности — Христом и двенадцатью апостолами. Наш проводник погрузил кружку, или черпак, в «Христа», содержащего материнское вино всех бочек, и сказал мне, что эту бочку заложили в 1862 году для королевы Изабеллы II.

Мы вошли в придел собора напитков. Под белеными сводами дремали огромные бочки: в них шел процесс, известный как «воспитание». Здесь Бахус сделался лиричен. Он погружал черпак в священные глубины и вытаскивал полным воспитаннейших вин. Я не знаю, сколько там было сортов шерри. Мы кружили по собору, пока Бахус не остановился перед бочонком, театрально затканном патиной. Бочонок был почти самодовольно стар, словно старейший житель города, который не может противостоять соблазну прибавить себе пару лет. Это была «Солера» 1847 года розлива. Что за вино! Пробуя его, я думал не столько о букете и вкусе, сколько об ассоциациях, им вызываемых. Солнце, пробудившее его к жизни своим теплом в 1847 году,

было солнцем, светившим на королеву Викторию — двадцативосьмилетнюю женщину, которая правила пока всего десять лет; Луи-Филипп все еще занимал трон Франции; бунты «хлебных законов» только что отгремели в Англии; год финансового кризиса, последовавшего за железнодорожным бумом...

Бахус, заметив отсвет воспоминаний в моих глазах и ошибочно приняв его за алкогольный энтузиазм, еще раз запустил черпак в 1847 год; но я, видимо, испугался вспомнить слишком много, и он перелил все до капли обратно в священную бочку. Мы прошли в темный угол, где стоял в темноте и пыли одинокий бочонок, покрытый тканью цветов Испании.

— Его не откроют, — драматически сообщили мне, — пока король не вернется в Испанию. Его заложили, когда его величество, последний дон Альфонсо XIII, уехал в изгнание; бочонок оставался здесь во времена республики и гражданской войны; и его откроют — когда король вернется!

Момент был *emocionante*, и я не сказал ничего, только сочувственно кашлянул, думая, что, когда придет время, это будет хорошо выдержанное вино, раз уже сейчас ему двадцать три года.

Я сел отдохнуть на солнечной площади Хереса, где пальмы бросают тень и блуждающий ветерок приносит с собой слабые ароматы амонтильядо, олоросо и «Пало Кортадо».

§ 13

Я сдружился с доном Фелипе, и как-то раз он предложил мне осмотреть руины Италики в нескольких милях к северу от Севильи. Чем больше я приглядывался к этому человеку, тем больше он мне нравился. Дон Фелипе был необыкновенно

удовлетворенной и уравновешенной личностью, я с трудом верил, что ему семьдесят шесть лет.

— Вы будто нашли секрет счастья, — сказал я.

— Да. Полагаю, да, — ответил дон Фелипе. — Когда несколько лет назад умерла моя жена, я оказался совершенно один во всем мире и с деньгами, достаточными, чтобы провести остаток жизни как мне угодно. На свой семидесятый день рождения я решил покончить с жизнью, которую вел до сих пор, и начать другую. Дела отнимают кучу сил — в семьдесят-то лет. Я был задавлен всякой всячиной, собственностью, животными и двумя старыми слугами, которые жили с нами много лет. Они-то и были главной трудностью. Когда я рассказал им о своем решении все продать и уехать, то думал, что они этого не переживут. Но я назначил им приличную пенсию, и настал счастливый день, когда у меня не оказалось никакой собственности во всем мире — ни денег, ни мебели, ни даже книг. Зато я стал свободен, чтобы пуститься в приключения.

Сначала я поехал в Америку и Канаду, и ни та ни другая мне не понравились. Я получил удовольствие от Италии, но не настолько большое, как ожидал, а от Греции — куда большее, чем рассчитывал. Мои деньги, как вы догадываетесь, все в долларах! Тогда я поехал в Австралию, Новую Зеландию и Японию, где в первый раз в жизни прочитал Лафкадио Херна^[92] и упорно пытался понять эту страну. Потом заскучал по Англии, но на обратном пути прочитал книгу о Кипре и отправился туда. Остров мне полюбился, и я подумывал там поселиться. Но затем я приехал в Испанию и сразу же почувствовал себя дома. Сейчас я здесь живу около года и говорю по-испански довольно плохо. Я приехал в Севилью слишком поздно для Страстной недели и останусь здесь до следующей Пасхи. Потом поеду еще куда-нибудь.

— А куда?

— Не знаю. Может быть, в Индию.

— А что вас привлекает в Испании?

— Не могу сказать точно. Мне нравятся испанцы и то, как они живут. Жизнь здесь весьма викторианская. Это тот образ жизни, который я помню с тех пор, как был мальчонкой. Я не религиозен, но мне нравится религиозная атмосфера Испании — как год нанизан на струну церковных праздников. Мне нравится климат, нравится еда. Нравится веселое и беззаботное отношение к жизни. Вы можете сказать, что я вижу мир глазами второго детства, и это, пожалуй, правда. Я даже не начал исчерпывать свое любопытство.

К этому времени мы приехали в Италику, и нам открылись обширные и беспорядочные развалины на месте, где когда-то стоял город, давший рождение Траяну, Адриану и Феодосию. Огромный амфитеатр, вмещавший сорок тысяч человек, был снесен в восемнадцатом веке, чтобы укрепить плотины и берега Гвадалкивира. Полный энтузиазма гид провел нас по всем руинам и показал несколько мозаичных мостовых, которые он помогал разрушать плесканием на них воды из лейки, последнюю он носил при себе. Можно проследить линии некоторых главных улиц, но построек совсем не осталось. Тысячи тонн мрамора, должно быть, увезли в Севилью.

На обратном пути мы остановились в маленькой деревушке под названием Сантипонсе, где дон Фелипе пожелал показать мне картину в заброшенном монастыре. Мы проехали через двор фермы к большому и пустующему монастырю Святого Исидора. Смотритель, Хосе Басан, его жена и трое маленьких сыновей пришли в восторг при виде нас. Басан, как я скоро понял, был человеком с миссией. Он чувствовал себя призванным защищать и охранять опустевший монастырь, хотя не получал за это платы, да к тому же

ему приходилось работать на местной железной дороге, чтобы прожить; тем не менее вся его жизнь была посвящена старинному зданию. Оно являлось его главной страстью. Его отец служил здесь церковным сторожем пятьдесят шесть лет, сказал он нам; сам он родился здесь и теперь ему пятьдесят шесть. Хосе сказал, что встает три раза каждую ночь и обходит монастырь с револьвером в кармане — просто чтобы посмотреть, все ли в порядке. В доказательство этого он порылся в своих бумагах и вытащил лицензию на огнестрельное оружие. Сначала он отвел нас в прекрасную барочную часовню Святого Иеронима, куда убрали с крыши позолоченных ангелов в человеческий рост. Он показал нам могилу Леоноры Давало, «преданной служанки», как гласила надпись; когда ее хозяйку, донью Урраку Осорио, сожгли заживо в 1327 году по приказу Педро Жестокого, Леонора взбежала на костер и заслонила госпожу своим телом, чтобы прикрыть ее наготу, и так умерла вместе с ней. Кроме того, в часовне покоилось тело Кортеса, прежде чем его останки перевезли в Мексику.

Мы вышли из часовни и побрели по холодному, опустелому монастырю, и я воображал себе преданного стража с его револьвером, неслышно идущего по этим полным призраков галереям и длинным каменным коридорам глубокой ночью — более странного занятия я не мог себе представить. Место выглядело населенным привидениями и смердело летучими мышами. Наконец Хосе распахнул дверь и провел нас в старинную трапезную, указав на картину, которая занимала всю торцовую стену. То, что я сначала принял за мраморную галтель, оказалось рамой, искусно нарисованной на плоской поверхности. Темой фрески была Тайная вечеря, а сработал ее какой-то неизвестный монах пятнадцатого века. Спаситель и Его ученики показаны сидящими за длинным столом,

покрытым скатертью с узором, как на мавританских изразцах. Перспектива примитивная, стол наклонен к зрителю, так что все хорошо видно. Нет ножей и вилок, зато пасхальный ягненок лежит, готовый и зажаренный, на блюде. Маленькие тарелочки душистых трав стоят тут и там, пищу предполагается брать руками. Есть и кувшин вина, и кубки, а на маленьком столике рядом — тазик и кувшин с водой. Также видны маленькие булочки и плетенки хлеба, на вид такие же, какие по сей день пекут в Севилье. Христос и ученики имеют весьма греческий вид, а Иуда сидит напротив Христа — и на его лице написаны подлость и коварство.

Пока мы восхищались картиной и говорили, какое чудесное представление она дает о трапезе пятнадцатого века, я случайно посмотрел на Хосе Басана и увидел, как он глядит на фреску, которую наверняка видит каждый день, — с выражением обожания и благоговения. Он указал на несколько деталей, и я понял, что хранитель в этой картине души не чает. Я правильно сделал, упомянув о свежести фрески и ее прекрасном состоянии в этом пыльном заброшенном зале, потому что глаза Хосе засияли, и он рассказал нам, что регулярно чистит ее перышком и втирает в нее яичный белок. «Какие-то испанцы, — объяснил он, — давным-давно проезжали здесь и велели моему отцу делать это, а я продолжил его работу и буду исполнять, пока не умру».

Пораженный и взволнованный, я глядел на Хосе. Можно было бы написать рассказ, как он прибывает на небеса и рассказывает святой Терезе, как хорошо он приглядывал за «Тайной вечерей», так что — разве нет способа получить разрешение взглянуть вниз, на Сантипонсе, просто убедиться, что там все в порядке?

Однако я чувствовал, что у хранителя на уме что-то еще; и он облегчил душу, пока мы шли к выходу. Может ли дон Фелипе, спросил он, написать генералу Франко и

попросить его позволить прежнему мэру Сантипонсе вернуться из Франции, где тот живет политическим эмигрантом — чтобы он смог умереть в Испании? В этом человеке нет зла, говорил Хосе, он добрый католик, хоть и социалист, и спас монастырь от разграбления красными. А теперь — увы! Этот бедный человек умирает во Франции, желая только — как должно всякому истинному сыну Испании — вернуться и похоронить свои кости в родной земле. Дон Фелипе мягко сказал, что не знаком с Каудильо и не думает, что Франко обратит на его письмо хоть какое-то внимание. Хосе страстно опроверг это замечание и сказал, что словечко от выдающегося и влиятельного иностранца должно решить дело.

— Разве никто не писал правительству об этом? — спросил я.

Хосе поглядел на меня с бесконечной печалью и уронил руки в безнадежном жесте.

— Правительство! — сказал он. — К тому времени, как они ответят на письмо, бедный *alcalde* давно будет мертв!

Я поразился его искренности и подумал, что наверняка на небесах есть специальный уголок для преданных хранителей. Когда мы ехали обратно в Севилью, дон Фелипе сказал:

— Думаю, мы провели довольно испанские полчаса. Еще одно, что нравится мне в испанцах, — их цельность. Когда они хороши, то очень, очень хороши...

Глава седьмая

Из Кордовы в Гранаду

Мечеть Кордовы. — Маслодел из Хаэна. — Гранада и Альгамбра. — Балет при лунном свете. — На север, в Ла-Манчу. — Полдень в Эль-Тобосо. — Библиотека Сервантеса. — Жара в Мадриде.

§ 1

Я приехал в Кордову в темноте, едва различил старинный мост и Гвадалкивир, утонувший в своем летнем ложе. Меня встретила грандиозная арка и узкие белые улицы, где вонзались в ночь башни и минареты. Немедленно я был окружен толпой сварливых молодых цыганок, которые поначалу сражались между собой, потом отошли, чтобы позволить победительницам отвести меня, как они обещали, в лучшую гостиницу. Одна сказала, что гостиница «чертовски *precioso*^[93]». Я был благодарен, ибо без их помощи мог бы полночи скитаться по улицам в поисках приюта.

Дверь отеля открывалась в холл, заставленный столами и плетеными креслами-корзинками, где — словно мираж Южного Кенсингтона — сидели, играя в карты, четыре пожилых англичанки. Они все купили испанские шали, которые сообщали их внешности нечто дикое, даже ведьмовское, но, если не считать этого, престарелые дамы восседали словно в каком-нибудь английском пансионе. Они явились из той эпохи, когда Англия была великой и самоуверенной и не трудилась извиняться и оправдываться, — эпохи, когда старые

леди имели обыкновение шествовать с британским паспортом через балканские неурядицы, оттирая с дороги кроважанных революционеров пиками своих парасолек. Дамы сидели, чопорно выпрямив спины, задумчиво разглядывали свои карты, потом твердо и решительно выкладывали их на стол в благоговейной тишине. Упитанный Санчо, стоявший позади с подносом в руках, походил на семейного дворецкого. Полагаю, римляне эпохи Августа тоже обладали подобной невозмутимостью, уверенностью в собственной правоте и способностью внушать трепет и уважение; и в наши дни упадка и заката такие свойства иногда обнаруживаются у людей викторианской эпохи.

За ужином я оказался за соседним столиком с англичанками. Одна говорила по-испански и могла позволить себе небольшой, исполненный достоинства флирт с метрдотелем. Мы вступили в беседу, и выяснилось, как я и предполагал, что дамы путешествовали по Испании на автобусе и сейчас ехали в Севилью. Старая леди, говорившая по-испански, поведала мне, что часто посещала Севилью в детстве.

— Так чудесно оказаться в стране, где люди не ждут чаевых, — сказала одна из дам. — Однажды, когда мы уезжали из отеля, горничная побежала за нами и отдала чаевые, которые мы ей оставили; она решила, что мы забыли деньги!

— Это последняя страна, где жива любезность, — прибавила дама, бывавшая в Испании. — Хотя испанцы также могут быть очень грубыми. Они забывают ответить на письма, опаздывают на встречи или даже вовсе не приходят и могут быть ужасно назойливыми... Но как народ они восхитительны. Давным-давно в Барселоне — когда я приехала туда в первый раз — я гуляла по бульварам Рамблас и свернула в Старый город, где и заблудилась. Вокруг не было ни души, потому что был час *siesta*. Я шла по извилистым

переулкам и все более запутывалась. Потом из-за угла вывернул какой-то жуткий на вид тип, ведущий в поводу осла. Я отметила, что ослик упитанный и довольный, и сочла хозяина человеком добросердечным, несмотря на его совершенно разбойничью наружность. На своем лучшем испанском я спросила дорогу обратно к отелю. Он посмотрел на меня, снял огромную соломенную шляпу, поклонился и, развернув ослика, повел меня по пути, которым только что пришел. Снова сняв шляпу, он указал на ступеньки отеля. Я поискала у себя в сумочке монетку, чтобы вознаградить его, но выяснила, что вышла без единого фартинга! Попросив его подождать, я взбежала по ступенькам, объяснила ситуацию портье и попросила его дать моему проводнику хорошие чаевые и включить их в мой счет. Я наблюдала, как они разговаривают и машут руками, а готом портье вернулся и сказал: «*Señora*, этот человек ничего не возьмет. Он просил меня передать нам, что он сделал единственное, что бедный может сделать для богатого».

После ужина в отель пришел молодой человек, к которому у меня было рекомендательное письмо, и мы с ним вышли прогуляться. Луна стояла высоко, и узкие белые улочки Кордовы, тронутые лунным светом, оказались самым восточным зрелищем, какое я видел в Испании. Мы словно бродили по Фесу. Мы прошли по главной улице, обрамленной апельсиновыми деревьями, к арене для боя быков, белой и классической, словно неповрежденный Колизей, потом оказались на красивой площади, где стоит бронзовая статуя «Гранд-капитана» с неожиданно белой мраморной головой. Посетили бесчисленные кафе и клубы, в одном из которых сидели страстные любители разговоров — под рогами быков и шпагами *matadores*. Нашли дом, где жил поэт Гонгора; потом спустились к римскому мосту и полюбовались тем, как лунный свет серебрит водовороты на реке.

Башни, минареты и белые здания купались в свете луны, и, вспомнив о величии Кордовы во времена халифата, я вдруг ощутил глубочайшую меланхолию и неподъемный вес прошлого. Молодой человек много рассказывал о халифах и их фаворитках, благовониях и фонтанах, убийствах и заговорах. Узнав, что он добывает прибавку к своей *salario*, работая гидом, я перевел наши отношения на денежную основу — к большому облегчению юноши. Без сомнения, он чувствовал, что должен рассказать мне о халифате, чтобы отработать мои деньги. На самом деле он не особенно любил Кордову, предпочитал Севилью, которую считал родиной романтики и веселья.

— Различие между Кордовой и Севильей таково, — объяснял он. — Севилья — как юная девушка: веселая, смешливая, соблазнительная... — Тут он принял нелепую позу, положил руку на бедро, закатил глаза в попытке изобразить пляшущую *señorita*. — Но Кордова... — Тут он сложил руки на груди и сделал несколько шагов с опущенной головой. — Кордова — почтенная старая дама.

Я не сказал ему, что его впечатление совсем не совпадает с моим. Мне Кордова показалась куда больше похожей на мертвую одалиску.

§ 2

Утром я отправился в кордовскую мечеть, совершенно не собираясь впасть в чрезмерный восторг, — и был покорен в две минуты. Из всех строений исламского мира это для меня — самое фантастическое. На самом деле оно не слишком красиво, и, по-моему, в нем религиозного обаяния не больше, чем в подземных резервуарах Стамбула. Мечеть напомнила мне огромный лес, кишаций

зебрами. Красно-белые полосатые арки тянутся колоссальной анфиладой, и, куда ни взгляни, везде одно и то же, что-то вроде трюка с зеркалами; однако здесь невозможно остаться равнодушным. Что может быть удивительнее, чем зрелище сотен колонн из мрамора разных цветов, даже разного размера, расположенных геометрически выверенно и связанных системой арок?! Эта планировка довольно примитивна, однако создает, как ни странно, ощущение многоуровневости. Я воображал эмира Абд ар-Рахмана I, спорящего с греческими архитекторами и настаивающего — с уверенностью богатого любителя, — что на самом деле неважно, имеют ли две алебастровые колонны одинаковую высоту и даже толщину: милость Аллаха нарастит меньшую колонну до большей и сделает тонкую равной толстой с помощью слоя штукатурки! И, отмахнувшись от возражений, эмир прыжком очутился в седле и исчез в облаке пыли, с телохранителями за спиной. То, что обещало стать глупой ошибкой, оказалось великим творением. Когда пришло время расширять мечеть, Абд ар-Рахман III и наследовавший ему сын Хакам II не смогли придумать лучшей конструкции и просто увеличили здание до его нынешних потрясающих пропорций.

Бродя кругами по чудесной мечети, я думал, что был бы счастлив в халифате Кордовы; то же самое я чувствовал в других зданиях этого периода — в каирской мечети Ибн-Тулунa и в огромной омейядской мечети в Дамаске. Почему так, я не знаю; может, потому, что Омейяды олицетворяли для меня понятный и близкий мне эллинистический мир, а позже ислам брал пример с Персии и Востока. В этой мечети легко поверить, что халифы Кордовы были разумными и добрыми людьми, интересовавшимися не только войной и религией, но также астрономией, поэзией и садовым

искусством. Абд ар-Рахман I, который заложил мечеть, был высок, одноглаз и светловолос и вел романтическую жизнь. Его династия многие поколения правила миром ислама из Дамаска, и ему единственному удалось ускользнуть, когда Аббасиды свергли Омейядов и перенесли столицу в Багдад. После многих приключений Абд ар-Рахман прибыл в Испанию в 755 году — с горсткой преданных сторонников и небольшим количеством драгоценностей, несомненно, размышляя, суждено ему принять смерть или арабы, верные свергнутым Омейядам, придут на помощь, как в итоге и случилось. Он стал основателем Кордовского халифата, хотя так и не осмелился принять титул халифа. Именно он привез из Сирии в Испанию первый гранат и из своих садов распространил его семена по всей Андалусии. Он также ввез в страну первую финиковую пальму. Этот трогательный поступок означал, что, несмотря на триумфальную новую жизнь, Абд ар-Рахман чувствовал себя в Испании изгнанником и считал своим домом Сирию. Он написал чудесное маленькое стихотворение, посвященное пальме, которую сравнивал с собой и называл странницей в чужой земле.

Великий Абд ар-Рахман III, который унаследовал красоты Кордовы в 912 году и провозгласил себя халифом, уже открыто соперничал с Багдадом; и именно о его правлении говорил со мной под луной гид предыдущей ночью: об апельсиновом цвете и интригах, о поэтах, музыкантах и художниках, астрономах, математиках и врачах — обо всем том, что сделало Кордову подходящей сценой для испанского варианта «Тысячи и одной ночи».

Халиф построил летний дворец аз-Захра в память любимой жены, носившей это имя; но слово «дворец» не дает правильного представления об огромном королевском городе, построенном террасами, с

собственными акведуками и окруженном одинарной стеной, примерно в трех милях от Кордовы. Как ни печально, сегодня дворец разрушен почти полностью, но его руины показывают, что это был самый великолепный дворец, когда-либо построенный в Испании. Там имелись висячие сады, птичьи дворы, зверинцы, пруды с рыбками и звенящие ручьи, изящные дворики и беседки; классическому миру пришлось внести в его строительство обычную лепту мраморных и порфировых колонн. Один из многих фонтанов дворца аз-Захра привезли из Византии; в другом зодчий как-то умудрился примирить льва, антилопу, крокодила, дракона, орла и прочих птиц в одном произведении: весь этот зверинец из золота и украшен жемчугом и драгоценными камнями. Я бы с радостью пожертвовал всеми имеющимися в Испании арабскими памятниками, чтобы увидеть целым этот дворец великой эпохи, с его статуями прекрасной аз-Захры и почти богохульным фризом, окаймлявшим беседку и повторявшим ее имя — вместо восхваления Аллаха. Одной из достопримечательностей дворца был прудик «живого серебра» в спальне халифа — очевидно, имитация бассейна со ртутью во дворце Тулунидов в Каире, где султан Хумаравайх, страдавший от бессонницы, иногда засыпал на плавучем диване.

В центре мечети я нашел кафедральный собор Кордовы, который построили, убрав часть колонн и тем самым освободив пространство для церкви, крышу которой подняли выше крыши мечети. Служба уже началась, и я не стал заходить внутрь; забавное ощущение — стоять снаружи в исламской мечети, словно за кулисами театра, и разглядывать христианского священника на кафедре, хор и каноников, а также огромный орган со сверкающими рядами золоченых труб. Многие писали, что эта церковь посреди мечети — позор, но лично я не вижу в этом

ничего позорного. Нет более подходящего символа для Андалусии — возможно, даже для всей Испании, — чем этот христианский бриллиант в невероятной мусульманской оправе. Куда хуже, чем строить церковь в мечети, подумалось мне, было возвести стену вдоль северной стороны мечети, отрезав ее от дворика Апельсиновых деревьев. Вот это действительно акт вандализма; и я ушел, желая, чтобы президент Эйзенхауэр убедил генерала Франко снести эту стену.

Когда я вернулся в гостиницу и стал готовиться к отъезду в Гранаду, ко мне зашел попрощаться мой юный гид. Испанцы, кажется, могут покидать свои офисы и прочие места работы в любое время, когда только пожелают, — и это замечательно. Мы выпили по бокалу *manzanilla*, и юноша сказал мне, что в Гранаде сейчас идет фестиваль музыки и танца, так что я вряд ли найду ночлег; на этой печальной ноте мы и распрощались.

Я подумывал свернуть с шоссе и заглянуть в городок Теба, лежащий примерно в семидесяти милях к югу. Но это было слишком далеко. Теба — место битвы с маврами, в которой погиб сэр Джеймс Дуглас, когда вез сердце Роберта Брюса в Святую Землю. Любой шотландец, оказавшийся в Гибралтаре, может легко попасть туда на поезде, поскольку город стоит на главной линии из Альхесираса в Бобадилью.

История, которую, среди прочих, поведал нам Фруассар, такова: когда Брюс умирал, на душе у него было беспокойно, ибо насыщенная событиями жизнь помешала ему исполнить обет отправиться крестовым походом в Святую Землю. Созвав рыцарей, король завещал, чтобы после смерти его сердце забальзамировали и отвезли ко Гробу Господню, куда его тело отправиться не может. Добрый сэр Джеймс Дуглас обещал исполнить эту миссию и после смерти короля отплыл весной 1330 года в компании

шотландских рыцарей, везя с собой сердце Брюса в «ane cas of sylvr fyn, enamalit throu subtilite» («ковчежец из тончайшего серебра, изысканно изукрашенный эмалью»), который носил на шее.

Флот зашел в Слейс на двенадцать дней, чтобы к экспедиции присоединились фламандские рыцари. Дуглас устроил на борту походный буфет, где услаждал местных дворян «винами двух сортов и пряностями». Потом корабли, видимо, обогнули Испанию, поскольку нам сообщают о прибытии экспедиции в Валенсию. Здесь Дугласу стало известно, что король Кастилии Альфонсо XI воюет с мусульманским правителем Гранады. Дуглас посоветовался со своими рыцарями, и все согласились, что это славная драка, в которую они обязаны вмешаться. Экспедиция повернула назад и причалила в Севилье, рыцари спустили на берег боевых лошадей и поскакали в лагерь кастильского монарха, который принял их с великой сердечностью и любовью. Среди иностранных рыцарей, которые сражались вместе с испанцами, был англичанин, известный своими военными подвигами, с изрезанным шрамами лицом. Узнав о прибытии Дугласа, о чьих храбрых деяниях он был наслышан, англичанин поспешил навстречу, чтобы сравнить отметины битв. Когда он выразил удивление, что лицо Дугласа не блещет шрамами, шотландец ответил: «Хвала Господу, у меня есть руки, чтобы защищать голову!»

В конце августа 1330 года испанская армия выстроилась против мавров близ Тебы, и Альфонсо скомандовал наступление. Дуглас, стоявший со своими рыцарями на фланге, ошибочно решил, что дан сигнал к общей атаке, велел трубам играть вызов и выехал к маврам под клич: «Дуглас! Дуглас!» — с сердцем Брюса в ковчежце на шее. Маленькую группку рыцарей быстро окружила мавританская конница; увидев сэра Уильяма де Сент-Клера Рослинского в трудном положении,

Дуглас поскакал ему на помощь и был убит. Один из рассказов о его смерти гласит, что на скаку шотландец снял ковчежец с шеи и бросил его в гущу битвы, воскликнув: «Куда ни лети, Дуглас за тобой!»

Гибель Дугласа положила конец экспедиции. Говорят, что его тело и сердце Брюса были найдены на поле битвы и перевезены обратно в Шотландию. Дугласа похоронили в часовне святой Бригитты в Дугласе, а сердце Роберта Брюса, как считается, покоится в аббатстве Мелроуз.

§ 3

Я ехал в Гранаду сквозь ослепительное сияние летнего дня. Ландшафт плыл в знойном мареве. Воздух за окном был таким же раскаленным, как в моторе, и среди этого запекшегося красного пейзажа по склонам *Sierra* карабкались оливковые деревца. Хотя многие поэты воспевали серебристую седину оливкового дерева, я часто думал, что его красота преувеличена. За исключением мест наподобие Кипра, где баснословного возраста деревья простирают колдовские длани над каменистой землей и производят впечатление древних монументов, обычная олива, выведенная ради плодов, только тогда прекрасна и полна романтики, когда вспоминаешь о ее связи с классическим миром.

Во всей Испании нет зрелища более приятного глазу, чем пейзаж Андалусии; и долина Гвадалкивира, через которую я проезжал, — прекрасный тому пример. Единственная часть Испании, известная викторианцам и многим более поздним путешественникам, именно Андалусия породила легенду о жаркой южной стране, где всегда светит солнце. Городки и деревушки, все в белых бурнусах из прохладной извести, мнутся

оазисами неги и свежести среди наготы незатененных дорог. Я приехал в маленький, полный цветов прелестный городок под названием Андухар. Цветы свисали из оконных ящиков по белым стенам и росли на улицах, их можно было увидеть в патио и на маленькой пласе. Здесь я остановился, чтобы выпить чего-нибудь холодного и понаблюдать за юношей, пившим воду на испанский манер: он держал красный глиняный *jarra* над головой, позволяя струйке воды из носика литься прямо в рот. Наверняка этот трюк — еще одно мавританское наследство, поскольку арабы любят вольно обращаться с водой. Недаром они столь склонны любоваться падающей водой, восхищение которой у арабов — врожденное. Помню, однажды я спросил нынешнего короля Иордании Абдаллу, что доставило ему наибольшее удовольствие, когда во время визита в Британию он оказался в Шотландии. Довольно неожиданно король ответил: «Дождь в Пиблсе». Выяснилось, что правительство, в порыве вдохновения, поселило его в санатории в Пиблсе, где три дня шел проливной дождь; обеспокоенные хозяева страшно удивились, обнаружив, что их гость совершенно счастлив, часами простаивает у французского окна и наблюдает за льющейся с неба водой.

Я продолжал ехать по холмистой оливковой стране, и наконец на далеком склоне возникло видение огромного волшебного города, прямо из романа, а на заднем плане поднимались еще более высокие холмы в ореоле голубой летней дымки. Это была столица оливковой страны, город Хаэн. Я въехал на его горбатые улочки, где ряд богатых с виду лавок вел к собору, который казался лишь чуточку меньше собора Святого Павла. Внутри было сумрачно и прохладно; я разглядел барочные красоты и громадный, сверкающий золотом алтарь над мраморными ступенями. Ризничий вплыл, как серый сухой лист, и показал на алтарь; там,

в ларце, лежит священная реликвия *Santa Faz*^[94] — один из платков святой Вероники. Я посидел некоторое время, слишком разгоряченный, чтобы двигаться дальше, потом вышел из сумрака собора и спустился к подножию холма, в маленький ресторанчик на главной улице. Он был полон солидных мужчин, которые, будучи истинными испанцами, явно считали ниже своею достоинства идти на какие-либо уступки температуре — ослабить узел галстука или расстегнуть пиджак; хотя город кипел от зноя, они атаковали огромные тарелки с *paella* и изрядные ломти жареной баранины или свинины. Я припомнил выносливость Кортеса и его спутников, которые носили стальные шлемы-морионы и подбитые ватой доспехи в тропиках, и подумал, что испанскую Америку наверняка покоряли мужчины, подобные едокам из Хаэна.

Я сел за столик с видом на маленький храм *La Macarena*, облицованный глазурированной талаверской плиткой, и с интересом стал наблюдать за местными: похоже, здесь у мужчин в крови вести себя в маленьких деревенских ресторанчиках с любезностью, которая была в ходу в те дни, когда работники ели за общим столом. Считается вежливым чуть поклониться незнакомцам и пожелать им приятного аппетита, они отвечают тем же, прежде чем вы сядете. Как я заметил, Испания — последняя страна меча и шпаги, самого остроязычного критика манер. Армейские офицеры все еще носят шпаги, *matadores* пользуются шпагами каждое воскресенье, а обычные мужчины ведут себя друг с другом с предупредительностью того века, когда любое хамство встречали острием рапиры.

Пухленький жизнерадостный человечек в темном костюме — явно деревенский житель, выехавший на денек в город — поклонился мне и спросил, может ли он разделить со мной столик; услышав мой ломаный,

скрепленный шинами и бинтами испанский, толстяк немного сконфузился. Но я старайся поспевать за разговором изо всех сил. Толстячок, мелкий андалусийский фермер, рассказал, что выращивает оливки и — вполне закономерно, ведь по традиции все маслоделы — весельчаки — владеет масляными прессами. Он дал мне визитку и пригласил навестить его следующей весной, чтобы посмотреть, как выжимают оливковое масло. Я с удовольствием согласился и сразу вообразил, как волы везут по белым дорогам свою древнюю ношу, а маслодел, еще более красный, пухлый и жизнерадостный, сочится маслом, словно какой-нибудь дионисийский гуляка. Мне он казался третьим членом могущественного деревенского триумвирата — вместе со священником и аптекарем.

Когда мы закончили есть, я узнал, что он приехал в Хаэн на автобусе и ему придется долго ждать другого, который отвезет его домой. Поскольку его деревня была почти на моем пути, я предложил подбросить своего нового знакомого; собрав все его свертки и мешки, мы покатали в холмы, где по обе стороны от нас стройные ряды олив тянулись к самому небу. Мы въехали в смущенную деревушку, похоже, застали ее врасплох, залезающей на крутой холм. Наверняка есть какая-то причина — возможно, она таится в забытой мавританской стратегии, — почему это странное местечко столь неудобно прилепилось среди оливковых деревьев. Я с удовольствием оглядел самую маленькую из плас с фонтаном и белыми домиками, такими чистыми и аккуратными. К этому времени у нас сложился англо-испанский союз, и мой компаньон представил меня с театральной пышностью как своего английского друга. Станные персонажи, собравшиеся вокруг, сопровождали нас в бар — вылитый подвал, только расположенный над землей, — и в полумраке я различил бочонки на полках, связки колбас и чеснока. В

невероятном гвалте, из которого я не понимал ни слова, настолько быстро люди говорили (это походило на птичий щебет), мы пили кислое белое вино из красного глиняного кувшина. Моему другу пришлось описать в подробностях, как мы познакомились и кто я такой. То, что я оказался английским *turista*, сделало меня почти своим для этих людей, и они разглядывали меня, улыбались и кивали — словом, выглядели очень довольными моим присутствием. Вошел молодой парень с бойцовым петухом под мышкой. Птица имела весьма странный вид: грудь ощипана догола, на шее топорщилось кольцо ярких буро-золотых и синих перьев; остальные перья были подрезаны, а длинные мускулистые ноги, покрытые до колен пухом, походили на черные шелковые штанишки. Голова на длинной сильной шее поворачивалась из стороны в сторону, каждый глаз — золотая капля злобы, обведенная яростным оранжевым ободком. Под рукой хозяина птица лежала вполне мирно, но, стоило мне приблизиться, тут же попыталась меня клюнуть. Мистер Ситуэлл заметил в Эстремадуре бойцовых петухов, которых считал возможными потомками птиц, привезенных в Испанию офицерами Веллингтона; я задумался, не оттуда ли происходит этот злобный петушок, разряженный по моде эпохи Регентства. Увидев мой интерес, владелец отвел меня на двор позади трактира, где важно расхаживал по клетке близнец птицы, зажатой у него под мышкой. Хозяин открыл клетку и пустил обоих петухов на площадку, чтобы показать мне, как они двигаются. Сначала птицы мерили друг друга злобными взглядами, потом стали совершать маневры вправо и влево, вытягивая шеи, словно фехтуя ими. Внезапно птицы сцепились в воздухе; они подпрыгивали, взлетали, били друг друга лапами и клювами. Владелец с некоторым трудом разнял забияк и ушел, зажав их под мышками, а птицы

все пытались разорвать друг друга на кусочки. Даже если они не могли похвастаться английским происхождением, то во время боя приобретали замечательное сходство с петухами с маленьких акватинт, иногда попадающихся в общих залах деревенских пабов в Англии.

Потом мой веселый маслодел настоял на поездке на пресс в полумиле от деревни — это старинное строение пропахло оливками. Там было не на что смотреть, кроме жернова, который приводит в движение мул, — животному прикрывают глаза, пояснил хозяин, чтобы голова не закружилась. Во время отжима масла оливки с косточками бросали в пресс и размалывали в кашу — лучшее масло, естественно, получается из первого отжима. Размолотые косточки используются как топливо: их сжигают в тех восточного вида жаровнях, которые хранятся в дальних углах испанских домов в ожидании зимы. Масло переливают из чанов в кувшины — достаточно большие, чтобы вместить Али-Бабу и десять его друзей, — закопанные по горло в землю. Мой друг рассказал мне, что это старинный способ отжима масла, но есть и современные прессы: оливки давят машины, а масло процеживается под давлением. В этой стране маслодельни, которые узнал бы Плиний, существуют бок о бок с другими, где люди в белых одеждах подчиняются шкалам приборов и графикам температур. Маслодел сказал, что иностранцы любят масло прозрачное и желтое, но *nosotros*^[95], под которыми он разумел себя и своих друзей, предпочитают масло с мякотью.

Отказавшись от любезнейших приглашений провести у них ночь, я распрощался с маслоделом и его друзьями и прибыл в Гранаду, когда зажигали фонари. Африканское зарево стояло на западе, воздух был неподвижен и горяч, а улицы кипели весельем.

Фестиваль музыки и танца, очевидно, переполнил город до краев. Я подъехал к большому отелю на холме Альгамбры, который окружали сотни машин с номерными знаками со всей Испании. Клерк за конторкой отеля посмотрел на меня, потрясенный мыслью, что кто-то смеет надеяться найти комнату во время *Festival de Musica y Danza*, потом сказал, что по чистой случайности один из лучших номеров оказался свободен, потому что всего полчаса назад постояльца неожиданно вызвали обратно в Мадрид. Я могу получить номер, но только на три дня.

Мой балкон смотрел с огромной высоты на Гранаду, и, вытянув шею, я разглядел справа собор, выступающий над линией городских крыш; слева же протянулась Сьерра-Невада, прорисованная синими штрихами на фоне неба, — ее вершины были припорошены снегом.

§ 4

Я спускался на гостиничном лифте вместе с молодой женщиной, которая держала на сгибе руки предмет, непривычный в этой стране шалей, мантилий и кастаньет: это была балетная пачка. Мой взгляд переместился на лицо владелицы, и я с удовольствием узнал великолепную балерину мисс Марго Фонтейн. Она сказала мне, что только что прибыла в Гранаду и должна танцевать сегодня вечером в садах Хенералифе. Среди кипарисов поставили сцену, и балерина шла туда на репетицию.

Полагаю, можно сотню раз приехать в Гранаду, но все же не увидеть садов Хенералифе при лунном свете или знаменитую танцовщицу, там выступающую; я тут же отправился к портюе и попросил его достать мне билетик. Он посмотрел на меня со скорбью и отчаянием.

Все билеты проданы задолго до этого дня. Уже образовался список ожидающих человек в тридцать. То же самое говорили в туристических бюро по всему городу. Даже профессор Уолтер Старки, только что прикативший из Мадрида — а для него открывались все двери, особенно в этой твердыне цыганства, — не смог достать лишний билет.

Я, должно быть, провел около часа на телефоне, пытаясь поговорить с британским консулом, губернатором провинции, министром изящных искусств и всеми, кого только смог вспомнить, — но конечно же, все билеты кончились. Когда же я удалился в свой номер, почти побежденный моей настойчивостью дух Испании принял решение заняться моими делами. Стук в дверь; я открыл и увидел перед собой самого маленького гостиничного боя в Испании. Я смутно припомнил, что этот паренек вроде бы закрывал и открывал для меня дверь при входе в отель. Неужели все-таки случилось невозможное и один из влиятельных людей, которым я названивал, решил связаться со мной? Увы, нет; зато меня ожидало потрясение иного рода: мальчик тихо сказал, что слышал, как *señor* желал приобрести билет на представление в садах Хенералифе сегодня вечером. Готов ли *señor* заплатить лишних десять песет — скажем так, есть человек, у которого имеется такой билет? Я всплеснул руками. Да, *señor* будет счастлив заплатить пятьдесят песет! Мальчик торжественно кивнул и удалился. Он вернулся через десять минут — с билетом.

Так все и делается. Киплинг знал, о чем говорил, когда обронил, что важнейшие друзья в жизни — таксисты, полисмены и носильщики в отелях!

Ночь была жаркой, полной пряных запахов — и без единого дуновения. Луна уже стояла высоко, когда я присоединился к толпе, движущейся вверх по крутому холму к садам Хенералифе. Проекторы у подножия

красных башен превращав бастионы Альгамбры в оперную декорацию; Готье пришел бы в экстаз. Это была Андалусия, какой он желал ее видеть. Из темноты даже раздавался звон гитар, пока мы поднимались на холм. Мы вошли в картину совершенного волшебства. Свет прожекторов превращал естественный пейзаж в искусственный, и знаменитые сады, освещенные лампами, погруженными в пруды с рыбками или хитроумно укрытыми, чтобы подсвечивать изгородь из гранатовых деревьев, арку или группу тонких свечек-кипарисов, темнели в ночи, словно театральная декорация. Вверху плыла полная луна, а птицы и летучие мыши, ошеломленные-происходящим, растерянно порхали в свете фонарей. Из темных садов доносился аромат, который не мог источать апельсиновый цвет (еще слишком рано), но сладкий, сильный и приятный.

Я сидел среди тысяч испанцев, лицом к сцене, выстроенной так, чтобы выглядеть частью садов. Выходами и входами служили эвкалиптовые изгороди, а позади высокие кипарисы вздымали свои тонкие черные шпили. Вокруг гомонили и щебетали местные, но я все же расслышал тот характерный звук — резкие короткие хлопки, когда женщины единственным ловким движением правого запястья раскрывали веера. В теплом сумраке сотни вееров порхали, словно мотыльки.

Дирижер поднял палочку, и зазвучала призрачная музыка Делиба, под стать луне и ночи. Два луча прожекторов встретились в задней части сцены, и в круг света ступила Марго Фонтейн — выпорхнула, словно белая бабочка. Она танцевала с Майклом Сомсом па-де-де из третьего акта «Сильвии», и можно было услышать, как падает веер, что совершенно необычно для испанской публики. Это был миг совершенства, и я подумал, что редко можно увидеть балет в столь

изысканном окружении. Я с любопытством услышал позже от мисс Фонтейн, что ей не доставало ощущения театра: она чувствовала, что танец как-то испаряется, возносясь к огромному ночному небу и не достигая публики.

Во время следующего танца, которым было па-де-де из второго акта «Лебединого озера», хорошие манеры публики и самообладание балерины подверглись испытанию.

Когда лебедь, пойманный двумя лучами, трепетал в последнем порыве, на сцену вдруг выскочила ошалевшая белая собака. Пес был из тех, что часто низводят какую-нибудь торжественную церемонию или великое событие до фарса. Он, наверное, принадлежал одному из садовников, и его до глубины души потрясло то, что происходило в ту ночь в Хенералифе. Он пришел все выяснить, как положено хорошей собаке. Пес постоял, с интересом наблюдая за балериной, а мы задержали дыхание. Потом, поскольку танец заканчивался, пробежал через сцену энергичной трусцой, задирая хвост, и исчез. Какой конфуз! Но публика не позволила себе ни смешка. Последним номером было па-де-де из третьего акта «Спящей красавицы», и, хотя было уже почти два часа ночи, я чувствовал, что мог бы вечно смотреть на красоту движений молодого тела под полной луной Гранады.

Пока люди искали выход, я быстро пошел в противоположном направлении и успел взглянуть на тот знаменитый маленький садик, где два ряда водяных струй клонятся друг к другу за рядами эвкалиптов и кипарисов; стояла полная тишина, слышался только звук падающей воды, а темноту нарушал лишь лунный свет, пробивавшийся сквозь кипарисы. Садик выглядел сошедшим со страниц «Тысячи и одной ночи».

Я решил, что более чудесного знакомства с Гранадой и нельзя пожелать.

Альгамбра возвышается на красноватом утесе, выше вязов, посаженных, как считается, Веллингтоном. На просторной парадной площадке, где султан когда-то обозревал янычар под грохот литавр и взмахи штандартов из конского волоса, цыганки попробуют предсказать ваше будущее, чистильщики обуви попытаются начистить ваши туфли, а маленькие цыганские девочки — продать кастаньеты, сделанные из гранатового дерева. Здесь есть студия, где вы можете сфотографироваться в наряде султана на фоне нарисованной на ткани Альгамбры. Вы можете взять ятаган или закурить кальян — почему бы не то и другое одновременно? — а если с вами дама, она может раскинуться на кушетке и изобразить одалиску вашего гарема. Не стоит думать, что это вульгарная студия того рода, какие можно найти в Маргейте или Блэкпуле: это подлинный памятник викторианских и эдвардианских времен, и костюмы и фоны здесь сохраняют восхитительную атмосферу того периода. Студия принадлежит тем дням, когда чувства, пробуждаемые Альгамброй, были столь сильны, что посетителям хотелось унести с собой явное доказательство, что они не только побывали здесь, но и полностью погрузились в романтическую атмосферу.

Испания в девятнадцатом веке оставалась последней страной, где можно было выйти в свет в причудливом наряде. Те, кто завидовал разнообразию, предлагавшемуся чуть ранее Байрону и Эстер Стэнхоуп, могли надеть в Испании сомбреро и длинные плащи, а также носить штаны, расшитые серебряными пуговицами от пояса до колен. Даже дальновидный Форд ездил по Испании одетым как андалусиец. Эту маленькую студию следует считать одним из последних

живых храмов романтического возрождения. Наверняка среди самых первых ее отпечатков — если их здесь хранят — должна быть старинная фотопластинка Теофиля Готье.

Убедительным доказательством чар Альгамбры является фотография 309 в книге А. Ф. Калверта «Гранада и Альгамбра». Более пятидесяти лет назад Калверт написал ряд книг об Испании, и все они отличаются великолепными фотографиями. В книге, которую упомянул я, мы видим автора в Альгамбре в странном одеянии: на нем нечто, напоминающее длинные шорты для бега, носки в поперечную полоску, на поясе висит ятаган, а лицо обрамляет бурнус. Эта фотография в полной мере обладает тем особенным шармом, который отличает продукты этой студии; первая заповедь здесь такова: фотографируемые должны выглядеть совершенно непохожими на мавров. Разглядывая породистое лицо мистера Калверта с эдвардианскими усиками, я живо представил его — не выезжающим убивать христиан, и еще менее отдыхающим в своем гареме, но останавливающим двуколку на Стрэнде и помахивающим тросточкой с золотым набалдашником.

Я купил билеты в Альгамбру в великолепном дворце, который так и не достроил император Карл V. Для этого он уничтожил много мавританских построек, за что его, подозреваю, несправедливо бранили. Единственный шаг перенес меня в мавританскую роскошь. Очарованный, я заглядывал в маленькие сводчатые окна, обрамлявшие далекую панораму Гранады, где карабкались по холмам дома. Я бродил по прохладным апартаментам, сплошь покрытым похожими на кружева орнаментами, и изо всех сил старался забыть про виденные мною раньше турецкие бани и Хрустальный дворец, в который меня водили в детстве.

Миртовый двор, где апельсиновые деревья отражаются в пруду с неподвижной зеленой водой, поистине прелестен; и я подумал, что, когда араб попадает на открытое пространство и разбивает сад, он зачастую творит истинную поэзию.

Львиный дворик — место легкой, невесомой красоты. Я подумал, что надо бы ходить туда каждый день, пока я в Гранаде. Он словно вот-вот улетит. Я чувствовал себя сказочным героем, который прошел сквозь дверь в стене и оказался в Гулистане Саади, ибо это место — вотчина джиннов и колдунов, страна зачарованного павильона Шахерезады, где капли с розовых лепестков падают в порфиновый фонтан и где поют соловьи. Я прошел сквозь ряды подковообразных арок, восхищаясь пропорциями и композицией вытянутого дворика, нависающими беседками со стройными, кое-где двойными колоннами и крышами, что увешаны не то сталактитами, не то сотами, вызолоченными и раскрашенными; эту математическую симфонию мог созерцать султан, лежа на диване. Фонтан журчал. Высокая струя воды поднималась из центра и падала в чашу, а пасти двенадцати львов выпускали двенадцать струек, падавших в желоб и выплескивавшихся им под ноги. Что это за странные львы: благожелательные, тучные и неподвижные, как деревянные звери из Ноева ковчега! По какой-то непонятной причине, известной только художнику, — интересно, был он персом, китайцем или византийцем? — каждый лев прячет хвост за левой задней лапой, а кончик хвоста лежит у левого бока. Они выглядят как труппа добрых дрессированных львов, которых научили поддерживать фонтан, — этим они и занимаются, покорно обратя двенадцать крепких задков к двенадцати каменным колоннам. Колорит так же очарователен, как и сама сцена: мягкий жемчужный сумрак беседок и свет, отраженный от красного гравия

снаружи, зажигающий колонны розовым и наполняющий опрокинутые кубки в крыше призраком *vin rose*^[96].

Всякий, кто читал у Форда мрачное описание упадка Альгамбры, поинтересуется, сколько из ныне существующих зданий подлинные, а сколько отреставрированы. Позже, ведомый любопытством, я отыскал прекрасную гравюру в «Путешествиях» Суинберна 1775 года и с удивлением обнаружил, что Львиный дворик был тогда практически таким же, как сегодня. Единственные различия, какие я смог заметить, таковы: вместо красного гравия дворик был замощен плиткой, а фонтан имел довольно уродливую вторую чашу, которую также можно увидеть у Дж. Ф. Льюиса в «Альгамбрских зарисовках». Большей частью разрушения пришлось на время уже после визита Суинберна, особенно потрудились мародеры Наполеона, которые в качестве прощального жеста едва не взорвали весь дворец.

Рядом с Львиным двориком находится прелестный сад с прудами, где на бортике сидят два еще более странных льва; а позади — терраса над террасой, засаженные кипарисами, миртами, олеандрами и всевозможными душистыми кустами. Также здесь сотни цветочных горшков с геранями и гвоздиками. Горшки для цветов можно увидеть по всей Испании; возможно, это тоже мавританское наследие.

Возвращаясь в Львиный дворик и восхищаясь им снова. Даже здание, настолько не привязанное к реальности, как Альгамбра, оставляет дату своего рождения в истории: говорят, что строить ее начал Мухаммед V в 1377 году. Это был год, когда молодой Ричард II Бордоский был коронован в Англии; каким далеким кажется Уот Тайлер из этого пышного чертога удовольствий! Хотя современная архитектура

английских домов более солидна, ей недостает изощренной роскоши сна из «Тысячи и одной ночи». До самого конца оккупации мавры в Испании жили весьма богато. Ни один средневековый король не имел такого экзотического окружения — притом женственного, ибо в сохранившихся частях Альгамбры всегда думается о женщинах. Эти прелестные аллеи, фонтаны и аркады, эти очаровательные маленькие беседки, словно созданные для слез, вздохов и варенья из лепестков роз, — все наводит на мысль, что Альгамбра во многом подобна женщине, у которой нет других достоинств, кроме красоты.

Перед любым посетителем этого дворца проходят видения роскошествующих султанов, но мне они остались не видны. Вместо этого я узрел важную и строгую испанскую девочку, с учителями и гувернантками, занятую написанием подобающих писем на латыни мальчику, носившему имя Артур и жившему в далекой стране, в замке под названием Ладлоу в графстве Шропшир. После захвата Гранады Альгамбра стала для Екатерины Арагонской домом, и пока она жила здесь, ее обручили с Артуром, принцем Уэльским, наследником Генриха VII Английского. Когда ей исполнилось шестнадцать, она навсегда распрощалась с Альгамброй и уплыла, чтобы стать принцессой Уэльской; и в последующие темные годы наверняка не раз вспоминала здешние солнце и цветы.

§ 6

Я смотрел из окна Альгамбры через речную долину на холм Альбайсин, где развлекали туристов многие поколения цыган. В бинокль видны были маленькие беленые домики, частью с плоскими крышами, толпой бегущие вверх по склону, с узкими переулочками между

ними, — там великое множество цыган живет с сотнями бронзовых и медных горшков и кастрюль в пещерах, освещенных электричеством.

Я выделил дом, плоскую крышу которого превратили в сцену с ярусами сидений по одной стороне. Пока я рассматривал его, из-за угла осторожно вывернул микроавтобус и остановился перед домом. Наружу вылез гид, а за ним шесть туристов, как я разглядел по одежде, американцев. Гид, очевидно, объяснял, что это место, где они смогут увидеть нечто подлинное, если захотят. Он может представить их очень хорошей и честной семье *gitanos*^[97]. Я словно услышал, как туристы восклицают: «Конечно, пойдете!» Пока посетители фотографировали дом, гид постучал в дверь. Группа вошла внутрь, и дверь закрылась.

Через несколько минут три американки появились на крыше, подозрительно оглядываясь вокруг, за ними следовали трое мужчин с камерами наготове. Гид вышел с четырьмя девушками, одетыми в яркие юбки с оборками; девушки рассеялись по маленькой сцене в шелесте красного, синего и желтого и приняли исходные позы для танца. Резкие щелчки их кастаньет слышны были даже здесь, на холме. Они кружились и отбивали ритм, вскидывая руки, а туристы отслеживали их движения «лейками» и «роллейфлексами», приседая на корточки, чтобы получить нужный ракурс. Фотографы то приближались к танцовщицам, то отступали, чтобы захватить в кадр всю сцену. Я понадеялся, что они пользуются цветной пленкой. Танец внезапно завершился, мелькнули бумажники, и гид принял песеты; должно быть, плата была щедрой, поскольку все девушки заулыбались и замахали руками, и даже старая цыганка, которая открывала дверь, выглядела преисполненной благодарности.

Мне почудилось, я слышу голос некоего честолюбивого молодого человека, подобострастно говорящего президенту своего банка, который демонстрирует ему снимки: «Вот это да, сэр, вы залезли Испании под шкуру!»

Микроавтобус укатил прочь в направлении гробницы *Los Reyes Católicos*.

§ 7

Я составил список величайших и прекраснейших достопримечательностей, которые к этому времени увидел в Испании: Прадо и Пласа Майор в Мадриде, пастранские гобелены, монастырь Гуадалупе, собор и сам город Толедо, римский амфитеатр в Мериде, собор в Севилье, монастырь Ла Рабида, мечеть Кордовы, Альгамбра и наконец самая внушительная гробница, какая мне встречалась, — могила Фердинанда и Изабеллы в Королевской капелле в Гранаде.

Решетка, грандиозная даже для страны, где ковали железо, когда прочие народы резали дуб или орех, отделяет неф от алтаря, где на ложе из белого мрамора покоятся Фердинанд и Изабелла. На короле доспехи с орденом Подвязки, врученным ему нашим Генрихом VII; королева лежит рядом, в короне, длинном платье и с крестом ордена Святого Иакова на груди. Рядом с ними, заключенные в том же ограждении, видны еще две фигуры: мужчина и женщина, простертые в молитвенной позе. Кто, подивился я, мог разделить пышность смерти с Фердинандом и Изабеллой? И прочитал имена Хуаны Безумной и Филиппа Бургундского.

Здесь, далеко от узорчатой французской капеллы, которую Католические короли построили в Толедо как место своего упокоения, лежат корни Испании: наконец

соединившиеся Кастилия и Арагон вместе с габсбургским привоем, который произвел на свет великого Карла, угрюмого Филиппа и королей с чертами вырождения, чья вереница закончилась Карлом III с затравленным взглядом.

Фердинанд и Изабелла... Изабелла и Фердинанд... *Los Reyes Católicos*. Куда бы ни отправился путешественник в Испании, он встречает памятники этим правителям и слышит, как люди говорят о них, о принесенном ими даре или о каких-то словах и деяниях; и это истинное бессмертие, на какое может надеяться человек. Они всегда вместе: если вы слышите только о Фердинанде, значит вы спутали его с другими Фердинандами; а если встречаете имя Изабеллы в одиночестве, то секунду недоумеваете, кто это. Они остаются рядом в человеческом воображении, как Ромео и Джульетта, хотя на самом деле Изабелла была ревнивицей, а Фердинанд — хитрым рыцарем, дававшим жене хороший повод для ревности. Этот Фердинанд был не *el Santo*^[98], но прожженным политиком, столь же коварным и изощренным в своих методах, как его современник, наш Генрих VII. «Никто, — писал человек, хорошо знавший короля, — не мог прочесть его мысли по лицу». Мечтой его жизни было воздвигнуть вокруг Франции защитное укрепление из брачных постелей, и он выдавал своих дочерей замуж с великой сноровкой.

Изабелла была на год старше супруга и являлась личностью более тонкой и великой. Испания видит ее сквозь густую дымку романтики. В девичестве за Изабеллой ухаживали многие, и утверждают, что в число искателей ее руки, когда ей исполнилось четырнадцать лет, входил Эдуард IV Английский. Легенда гласит, что он внезапно отверг испанку из-за любви к Элизабет Вудвилл; но если в этом что-то и есть,

то «измена» не имела ничего общего с личным выбором. Факт истории: пока совет выбирал подходящий политический союз — Изабелла Кастильская, разумеется, значилась в списке, — Эдуард тайно женился на молодой вдове и предъявил совету *fait accompli*^[99]. Признаться, мысль, что Изабелла Кастильская могла стать королевой Англии, кажется очень странной.

Королева не была красавицей, что доказывают ее портреты, но обладала приятной внешностью и достоинством, светлой кожей и каштановыми, почти рыжими волосами. Глаза ее были голубыми и выдавали ум. Излишняя скромность сопровождала ее до самого конца: даже при смерти она отказалась выставить босые ноги для последнего соборования, и пришлось мазать елеем шелковый чулок. Изабелла была фанатичкой, которая не останавливалась ни перед чем, чтобы приблизиться к Царству Христа — каким она его видела, — и конечно, поддерживала странную идею, что Бог Любви одобрял инквизицию и изгнание евреев из Испании. Но она обладала величайшими добродетелями веры, решительности и прозорливости. Она была самой могущественной из веривших в Америку, а Фердинанд всегда оставался довольно равнодушным в отношении проекта Колумба. Изабелла однажды сказала: «Я готова заложить свои драгоценности, чтобы покрыть расходы на экспедицию, если средств казны окажется недостаточно».

Она проехала в доспехах по всей Испании, как Жанна д'Арк, и где бы она ни появлялась, у войска прибывало силы вдвое. Ее дети рождались там и сям, где ей случалось оказаться, когда их появление на свет прерывало повседневную деятельность. Все пятеро ее детей родились в разных городах. Она и ее муж служили живым символом того непривычного понятия,

которое их брак принес в Испанию, — единства. Имелся внимательный зритель происходящего, итальянец по имени Петр Мартир, который запечатлел события правления в ряде интереснейших писем. Ничто, кажется, не удивляло его более, чем вид, открывавшийся при осаде Гранады: арагонцы, кастильцы и прочие испанцы ладили друг с другом и впрягались в одну и ту же упряжку:

Кто бы поверил, что галисиец, яростный астуриец и грубый житель Пиренеев — люди, привычные к жестокому насилию, к драке и склоке по легчайшему поводу у себя дома, смогут смешаться дружно; не только один с другим, но с толедцами, ламанчцами и коварными ревнивыми андалусийцами, и жить вместе в гармоничном подчинении власти, словно члены единой семьи.

Такого никогда не случалось прежде, и именно под властью Католических королей возникла страна, похожая на нынешнюю Испанию.

Когда Изабелла очутилась на пороге смерти в возрасте пятидесяти трех лет, во всем мире не было женщины более успешной — и более несчастной. За сорока шестью годами общественного триумфа последовали семь лет личного горя. Судьба нанесла королеве удар в самое уязвимое место, обрушившись на ее детей. Когда пала Гранада, семья Изабеллы была с ней и видела, как серебряный крест папы римского устанавливают на холме Альгамбры. Это видели и Хуана, еще не безумная; и маленькая Екатерина Арагонская, семи лет от роду; и самый драгоценный из всех, «ангел» Изабеллы, как она его называла, — дон Хуан, четырнадцатилетний наследник престола,

прекрасный принц, суливший родителям и стране великие перспективы.

Шесть недель спустя Хуана, которой тогда было семнадцать, покинула Испанию, чтобы стать супругой Филиппа Бургундского, и Изабелла горько переживала расставание, словно предчувствовала трагедию, в которую превратится жизнь девушки. Она отвезла дочь на побережье, в Ларедо близ Сантандера, где огромный флот из ста двадцати кораблей ожидал, чтобы увезти принцессу к жениху. Изабелла ночевала на борту вместе с Хуаной, и когда флот отплыл, она в глубочайшей скорби поехала назад, в Бургос. И каждый год после того ее поражало новое горе. В следующем, 1497 году случился самый жестокий удар из всех: «ангел», юный жених девятнадцати лет, умер — как вам расскажут испанцы, от любви. У Испании не осталось наследника. Годом позже Изабеллу потряс слух, что Хуана во Фландрии небрежна в исполнении христианского долга. Королева послала шпионов, чтобы выведать правду. Скорбью следующего года, 1498-го, стала смерть старшей дочери Изабеллы, королевы Португалии, — она умерла, дав жизнь сыну, и надежды испанской королевы теперь обратились на этого младенца, но через двенадцать месяцев он тоже умер. У Изабеллы осталось лишь одно дитя: шестнадцатилетняя Екатерина Арагонская, — а в следующем году она уплыла в Англию, чтобы выйти замуж за принца Артура, старшего сына Генриха VII и наследника престола. Прошло еще двенадцать месяцев, и Изабелла узнала, что Артур умер, оставив Екатерину молодой вдовой в чужой стране. Еще двенадцать месяцев, и из Фландрии вернулась Хуана со своим красивым и ветреным Филиппом; бедная королева увидела, что ее дочь если не сумасшедшая, то эксцентричная и неуправляемая. Смерть, которая унесла с собой все светлые надежды Изабеллы,

избавила эту взбалмошную и непокорную девицу от участи наследницы Кастилии.

Хуана безумно ревновала своего мужа, и ходили слухи об ужасных приступах ярости, когда она подозревала его в неверности. Единственным желанием Филиппа было избавиться от жены и сбежать от скучного и ханжеского двора Испании, что он и сделал, оставив одинокую Хуану жертвой терзавших ее мыслей, которые в конце концов повредили ее разум. Последние двенадцать месяцев жизни Изабеллы прошли рядом с истеричной дочерью, впадавшей то в депрессию, то в ярость, о которой Петр Мартир говорит: «как у львицы Карфагенской». Единственной мыслью Хуаны было вернуться к Филиппу и навязать ему свою любовь. Однажды ночью она попыталась убежать из замка в ночной сорочке и, отказавшись возвращаться в свои покои, простояла полуголая, вцепившись в ограду, весь день и всю следующую ночь на пронизывающем ноябрьском ветру. Перед толпой придворных, солдат и слуг бедная больная королева выслушивала жестокую брань своей дочери, вцепившейся в железные прутья. Именно с этого момента Хуана стала известна как *Juana la Loca*, Хуана Безумная.

Наконец в марте 1504 года, когда Испания и Франция заключили перемирие и для Хуаны стало возможным совершить морское путешествие, ей позволили уехать во Фландрию. Слухи о ее безумствах скоро дошли до Испании и покрыли Фердинанда и Изабеллу позором. Подозревая, что Филипп изменяет ей с красивой девушкой с длинными светлыми волосами, Хуана напала на нее и обрезала волосы — как говорят, публично. Изабелла ослабела от этих непрерывных бед и умерла в ноябре того же года, беспокоясь о «несчастных индейцах в Америке» и своей безумной дочери во Фландрии. В дополнении к завещанию она указала, что если Хуана окажется непригодной к

управлению страной, Фердинанд должен сделаться регентом.

Под черным ноябрьским небом, на студеном ветрах тело великой королевы, одетой как францисканская монахиня, повезли из замка Медина-дель-Кампо, где она умерла, через горы Кастилии и равнины Ла-Манчи в далекую Гранаду, где она просила ее похоронить. Перепуганные селяне крестились, завидев процессию, петляющую по горным проходам: поднятые кресты, качающиеся кадила, свечи из небеленого воска, постоянно задуваемые ветром и дождем, мулы и лошади в собольих пополах — и катафалк с мокрым и грязным бархатным покровом, трясущийся по ухабистым дорогам. Звезд не было видно, тучи закрывали небо, мосты смыло, люди и мулы гибли во вздувшихся реках, и казалось, сама природа рыдала над умершей. Петр Мартир писал: «Никогда не встречался я с такими опасностями за все мое рискованное паломничество в Египет».

Когда кортеж достиг Гранады, Королевская капелла еще не была построена, и тело Изабеллы поместили в маленьком францисканском монастыре, который до сих пор стоит на холме Альгамбры. Двенадцать лет прошло, и на холм взошла другая процессия: Фердинанд и Изабелла вновь воссоединились. В следующем году была окончена Королевская капелла и правителей погребли перед алтарем.

Я прошел вокруг гробницы до стороны, ближайшей к алтарю, где заметил короткий пролет ступеней, ведущих вниз, под пол. Подойдя к железной решетке, я через прутья заглянул в каменный склеп, освещенный электрическими лампами, и в нескольких футах от меня увидел гробы Фердинанда и Изабеллы, стоящие на центральном каменном столе, а по бокам еще два гроба: Хуаны и Филиппа Бургундского. Больше в этом

склепе не было ничего — четыре гроба и распятие на стене над золоченой короной.

Я понял, что никогда не забуду увиденного. Это одно из самых потрясающих зрелищ в Испании — и одно из наиболее испанских. Наверху возвышается великолепное надгробие, сияющее королевской роскошью, а несколькими шагами ниже лежат останки бывшего величия. Я не мог отвести глаз.

...И ледяные руки смерть
На плечи цезарю кладет.
В прах падут короны,
Скипетры и троны,
В прах падут, все падут
В пыль наверняка,
И там в пыли сравниются
С лопатой бедняка^[100].

Как это по-испански, как абсолютно и незабываемо по-испански. Я словно услышал голос, говорящий: «Все приходит к этому в конце концов. Так есть ли смысл беспокоиться о чем-либо — ведь все закончится здесь?»

§ 8

Я уехал в Мадрид утром, в восемь часов; и хотя я хотел посетить Мурсию или Валенсию, жара была столь невыносимой, что я с радостью снова ехал на север. Как плохо я представлял, каким окажется Мадрид!

Скоро я проехал холмистый Хаэн, тепло вспоминая жизнерадостного маслодела, и покатил дальше по виноградно-оливковой стране и изобильным речным долинам; земля здесь, как и во всех уголках Испании, где я побывал, выглядела такой ухоженной, какой

редко бывает земля, обрабатываемая с помощью механизмов. Я пришел к выводу, что сельские ландшафты Испании можно сравнить с ручной вышивкой, с великолепной работой испанских кузниц, с бесчисленными ремеслами и промыслами, которые нашли свое последнее пристанище в этой стране.

Я приехал в необычайный район, где из кирпично-красной почвы росли тысячи олив, а среди рощиц заметил странного вида купола: около каждого торчала черная дымовая труба. Это были свинцовые рудники, и, полагаю, как большинство рудников на юге Испании, они разрабатывались с глубокой древности. Хотя здесь толпились сотни маленьких шахт, пейзаж не уродовали кучи отвалов шлака, и шахтных стволов было мало. В некоторые шахты вели вертикальные лестницы. Я встретил рудокопов с черными от копоти лицами; мужчины тряслись на крестцах осликов, каждый шахтер укрывался зонтиком, и все они болтали по-андалусийски многословно.

Потом дорога начала карабкаться к гигантскому бастиону Сьерра-Морены, и я почувствовал в воздухе нечто, говорящее о приближении границы и о том, что мне придется скоро попрощаться с изобилием Андалусии, с апельсинами, миндалем и алоэ и взобраться в скудный мир скал, где гора будет громоздиться на гору, стремясь достать до неба. Промелькнула деревушка у дороги, не примечательная ничем, кроме названия, которое торчит из испанского учебника истории, как Гастингс — из нашего: Лас Навас де Толоса. Среди этих гор в 1212 году — его так же легко запомнить, как 1066-й, — Альфонсо VIII, женившийся на Элеоноре, дочери Генриха II и сестре Ричарда Львиное Сердце, поразил гневом Божьим мавров с помощью объединенной рыцарской конницы Европы. Короля провел по горам таинственный пастух,

которым, как подозревают, был переодетый святой Исидор.

Теперь дорога петляла среди грифельно-серых ущелий, словно созданных природой для грабежа и разбоя. Все вверх и вверх, по обеим сторонам лишь валуны и скалы — чем-то это напомнило мне дорогу, поднимающуюся из Иерихона в Иерусалим, дорогу со столь же зловещей репутацией.

На вершине, расположенной примерно в двух тысячах шестистах футах над уровнем моря, перевал напомнил мне Киликийские ворота, и здесь дорога нырнула в цепь туннелей в скале. Прежде чем проехать через *Puerto de Despeñaperros* — перевал Сброшенных мавританских собак, — я остановил машину и оглянулся на красоты Андалусии, раскинувшиеся на юге под утренним солнцем. По другую сторону перевала лежала Ла-Манча, провинция Кастилии; и, словно после путешествия на корабле из одной страны в другую, я оказался совершенно в иной местности, в земле бесплодных пространств, пыльных миль и плывущих облаков. Если можете представить, каково выехать из Сассекса прямо в Дартмур, вы оцените внезапность перехода из Андалусии в Кастилию. Я подумал, как похож юг Испании на Южную Африку. Путешествие из Андалусии в Кастилию не слишком отличается от выезда из Капской провинции — оставляя за спиной изобильные фермы — в Кару, где вы встречаете те же линии горизонта, то же подобие моря или пустыни и то же отсутствие деревьев и нехватку воды. Слова «Ла-Манча» и «Кару», кстати, значат одно и то же. «Манча» происходит от арабского «манха», означающего сухую землю, а «кару» — от «куру» (с придыханием), готтентотского слова для сухой и суровой земли.

Я проехал Вальдепеньяс, известный превосходным вином — виноградные лозы на скалистых склонах там растут под какими-то пьяными углами, — а потом

Мансанарес. На окраинах этого городка я заметил восхитительный *albergue*^[101], возведенный лучшим из всех испанских правительственных учреждений: Государственным департаментом туризма, который делает для путешественника в Испании то же самое, что полисмен для иностранца в Лондоне. Департамент не только помогает гостю всевозможными способами и держит для этой цели отделения по всей стране, но также регулирует цены в гостиницах и содержит собственные отели, называемые *paradores*, и собственные постоянные дворы — *albergues*. Разница между *parador* и *albergue* состоит в том, что в *parador* вы можете оставаться, сколько пожелаете, а в *albergue* — всего три дня; причина в том, что *albergues* расположены на главных дорогах и используются автомобилистами, в то время как *paradores* стоят в основном далеко от автострад и часто представляют собой старинные замки, средневековые дворцы или монастыри, превращенные в самые живописные гостиницы в Европе. Если боязливый или пожилой путешественник пожелает увидеть Испанию с наибольшим комфортом, все, что ему надо сделать, — это написать в Департамент и согласовать переезд из одного *parador* в другой.

У Испании всегда припасен в рукаве сюрприз, и сюрприз *albergue* состоит в том, что без каких-либо проблем и шумихи вы можете получить здесь обед в час дня! Только ради этого радушия стоит приехать в Испанию, поскольку очаровательный персонал всегда умудряется приветствовать запыленного странника, словно он — юный сквайр, возвращающийся из чужих земель. Через секунду я уже сидел за столиком, уставленным *entremeses* — тарелочками с оливками, тунцом, *langostinos* и великолепным копченым окороком, — с кувшином местного вина и с меню длиной

в руку до плеча. Я заказал омлет с креветками и грибами, и мне настоятельно порекомендовали жареного барашка.

Подъехал огромный автобус, и заведение внезапно заполнили французы, американцы и англичане. Молодой французский монах с женщиной, которая наверняка была его матерью, поскольку они были очень похожи, сел за соседний столик и содрогнулся при виде горшочков с мясом. Он печально крошил свой хлеб и смотрел в тарелку, и я предположил, что он думает — столько есть грешно. Мать пыталась соблазнить его едой, он парировал ее заботы слабой улыбкой и новыми крошками хлеба, и я подумал, что вечер он наверняка проведет в покаянной молитве. Интересно, кто они такие? Они не могли быть туристами и все же приехали вместе с туристами. Я решил, что он — молодой французский монах, который едет во францисканский монастырь в Испании, а мать не упустила шанс взять отпуск и поехать с сыном: так родители отвозят ребенка в приготовительную школу. Монах явно нервничал из-за матери, как любой школьник, и ему не нравилось — настолько же, насколько нравилось ей — внимание, которое они привлекали. Туристы, которые отдыхали снаружи в саду, за столиками, расставленными под акациями, очевидно, были озадачены своими спутниками.

Было нелегко покинуть тень *albergue* ради слепящей дороги и пыли, но я продолжил путь через Мансанарес к Пуэрто-Лапиче, где ухабистая колея прорезает местность до бессмертной деревни Эль-Тобосо, родины Дульсинеи. Эта часть Ла-Манчи — сердце той земли, которую мы знаем как «страну Дон Кихота»; и действительно, винный мех в *venta*^[102], ветряные мельницы, толстяк верхом на осле или деревенская девушка у фонтана — все напоминает

роман Сервантеса. Вдобавок множество людей, обладающих, должно быть, чрезвычайно педантичным складом ума, желают видеть настоящий трактир, где Дон Кихот нес свое бдение, ту самую деревню, где он сражался с куклами, ту единственную пещеру, где он подвергся наказанию, и так далее, по все видимости, удовлетворяя некую глубокую духовную жажду, которой в прежние времена отвечало паломничество. Я всегда считал «край Вордсворта», «край Шекспира» и «край Лорны Дун» протестантскими местами поклонения, заменившими Кентерберии и Уолсингем; но в стране, где все еще существует паломничество религиозное, весьма странно обнаружить такую популярность светского — причем отнюдь не только среди еретиков-туристов.

Для меня Тобосо — настоящее место паломничества, поскольку первой книгой, которую я по-настоящему полюбил, стало детское издание «Дон Кихота» Джаджа Пэрри с прекрасными цветными иллюстрациями Уолтера Крейна, которую я до сих пор могу припомнить в мельчайших подробностях. Я помню пугающие черные волосы на ногах Дон Кихота, когда он, в ночной рубашке, сражался с винными мехами. Дульсинея стала моей первой героиней, и я принимал ее всерьез, подобно Дон Кихоту; она была прекрасной принцессой, чье существование оправдывало все злоключения рыцаря, и лишь намного позже я с грустью осознал, что она — всего-навсего дюжая деревенская деваха, образ из фантазии мечтателя.

Дорога продолжалась до узлового пункта под названием Алькасар-де-Сан-Хуан, старинного городка, откуда железная дорога убегает на юг, к Гранаде, и на юго-восток, в Мурсию. Это оживленное местечко, в котором делают кастильское мыло. Мыло и маленькие восковые спички, продаваемые в красивых коробочках с геральдическими наклейками, — два превосходнейших

продукта Испании. По моему мнению, английское мыло и английские спички далеко не так хороши.

Белая дорога бежала через красную землю, к деревням, поблескивающим на горизонте. Церкви, огромные, словно крепости, нависали над черепицей крыш. Эти деревеньки были почти одинаковы на вид: огромная, широко раскинувшаяся барочная церковь с отслаивающейся пожелтевшей штукатуркой; колокол, звонящий на башне; аист в неряшливом гнезде; пласа, окруженная акациями; вычурный фонтан, где грациозные смуглые девушки медлили, оперев кувшин на бедро, — и хитрая путаница улочек. Иногда лавки выставляли образцы своего товара так, чтобы те, кто не перешел из эпохи мудрости в век грамотности, могли узнать, что найдут внутри. Торговец скобяным товаром вешал у входа лопату, торговец мануфактурой выкладывал пару носков; но эти средневековые обычаи быстро исчезают. Я тщетно высматривал маленький медный тазик с вырезом на ободке — «шлем Мамбрина», который обычно вешают у дверей цирюлен. Но все еще можно увидеть цирюльника, пользующегося «шлемом Мамбрина», когда он бреет клиента. Он наполняет тазик водой и мылом и ставит на грудь клиента так, чтобы вырез приходился тому под горло.

Я приехал в белый городок на холме, где вокруг на небольших пригорках расставлены ветряные мельницы: не массивные строения Голландии, но аккуратные маленькие мельнички, которые при плохом освещении можно легко принять за что-нибудь другое — особенно за великанов, угрожающе машущих руками. Это Кампо-де-Криптана — место, где Дон Кихот атаковал крутящиеся лопасти. Форд рассказывает нам, что во времена Сервантеса ветряную мельницу лишь недавно завезли в Испанию — по-видимому, из Фландрии, — так что у Дон Кихота были все основания испугаться того, что для него и многих его современников было

непривычным и волшебным зрелищем. Большая ламанчская телега для сена с огромными колесами и открытыми ребрами, похожая на остов лодки, проехала мимо, влекомая двумя мулами и ослом-коренником. Старик, управлявший телегой, ответил мне: да, *contraño*^[103] на дороге в Тобосо, и указал палкой через красную равнину; *contraño* поблагодарил его и поехал дальше.

Через несколько миль я увидел белую деревушку Эль-Тобосо, дремлющую на красной земле под высоким небом. Вокруг ни души, даже священник в церкви отсутствовал, и я не смог найти никого, кто направил бы меня к *alcalde*. Тут я услышал монотонный, почти пчелиный гул юных голосов, доносящийся с верхнего этажа большого здания, и понял, что школьников в Тобосо до сих пор учат ритмическим стишкам, которые впечатываются в мозг навсегда. Надо бы зайти внутрь и познакомиться с деревенским учителем. Пролет ступеней вел в классные комнаты. Раздумывая, в какую дверь постучать, я заметил висящее в коридоре живописное предостережение в рамочке об опасностях *El Alcoholismo* — оно висело тут с конца девятнадцатого века. В картинках демонстрировалась жизнь двоих мужчин: трезвенника и пьяницы. Трезвенник женился на красивой женщине и создал большую и счастливую семью. Девочки все были хорошо одеты и, выходя из дверей, прятали руки в маленькие меховые муфты, а их ножки были в крошечных шнурованных ботинках. Круглые меховые шапочки, похожие на спящих кошек, сидели на их волосах, спадавших до плеч. Жена трезвенника все время либо ласково склонялась над мужем, читавшим какую-то хорошую книгу, или горделиво шествовала рядом — модно одетая, дети впереди, — а прохожие приподнимали шляпы и уважительно кланялись. Напротив, пьяница всегда

представал взору с кружкой или стаканом в руке, обтрепанный, небритый, окруженный бутылками и омерзительными дружками, брошенный пышнотелой женой; его голодающие дети плакали в трущобах; заканчивалось все преступлением под уличным фонарем и полицейским участком. Картинка не казалась испанской, такую наверняка можно было увидеть в Блэкберне около 1890 года. Зачем бы ей висеть в деревенской школе самой трезвой страны Европы — совершенно непонятно. Испанское чувство собственного достоинства исключает опьянение, кроме того, спиртное здесь не идеализируют и не рекламируют, как в англосаксонском мире, а пьяница не считается хорошим человеком.

Я постучал в дверь, и мне открыл мужчина средних лет, через плечо которого я увидел человек тридцать детишек на деревянных скамьях, каждый с грифельной доской и грифельным карандашом. Они не хихикали, не смеялись, не толкались локтями и наградили меня одним из долгих, немигающих испанских взглядов, словно узрели чудо, и я мог оказаться странствующим святым. Это уважительное принятие незнакомца — одна из многих характерных черт Испании. Я объяснил свое затруднение учителю, который вызвал маленького мальчика и велел ему отвести меня к дому мэра, хотя, сказал он, кажется, *alcalde* уехал сегодня утром вместе со священником в какое-то отдаленное место. Ребенок провел меня через площадь к белому дому. Дверь открыла женщина, которая сказала, что увы, *alcalde* уехал, но спросила, не хочу ли я зайти. Она открыла дверь справа, и я вошел в комнату, полную книг. Они стояли на самодельных полках почти до потолка. Эта могла бы быть та самая комната, в которой Дон Кихот изучал легенды о рыцарстве. Оглядев полки, я заметил на них экземпляры «Дон Кихота» на всевозможных языках: английском, французском, немецком,

итальянском — даже на русском, японском и хинди. Женщина вернулась с двумя мужчинами, потом еще несколько мужчин вошли и пожали мне руки.

Я уже знал, что в таких случаях стоит вести себя как можно более формально. Пока соблюдаются ритуалы и множество громких слов доставляют всем удовольствие, веселость или дружелюбие неуместны. Их черед придет позже. Так что, нацепив торжественную мину, словно обращаясь к Британской ассоциации, я рассказал, как мог, кто я такой, откуда приехал и что делаю в Испании: что я один из самых преданных читателей великого испанского писателя Сервантеса и давно жаждал увидеть знаменитую деревню Эль-Тобосо, чье название известно всему миру. Один из мужчин ответил, но я мало что понял из того, что он сказал, поскольку он говорил слишком быстро и с деревенским акцентом. У меня, однако, сложилось впечатление, что теперь Тобосо и все в нем принадлежат мне. После этого мы пожали руки, официальная часть встречи закончилась, и все сделались веселы и общительны.

Один из мужчин прошелся вдоль полок и вручил мне издание «Дон Кихота» от «Нансач Пресс». Я открыл его и прочитал: «От Рамсея Макдональда, 11 апреля 1932 г.». Мужчина вернулся с еще одним экземпляром, на сей раз немецким, подаренным Гинденбургом в 1929 году. Итальянское издание было подписано Муссолини. Нашелся и ирландский экземпляр от господина де Валера.

Новые знакомые рассказали мне, что библиотеку собрал бывший мэр Тобосо, дон Хайме Пантоха Моралес, который гордился связью своей семьи с Дульсинеей, чье имя в реальной жизни, как утверждали, было Ана Сарко де Моралес. Около 1922 года блестящая идея пришла в голову его милости: он основал общество Сервантеса и написал королям, президентам и премьер-министрам

стран всего мира, прося их прислать экземпляр «Дон Кихота» в библиотеку в Тобосо. Кто мог устоять против письма с родины Дульсинеи? В результате книги прибывали в Тобосо со всех концов земного шара — дань этой деревне отовсюду, где люди умеют читать. Не знаю, полагают ли до сих пор комментаторы — как, очевидно, считали во времена Форда, — что Дульсинея срисована из жизни и, если так, ее звали Ана Сарко де Моралес; но ничто не разубедит тобосцев в этой теории — на самом деле они заходят намного дальше и утверждают, что Сервантес был влюблен в эту девушку и потому сделал Дон Кихота ее рыцарем. Я подумал, что писатель был довольно странным влюбленным, раз описывал даму сердца такими словами, как Санчо своему хозяину! Среди сокровищ Тобосо, представленных моему взору, были две красивых юбки из выцветшей парчи, причем одна — с сотнями маленьких прорезей для бантов и лент, как было модно во времена Филиппа II. Считается, что юбки принадлежали Ане Сарко де Моралес.

Меня провели по Тобосо: в церковь, посвященную святому Иакову из Компостелы, где римский святой верхом на лошади протыкает распростертого неверного, и в разрушенное здание, в котором когда-то стоял пресс для оливкового масла — я узнал огромные кувшины, закопанные в землю, — и который считается домом, где жила Дульсинея. Сцена походила на иллюстрацию к Сервантесу: старинное, похожее на амбар здание, груда сена с роющимися в нем курами, деревенская повозка, отдыхающая на осях, группа добродушных крестьян, широкие мозолистые ладони, указывающие то туда, то сюда.

Мы заглянули в винную лавку и подняли тосты за Дульсинею, Дон Кихота и Сервантеса, вином, которое отдавало кожей меха и напомнило мне *retsinata*, которую пьют в Греции. К этому времени я уже

перестал быть степенным *hidalgo* сегодняшнего дня: я стал *compañero* и даже больше — *hombre*. А потом деревенские стояли у церкви и махали мне на прощание.

Я доехал до Мадрида, когда сгущалась темнота. Дневная жара, приправленная бензином и маслом, кралась по улицам, словно убийца в безветренном воздухе, а мостовые были раскалены, как стальные листы в котельном отделении корабля.

§ 9

В большинстве жарких стран ночи сравнительно прохладны, часто поднимается ветер, который освежает воздух, но в Мадриде, несмотря на плоскогорье, на котором он стоит, воздух летом всю ночь остается неподвижным. Самые терпимые часы, как я обнаружил, — между шестью и примерно девятью часами утра. Мне нравилось гулять по Мадриду в это время, хотя все было закрыто, кроме газетных киосков; но чрезвычайно респектабельная старая леди, у которой я покупал сигареты с черного рынка, уже несла вахту на углу, открыто выставляя свою контрабанду.

Я навел друга в его конторе однажды днем и обнаружил, что он работает — разумеется, в пиджаке, — а электрический вентилятор дует на него холодным воздухом с большого куска льда.

— Это ерунда, — сказал он, когда я пожаловался на жару. — Подожди до конца июля.

Тем не менее было достаточно жарко, чтобы те из моих друзей, кто мог себе это позволить, отослали жен и семьи в небольшие коттеджи близ Эскориала и выше, на сьерру, а сами вели холостяцкую жизнь в Мадриде. Хотя я люблю жару и привез с собой одежду для тропиков, я обнаружил, что мадридский июльский зной

лишает меня жизненных сил. Все, на что меня хватало, — погулять часок около Прадо утром, потом принять холодную ванну, пообедать и провести день в душной спальне. Я поражался, почему Филипп II не построил Мадрид рядом с Эскориалом или — если ему так уж понадобилась решетка для жаровни — Эскориал в Мадриде. С сиестой, занимавшей все послеобеденное время, я вынужденно дожидался поздних часов — и обнаруживал, что ужинаю в то время, когда обычно отхожу ко сну.

Я значительно расширил свои познания в мадридских ресторанах. Один был обставлен деревянными скамьями, а его стены — увешаны плакатами бычьих боев; еда там оказалась первоклассной, а кроме того, иногда сюда заходили мужчины рискованного вида, которых я решил считать *matadores*: они ужинали со столь же опасными блондинками, которые иногда приносили с собой маленьких собачек. Баскский ресторан наивысшей пробы я посетил лишь однажды; а когда пришел туда снова, то обнаружил, что он закрылся на все оставшееся лето. Там делали лучший *gazpacho*, какой я пробовал, и по части рыбы им было уже нечему учиться. Известный ресторан, который готовил молочных поросят с восемнадцатого века, меня разочаровал, и такое же впечатление сложилось о других заведениях, которые посещают туристы, — деревенская атмосфера в них, пожалуй, лучше еды. Зато был превосходный галисийский рыбный ресторан, где я сидел в открытом дворике, ел крабов-пауков и пил белое вино с северного виноградника хозяина. В общем, самую лучшую еду я находил в непрезентабельных на вид местах. В великолепном ресторанчике в переулке подавали бифштексы с грибным соусом; а в другом, украшенном от пола до потолка раковинами гребешков, могли, если вы протиснетесь через толпу в баре в маленькую

комнатку на задах, сотворить идеальную еду, да и вино было превосходным. Лучший напиток в жаркую погоду — это *Sangria*, красное вино с содовой, льдом и долькой лимона; иногда к этому добавляется маленький бокал коньяка. Ночью, когда я возвращался с позднего ужина, было странно видеть улицы, заполненные людьми. Полночь не имеет значения для испанцев, как, вероятно, и история Золушки: ведь когда часы били двенадцать, бал бы только начинался. Иногда я выходил на маленькие площади — особенно я запомнил Пласа де Санта-Ана, — где собиралось все окрестное население, дети играли, словно днем, сновали официанты в белых пиджаках и люди прогуливались по площади, радуясь отсутствию солнца. Даже в Риме вид фонтана никогда не казался мне настолько желанным, и я приходил в восторг всякий раз, когда изваяния Нептуна и его морских коней, огражденные прохладными струями зеленой воды, открывались моему взору на Пласа де Кановас.

Проходя мимо Мединасели вечерами, я заметил церковь, чьи окна над портиком были устроены так, что любой прохожий мог с улицы увидеть фигуру Христа в человеческий рост, стоящую над алтарем в свете ламп. В этой стране Богоматери столь непривычно видеть Христа на почетном месте над алтарем, что я зашел внутрь. Я обнаружил, что фигура, искусно вырезанная и раскрашенная, отвечала испанской жажде глубокого, напряженного реализма. Спаситель стоял со связанными руками, в терновом венце и великолепно расшитой мантии пурпурного бархата. Думаю, волосы, ниспадающие по обеим сторонам лица, были настоящими. Как-то вечером пятницы я увидел около этой церкви очередь, которая тянулась по всей улице, заворачивала за угол и терялась в темноте. Когда я возвращался двумя часами позже, очередь выглядела столь же длинной. Она состояла из испанцев. Я вошел в

церковь и увидел, что та почти пуста, но нескончаемая процессия ползла вдоль южного придела к ступенькам за алтарем. Люди поднимались по ступенькам, проходили перед фигурой, потом спускались с другой стороны и выходили мимо северного придела. Каждый — мужчина или женщина — подходивший к статуе опускался на колени и будто целовал ей ноги.

Я рассказал об этом своему испанскому другу, и он ответил: «Это был Иисус де Мединасели. Большинство молодых мужчин и женщин, которых ты видел, приходили попросить Иисуса дать им *novia* или *novio*, поскольку его считают покровителем влюбленных».

§ 10

Как-то днем я прошел мимо королевского дворца и спустился по крутому холму к Мансанаресу, чтобы навестить могилу Гойи. Большой и чистый железнодорожный вокзал теперь определяет стиль района, но рядом с ним я заметил слабый отголосок семнадцатого века: здесь тяжелые кареты того времени гроыхали в вечернем *paseo* у переливов речных струй. Я зашел в маленькую церковь, посвященную святому Антонию и выстроенную в форме греческого креста. Смотритель отпер дверь и провел меня к алтарю, где под мраморной плитой лежит художник. В нескольких футах над ним поднимается купол, который Гойя столь живо расписал сценкой, исполненной цвета, изящества, красоты, очарования, элегантности — абсолютно всех достоинств, кроме благочестия. Как блестяще он решил проблему изображения чуда святого Антония по круглому куполу! Мастер нарисовал вокруг купола балкон с железными перилами и сгруппировал персонажей так искусно и реалистично, что чувствуешь: один неверный шаг — и

они посыплются на пол церкви. Нет нужды говорить, что это не обычная пораженная благоговением толпа, а блестящее отражение Мадрида Гойи. Фигуры выглядят так, словно камера-обскура показывает улочку Мадрида, со всеми ее многообразными персонажами, с крыши церкви. И где-то на заднем плане святой Антоний, обыкновенный с виду испанский монах, возвращает человека к жизни; но веселые придворные дамы и прочие, кого столь непривычно видеть на церковных росписях, совершенно не поражены благоговением и не падают почтительно на колени. Они куда больше заняты собой — пожалуй, так они наблюдали бы за мелким уличным происшествием. Я решил, что это одна из самых замечательных картин, написанных Гойей.

Кто-то положил на его могилу венок, перевязанный красным и оранжевым — цветами Испании. Гойя умер в изгнании, в Бордо, как и многие выдающиеся испанцы. Когда в 1888 году решили перевезти его останки в Испанию, могилу вскрыли и обнаружили, что среди останков нет черепа. Эта загадка так и не прояснилась, и ничуть не помогают сообщения, что рисунок под названием «Череп Гойи» кисти Дионисио Фьерроса, позже пропавший, был популярен в Испании девятнадцатого века.

Глава восьмая

Сеговия, Авила, Памплона

*В Сеговию. — Заколдованный замок.
— Святой Хуан де ла Крус. — Авила, город
рыцарей. — Мать Кармела. — Бургос и его
собор. — Дамы Хиля де Силоэ. —
Королевские гробницы Лас Уэльгас. —
Курятник собора Санто-Доминго. —
Праздник Сан-Фермин в Памплоне. —
Визит в Ронсевальское ущелье.*

§ 1

Быстрый и элегантный электропоезд, который ходит из Мадрида в Сеговию, подбирался к подножиям Сьерра-де-Гвадаррама, и в первый раз за несколько дней я наслаждался свежим воздухом. Эскориал исполнял роль величественного церковного ориентира по левую сторону — этаким архитектурный танец певчих, — когда поезд в очередной раз поворачивал на извилистом пути в горы. Я видел маленькие виллы, некоторые с бассейнами — сюда удачливые жены и семьи отправляются на время летней жары, — а на платформе каждой станции стояли семейные группы, приветствовавшие бледных гостей из столичной духовки. Возможна ли большая противоположность, чем эти пламя и лед Кастилии? В Мадриде на смену жары июля и августа приходят зимы столь холодные, что дороги через горы размечают двадцатифутовыми каменными столбами, словно воротами, чтобы показать направление движения по местности, засыпанной снегом.

Поезд спустился по склонам с другой стороны гор и скоро уже поспешал к холмистому городу Сеговии.

Мне рекомендовали новый отель, который я обнаружил на узенькой улочке; несколько ярдов мостовой отделяли его от романской церкви, на вид старой как мир. Я пришел в восторг от своей спальни, помещавшейся высоко над землей и открывавшей замечательный вид поверх крыш в долине на холм, на который взбирались кальварии, словно на Голгофу. Горизонт очерчивала волна желтой пшеницы, которую жнецы как раз готовились убирать. В Андалусии урожай собрали некоторое время назад, а к югу от Мадрида он уже был сложен в полях, но здесь, всего в шестидесяти милях к северу, только вострили серпы. Высунувшись из окна, я разглядел красивый собор справа и отрезок старинной стены, протянувшийся в отдалении. Как у большинства средневековых стен, у нее были полукруглые бастионы, выступавшие через равные интервалы — многие из них ныне служили задними стенами домам. Вид этой последовательности плавных выступов чрезвычайно напоминал террасы в Бате, и я подумал, не стало ли окно, сделанное в древней башне, прародителем георгианского застекленного полукруглого эркера.

В маленькой церкви Святого Мартина напротив я увидел изваяние распятого Христа, одетого в короткую складчатую пурпурную юбку. В Кастилии распятый Христос никогда не появляется в одной лишь набедренной повязке; эти юбки, которые делаются из бархата и расшиваются по краю золотыми кисточками, можно снимать, и время от времени их заменяют. Также там была картина мучительной смерти Христа работы Грегорио Эрнандеса — произведение великолепное и страшное: рот Спасителя приоткрыт в последнем стоне, глаза потускнели, из всех ран течет кровь.

Снаружи церкви пролеты гранитных ступеней ведут в верхнюю часть города, а на середине подъема возвышается бронзовая статуя героического юноши в доспехах, имеющего явное сходство с Жанной д'Арк. На постаменте написано только «Хуан Браво»^[104] — полагаю, Сеговия уверена, что весь мир знает, кто это такой. Должен сказать, что в стране, где неудачливых реформаторов увековечивают редко, это интересный памятник.

Хуан Браво был одним из трех лидеров комунерос, членов «комунидадес», или муниципальных округов Кастилии в XVI веке. В отличие от современных людей, которые с воловьей стойкостью позволяют сборщикам налогов пускать себе кровь, комунерос подняли восстание, когда юный король Карл I собирал налоги с испанских территорий, чтобы деньгами проложить себе путь к трону империи и стать императором Карлом V — под этим титулом он больше известен.

Когда я увидел Сеговию впервые, впечатления были сплошь приятными. Я решил, что это одно из самых спокойных мест, какие я видел в Испании, и одно из самых романтических. На самом деле есть два города: верхний и нижний. Верхний город толпится вокруг собора и великолепной пласы, где Изабеллу впервые объявили королевой на помосте под открытым небом. Перед ней несли меч государства, вокруг реяли знамена Кастилии и Леона, а она прошествовала к собору, где пели «Te Deum». Это происходило не в нынешнем соборе, а в предыдущем, который позже разрушили комунерос. Верхний город Сеговии спокоен и сдержан, и атмосфера здесь не слишком отличается от окрестностей собора в Англии. Здесь нет буйной жизни толедской Пласа де Сокодовер, где автобусы, фырча, взбираются на холм, — в Сеговии автобусы высаживают своих пассажиров в нижнем городе. В верхнем городе

несколько хороших кафе и по меньшей мере одна простенькая, но восхитительная маленькая таверна, где еда превосходна, а официанты всегда приносили мне маленький подарок вместе со счетом: китайскую пепельницу, коричневый кувшинчик, вазочку, расписанную цветами, — а однажды даже довольно большой кувшин. На площади есть книжная лавка с окном, полным заголовков, которые оказалось легко перевести. Я увидел «Adventuras de la Pimpinela Escarlata» баронессы Орци, «El Extrano Caso de la Señorita Annie Sprag» Луиса Бромфилда и «Las Aventuras de Huckleberry Finn». Издатель романа Харлана Уэра «Veneno Implacible»^[105] написал: «Алкоголизм и гангстеры — это страшная болезнь Северной Америки» — всякий испанец, посмотревший старые фильмы о Диком Западе и гангстерах, знает, что это правда. Я был рад увидеть, что Вальтера Скотта издают в серии «знаменитые романы».

Собор, чьи двери скрипят еще надрывнее, чем большинство дверей в Испании, — красивая церковь из теплого камня медового цвета, с прелестными крытыми аркадами. В нефе я увидел объявление, которое гласило: «Не плевать, религия и гигиена это запрещают». Испания сильно подвержена этому средневековому пороку и остается одним из последних оплотов мира бронзовых плевателей.

Нижний город Сеговии жметя к акведуку — одному из прекраснейших римских памятников мира. Этот гигант шагает через дорогу и завораживает всякий раз, как его видишь. Иногда, с солнцем за спиной, он предстает огромным величественным силуэтом, в остальное же время гранитно-сер и бур; автобусы, таксомоторы и деревенские телеги проезжают под его громадными арками, а в нескольких ярдах стоит под полосатым зонтиком полицейский в белой куртке и

шлеме и управляет движением под этим великолепным образцом римского инженерного искусства. Он производил бы внушительное впечатление и в самом Риме, а здесь, в бывшем провинциальном римском городке, такое зрелище побуждает считать, как верили средневековые крестьяне, что в те времена здесь жили великаны. Но это не мертвый остов прошлого. Мне сказали, что он до сих пор несет Сеговии воду, только в закрытой трубе.

Акведук — настоящий общественный центр Сеговии. К нему прибывают и от него уходят автобусы; полагаю, здесь зарождаются всякий слух или байка, прежде чем подняться по холму. Вечерний *paseo* болтает и смеется на своем пути вниз от Пласа Майор, по узкой крутой Калье де Хуан Браво, мимо замечательного *Casa de Las Picos* — Дома гвоздей, украшенного выпуклыми камнями, создающими эффект обитой гвоздями двери, — и заканчивается в длинной тени акведука. Воскресным вечером, когда обычная толпа невысоких смуглых и темноволосых девушек пополняется множеством солдат из близлежащих казарм — все в хаки и белых перчатках, — *paseo* приобретает истинно столичную оживленность. Известный ресторан около акведука, где можно отведать местные блюда, обложенные фестонами чеснока, в обстановке, больше похожей на выставку искусств и ремесел, всегда полон по воскресеньям, и приезжие обходят зал, читая высказывания политиков, художников, поэтов и даже, думаю, Франко, а уж Примо де Риверы непременно, которыми покрыты все стены. Как-то раз я заказал суп, именовавшийся «супом Карла V» и выглядевший как сильно приправленный куриный бульон, в который разбили яйцо — в последний момент, когда суп уже кипел.

Фирменными блюдами Сеговии являются запеченный молочный поросенок (я удивляюсь, как

свиньям в Кастилии вообще удастся иногда пережить детство) и восхитительный запеченный барашек, вскормленный на склонах холмов и приправленный диким шалфеем. В Испании три пояса кухни, и, как утверждает испанская пословица, *«en el sur se fríe, en el centro se asa y en el norte se guisa»*: на юге поджаривают, в центре запекают, а на севере тушат. Сеговия, конечно же, расположена в сердце страны запекания, и я нашел, что кухня здесь высочайшего качества. Как я мечтаю вернуться в Испанию и, так сказать, проесть путь из Севильи в Мадрид, потом размеренно прогрызться через Кастилию и прожевать в Страну басков — и, продвигаясь медленно и со вкусом, переползти, словно гусеница, через Астурию в Галисию. «По Испании с ножом и вилкой»! Можно ли представить более аппетитный заголовок? Какой-нибудь Борроу от гастрономии или эпикурец Форд могли бы написать классическое произведение на эту тему, ибо в мире стандартизации и рефрижерации Испания — страна, где каждая провинция подобна новому ресторану, гордящемуся традиционной кухней и напитками; страна, где люди не могут воздать большей хвалы городу, чем отметить, что «хорошо там поели».

Один из лучших моментов в Сеговии, да и во всей Испании — закат. Сумерки короче, чем в Англии, но это и не внезапное африканское погружение во тьму. Иногда я видел башни собора, чернеющие на фоне розово-красных облаков, разгоравшихся до огненно-оранжевого, и вся равнина со стоящим на холме городом впадала в многозначительное молчание, нарушаемое лишь звуком церковного колокола, который вызванивал последние мгновения дня. Это время сильных чувств, настоящий миг истины, когда человек ощущает, что все святые Испании: Исидор, Ильдефонсо, Евлалия, Тереза, Игнатий, Хуан де ла Крус — наверное, собрались в каком-то небесном уголке и

смотрят вниз, на темнеющую землю. Потом цвет с неба уходит и зажигаются звезды.

§ 2

Самая интересная достопримечательность Сеговии — это алькасар, замок из сказки, увенчанный тонкими подсвечниками башенок, укрытых шапками крутых шиферных крыш, похожими на воронки. Замок построен из беловатого камня, который придает ему неземной, бесплотный вид, особенно в сумерках, когда он может показаться летящим по ветру сном о рыцарстве или главой из Фруассара, которая, обретя форму и плоть, опустилась отдохнуть на этот испанский утес. Или — сменим метафору — галеон под названием «Тинтагель», плывущий по воздуху, и все рыцари Круглого стола на его палубе чистят доспехи, пока их оруженосцы обихаживают боевых коней, а прекрасные дамы, все как одна в высоких заостренных головных уборах с ниспадающей вуалью, склоняются над вышивкой и бросают на рыцарей лукавые взгляды. Великолепное зрелище, идеальный замок из детской книжки с картинками.

Лучший вид на это романтическое сооружение — из долины, где вы поднимаете взгляд и видите, как оно парит в небе, его стены и башни плотно вросли в скальный выход; а если у вас достаточно сил, чтобы обойти вокруг скалы и подняться по крутым ступенькам в город, вы получите другой, даже более романтический вид — в раме стройных тополей. Замок перестает быть прозой: это песня, спетая на провансальском жонглером в круглой плоской шляпе с загнутыми полями на золотистых волосах. Этот жонглер сидит у окна, настраивая лютню, и закидывает красную

ногу на зеленую — а песня, которую он поет, конечно же о любви:

Anc sa bela bocha rizens
Non cuidei, baizan trais...

«Я никогда не думал, что ее улыбчивые уста могут предать меня...» — старинная песня, которую Вильяр де Корбье певал в замках, таких как этот, чьи створчатые окна отворялись над пропастью, глубокой, словно людская глупость.

Я так восхищался алькасаром снаружи, что, как мог, откладывал его посещение, уверенный, что оно принесет лишь разочарование. Но, как ни странно, этого не случилось. Я прошел по анфиладам каменных покоев, чьи окна позволяли увидеть равнину с высоты птичьего полета; некоторые комнаты красиво отделаны, и там есть очаровательная часовенка с ширмой конца пятнадцатого века из кордовской кожи, тисненной большими и маленькими попугаями из Индии, — именно тогда люди впервые увидели таких птиц. Я уверен, мы преувеличиваем неудобства жизни в средние века: при наличии гобеленов и горячей воды в алькасаре чувствуешь себя не менее уютно, как в любой квартире с центральным отоплением в Нью-Йорке или Лондоне. Думаю, гобелены были решением всех проблем украшения интерьера в средние века, так что, имея сундук шпалер, вы могли превратить мрачный каменный зал в шкатулку драгоценностей за десять минут.

Первая мысль астронома-любителя, посещающего алькасар, — здесь идеальное место для телескопа; приходишь в восторг, узнавая, что многомудрый король Кастилии Альфонсо X создал большую часть своих математических, астрономических, юридических и

литературных работ в этом замке. Он был современником Генриха III Английского и Роджера Бэкона и, кажется, первым заслуживающим упоминания мыслителем в Испании севернее Кордовы. Мне показали окно, из которого маленький дон Педро, сын Энрике II Трастамара, выпал и разбился насмерть в 1366 году, а следом тут же выбросилась его нянька, избежав таким образом наказания. Могила принца можно увидеть в соборе: маленькая фигурка с длинными волосами, подстриженными на лбу по прямой, в одежде средневекового пажа, лежит, сомкнув ручонки на рукояти маленького меча. Изабелла жила в алькасаре, когда ее призвали, чтобы провозгласить королевой. Именно здесь — возможно, в большом тронном зале — Филипп II, сорокатрехлетний и поседевший раньше времени, переодевшись, смешался с придворными и впервые увидел свою четвертую жену: собственную племянницу Анну Австрийскую, на которой он решил жениться по политическим и династическим причинам. Судя по всему, она произвела хорошее впечатление легкомысленной богемской шляпкой с пером и амазонкой с коротким плащом из алого бархата. Браки Филиппа прекрасно иллюстрируют «триумф надежды над опытом», по словам доктора Джонсона, но на сей раз королю повезло, и династия Габсбургов сумела сделать еще несколько шагов.

Алькасар также давал кров нашему Карлу I, тогда принцу Уэльскому, на его пути домой, в Англию, после визита в Мадрид. Здесь принц отведал «форелей необычайной величины», выловленных, несомненно, в Эресме или Кламоресе, которые скачут с уступа на уступ у подножия замка. Покинув алькасар, можно спуститься с холма к перекрестку у церкви Веракрус, взглянуть оттуда на крепость — и решить, что, хотя замки бывают куда внушительнее, ни один столь полно

не соответствует традиционным требованиям к замку в Испании: замок должен быть подобен сну.

Маленькая бурая церковь Веракрус, ныне заброшенная, построена, как и Темпл в Лондоне, по образцу круглого храма Гроба Господня в Иерусалиме, каким его видели рыцари-тамплиеры. Это небольшое, но внушительное здание напоминает о том, что госпитальеры и тамплиеры принимали большее, чем принято думать, участие в непрерывном крестовом походе Испании. Церквушку, вероятно, возвели через несколько лет после битвы при Лас-Навас-де-Толоса, когда участвовавшие в крестовом походе рыцарские ордена объединились вокруг Альфонсо VIII и покрыли себя неувядаемой славой. В центре церкви стоит любопытная двухъярусная конструкция — возможно, она символизирует Гроб Господень. Ступеньки ведут на верхний ярус, где, по преданию, претенденты на рыцарское звание совершали ночное бдение над оружием, а утром спускались в нижний ярус, где облачались в доспехи и получали акколаду.

Недалеко от церкви поднимается нагретый солнцем склон холма, душистый от дикого шалфея, с его вершины течет тонкая струйка воды. У холма, фактически встроенная в него, чтобы образовался грот, стоит церковь кармелитского монастыря. Я стоял, разглядывая сквозь прутья огромной черно-золотой *reja* алтарь, где восседает на троне Богородица в барочном великолепии, и едва мог поверить, что видимая мною картина — не следствие игры света. Может ли Богоматерь держать фельдмаршальский жезл? Кажется маловероятным, но все же так и есть. Священник рассказал мне, что во время гражданской войны генерал Варела пожаловал этой Мадонне официальный титул капитан-генерала. Это напомнило мне услышанную где-то историю, пришедшую из противоположного лагеря — о Богородице в деревне

социалистов, которую сделали членом местного профсоюза: ей даже выдали членскую карту. Хотя кому-то это может показаться странным и даже непочтительным, но такова религия в повседневной жизни. Именно это имела в виду святая Тереза, когда говорила о нахождении Христа «в кухне, между горшками и кастрюльками».

В другой части церкви я нашел небольшой люк в мощеном полу и, поскольку рядом никого не было, отважился его открыть — и обнаружил, что смотрю в пустой склеп. Тогда я заметил надпись, которая гласила, что нетленные мощи святого Хуана де ла Крус покоились здесь до его беатификации в 1675 году. Я взглянул вверх и увидел огромную картину, ярчайшими красками изображающую апофеоз святого Хуана де ла Крус и святой Терезы. Оба святых возносятся к небесам сквозь гигантские клубящиеся облака рая: святая Тереза — на колеснице, влекомой купидонами с завязанными глазами, а святой Хуан де ла Крус — в повозке, запряженной орлами в коронах. Ее колесница символизирует солнце, а его — луну, ибо Хуан, конечно же, был мистиком школы ночи, узревшим свет во тьме.

Мощи святого Хуана де ла Крус вынули из склепа и поместили в большую и роскошную гробницу неподалеку, поразившую меня до глубины души. Поистине великанская гробница для крошечного святого — он был ростом всего пять футов два дюйма, — помпезное вместилище для маленького тела, чей владелец, пока был жив, всегда считал его досадной помехой, неудобством, требующим сурового обращения. Из всех испанцев, прошлых и нынешних, святой Хуан де ла Крус, или Иоанн Креста, — самый трогательный и самый бесплотный. Он плыл по религиозной истории Испании шестнадцатого века, словно дух — кажется даже, что он почти не привязан к земле. Он писал любовные стихи, обращенные к Богу, и

эти стихи прекраснее всех, когда-либо написанных святыми. В поисках вдохновляющей мудрости этот великий духовный исследователь всегда выходил скитаться ночами, чтобы славить Бога в темноте. Невозможно думать о нем отдельно от святой Терезы; встретив Хуана впервые еще юношей, она с первого взгляда ощутила его святость и втянула молодого монаха в кармелитскую реформу.

Духовные приключения святого Хуана де ла Крус хорошо известны изучающим мистицизм, но его земные опыты, возможно, не так знакомы. Даже странно думать, что святой Иоанн Креста вообще имеет отношение к мирской жизни. Некоторое количество рассказов о нем собрали, когда начался папский процесс его беатификации, и эти истории открывают нам святого в обыденной жизни, а не в молитвенном экстазе посреди неуютной кельи.

Забавно представлять пятифутового святого Хуана, приказывающего паре испанских головорезов прекратить драку. Это произошло, как свидетельствует отец Мартин де ла Асунсьон, когда они со святым путешествовали на мулах недалеко от Гранады. Когда они проезжали мимо трактира, оттуда выскочили два разъяренных андалусийца с ножами в руках и начали нападать друг на друга. У одного уже шла кровь. Святой воскликнул: «Во имя Господа нашего, Иисуса Христа, повелеваю вам прекратить брань!» — и бросил между ними свою шляпу. К удивлению зевак, которые уже некоторое время пытались разнять дерущихся, мужчины посмотрели на маленькую фигурку на муле и послушались. Тогда святой Хуан спешился и, как рассказывают, учинил настолько неожиданное примирение, что дуэлянты не только обнялись, но и поцеловали друг другу ноги!

Однажды, когда святой обсуждал божественные материи с кармелитскими монахинями в Гранаде,

сестра процитировала стих из книги, которую только что опубликовали. Святой попросил ее повторять строки, пока не выучил их наизусть. Тогда он отправился в келью и написал одно из самых известных своих стихотворений, которое начинается так:

Жаждой охваченный странной,
ждал я заветного срока —
и полетел я высоко,
цели достиг я желанной!

Я так высоко поднялся,
этим восторгом влекомый,
что в вышине незнакомой
я навсегда потерялся [\[106\]](#).

Не слишком приятно вспоминать, как этот добрейший и милостивейший из святых подвергался гонениям не подчинившихся реформе членов собственного ордена и как они секли его тело, пока то не превратилось в сплошную рану.

«Я счастлив, очень счастлив, — воскликнул он на смертном одре, — ибо, ничем не заслужив этого, я буду на Небесах уже сегодня».

Я знал, что когда мое путешествие окончится, я буду часто вспоминать эти прогулки по вечерам к церкви Веракрус, вокруг холма и вверх по крутой дороге с заросшим деревьями ущельем слева, где Кламорес бежит, звеня, к Эресме. Тогда я почувствовал себя настолько близким к Испании, насколько это возможно для иностранца. Мне доставляло удовольствие просто пребывать в одиночестве, сидеть и наблюдать отрадный узор жизни, разворачивающийся вокруг, не задавать вопросов и жить только

сегодняшним днем — а это, по сути, и есть секрет Испании.

§ 3

В один особенно знойный полдень испанские приятели пригласили меня съездить с ними полюбоваться на фонтаны-шутихи в садах дворца Ла-Гранха, в семи милях от Сеговии. Это звучало как восхитительно прохладное времяпрепровождение, и мы договорились встретиться у акведука в полдень, где после недолгого торга наняли такси. Мы оказались в очереди машин и автобусов, набитых отдыхающими, поскольку фонтаны можно увидеть в действии не так часто. Деревенька Ла-Гранха была полна искателей достопримечательностей, и многие тысячи, как показывали номера на стоянке, приехали сюда из самого Мадрида.

Мы сидели в кафе под деревьями у ограды дворца, и мои испанские друзья настойчиво хлопали в ладоши, словно подзывая раба, — без сомнения, еще один мавританский пережиток; наконец к нам подошел заработавшийся официант. Жена моего друга была по происхождению англичанкой, хотя никто бы этого не заподозрил. Она родилась в Испании и побывала в Англии всего раз, во время Первой мировой войны, чтобы повидаться с родственниками с севера. Пока мы попивали кофе, я почувствовал приятное движение воздуха, словно от крыльев сотни бабочек, и, оглянувшись по сторонам, увидел, что все женщины машут веерами.

Дворец был закрыт — я без труда вообразил вереницу комнат, часы и клонящиеся друг к другу подсвечники, — но было интересно обойти вокруг огромной французской оранжереи, которую построил

Филипп V, чтобы она напоминала ему о возлюбленной Франции. Дворец совсем не похож на Версаль, вопреки настойчивым утверждениям всех путеводителей, хотя явно несет на себе некий французский отблеск и выглядит красноречивой реликвией смены династий, с Габсбургов на Бурбонов. Мы осмотрели ряд фонтанов, которые начинаются от дворца и продолжаются вверх, расходясь в разные стороны среди высоких деревьев. Мы встретили Нептуна и его морских коней, вынырывающих из озера; мифологические группы и отдельные статуи стояли в разных позах на скалах, ожидая волшебного мгновения, когда кто-нибудь повернет колесо и оросит их водой.

В шесть часов каждый человек в Ла-Гранхе занимает выгодную наблюдательную позицию, готовясь к великому моменту. Первым заигравшим фонтаном стал каскад, который спускается из верхней части садов несколькими большими ступенями и весьма походит на грандиозную трубчатую лестницу. Толпа кипела энтузиазмом, словно впад в детство; среди тысяч молодых людей, съехавшихся издалека и из окрестных городков, многие носили шорты, которые могли бы счесть вульгарными и неуместными вне теннисного корта или пляжа. После обычной испанской волокиты внезапно раздалось журчание воды, и в кувшинах каменных дев появилось несколько пинт неизвестного происхождения, но потом все стихло. И вдруг каскад заработал на полную мощность, вода полилась в него серебряной рекой, там и сям забили струи, образуя водяные навесы над головами богов и богинь. Мы насладились зрелищем не раньше, чем каскад выключили, а толпа, знакомая с процедурой, внезапно побежала через рощи и сады, чтобы успеть к следующей группе фонтанов вовремя. Какой контраст составляло это пышное и довольно бессмысленное хвастовство водой со скромными арабскими

фонтанчиками юга, где самая скромная струйка, поднимающаяся в патио, приносит больше прохлады и красоты, чем вся расточительная машинерия каскада и фонтана восемнадцатого века! Чувствуешь симпатию к Филиппу V: говорят, впервые увидев эти играющие фонтаны, он обронил: «Они стоили мне три миллиона, а забавляли три минуты». Подозреваю, любого из халифов эти фонтаны не развлекли бы даже на столь краткое время.

§ 4

Автобус в Авилу выезжает вечером из маленького гаража около акведука. Зарезервировав место, я прибыл как раз вовремя, чтобы опередить человека, который всегда приходит первым и намертво втискивается в чужое кресло. В наше время таксомоторов есть что-то восхитительно архаичное в следовании по узкой дороге за гостиничным носильщиком, который везет ваши вещи на маленькой тележке. Я прошел мимо *Casa de Picos* и заскочил пожелать всего доброго хозяину ресторана, где ел *cordero*^[107] и *cochinillo*^[108], не говоря уже об откормленных *perdiz*^[109], а потом спустился к акведуку и гаражу. Пассажиры уже собирались: женщина, державшая за ноги двух встревоженных кур, коммивояжер с несколькими чемоданами образцов и крестьяне, возвращавшиеся в свои селения.

Автобус три или четыре раза чихнул и тронулся. Вскоре мы уже взбирались на крутой холм, и пассажиры, подбодренные ревом древнего мотора и скрежетом изношенных передач, перекрикивались друг с другом на пределе громкости, как это делают испанцы, решительно намереваясь создать больше

шума, чем автобус. Леди Фэншоу заметила в семнадцатом веке, что, когда испанцы куда-нибудь едут, «они самые шумные и жизнерадостные люди в мире»; и это столь же справедливо сегодня. Рядом со мной сидел молодой человек с профилем попугая, который напевал себе что-то под нос, аккомпанируя мотору, — и когда старый Росинант фыркал и чихал, залезал на встречную полосу (как делают все автомобилисты в Испании) или переключал передачи на вершине холма, голос юноши триумфально повышался, почти до *cante hondo*^[110], возможно, в подражание. Еще была в автобусе деревенская девушка в своем лучшем платье, с завитыми волосами, накрашенными губами и ногтями. Во времена Форда, полагаю, она бы оделась в ярко-алый и желтый, цвета провинции, и какую-нибудь изящную соломенную шляпку, сплетенную в сотни маленьких рюше; такие до сих пор можно купить в Сеговии, а носят их поверх ярких шарфов, охватывающих тулью. Но ничто не может удержать моду: она проникнет в самую далекую хижину на самом затерянном островке. Несколько лет назад группу бушменов и бушменок послали из пустыни Калахари на выставку в Кейптаун, где их увидел я. Это были маленькие, кофейного цвета человечки с ножками-палочками и выпяченными животами; самый высокий из них достигал роста десятилетнего ребенка. Они говорили друг с другом на языке щебечущих и щелкающих звуков. Среди сморщенных, похожих на обезьянок женщин была одна почти хорошенькая, и через несколько часов после попадания в цивилизацию она разжилась — неизвестно, каким образом — помадой, которую, используя кусочек стекла в качестве зеркала, нанесла на губы со всей уверенностью следящей за модой женщины. Женщины более консервативны, чем мужчины, в том, что влияет на

удобство, но более предприимчивы во всем, что касается внешности.

Мы ехали навстречу заходящему солнцу по плоскогорью, которое представляло собой по большей части голые камни и заросли кустарника. Слева открывался великолепный вид на Сьерра-де-Гвадаррама, и безбрежная меланхолия, казалось, исходила от садящегося солнца и растекалась по земле, как бывает в Ирландии. Поля жнивья и редкие акры пшеницы возвещали о приближении деревни; белые домики стояли в тени церкви, а почтальон ждал на автобусной остановке. Мы бросали ему тощую кожаную сумку с почтой и, возможно, выгружали пару мешков или деревянный ящик. Выходящих пассажиров приветствовали собравшиеся родственники, будто люди вернулись с Великой Китайской стены. Детей горячо осыпали поцелуями. Деревенский балагур отпускал пару реплик, которые в автобусе принимали с улыбками, и мы срывались прочь, пугая кур, оставляя позади запах древесного дыма и унося память о женщинах в черном, сидящих над шитьем у дверей домов. Мы остановились в скромной маленькой деревушке, где девушку с накрашенными губами и ногтями встретили отец, мать, дедушка и бабушка, а также несколько других родственников и бесчисленные *ninos*. Автобус стоял достаточно долго, так что мы увидели, как юная модница входит в дом, который был стар, еще когда Дон Кихот скитался по испанским деревням. Полагаю, она смоет боевую раскраску и на следующий день сделается простой деревенской девушкой, займет свое место у фонтана или станет помогать на току. В другой деревне к нам присоединились две других модно одетые девушки, направлявшихся в Авилу.

Солнце село, и ржаво-красная полоса протянулась через безоблачное небо. Мы проехали гумна, где *trillos*,

приводимые в движение мулами и быками, медленно вращались в сгущающихся сумерках. Темную дорогу оживляли силуэты деревень, неизменных и неизменяемых. Я созерцал Испанию наших дней, Филиппа II, возможно, даже Сиды — и жизнь продолжалась, как всегда; а сверху взирала на паству ее посредница между этим миром и тайнами запределья, Святая Дева с овальным ликом, восседающая на троне в плаще из золотой парчи.

Прежде чем мы добрались до Авилы, в небо выплыла полная луна, и я с трудом уже верил, что прошел месяц с тех пор, как я видел ее озаряющей сады Хенералифе. Было почти холодно, поскольку Авила находится почти в четырех тысячах футов над уровнем моря — это самый высокий город в Испании. Когда я предположил, что автобус собирается с силами перед взлетом на холм и пласу, он повернул налево и аккуратно въехал прямо в гараж. Юноши, ожидавшие этого момента, приняли каждый по пассажиру и, забросив на плечи его багаж, направились вверх по холму. Следуя за своим носильщиком, я пришел наконец к высоким, украшенным зубцами воротам и увидел башни и бастионы, разбегающиеся в лунном свете, насколько хватало взгляда. Сквозь ворота мы вошли на темные улицы, от которых ответвлялись еще более узкие и темные переулки, и я подумал: «Что ж, у меня получилось! Я действительно прошел сквозь дверь в стене. Это средние века, о которых я столько прочитал. Я узнаю их. Смогу ли я попасть обратно?»

Молодой человек привел меня в хаотичный отель, где мне сказали, что я могу получить номер и ванну. После четырех лестничных пролетов мне показали облезлую комнатку, где стояла кровать неудобного вида, с ванной в изголовье, выступающей в комнату углами, будто водопроводчик только что сбросил ее тут. Это была буквальная правда: «Комната и ванна»! Но я

убедил коридорного дать мне менее экзотический номер и из окна увидел западный фасад авильского кафедрального собора, тронутый лунным светом.

§ 5

Авила — единственный город в Европе, целиком обнесенный стеной. На стене возвышаются восемьдесят шесть башен, и единственный способ войти в город или выйти из него — через любые из девяти ворот. Когда смотришь на Авилу с дороги в Саламанку, что, по моему, является наилучшим ракурсом из всех возможных, город, по форме узкий овал, оказывается чуть наклоненным к тебе. Можно разглядеть внутри стен массу красночерепичных крыш, встречающихся под разными углами, и самое высокое здание, собор, разместившийся не в центре города, как можно было бы предположить, но образующий огромный бастион в восточном углу городской стены. Вы также заметите, что довольно большая территория в западной части Авилы заброшена и не заселена, поскольку население в охвате стен в средние века было больше, чем сейчас. Однажды, когда я восхищался этим поистине совершенным памятником средневекового мира, испанец, едущий в Саламанку, остановил свою машину и присоединился ко мне. «О, — сказал он, — вы обязательно должны вернуться сюда зимой и посмотреть на Авилу в снегу. Тогда она прекраснее всего».

Я никогда не забуду свой приезд при лунном свете. Скоро я покинул обшарпанный отель и пошел бродить по городу, ища, где бы поужинать. Около собора стоял невысокий кругленький полицейский в привычном белом шлеме, и к нему я подошел за советом. Он оказался чрезвычайно любезен, и у него было такое

дружелюбное лицо, что, поблагодарив его и назвав *señor*, я в порыве вдохновения приподнял шляпу, прежде чем уйти. К моему неописуемому удивлению, полицейский, чтобы не оказаться превзойденным в хороших манерах и, наверное, сочтя салют слишком официальным, поднял свой белый шлем на несколько дюймов над головой, одновременно низко кланяясь. Этот случай поднимал мне настроение много дней, и я часто улыбался, вспоминая о нем. Подобные быстрые переходы от нормального к абсолютно неожиданному не раз случались с Алисой.

Я обнаружил, что по вечерам жизнь покидает старый город и переходит, болтая, через ворота Алькасара на Пласа де Санта-Тереса, где статуя авильской святой председательствует над кафетериями и волнениями вечернего *paseo*. Я зашел в ресторан, рекомендованный полицейским, но, поскольку было всего лишь девять тридцать, он еще по-настоящему не открылся. Тем не менее мне принесли ужин, в пустом зале, рассчитанном человек на сто. Телятина — фирменное блюдо Авилы, как и маленькие сладкие пирожки, которые делают монахини и которые называются *уetas* святой Терезы. Слово «уета» означает желток, и в начинке этих пирожков слишком много яиц, на мой вкус; они напомнили мне некоторые из наименее удачных турецких сладостей, и хотя *уetas* в Авиле обращены в христианство, я предполагаю, что изначально они были мусульманскими. После ужина я посидел в одном из кафе со стаканчиком «Anís Asturana», которую могу порекомендовать всем, кто любит узо, ракию или абсент. Лунный свет к тому времени стал совершенно оперным. Стены с белыми зубцами и массивные ворота, ведущие на пласу, были залиты зеленым светом, словно вот-вот должно было случиться нечто драматичное, а вереница молодых испанцев, проходивших мимо в современных одеждах,

казалась совершенно лишней. Было нелегко вспомнить, что это не декорации для фильма «Хервард Бдительный» или «Айвенго», но настоящая стена, современница Вильгельма Завоевателя. Я прошел до конца площади и увидел укрепления, вьющиеся в лунном свете, бастион за бастионом, следуя рельефу земли под холмом. Слева от ворот алькасара я увидел широкую дорожку, повторяющую изгибы стены, и прогулялся по ней мимо девяти бастионов и одних ворот, «Puerta de Grajal», решив войти в следующие, что и сделал. Я оказался на маленькой, омытой лунным светом площади с церквушкой в углу — как мне позже довелось узнать, она построена на месте дома святой Терезы. И продолжил свой путь по старинным улочкам; некоторые из них были освещены фонарями, подвешенными высоко на старых домах.

Когда я подошел к собору, то заметил слабый свет в подвале в переулке и, заглянув туда, увидел погреб, где на куче угля спал старик. Фонарь около него отбрасывал свет на черные своды, окутанные пылью и паутиной, тени скрывали громоздкие предметы и груды мешков. Это была сцена из авантюрного романа, а старик явно заснул, ожидая гостя с большой дороги!

Вскоре после полуночи меня разбудил ужасный гвалт под моим окном. Испанцы совершенно невнимательны к ночному шуму, поскольку полагают, что никто еще не спит. Внизу перед темным домом мужчина и женщина кричали и хлопали в ладоши. Наконец появился старик со связкой ключей и впустил их. Это оказался *sereno*, ночной сторож, и — настолько ранних часов я придерживаюсь — первый встреченный мною, хотя они существуют по всей Испании.

Я вышел из отеля уже в семь утра и прогулялся вокруг рыжевато-бурых стен Авилы. Здесь можно увидеть, как старый город съежился, словно инвалид в костюме, который стал для него велик. В средние века и

до того, как морисков изгнали из Испании, я думаю, каждый дюйм Авилы был занят — а теперь пустыми стоят целые акры, где поросшие травой булыжники свалены грудami у стен изнутри. Как рано встают в Испании рабочие! Легенда об испанской лени наверняка распространяется теми, кто никогда не видел крестьян, убирающих урожай при свете луны, или плотников у козел в семь часов утра, как сегодня в Авиле. Я видел пекарей, грузивших круглые буханки в короба на боках лошадей, и встретил молочника с молоком в больших помятых металлических канистрах на спине мула. Пока я любовался собором и отмечал, что восточный конец построен на поддерживающей конструкцию стене, из ближайших ворот вынырнула маленькая торжественная процессия. Пять гвардейцев с винтовками за плечами сопровождали десять молодых мужчин, а за ними, едва поспевая, семенили две бойкие блондинки, несущие небольшие чемоданчики и оживленно болтающие с охранниками. Меня удивило, что в Авиле, с виду такой степенной и возвышенно духовной, есть место какой-либо преступности, особенно связанной с невысокими блондинками, которые определенно не были сестрами милосердия.

Я вышел на открытое пространство, где рабочие разбирали старое здание. Большая часть его исчезла, и кирки и заступы теперь атаковали остатки сводов погребов. Мое внимание привлекла земля: она равнялась по возрасту египетской пыли. Попадались в ней кусочки красноватых черепков и иногда нечто похожее на раздробленные кости. Я понял, что чувствую тошноту из-за бремени веков, этой жизни прошлым, этой тирании традиции — костлявых дланей, протягивающихся из могилы и вторгающихся в настоящее. Я подобрал горсть отвратительной смеси из мертвецов и дал ей просыпаться сквозь пальцы. В Англии мы перешагиваем через наше прошлое, а если

оно мешает нам, отпинываем с дороги; но в Испании прошлое — неуничтожимая мумия, и иногда оно кажется более реальным, чем настоящее.

К этому времени колокола уже звонили к мессе, и я отправился в собор. Там были пять женщин в черном, сбившиеся в стайку, словно набожные вороны. Этот великолепный собор по возрасту совпадает, почти до года, с Даремским. Меня заинтересовали два «дикаря», одетых в листья, изваянные по обеим сторонам западной двери. Я заметил их также внутри собора — как держателей доспехов семьи Вальдеррабанос, а в третий раз наткнулся на них как на держателей щита дома Давила в Авиле. Эти «дикари» были популярными фигурами повсюду в средние века. Иногда можно увидеть рыцарей, спасающих от них прекрасных дев; они воплощались на маскарадах и карнавалах актерами, одетыми в листья; а в Лондоне они обычно возглавляли процессии и расчищали путь бросанием петард в толпу. Их часто называют «зелеными людьми», и их память увековечена в Англии пабами «Зеленый человек».

Как-то днем в Авиле я увидел на клочке пустой земли около одних ворот самый лихой и щегольской бродячий театрик, какой только можно вообразить. Он назывался «Teatro Portatil» — бродячий театр; огромная квадратная фанерная ширма из подогнанных друг к другу кусков, перевозимая на телегах, которые стояли у стены. Ширма была вся в трещинах и дырах. Афиши объявляли, что «El grandioso drama en tres actos»^[111] Хосе Эчегарая под названием «Mancha que Limpia»^[112] будет представлена публике — увы, в тот самый вечер, когда я собирался уезжать из Авилы. Раздавались удары молотков: актеры наносили последние штрихи на свой театрик, и, заглянув внутрь, я увидел сотни маленьких кресел, обращенных к крошечной сцене,

воздвигнутой на бочках, где на фоне аляповатого задника, изображающего дворянский интерьер, стояла кушетка, на которой растянулся крепко спящий юноша. У меня было столько вопросов, которые я хотел бы ему задать, о жизни на дороге. Но жаль было его будить.

Я часто вспоминал об этих актерах, когда останавливался в комфортабельных отелях, и думал, в какую из категорий Аугустина де Рохаса они попадают. Они явно были выше бродячих артистов, которым платят едой и ночлегом, и, должно быть, располагались где-то между пятью мужчинами и женщиной, составлявшими *cambaleo*^[113], и семью мужчинами, двумя женщинами и мальчиком, которые представляли собой более роскошную и разнообразную *bojiganga*^[114]. Выучить испанский в достаточной степени, чтобы присоединиться к ним на недельку, было бы, подумалось мне, непреодолимым искушением.

§ 6

Святая Тереза однажды сказала о самозванных святых, что «они были святыми в их собственном мнении, но, когда я познакомилась с ними ближе, они напугали меня больше, чем все грешники, каких я когда-либо знала». Это, мне кажется, одно из наиболее типичных ее замечаний о жизни и людях. Из всех небесных святых, она, несомненно, обладала наибольшим дружелюбием, чувством юмора и пониманием. Как женщина, она входит в круг тех знаменитых, одаренных и прекрасных дам, которые шли по жизни, приводя все в порядок; как святая, она путешествовала по землям, куда только другой святой мог последовать за нею. Ее поразительное саморазоблачение и другие произведения почти

убеждают нас, что мы тоже можем стать если не святыми, то по крайней мере достойными и честными странниками на этом высоком и одиноком пути.

Она также вызывает глубочайший интерес доказательством крепости и жизнеспособности человеческого тела, вдохновляемого огромной силой духа. Доведись нам увидеть ее в двадцать четыре года, ползущую на четвереньках после каталептического припадка, во время которого ее чуть было не похоронили заживо, мы бы отвергли всякую возможность того, что она может стать неукротимой *пассионарией* средних лет и объехать всю Испанию, ночевать в кишасших блохами трактирах и на полах пустых домов и основывать свои реформированные кармелитские монастыри.

Святая родилась в Авиле в 1515 году в аристократической семье, и ее полное имя — Тереза де Сепида-и-Аумада. Она приняла кармелитский постриг в возрасте двадцати одного года и получила свой первый опыт видений и их описаний двадцатью годами позже. Ей было сорок шесть, когда она начала реформировать кармелитский уклад, и следующие двадцать лет, до самой смерти в возрасте шестидесяти семи лет, ездила по всей стране, занимая опустевшие дома и другие строения, в которых основывала мужские и женские монастыри, где кармелиты могли бы жить строгой и созерцательной жизнью.

Когда думаешь о путешественниках по Испании, на ум немедленно приходит образ Дон Кихота, скачущего по дорогам с копьем в руке и стремящегося разоблачить несправедливости мира; святая же Тереза естественно вспоминается второй. Ее видели иногда на муле или осле в компании нескольких монахинь и монахов, но чаще в безрессорной крытой повозке, запряженной мулами и управляемой лохматыми грубыми погонщиками. Святая проявляла к этим

неотесанным людям живой интерес и дисциплинировала их, словно кармелитов. Двигалась ли кавалькада по летнему зною, когда путешественники с радостью выгоняли стадо свиней из-под моста, чтобы ненадолго укрыться в тени, или ползла среди грязи и зимних дождей, монахиням никогда не позволялось забывать о религиозных обязанностях. Маленький колокольчик звонил в фургонах во время дневного богослужения, и после него погонщикам приходилось соблюдать полную тишину. Святая Тереза иногда награждала их молчание маленькими подарками в виде сушеных фруктов, если у нее находилось, что потратить из скудных запасов. У нее никогда не было ни гроша, и, кажется, она основала семнадцать монастырей за двадцать лет только на обаянии, вере и целеустремленности.

Мне нравится известная история, как однажды, чуть не утонув при переправе через вздувшуюся реку в Бургосе, святая Тереза пожаловалась в минуту гнева Спасителю. И услышала Его ответ: «Так я поступаю со своими друзьями», — на что немедленно парировала: «Вот поэтому у Тебя так мало друзей!»

Когда святая Тереза состарилась и утомилась от путешествий, монахини, видя ее усталость, иногда пели ей колыбельные в нищенском жилище; а когда ледяные ветры дули по кастильским равнинам, пытались отдавать святой собственную одежду, чтобы согреть ее, поскольку она сильно страдала от холода. Часто она собирала последние искры жизненной силы и заводила такие увлекательные беседы, что монахини шли за ней в келью и молили не покидать их. Есть даже свидетельства, что иногда святая Тереза брала тамбурин и танцевала для своих монахинь! Она любила смех и лучилась обаянием. «Избавь меня, Господь, от мрачных святых», — как-то сказала эта женщина.

О мистических опытах святой Терезы писать здесь невозможно, но читатели ее книг узнают, что она принимала экстазы духовной жизни как нечто такое, чего способен достичь любой достаточно искренне — и истово — верующий человек. Характерно, что странный феномен левитации, который большинство из нас переживает только во сне, встревожил ее и смутил. Святая Тереза хваталась за что угодно, только бы не дать своим ногам оторваться от земли. Она считала левитацию «совершенно необычайным явлением, которое может вызвать множество пересудов», и велела монахиням никогда не упоминать об этом. Когда чувствовала, что теряет вес и вот-вот поднимется в воздух, она бросалась наземь и умоляла монахинь прижать ее к земле. Однажды в канун Рождества святая Тереза упала с лестницы и сломала левую руку. Монахини решили, что ее толкнул дьявол, и просили рассказать, так ли это. Тереза не ответила ни да ни нет, но заметила, что он «сделал бы куда худшее, если бы ему позволили». Рядом не оказалось никого, кто мог бы выправить руку, и впоследствии ее пришлось ломать и заживлять заново — болезненная операция, каковую, кстати, перенес и другой испанский святой, Игнатий Лойола, которому сломали и заново выправили ногу. Описывая мучения этого опыта в письме, святая Тереза прибавила: «И все же я была счастлива, ощутив хотя бы малую толику того, что выстрадал наш Господь».

С такими мыслями, как эти, я отправился осмотреть дом у самой стены Авилы, где родилась Мать Кармела. Оказалось, он превращен в уродливую церковь. Поразительно, чего может достигнуть благочестие на путях дурновкусия! Комната, в которой родилась святая Тереза, теперь стала роскошной барочной капеллой, а ее главная реликвия — статуя святой в золотой короне, которая, думаю, привела бы саму Терезу в немалое раздражение. В алтаре я увидел один из пальцев святой

Терезы, униженный кольцами и заключенный в хрустальный реликварий. Я смотрел на него с ужасом, вспоминая, насколько тщательно святая заботилась о своих руках. Думаю, ужасная история о ее эксгумации и расчленении, чтобы обеспечить реликвии для церкви, — один из самых шокирующих эпизодов такого рода в истории Испании.

За восемнадцать лет до рождения святой Терезы Испания погрузилась в такую глубокую скорбь, что двор, вместо белой саржи, использовавшейся в то время в качестве траура, облачился в рубища. Причиной стала смерть двадцатилетнего наследника трона — принца Хуана, единственного сына Фердинанда и Изабеллы. Торжественная погребальная процессия прошла по дороге из Саламанки, где умер принц, в Авила, где его похоронили в доминиканском монастыре Санто-Томе, за стенами.

Когда я стоял у его могилы и смотрел на красивое лицо, столь чудесно изваянное из белого мрамора флорентийским скульптором, я почувствовал, что некая часть скорби его родителей до сих пор окружает эту одинокую фигуру. Они изгнали из Испании мавров, объединили страну, им открылся Новый Свет, и вдруг, на пике побед, у них отбирают единственного сына и наследника. Фердинанд был с сыном, когда тот умирал. Опасаясь, что вести сильно подействуют на жену, он посылал к ней гонца за гонцом, разбивая сообщения на части и пытаясь подготовить ее к неизбежному. Узнав наконец обо всем, Изабелла прошептала: «Что Бог дал, то и отнял».

Если бы этот юноша выжил и продолжил свой род, испанская история — невозможно представить — лишилась бы Карла V и Филиппа II. Принц также был братом Екатерины Арагонской, и стань он королем Испании, возможно, Генрих VIII обнаружил бы, что с ним

нелегко поладить, когда пожелал развестись с женой ради Анны Болейн. В истории много вопросительных знаков, и могила принца в Санто-Томе — один из них.

§ 7

Я направлялся в Бургос, на север. В Мадриде я забрал свою машину и теперь ехал по стране высоких тополей и серебряных берез, а передо мной протянулась одна из великолепных испанских автострад. Я остановился в Аранда-де-Дуэро купить бензин и любовался рекой, текущей на запад, в Португалию, темной, словно крепкий кофе. Высокие плоскогорья Мадрида и Ла-Манчи остались далеко на юге и, думая о них, я обнаружил в своем сознании многослойную мозаику, сложенную из Филиппа II в Эскориале; Дон Кихота повсюду; эльгрековских святых с икрами балетных танцовщиков, которые стоят, протягивая руки с изящными ладонями к мрачным небесам; бледного Филиппа IV, позирующего Веласкесу; Гойи, Годоя и Наполеона; а в Толедо — лязга оружия и теснящейся толпы евреев, мавров, рыцарей и епископов. Невообразимо далекой казалась сейчас еще более южная Испания, где струйки арабских фонтанчиков взлетали и опадали в покрытых резьбой патио, Испания кактусов, апельсина и алоэ, Испания, которая стоит к Кастилии спиной, а лицом — к Африке.

Испания старой Кастилии тоже была иной, не менее пустынной и суровой, но со своей особенной строгостью; возможно, менее мистической, но с теми же просторами, где деревеньки цвета грязи глядели в небо, а грандиозные церкви возвышались посреди лишенной деревьев земли, словно корабли в море. Ни римляне, ни арабы не оставили здесь такого глубокого следа, как на юге. На самой границе этой северной

земли чувствуешь, что перед тобой — Иберия, готическая Испания, и — самое странное — ты больше не думаешь о Дон Кихоте. Вместо этого с равнины выезжает человек, который носит железное распятие под кольчужным панцирем. Он — барон-разбойник знакомого нам типа. Он ведет войну с соседним христианским замком с тем же энтузиазмом, с каким сражается с неверными. Временами он даже сговаривается с арабами, чтобы разгромить дядюшку или пасынка или поучаствовать в каком-нибудь особенно заманчивом грабеже. Здесь нет такого понятия, как патриотизм. Здесь еще нет ни Испании, ни Англии, ни Франции, только два замка, этот и соседний, — и, конечно, христианство и нередко очаровательные мусульманки. И все же неважно, как часто этот барон-разбойник поет арабские песни или рассказывает арабские сказки — он никогда не забывает о распятии у своего сердца. Оно всегда там, чтобы напоминать человеку, что он принадлежит церкви. Христианство — крепкая веревка, связывающая нашего барона, а вера Мухаммада с ее убийственными расколами — слабость его врага. Легенда гласит, что одно время христианское влияние в Испании уменьшилось до нескольких партизан в пещере; но они оказывали сопротивление, и с течением времени владыки этих маленьких энергичных королевств взяли свое. Другие христианские принцы пришли им на помощь из-за Пиренеев, и папа Александр II проповедовал о крестовом походе в Испании за двадцать лет до Петра Отшельника. Старая Кастилия, таким образом, являлась передним краем этого движения сопротивления и получила свое имя от замков, руины которых все еще стоят на ее холмах. Это Испания многочисленных, путающихся между собой корольков, Санчо и Альфонсов, а также дам с именами Беренгария, Констанция или Уррака — чудовищное имя,

которое когда-то заставило французского посла выбрать будущей королевой Франции более благозвучную Бланку. И в первую очередь это Испания Сиды Кампеадора, испанского Альфреда Великого, Хереворда Бдительного и Робин Гуда, слитых в одном горячем и коварном рыцаре, который по-прежнему скачет на своем верном боевом коне Бабьеке по сверкающим росами полям рыцарского романа.

Я увидел башни кафедрального собора Бургоса, вырисовывающиеся на фоне холма. Других таких башен нет во всем мире. Мистер Ситуэлл сравнивал их с золотыми засушенными стеблями колокольчиков, а страницей позже — с мачтами средневековых кораблей, и это, по-моему, верная аналогия. Они выглядят как мачты старинных кораблей, какими те нарисовали бы монахи: снасти тянутся с верхних башенок до планшира; и может быть, выступающие зубцы, торчащие, словно флажки, говорят нам, что корабли украшены в честь какого-то радостного события — например, бракосочетания принцессы.

Никакие города, возникшие в результате одних и тех же исторических условий, не могут отличаться друг от друга больше, чем города Кастилии. В коротком путешествии Толедо, Авила, Сеговия и Бургос очаровывают путешественника своей непохожестью и разнообразием, и этот индивидуализм, разумеется, составляет огромную долю очарования Испании, как ее людей, так и городов. Даже учитывая, что их обошли стандарты индустриализации, эти города странным и чудесным образом различаются внешним обликом. Толедо — темный, полный тайн и памяти о плащах и кинжалах; Авила — словно святая, преклонившая колена среди скал; Сеговия увенчана плюмажем и закована в доспехи для великих войн; и Бургос — столь же средневековый и столь же кастильский, как и прочие, но с искренней, открытой и, я бы даже сказал,

почти фламандской атмосферой. Он похож на испанского родственника Брюгге или Нюрнберга. Есть что-то тевтонское в остроконечных башнях его собора.

Я думал, что после Толедо и толедского собора никакая другая церковь не сможет произвести на меня большее впечатление, но от кафедрального собора Бургоса у меня перехватило дыхание. Он словно подпирает плечом холм — довольно странно, мне кажется, для такого огромного и величественного здания, — а на вершине когда-то стоял могучий замок, где происходило много событий, включая свадьбу нашего Эдуарда I и Элеоноры Кастильской. Река Арлансон течет через город меж высоких набережных и наверняка становится зимой весьма бурной. Здесь есть пласа, которая тут же покорила меня своей красотой и неиспорченностью — это пространство неопределенной формы, где старинные дома опираются на колонны, образуя крытую аркаду, а в центре стоит статуя того славного, хоть и чудного Бурбона, Карла III, чье веселое лицо с длинным носом глядит на нас вопросительно-насмешливо со стен Прадо.

Бургос не целиком погружен в эпоху Сиды. Здесь делают целлофан, есть ткацкие и прядильные фабрики; также это известный гарнизонный город и всегда был таковым. Главное ежедневное зрелище в Бургосе — испанский полк на марше. Сначала появляется духовой оркестр, потом полковник и адъютант — верхом, а затем длинная колонна сильных и выносливых на вид солдат в хаки; во главе каждой роты скачут ротные командиры на лошадях. Все офицеры носят шпаги и военные сапоги. Как-то раз я видел горную батарею, промаршировавшую по пыльным дорогам за городом; полевые орудия свисали с боков мулов. А вечером Бургос наполняется солдатами с самыми лучшими манерами, какие я только видел; на каждом

непременные белые хлопчатые перчатки, и ни один не ленится отдать честь.

Я заклинаю всякого, кто едет в Бургос, посидеть как-нибудь днем в одном из кафе на Пасео дель Эсполон Вьехо и понаблюдать за детьми и их старыми няньками. Даже в парке Эль Ретиро в Мадриде я не видел более красиво одетых ребятишек и стольких чудесных старых нянюшек, словно сошедших с картин Рембрандта. Вдоль одной стороны Пасео тянутся магазины и кафе, а с другой — прекрасно спланированный парк без ограды, идущий параллельно реке. Днем дети и их няньки представляют собой картину, напомнившую мне далекий парк Кенсингтон-Гарденз. В этот час испанские дети всегда нарядно одеты: девочки — в оборчатые кисейные платья с атласными поясами, а мальчики — в белые матросские костюмчики. Они играют в мяч, кегли с обручами, а самые маленькие слоняются вокруг и выскакивают друг на друга из-за деревьев. Девочки заманивают мальчиков в неприятности, а мальчики за это получают нагоняй. Иногда пухлая маленькая *niña*, преследуя маленького *niño*, падает плашмя в пыль; запачканную кисею быстро отряхивает пара смуглых морщинистых рук, а мальчика тем временем бранят, словно юного Дон Жуана. Позже появляются гарнизонные офицеры, иногда с женами, и я заметил среди них много величавых испанских донов, высоких и стройных, как у Эль Греко. Иногда их важность тает от горячих приветствий *los niños*. Младшие офицеры подтягиваются и проверяют, все ли пуговицы на мундире в порядке, когда приближаются к полковнику и его даме; вся сцена, с оборками и шпагами, шпорами и сапогами, зелеными деревьями и старыми няньками создает картину жизни, какой та была раньше, — если сощурить глаза на солнце, все зрелище может

показаться акватинтой XIX века, или, если кто-то сумеет вообразить такое, сценой из испанской Джейн Остин.

Для человека, привыкшего к аскетической строгости английской готики, естественно счесть кафедральный собор Бургоса вычурным и перегруженным деталями — вряд ли там найдется хоть квадратный ярд, не покрытый резьбой или не украшенный как-нибудь иначе. Но когда начинаешь понимать его архитектуру, это ощущение уходит и можно делать открытие за открытием. Кстати, Альгамбра — тоже вычурное и перегруженное украшениями здание, но при том полная противоположность Бургосу. Вы охватываете Альгамбру одним взглядом, и мало что остается за пределами восприятия; а собор Бургоса едва возможно изучить целиком, если только вы не родитесь здесь пять или шесть раз. Это чудесный пример храма, сокровищницы, музея и библиотеки, созданных для тех, кто не может читать. Такова была функция собора в средние века, и в наши дни он радует глаз, как и тогда.

В *coro* есть портрет из меди, отбитой на дереве, — портрет епископа, умершего в 1238 году, за семь лет до того, как Генрих III начал сносить старое Вестминстерское аббатство в Лондоне и строить нынешнюю церковь. Это Маурисио, епископ Бургоса, — как полагают некоторые, англичанин, приехавший в Испанию в 1219 году вместе с Беатрис Швабской, когда та выходила замуж за Фердинанда III Святого. Статуи Фердинанда и Беатрис стоят слева от входа в клуатр, и на них стоит взглянуть; он, типичный король того периода, будто бы протягивает кольцо или какой-то иной подарок королеве, которая поворачивается к нему; она в роскошном облегающем парадном платье и длинной мантии, а на ее голове красуется высокая шляпа без полей, с завязками под подбородком — очевидно, новейший германский фасон того времени.

Беатрис, кажется, счастливо жила с Фердинандом и родила ему много детей. Ее первый сын стал Альфонсо Мудрым, чьи астрономические таблицы и другие труды я вспоминал, когда посещал замок в Сеговии. Немецкое имя Фредерик и греческое Мануэль были принесены в Испанию Беатрис, которая назвала двоих из своих сыновей в честь родственников. Она умерла после шестнадцати лет правления, и Фердинанд женился во второй раз на француженке Жанне, ставшей матерью Элеоноры Кастильской, супруги нашего Эдуарда I. Но ко времени брака Элеоноры Фердинанд был уже мертв и похоронен в Севилье — как я видел, его останки хранятся в серебряном гробу.

Великим архитектурным достижением его правления стал кафедральный собор Бургоса, который строили под надзором епископа Маурисио, чье благородное и безмятежное лицо — одно из немеркнущих воспоминаний об этой великой церкви. В нескольких футах от него лежит камень, покрывающий многострадальные останки Сиды.

Невозможно описать бургосский собор: многие годы займет одно только тщательное его изучение и попытки понять каждую частичку его пространства. Все, что может сделать человек — упомянуть одну-две детали, за которые цепляется глаз, когда проходишь среди этого огромного величия. Здесь я впервые встретился с работой немецкого художника Хиля де Силоэ, который мог обрабатывать алебастр и мрамор, словно пчелиный воск; мне показалось, этот мастер всегда творил в экстазе вдохновения, создавая себе трудности только для того, чтобы их разрешать. Более притягательной для меня, чем скульптурные надгробия его работы, оказалась его резьба по дереву — я нашел ее прекраснейшей из того, что видел в Испании. В соборе есть несколько выполненных им *retablos*; мое любимое — *retablo* над алтарем святой Анны в капелле

Коннетабля. Там, под видом плеяды женщин-святых, собравшихся вокруг фигуры святой Анны, Хиль де Силоэ на самом деле собрал целую галерею средневековых дам-аристократок, одетых по новейшей моде пятнадцатого века. Это одна из самых чудесных вещей в Испании, и в ней видится такое предвкушение Ренессанса, что я удивился, как ей удалось избежать суда инквизиции. Эти женщины, конечно же, не святые, хотя Хиль де Силоэ наверняка велел моделям изобразить на лицах ангельское выражение. Его шедевр — фигура святой Екатерины в монастыре Мирафлорес примерно в двух милях от Бургоса, фигура, которая могла бы считаться символом модной дамы всех эпох.

Интересно, кто были эти женщины? Если моя догадка верна и все они списаны из жизни, то они наверняка были знатными дамами своего времени — возможно, это принцессы, а также жены и дочери могущественных вельмож того периода. Я все размышляю, только ли мимолетное сходство с Изабеллой присутствует в изящной маленькой фигурке сидящей Магдалины на заалтарном образе святой Анны? Ведь Хиль де Силоэ был современником Изабеллы и автором надгробия ее родителей.

Испания в немыслимом долгу у Франции и Германии. Неважно, насколько тонко отделаны соборы или насколько испанскими они выглядят, но костяк их в основном французский, а деревянные *retablos*, заполненные раскрашенными и позолоченными фигурками — нигде больше нет такого их количества, — стали немецким вкладом в церковное искусство пятнадцатого века. Искусство вырезать красивые и словно живые фигурки из дерева процветало в Нюрнберге, где родился Хиль де Силоэ; и те, кто увидят его работу в Бургосе, согласятся, что ни более известные Фейт Штосс и Петер Фишер, ни Адам

Краффт — все его соотечественники — не были для него образцами. Почти на двести лет Бургос стал магнитом для художников Германии. Собор начал расти с легкой руки немецкой королевы Испании, поэтому немецких архитекторов и ремесленников всегда принимали здесь радушно. Башни собора и фонарь — творение немецкого архитектора Ганса из Кёльна или Хуана де Колонья, прибывшего почти одновременно с Хилем де Силоэ, и, возможно, именно эти башни, столь непохожие на что-либо в Испании, придают первой встрече с Бургосом легкий тевтонский аромат.

Оба этих немца поселились в Испании и провели здесь всю жизнь. Они женились, у каждого родилось по сыну, которые выросли известными художниками — Диего де Силоэ и Симон де Колонья. Мистер Ситуэлл выдвигает интересную теорию, что Хиль и Хуан могли быть немецкими евреями; если так, говорит он, то «перед нами единственные значительные художники еврейского происхождения, появившиеся в Европе до XX века, а что касается Хилья де Силоэ — вероятно, он величайший художник в пластических искусствах, какого производила еврейская раса». Потому, возможно, есть особый смысл в том, что Хиль де Силоэ, создавая надгробие Хуана II и Изабеллы Португальской в монастыре Мирафлорес — это самая великолепная могила в Испании, а может, и в Европе, — положил в основу восьмиконечную звезду, которая, конечно же, является звездой Давида.

Если эти вдохновенные скульптуры — самая прекрасная деталь собора, то самая странная, несомненно, — чудотворная статуя Спасителя, известная как Бургосский Христос: она театрально подсвечена и занимает отдельную часовню. На темном фоне висит на кресте истощенная фигура в человеческий рост, обряженная, в соответствии с кастильским обычаем, в длинную юбку красного атласа.

Насколько я смог разглядеть, руки и видимая часть тела анатомически совершенны, а на голове фигуры — парик из настоящих волос. Голова и шея могут двигаться, подвижны все суставы, и в прежние времена крестьяне верили, что ногти и волосы статуи отрастают и их приходится время от времени подстригать. Ризничий рассказал мне, что фигура сделана из бычьей кожи и на ощупь мягкая и гибкая. Он сказал, что прикасался к ней и словно ощутил под пальцами живую плоть. Также он поведал, что во время Реформации статую вытащил из моря близ Голландии испанский купец. Фигура выглядит как полированное дерево, и даже Форд считал, что она деревянная, — один из немногих случаев, когда ему изменила непогрешимость.

Но чтобы увидеть самый популярный предмет в соборе, нужно пройти в ризницу, где вам покажут высоко на стене, на железных скобах, окованный железом сундук Сиды. Это знаменитый сундук, который Сид, говорят, наполнил песком, пребывая в особенно стесненных обстоятельствах, и заложил, под видом сундука с золотом, неким необычно доверчивым евреям — и, как непременно упоминают книги, выкупил, когда был в состоянии сделать это. Бургос, конечно же, город Сиды.

«Песнь о Сиде» сочинил неизвестный менестрель примерно через сорок лет после смерти героя, когда были еще живы старики, которые могли помнить события, описанные в ней. Это короткая, меньше четырех тысяч строк поэма, но она сверкает подлинным блеском поэзии; и даже в переводе сила ее искренности такова, что человеку чудится, будто он стоит у окна замка, созерцая яркие сцены, населенные не напыщенными героями легенд, но обычными мужчинами и женщинами. Этот словесный гобелен из Байо — живая картина одиннадцатого века, правдивое

и любовное изображение обычаев и мыслей людей, которые жили в Испании в те времена, когда Вильгельм Нормандский завоевывал Англию.

Это история о воителе, изгнанном своим королем: он уезжает вместе с вассалами строить себе могучей десницей новую жизнь. Мы впервые видим Сид, когда он покидает дом, уезжая в изгнание. Он горько рыдает и прощается с женой и дочерьми; он оглядывается вокруг и видит свой замок в беспорядке, сундуки открыты и пусты, на насестах нет соколов. Сид въезжает на улицы Бургоса в темноте. Они унылы и пустынные. Все жители наблюдают за ним из-за ставней, со слезами на глазах, ибо рискуют навлечь на себя королевский гнев, выйдя встретить того, кто лишился монаршей благосклонности. «Честной он вассал, — восклицает народ Бургоса, — да сеньором обижен!»^[115]; и жители посылают маленькую девочку рассказать воителю, почему они не решаются открыть ему двери. Сид уезжает из Кастилии. Все просто, искренне и естественно, словно сказка, рассказанная у камина. Здесь нет напыщенных слов и ложной героики. Даже когда Сид прощается со своей семьей, он просто чувствует, что расставание для него «горше, чем сдернуть ноготь с перста». Когда он слышит о тяжелой обиде, нанесенной его дочерям, воитель не кричит и не приходит в неистовство: «его ранили в сердце», и он «погрузился в раздумье, долго был нем». Он выезжает на встречу со своими врагами с сотней рыцарей за спиной и — прелестный штрих — подвязав длинную бороду, чтобы никто не мог нанести ему оскорбление, дернув за нее.

Народная фантазия сделала из Сид идеального испанца, совершенного *guerrillero*^[116], воплощение качеств, превыше всего ценимых испанцами: храбрости, трезвости, достоинства, щедрости, силы духа и,

конечно же, христианского благочестия. Он был первым настоящим крестоносцем, хотя проповедь первого крестового похода начнется только через пятьдесят лет. Сид также отличался «прямодушной простотой величайших», по словам профессора Тренда, который добавляет интересную мысль: «Ближе всех к нему в наше время генерал Сматс».

Таков Сид из легенды. Был ли настоящий Сид столь благороден, вопрос спорный. Его звали Руй Диас де Бивар, и прозвище, под которым его знали равно и христиане, и арабы, происходит от арабского «сиди» — «господин». Он стяжал славу в темный период истории христианской Испании. Испанским арабам пришли на помощь свирепые берберы из Африки, которые пронесли по стране, вселяя ужас в сердца христиан новым оружием *los atambores*, мавританским военным барабаном. Сид глубоко проник на вражескую территорию и сделал Валенсию христианской провинцией, став королем во всем, кроме именованья. До сего дня Валенсия с гордостью называет себя «Валенсией Сиды». Когда он умер в возрасте пятидесяти шести лет, его вдова Химена попыталась продолжить управление провинцией, но берберы были слишком сильны. Под прикрытием христианской армии, присланной из Кастилии, она и все христианское население Валенсии покинули город и бежали, взяв с собой останки Сиды. В романах говорится, что мертвое тело посадили в седло и привязали — и при виде его мавры бежали в ужасе.

Но Сид не умер. Его имя звучало на устах соотечественников более семи веков. Верхов на боевом коне Бабыеке, с мечом Коладой в руке Сид скачет среди бессмертных воителей: защитник веры, заступник бедных, хранитель чести.

Рожденный в час добрый стал всюду известным.
В Арагоне с Наваррой царяг его дети.
Монархи испанские — Сидово семя.
Гордятся они достославным предком...

§ 8

Однажды утром, перед завтраком, я поднялся на холм, чтобы посмотреть, много ли осталось от бургосского замка. И, кстати, пара слов об испанском завтраке. Как и повсюду на континенте, завтрак в Испании — вещь прискорбнейшая. Он представляет собой жареные колечки из теста, называемые *churros* — их продают рано утром мальчишки с корзинками, прикрытыми салфеткой, — которые вполне приятны в любое другое время, кроме завтрака; по моим наблюдениям, в Испании есть кофейная и шоколадная зоны — первая лежит ближе к югу, — но *churros* едят по всей стране. Подавать их иностранцам в гостиницах считают неподобающим, так что гостей ожидает обычный жалкий французский завтрак, состоящий из кофе, круассана, похожей на кокон маленькой булочки и блюда с джемом, чаще абрикосовым. Я никогда не видел, чтобы испанец ел вареное яйцо. Более того, нет даже в испанском языке удобного обозначения для вареного яйца. Приходится просить «два яйца, которые подержали в горячей воде три минуты»; и это можно заказать всегда, если очень настаивать. Испанский официант начнет относиться к вам как к милому чудаку, если вы поднимете достаточно шума вокруг вареных яиц или яиц с ветчиной, как это делал я; но яичницу заказать сравнительно легко, поскольку в результате это окажутся яйца *flamenco*, которые готовят по всей Испании. Непреклонные «завтрачные» консерваторы

будут, однако, возмущаться злонамеренным искажением яичницы внесением в нее совершенно излишних кусочков перца и оливок. И иногда бывает трудно убедить испанцев — поскольку им вняты улыбки и слова, но не понукания — принести вам два обыкновенных ломтя бекона или кусок ветчины; и это в стране с лучшей ветчиной, беконом и свинойной во всей Европе!

Я видел только одного испанца, который ел настоящий завтрак. Это было в Сеговии. Невысокий пожилой хорошо одетый мужчина съел большой омлет с ветчиной и выпил полбутылки белого вина в восемь тридцать утра. Этот человек делал честь идее завтрака: цветом кожи он не напоминал недавнего выходца из подземелья, но имел вид здоровый и розовый — и был энергичен, словно борзая. В отличие от большинства соотечественников, такой господин не станет заскакивать в бары и рестораны и хрустеть креветками все утро или душить голод кусочками сыра: он перейдет, как все, кто нормально завтракает, прямо к обеду. Я рассказываю это в качестве предупреждения, что единственные слова в испанском, совершенно необходимые любителю позавтракать, это — «*dos huevos pasados por agua caliente por tres minutos*». С этой громоздкой, но магической формулой вы сможете проехать по всей Испании в отличном расположении духа — и с двумя вареными яйцами в желудке.

Подъем к замку весьма приятен, но, когда добираешься до вершины, не обнаруживаешь там ничего, кроме панорамы окрестностей. Замок взорвали французы, а окончательно он был разрушен в более поздние годы, так что не осталось ничего, что могло бы указать, где свершилось столько важных событий, кроме груды заросших травой каменных глыб и плит, наполовину ушедших в землю. Большая ровная

площадка поблизости была, очевидно, ристалищем, на котором проводились турниры.

Для англичанина этот замок интересен главным образом как место, куда юного Эдуарда I, еще не короля, а подростка, привезла его мать, Элеонора Прованская, в августе 1254 года, чтобы женить на Элеоноре Кастильской. Тот союз оказался одним из немногих браков по любви в истории английских королей. Чаринг-Кросс и все прочие погребальные печали еще терялись в отдаленном будущем, когда пятнадцатилетний принц встретил свою маленькую невесту, которой оставалось три года до вступления в брачный возраст, который для девочки составлял в те времена тринадцать лет. Ее отец, Фердинанд Святой, уже два года был мертв; Элеонора — дитя его старости и второй женитьбы. Альфонсо X Мудрый, который стал новым королем Кастилии, — ее единокровный брат; его матерью была Беатрис Швабская, первая жена Фердинанда Святого. Говорят, юного английского принца и королеву Англии принимали с пышностью и радушием на вершине холма в Бургосе, поскольку брачный контракт был политическим соглашением между Альфонсо X и Генрихом III Английским. Юный Эдуард, видимо, понравился Альфонсо — без сомнения, в пятнадцать лет он уже выказывал стремление стать одним из самых высоких и сильных воинов своего времени. После большого турнира, проведенного в Бургосе, Альфонсо посвятил Эдуарда в рыцари, и детей обвенчали в близлежащем монастыре Лас-Уэльгас. Когда бракосочетание было совершено, королева увезла детей через Пиренеи в Англию, и, как многие девочки-невесты того времени, Элеонора вернулась в классную комнату. Матфей Парижский, живший в ту эпоху, засвидетельствовал негодование, поднявшееся в Лондоне из-за денег, потраченных на свадебные торжества Генрихом III, и необычайной роскоши покоев

юной принцессы, которые готовила ее кастильская свита. Стандарты комфорта в Кастилии, явно перенятые от мавров, были в то время неизмеримо выше, чем в Англии. Покои принцессы, брюзжал хронист, «были завешаны покрывами из шелка и гобеленами, словно храм, и даже пол был покрыт гобеленами». Тогда в Англии впервые увидели ковры. «Эта чрезмерная гордыня, — говорит Матфей, — вызывала смех и брань в народе».

Но когда Элеонора выросла и заняла подобающее место в английской жизни, она стала одной из самых любимых в народе королей Плантагенетов. Англичане охотно поверили, что в Палестине преданная жена Эдуарда высасывала яд асассина из раны мужа. Она была постоянной участницей походной жизни лагерей и замков: Виндзор, Кенилворт, Акра в Палестине (где Элеонора родила двоих детей), Гасконь, Виндзор, Кеннингтон, Виндзор, Вудсток, Рудлан и Карнарвон, в котором она стала матерью Эдуарда II. Коронация Эдуарда I в Вестминстерском аббатстве была первым случаем, когда король и королева Англии короновались вместе.

Когда принцессы выходили замуж и уезжали в чужую страну, они могли никогда больше не увидеть свою родину, но приятно сознавать, что Элеонора возвращалась в Испанию, когда ей было около тридцати, и жила у своего брата Альфонсо. Она только что стала матерью принца, которого назвала Альфонсо в честь брата, и этот мальчик с непривычным испанским именем оставался наследником английского престола десять лет — до смерти в 1284 году. Вся Англия разделяла скорбь Эдуарда, когда преданная и прекрасная Элеонора умерла, не дожив до сорока шести лет; и каменные кресты, из которых Чаринг-Кросс последний, отметили места остановки ее погребального кортежа на пути в Вестминстер.

Осмотрев место, где начался счастливый роман, открывший путь грядущим испанским экспедициям Черного Принца и Джона Гонта, в результате которых немалая толика крови Плантагенетов влилась в королевские династии Испании и Португалии, я спустился по холму под звон колоколов Бургоса и сделал заказ: поддержать *dos huevos* в горячей воде.

§ 9

Короткая прогулка на полторы мили привела меня в женский монастырь Лас-Уэльгас. Я уже знал, что этот монастырь представляет интерес для английского посетителя, поскольку его основала Элеонора Английская, дочь Генриха II и сестра Ричарда Львиное Сердце. Она вышла замуж за Альфонсо VIII в 1170 году, и они оба похоронены здесь. Однако я не ожидал обнаружить, что в монастыре существует музей реликвий, извлеченных из их могилы и других королевских могил в 1942 году. Это самый поразительный музей такого рода в Европе.

Элеоноре Английской было всего шесть лет от роду, когда ее мать, Элеонора Аквитанская, передала девочку испанскому послу в Бордо в 1170 году. Принцессу увезли в Испанию, обручили с юным королем в Таррагоне и торжественно обвенчали в Бургосе. Ему тогда было около двенадцати, он унаследовал трон, будучи совсем ребенком, и удерживал его в суровые времена благодаря удаче, осмотрительности немногочисленных сторонников и верности города Авила, который поклялся охранять короля до совершеннолетия.

Современным людям сама идея детских браков кажется дикой, но в средние века брак не имел ничего общего с любовью — фактически даже наоборот, — и

детьми распоряжались родители, обменивая их на финансовые и политические выгоды. Восьмилетняя королева Испании, по-видимому, продолжала свою учебу; а двенадцатилетний король оставался для своих вельмож номинальным главой государства, пока не пришло время, когда дочь Англии и сын Кастилии достаточно подросли, чтобы стать мужем и женой. Брак Элеоноры с Альфонсо оказался таким же удачным, каким позже получился союз Элеоноры Кастильской с Эдуардом I; и действительно, за достопамятным исключением Генриха и Екатерины Арагонской, англо-испанские марьяжи кажутся необычно счастливыми.

Альфонсо провел напряженную жизнь, изводя набегами мавров. Его величайшим военным триумфом стала битва при Лас-Навас-де-Толоса, о которой я упоминал, проезжая перевал Деспеньяперрос по пути из Андалусии в Кастилию. Элеонора родила мужу тринадцать детей и удостоилась редкой чести стать бабушкой двух святых. Ее дочь Бланка вышла замуж за Людовика VIII Французского и дала жизнь Людовику Святому; а другая дочь, Беренгария, стала женой Альфонсо IX Леонского и матерью Фердинанда Святого. Все письменные свидетельства говорят, что Элеонора была прекрасной и достойной королевой, а также преданной и любящей женой. Трубадур Раймон Видаль сохранил прелестную зарисовку о дворе Кастилии и королеве с английскими львами на кайме платья.

Только к своему двору воззвал король —
Много рыцарей, баронов богатейших
И жонглеров, и придворных собрались.
Тогда вышла королева Леонора,
Скромно в мантию закутавшись свою
Из богатой ткани красной с золотыми
Львами, затканной серебряной каймой.
Поклонилась королю она и села

Рядом с ним...

Король Альфонсо внезапно умер в дороге в возрасте пятидесяти шести лет, оставив Элеонору регентшей; но она была подавлена утратой и сошла в могилу вслед за мужем еще до конца месяца — как говорят хронисты, умерла от горя. Супругов похоронили в великолепном монастыре Лас-Уэльгас, который они основали за несколько лет до того.

Когда я прибыл туда, здешний служитель, ожидавший меня, чтобы показать монастырь, спросил, не напоминает ли мне здание английскую церковь, на которую оно действительно в какой-то мере походило. Здание окружено бесчисленными пристройками и двориками и в былые времена наверняка являлось самым аристократическим женским монастырем в христианском мире. Сначала меня поразила живописная лестница, которую окаймляли от пола до потолка гербы настоятельниц; поскольку лишь в исключительных случаях настоятельницами становились женщины не королевской крови, а в монахини допускались только самые знатные дамы Кастилии. Монастырь когда-то был богат, и настоятельница, имевшая ранг принцессы-настоятельницы, обладала властью над жизнью и смертью в землях монастыря и назначала приходских священников. Только в 1936 году публику начали пускать во все части церкви — пришлось получить разрешение папы, чтобы это стало возможным; до тех пор ни при каких обстоятельствах мужчинам нельзя было подниматься на *coro de las Señoras*, где находятся королевские гробницы. Лас-Уэльгас до сих пор является женским монастырем ордена цистерцианцев, и в настоящий момент там проживают сорок три монахини. Они живут в затворничестве, и выходить из монастыря им разрешается только при чрезвычайных

обстоятельствах. Они также соблюдают обет молчания — кроме одного часа в день.

Меня провели в собор, который на первый взгляд показался почти таким же по размеру, как Вестминстерское аббатство. Это красивая строгая церковь; железная решетка отделяет неф от клироса, где два ряда покрытых чудесной резьбой кресел стоят лицом к лицу перед алтарем. Здесь есть позолоченная кафедра тринадцатого века, которая может поворачиваться, чтобы священник обращался то к монахиням, то к пастве. Было нелегко посвящать внимание многочисленным красотам, которые мне показывал провожатый, поскольку я уже заметил у входа на хоры то, что мечтал увидеть в Испании больше всего, — гробницу Элеоноры Английской и Альфонсо VIII. Они похоронены в двойном каменном саркофаге, формой напоминающем два длинных ларца с пологими крышками. Каждый дюйм камня украшен резьбой, большая часть вызолочена, а ларцы-саркофаги стоят на спинах четырех каменных львов. Бока и крышки обеих гробниц покрыты арочным узором и разделены на шесть частей, в каждой из которых вырезан герб Кастилии — замок с тремя башнями. В изножье гроба Элеоноры — герб Англии, три льва *passant guardant*^[117] впервые взятый ее отцом, Генрихом II, который, говорят, добавил третьего льва, Аквитанского, в честь своей жены. Я совсем не эксперт в геральдике, но смею думать, что это гербовое украшение если не самое раннее, то наилучшее по сохранности и самое искусное из существующих ныне.

Провожатый рассказал, что в конце гражданской войны поступило предложение открыть те из королевских гробниц, которые не обстреляли во времена Наполеона, и разрешение правительства в конце концов было получено. Когда гробы открыли, то

увидели королевские тела, завернутые в изысканные ткани мавританского производства и рисунка: головы монархов покоились на маленьких подушечках, сохранявших форму и цвет в течение семи веков. Одним из самых интересных открытий стало тело королевы Элеоноры. Ее останки, хотя и не забальзамированные, хорошо сохранились; она лежала, покрытая огромным количеством тончайшей кисеи, сложенной складками по углам — в манере, модной в тринадцатом веке. В ее гробу находились три маленьких подушки: одна голубая с золотыми полосками, еще одна гобеленовая, а третья — красная с золотыми полосками. Головным убором ей служил отрез ткани длиной двенадцать футов, в красных, золотых и черных полосах; на ней были туфли арабского фасона, известного как *xervillas*^[118].

Альфонсо VIII наследовал его сын, который стал Энрике, или Генрихом, I Кастильским. Этому юношу называли в честь деда, Генриха II Английского. Он унаследовал трон в 1214 году, но правил всего три года и умер, как записано в хрониках, когда кусок черепицы с крыши ударил его по голове^[119] (иногда добавляют: во время игры в пелоту). Когда его гроб открыли, в черепе обнаружилась дыра площадью в полтора квадратных дюйма, с краями, стесанными хирургическими инструментами: это показывало, что врачи пытались сделать операцию, которая, похоже, убила бы юного монарха, если бы их не опередила черепица.

Самое полное и зрелищное вскрытие гроба досталось Фердинанду де ла Серда, старшему сыну Альфонсо X Мудрого — смерть инфанта в 1275 году спровоцировала гражданскую войну, во время которой короля травил собаками, мучил и унижал его сын Санчо. Фердинанд лежал, полностью скрытый нарядом из прекрасного шелка, расшитого маленькими щитами с

гербами Кастилии и Леона по четвертям. Правая рука инфанта покоилась на рукояти меча, а на голове его была высокая шляпа без полей, на которой красовались вздыбленный лев Леона и башня Кастилии, вышитые по фону из мелких жемчужин. Наряд Фердинанда — блуза с рукавами и короткие штаны — был шелковым и расшитым гербами. Пояс меча украшали гербы Леона и Кастилии и три английских льва — без сомнения, он их носил в честь своей бабки, — искусно вышитые жемчугом и золотом.

Я слышал об этих находках от очевидцев, видел фотографии и был готов к чудесам, когда меня провели в комнату, превращенную в музей, — но никакие мои фантазии не могли превзойти реальность. Для всякого интересующегося ранней историей Испании этот музей в Лас-Уэльгасе — самая поразительная достопримечательность в стране. Здесь интересны не документы и здания, а настоящие одежды, которые носили далекие короли и дворяне, вплоть до маленьких подушечек, украшавших покои семьсот лет назад и помещенных в могилу вместе с их владельцами. Одежды, вышивки, гобелены, меч и шляпа Фердинанда де ла Серда, плиссированная кисея из могилы Элеоноры, равно как и сотни тканей ярких расцветок и превосходной сохранности, выставлены в освещенных стеклянных витринах. В книгах об Испании постоянно читаешь об арабской роскоши и удобствах, которые перенимали более спартанские королевства христианского севера; и здесь видишь, насколько это верно и как рьяно принцы и знатные дамы того времени охотились за вождеденными шелками и полотном с ткацких станков юга. Сколь удивительно видеть вышивку, которую носила королева Беренгария — она имеет форму медальона и изображает двух арабских танцовщиц, окруженных арабским же девизом: «Нет бога, кроме Аллаха», — и понимать, что принцы,

которые провели свою жизнь в войнах против неверных, без колебаний надевали рубахи, расшитые арабскими буквами. Византийское влияние очевидно, и эти произведения напомнили мне коптские вышивки, найденные в Египте, — вплоть до византийской или коптской моды украшать тканую одежду богато расшитым медальоном. Из-за наличия в узорах животных — чаще птиц — я подумал, не созданы ли некоторые из этих тканей христианами под арабским руководством или, может, арабы иногда забывали свои религиозные запреты ради экспортной торговли с севером. Многие из тканей, однако, совершенно арабские по деталям — например, подушечка Элеоноры Арагонской, покрытая сложными переплетающимися узорами с каймой из арабских надписей.

И что может быть увлекательнее, чем постигать историю Испании, записанную в этих облачениях? Когда умер Альфонсо VIII, он был королем одной Кастилии, и на его гербе поэтому был только кастильский замок. Когда юный Энрике был убит черепицей, Кастилия перешла к его сестре Беренгари, которая вышла замуж за Альфонсо IX Леонского. Брак был аннулирован папой из-за их близкого родства, но не прежде, чем у Беренгари родился сын Фердинанд, который позже стал Фердинандом Святым, и эта трудная задача была решена узакониванием Фердинанда, хотя аннулирование брака его матери оставалось в силе — любопытная юридическая тонкость! Однако когда Беренгария сделалась королевой Кастилии, она отказалась от своих прав в пользу сына, который стал именоваться Фердинандом III Кастильским. Это привело в такую ярость его отца, что он взялся за оружие и лишил Фердинанда права унаследовать королевство Леон, передав последнее двум своим дочерям от первого брака. Так что объединение Кастилии и Леона могло бы отложиться на неопределенный срок, если бы

Фердинанд после смерти отца не выкупил право наследования Леона у единокровных сестер за щедрое приданое. Вот так Леон и Кастилия объединились и с тех пор оставались едиными. Глядя на наряды, можно увидеть, как этот странный фрагмент семейной истории повлиял на королевский гардероб. Немедленно два королевства были приведены под одну корону, принцы вырядились в одежды, буквально сплошь улепленные львами и замками, гербами объединившихся королевств — и, совершенно случайно, более изящного фасона.

Как ни трудно мне было покидать столько интересных вещей, провожатый утащил меня прочь осматривать движущуюся статую святого Иакова. Я вспомнил, как несколько лет назад читал о странном обычае королей Кастилии принимать посвящение в рыцари не от другого короля, но от статуи с подвижными руками: в нужный момент церемонии она поднимала руку с мечом и опускала клинок на плечо короля. Я и представить не мог, что когда-нибудь увижу эту статую или даже что она вообще существует.

Мы вышли из церкви и прошли через дворик, который вел в отдельную маленькую часовню. Над алтарем на троне восседала человеческого размера статуя доброжелательного бородатого мужчины из раскрашенного дерева. Он обладал великолепной шевелюрой, разделенной посередине пробором, волосы спадали по обеим сторонам лица до самых плеч. Статую облекали длинные, богато украшенные одежды, сильно вырезанные в пройме — похожие на те, что я видел в музее, — а в правой руке она держала поднятый меч. Руки были открыты, так что я смог разглядеть, что они разрезаны над локтем и соединены, как у куклы, что делало предплечья подвижными. Именно эта статуя давала рыцарское посвящение Фердинанду Святому и многим другим королям Кастилии; и я задумался, не получил ли наш Эдуард I, которого принимали в рыцари

в Лас-Уэльгасе, посвящение от святого покровителя по кастильскому обычаю.

В этот миг пришло послание от настоятельницы: она желала, чтобы я к ней заглянул. Поскольку здесь, в Лас-Уэльгасе, это звучало как королевское повеление, мы немедленно покинули часовню, вышли во дворик, который я уже видел, и поднялись по лестнице, представлявшей собой собрание гербов. В этом заключался трогательный символизм. Сюда настоятельницы Лас-Уэльгаса помещали знаки своей голубой крови и высокого положения в миру, прежде чем войти в монастырь. Они оставляли их на пороге — в последний момент, как истинные испанки — как окончательное отречение.

Я никогда раньше не встречался с настоятельницей и гадал, будет она сидеть на троне или в кресле, с монахинями или одна. Я воображал, что нам придется подняться по нескольким лестницам старинного здания, пока мы не придем в приемную, где настоятельница обычно проводит такие встречи. Поэтому я был немало удивлен, когда служитель отпер дверь и ввел меня в простой зал с железной решеткой в одном конце, как в кассе сельского банка. За решеткой невысокая цистерцианская монахиня средних лет в очках в роговой оправе явно кого-то ожидала. Я подумал, что это монахиня, которую послали провести нас к настоятельнице. Мой провожатый уважительно поклонился и представил меня, и тогда я понял, что я говорю с преподобной матерью, доньей Росарио Диас де ла Герра.

Позади нее виднелся маленький строгий кабинет, без ковра на полу, с распятием на бюро с выдвижной крышкой и календарем. Настоятельница походила на картину Сурбарана, внезапно выступившую из своей рамы, — в платье, столь знакомом каждому, кто побывал в испанской художественной галерее.

Служитель рассказал ей, что мы делали, и когда вежливый обмен формальностями закончился, я описал свои странствия по Испании, а потом мы поговорили об истории Лас-Уэльгаса. Настоятельница хорошо ее знала и хранила память о властности своих предшественниц, одна из которых, рассказала мне аббатиса, обладала столь деспотической натурой, что пожелала принимать исповедь у монахинь! «Бренная слава ее правления теперь забыта, — сказала преподобная мать и прибавила шепотом: — Слава Богу!» Я спросил, не слишком ли тяготит монахинь обет молчания, и добавил, что разговоры сорока трех монахинь, которые хранили безмолвие целый день, должны быть весьма оживленными, когда приходит час беседы; настоятельница, улыбнувшись, ответила: «Ну, в конце концов, они всего лишь женщины!» Высказывание, которое могло бы принадлежать святой Терезе.

§ 10

Каждое мгновение в Бургосе было исполнено значения. Однажды утром, шагая мимо церкви, я увидел полк, который прослушал мессу и теперь выходил колонной из здания и строился на улице снаружи. Сержант-англичанин нашел бы в этих солдатах единственный недочет — сапоги; в остальном все было в порядке, а белые перчатки, как я успел узнать, символизировали высокую нравственность солдат и офицеров. Я вошел в церковь, как только полк удалился, маршируя, и увидел два военных мотоцикла, в блеске почти небесной красоты и полировки, по обеим сторонам алтарных ступеней. Благословлял ли священник новую модель, не знаю, но подобное проникновение религии в обычную жизнь придает самым обыденным предметам ауру чудесного.

В одно прекрасное утро я отправился осмотреть дворец эпохи Возрождения, который реставрировали, чтобы устроить в нем городской музей. Он обнаружился в узкой улочке, застроенной такими же дворцами — все поделены на квартиры, а нижние этажи использовались в основном для хранения угля. Я заглянул внутрь и увидел мраморные колонны, поднимающиеся из угольных куч. При наличии денег в Бургосе можно отреставрировать целую улицу ренессансных дворцов. *Casa Miranda* — тот особняк, который я пришел осмотреть, — оказался одним из самых красивых дворцов, что мне посчастливилось посетить в Испании. Во мраморном дворике восемнадцать коринфских колонн с каннелюрами поддерживали богато украшенный балкон, от которого расходились комнаты. Это дало мне общее представление о красотах, скрытых под тоннами угля на этой улице.

Я осмотрел роскошно отделанный Дом коннетабля, где королева Изабелла принимала Колумба после его второго возвращения из Америки; еще там умер Филипп I: тело короля возлежало в окружении свечей, а несчастная обезумевшая жена цеплялась за гроб и отказывалась верить в его смерть. Контрастом этим возвышенным сценам и воспоминаниям стал автобус с названием города Стаффорда на боку — когда я как-то днем шел по улице, он проехал мимо; и я с удовольствием увидел английские лица, глазающие из окон на великолепную испанскость Испании.

После прощального визита к прекрасной работе Хиля де Силоэ я с сожалением упаковал вещи и выехал из Бургоса в Памплону, где вот-вот должен был начаться праздник Сан-Фермин. Все в Испании говорили мне, что ни в коем случае нельзя пропустить зрелище бойцовых быков, бегущих по улицам города, и потому я решил поспешить туда. Есть две дороги от Бургоса до Памплон: одна автострада, а вторая местная,

похуже, — зато когда-то она была частью паломнического пути к святому Иакову из Компостелы. Этот старый маршрут шел из Франции через Пиренеи и ущелье Ронсеваль в Памплону и дальше — в Логроньо, Бургос, Саагун, Леон и на запад, в Компостелу. Я решил, что эту дорогу и следует избрать. Ею пользовались паломники со средних веков, и в большинстве городов имелись постоянные дворы, известные как «франкский постой». Какой чудесный пеший тур предлагает эта старая дорога в Компостелу людям, крепким телом и преданным сердцем — и также нашедшим в себе силы хоть чуть-чуть выучить испанский!

Пока я ехал, ландшафт менялся: мили пробкового дуба, вереска и папоротника, которых я раньше в Испании не видел. Мне почудился в воздухе аромат Франции или, возможно, Страны басков. Крестьяне носили береты; воздух был свеж и приятен; с трудом верилось, что через несколько часов я снова могу оказаться в мадридском пекле. Проехав около тридцати миль, я остановился в городке, показавшемся мне привлекательным — старинном, с живописным собором из камня цвета мела. Это оказалась деревушка Санто-Доминго де ла Кальсада; «calzada» означает «тракт». Обходя собор, полный чудесных старинных картин, литья и позолоты, я услышал пение петуха и подумал, что, наверное, какой-то петушок случайно забежал сюда. Кукареканье раздалось снова, теперь прямо над моей головой; взглянув вверх, я увидел, к своему изумлению, белых петушка и курочку в самом роскошном курятнике — если только это можно так назвать — на земле: в прелестном маленьком курином храме из средних веков, раззолоченном и украшенном резьбой и картинами. По конструкции он походил на крыльцо с портиком в средневековом доме, но на месте окна спальни над портиком была железная решетка, за которой виднелись птицы. Маленькая арка в портике,

очевидно, вела на лестницу вверх, к двери домика — чтобы кормить и поить птиц. Я стоял, задрав голову, глядел на кур, вспоминал павлина Юноны и змею Асклепия и думал, что никогда во всех моих путешествиях я не видел птиц на почетном месте в христианской церкви. Пока я раздумывал, почему они здесь, в собор вошла женщина с метлой и стала убирать; вот какую историю она мне рассказала.

Давным-давно жил около городка святой отшельник по имени Доминго и по прозвищу Доминго-де-ла-Кальсада, ибо он спрямил дорогу для паломников в этой местности, срубил деревья и построил мост, чтобы людям было легче добираться до Сантьяго-де-Компостела. В число его добрых дел входил также постоянный двор в городке; там пилигримы ночевали. Завершив земные труды, отшельник удалился на небеса, где в свое время присоединился к обществу избранных. Через много лет после его смерти здесь проходила семья паломников, красивый молодой француз с отцом и матерью. Женщина, управлявшая гостиницей, страстно влюбилась в юношу, но он, посвятив свое сердце иным сферам, не ответил ей взаимностью. Ее страсть тогда обернулась во зло, и когда юноша с родителями уезжали, она подсунула кусок серебра в его кошелек, а потом побежала к *alcalde* и обвинила молодого паломника в воровстве. Юношу схватили, нашли в кошельке серебро и казнили беднягу на виселице за пределами города. Отец и мать, полные скорби, продолжили путь в Сантьяго, где поверили свое горе святому Иакову.

Возвращаясь домой, они снова прошли через Санто-Доминго-де-ла-Кальсада и помолились под виселицей, где до сих пор висело тело их сына. Внезапно они услышали, как он говорит: «Я не мертв — Господь и слуга Его святой Иаков сохранили мне жизнь. Идите же к *alcalde* города и просите его прийти и снять меня».

Родители тут же поспешили к главе города, который как раз приступал к ужину: перед ним лежали два жареных цыпленка, петушок и курочка. Когда паломники рассказали свою историю, алькальд рассмеялся: «Вы бы еще сказали, что эти птицы передо мной сейчас закукарекают!» В тот же миг жареный петушок запел. Алькальд, пораженный и напуганный, бросился вместе со своими помощниками к виселице, обрезал веревку юного пилигрима — и тот продолжил свой путь. С тех пор в городке Санто-Доминго держат в соборе белого петушка и белую курочку в память о великом чуде.

Я спросил, как отбирают птиц для этой почетной должности и проводят ли они в соборе всю свою жизнь. Женщина ответила, что, когда крестьяне выращивают особенно красивую птицу чистейшего белого цвета, они приносят ее в дар церкви. Позади дома служителя есть двор, где держат этих кур; каждые две недели в церковь помещают пару птиц, а по прошествии этого срока заменяют ее другой парой. Кур держат в соборе только с апреля по сентябрь, поскольку в остальное время в здании для них слишком холодно.

§ 11

Размышляя об этой истории и неуступчивом испанском характере, я приехал миль через двадцать в Городок Нахера, чье название мне было знакомо по битве, в которой Педро Жестокий в 1367 году сражался со своим незаконнорожденным братом Энрике Трастамарой. На стороне Педро выступали Черный Принц и английская армия, а на стороне Энрике — дю Геклен и французские войска. Английские рыцари и лучники рассеяли французов и вошли в Испанию, чтобы

умереть от жары и болезней, в тщетном ожидании, когда же Педро заплатит им за службу.

Что за городок эта Нахера! Маленький, пыльный, старый, с каменными домишками, похожими на крепости, сверкающей прозрачной речкой Нахерильо, бегущей с гор к Эбро, и разрушенным замком на холме! Женщины развешивали белье на балкончиках, нависавших над резными гербами. Я видел сено и уголь, сложенные в средневековых подвалах; солнце, поблескивающее на камнях, по которым струились воды реки; маленьких мальчиков в закатанных штанах, стоявших посреди русла с рыболовными сетями. Словом, одно из тех мест, в какие я влюбляюсь с первого взгляда.

Крытую телегу разгружали во дворе маленькой прибрежной гостиницы; у столбов стояли привязанные мулы; и вся картина была исполнена готической живости и колорита, которые появляются к северу от Авилы. Я нашел столовую наверху, рядом с кухней, где женщины склонялись над дымящимися горшками и кастрюлями; аромат их трудов, аппетитно окаймленных чесноком, весело струился вниз по лестнице и даже вытекал на улицу. Мне дали столик у окна, выходящего на реку, где я мог наблюдать за рыбающими ребятами. Приятно было видеть испанскую реку, не похожую цветом на *café au lait*^[120] Девушка поставила на стол бутылку красного вина из Логроньо; за этим последовали бобовый суп, омлет с беконом, жареная курица и салат, карамельный соус и фрукты — неплохое достижение для деревенского трактира. Большая часть хлеба в Испании хороша, но этот, нахерский, оказался особенно восхитителен. Вошли возчики и вместе с ними несколько мужчин неопрятного вида, явно путешественники, они сели обедать за соседними столиками. Мне так понравилось это местечко, что не

спеши я в Памплону, чтобы увидеть утром бег быков, я не поехал бы дальше, а остался бы в чудесном трактире у реки.

Выйдя из столовой, я заглянул в спальню, которую мог бы получить, и взял себе на заметку когда-нибудь вернуться и занять ее. Она была разделена надвое занавесками: в одной половине стояла внушительная бронзовая кровать, а в другой — старинные стулья и круглый стол с изящной *brasero*, жаровней, которую зимой наполняли угольками молотых оливковых косточек, чтобы согревать воздух. Удобнейшая вещь в холодном климате — это, конечно, круглый испанский столик, оборудованный *brasero* и занавесками на кольцах, которые можно плотно задернуть, так что насколько бы ни замерзло все остальное, но ноги от колена до стопы имеют личную печку. Позже я выяснил, что этот трактир славится глубокими традициями гостеприимства и не менял название со времен Ричарда Форда. Бродя по городку, очарованный зданиями, утратившими прежний блеск, я подошел к воротам старинного бенедиктинского монастыря Санта-Мария ла Реаль, погруженного в сонную атмосферу ушедшего величия. Монах наконец ответил на колокольчик и отвел меня в великолепную церковь — достаточно большую, чтобы считаться собором — и вниз, в склеп, где похоронены более тридцати королей и королев Наварры, Леона и Кастилии: Гарсии, Санчо и Бланки — имена из неразберихи ранней испанской истории. Склеп внушал трепет. Два каменных алебардщика человеческого роста охраняли подножие лестницы, словно запрещая вход. Над ними стояли на коленях изваяния стародавних короля и королевы, сложивших руки в молитве, а вокруг толпились каменные гробы с изображениями мужчин и женщин — потрясающая картина в свете незатененной электрической лампочки. Здесь лежали Гарсия и его жена Эстефания де Фуа,

Санчо Наваррский и Клара Нормандская, Санчо Храбрый и Беатрис, Санчо Благородный и Бланка — все монархи далеких дней, правившие до того, как Кастилия стала лидером христианских королевств. Для англичанина это поразительное зрелище, все равно что попасть в склеп с могилами саксонских королей, Эгбертов и Этельредов. Здешний склеп на несколько веков младше самих гробов: он был сооружен для них во время перестройки церкви.

Потом меня отвели в пещеру, превращенную искусством каменщика в маленькую подземную часовню; там над алтарем стоит чрезвычайно старая статуя Святой Девы. Раскрашенная деревянная фигура не скрыта одеяниями, так что я смог получить хоть какое-то представление о ее возрасте. Это раннеготическая статуя, и она принадлежит временам, когда в Испании не считалось непочтительным открывать взорам стопы Богородицы. Одевание очерчивает ноги от колена до щиколотки, а ступни закрыты остроносими тапочками. Левой рукой Богоматерь поддерживает Христа, похожего на юного византийского принца, а в правой у нее держава с любопытной стилизованной лилией — очень древним символом.

— В 1050 году король Памплоны Гарсия однажды выехал на охоту, — рассказывал монах. — Он увидел, как в заросли улетает куропатка, и последовал за ней. Король рубил кусты своим мечом, но птица исчезла без следа. Вдруг он заметил вход в пещеру, куда, должно быть, улетела куропатка, спешился и вошел внутрь. Там Гарсия с изумлением увидел статую Святой Девы. Перед статуей горела молитвенная свеча и стояла ваза с душистыми свежими лилиями; а у ног Богородицы свила гнездо куропатка. Это, сын мой, та самая пещера, а церковь Санта-Мария ла Реаль построили над ней.

Еще одна история, похожая на обретение статуи Святой Девы Гуадалупской, и разве не похожи эти легенды на правду? Возможно, такие статуи прятали в пещерах, чтобы сохранить от арабских мародеров, а потом их находили пастухи или охотившиеся короли?

Интересный монастырь отнял у меня столько времени, что пришлось отказаться от идеи осмотреть поле битвы, где Черный Принц вернул своему недостойному союзнику трон. Торопясь, я проехал через Логроньо — живописный городок на берегах Эбро, который является центром лучшего виноградарского района в Испании, и добрался до Памплоны ближе к вечеру. К моему удивлению, она оказалась большим городом вполне современного вида. Я ожидал чего-то маленького и средневекового, что пробуждало бы воспоминания о Ричарде Львиное Сердце, который на здешнем турнире впервые встретил Беренгарию, дочь Санчо Наваррского, на которой впоследствии женился. Она была единственной королевой Англии, которая никогда не ступала на английскую землю, но провела свою нелегкую замужнюю жизнь в скитаниях по Ближнему Востоку вместе с мужем-крестоносцем. Вид Памплоны, раскинувшейся на плодородной равнине у подножия Пиренеев, великолепен; но мое внимание немедленно привлекло то возбужденное состояние, в которое погрузился город из-за приближающегося праздника Сан-Фермин: он уже предавался разгулу и веселью. Все лавки и магазины закрыты, работали лишь кафе и бары. Группы молодых людей слонялись по улицам, одетые в белое, с красными шарфами, красными кушаками и красными шнурками в туфлях на веревочной подошве. Они выглядели чрезвычайно благодушно, а те, кто еще не был полупьян, притворялись таковыми. Все эти люди бродили, пританцовывая, по улицам, и останавливались, только чтобы глотнуть из бутылки или маленького кожаного

меха, *bota*, которые, как я скоро понял, являлись единственными предметами, совершенно необходимыми паломнику на этой *fiesta*. Кажется, здесь собрались все гости Испании: англичане, французы, американцы, — и остановиться оказалось негде.

В процессе поисков комнаты я получил от гостиничного носильщика два адреса, что привело к приключению, которое забавнее вспоминать, чем переживать. Первым адресом оказалась квартира в высоком зловещем здании на унылой улочке. В бетонном холле был автоматический лифт, который повез меня наверх, а потом остановился между этажами, и ничто не могло сдвинуть его с места. Поднятый мною шум привлек нескольких старух в черном: они появились со всех сторон, и пока одни из них говорили со мной сверху, другие перекрикивали их снизу, утверждая, что электрик ушел и в любом случае лифт вообще-то сломан! Пока они посылали кого-то найти электрика, я раздумывал, не окажется ли он одним из тех, кого я видел на улице с *bota*: если так, он вряд ли будет в состоянии освободить меня. По счастью, электрик смог это сделать, и после долгого битья молотком и многочисленных воплей лифт поднялся на следующий этаж, где я выскочил из него столь поспешно, словно он горел. Отнюдь не в праздничном настроении я постучал в дверь, и меня впустили в темную маленькую квартирку. Древняя дама, которая показала мне спальню, битком набитую мореным дубом, сообщила с трогательной смесью смущения и решимости, что я смогу получить комнату на ночь за сумму в песетах, равную пяти фунтам стерлингов. Сумма шокировала, но я понимал, что праздник Сан-Фермин для этой бедной старой женщины — единственный шанс в течение года, когда она может добыть несколько лишних песет. Я был наполовину готов снять комнату, но, оглядев квартиру и обнаружив,

что кровати расставлены и застелены везде, представил себе ночь крайних неудобств и благоразумно отказался.

Второй адрес привел меня к роскошному старинному зданию около бастионов крепостной стены. Я позвонил в колокольчик, и мужчина провел меня в величественный холл. Пока я гадал, чем бы могло быть это здание, на мой вопрос ответила мать-настоятельница, которая сообщила мне, что я в женском монастыре. Она сказала, что ради одолжения подруге была готова пустить женщину, а мне наверняка дали этот адрес по ошибке! Это оказалось даже еще смешнее, чем сидеть запертым в лифте, и я, рассыпавшись в извинениях, удалился.

Я прогулялся по Памплоне и увидел, что те улицы, по которым погонят быков завтра утром, от станции к арене, огорожены деревянными барьерами. Каждый балкон над маршрутом был забронирован, и зрители выбирали на улице лучшие места, с которых будут смотреть на несколько сотен молодых людей, бегущих изо всех сил от нагоняющих их животных. Я купил несколько открыток с прошлых бегов и решил, что едва ли стоит смотреть этот спектакль. Киоскер, которому я сказал об этом, глядел на меня в изумлении и негодовании. На его лице было написано выражение человека прошлых веков, который услышал особенно злостное богохульство и намеревается идти с доносом в инквизицию. Он ответил, что юноши очень храбры и каждый год кто-нибудь получает тяжелую травму или погибает; потом пожал плечами и мысленно заклеил меня как профана, совершенного чуждого *españolismo*. Я был рад выбраться из Памплоны, удрать от танцующих юнцов с пищалками. Я ожидал простого деревенского праздника, а нашел городскую пошлость — впервые в Испании.

Через семнадцать миль по дороге на Сан-Себастьян я приехал в очаровательную деревушку под названием Ирурсун, где заметил маленький деревенский трактир, ослепительно белый, с деревянными балками и красными ставнями — того оттенка, в какой у нас красят почтовые ящики. Дюжины цветочных горшков, расписанных разными цветами, были закреплены на железном балконе во всевозможных железных скобах и подставках. Увы! Трактир был полон из-за Сан-Фермина, но для меня нашлась комната в бакалейной лавке почти напротив. Так я очутился в большом помещении с двумя огромными кроватями, умывальником, отдраенными добела досками пола и несколькими религиозными картинами.

Я прогулялся до трактира, чтобы поужинать, и разделил столик с очаровательной французской семьей: отец, мать и два образцовых маленьких ребенка с идеальными манерами. Мужчина пришел в восторг от возможности поговорить по-английски: он учил язык по грамофонным записям, планируя эмигрировать в Австралию. Но его план провалился из-за любви к семье. Ему сказали, что придется ехать одному, а жена и дети не смогут последовать за ним, пока он не устроит для них жилье; и эта разлука показалась ему невозможной. Он поведал, что оказалось дешевле приехать на своей машине из Франции и прокатиться по всей стране, чем провести отпуск на родине. Этот француз был *aficionado* и намеревался встать в пять утра и ехать в Памплону, чтобы посмотреть на быков. Он, как мог, убеждал меня ехать с ним, но к тому времени я уже решил вместо бега быков почитать хемингуэевскую «Фиесту» и посмотреть открытки.

Меня разбудил звон колокольчиков, надтреснутых коровьих и звонких козьих, — выглянув в окно, я увидел утренний туман, сквозь который вели на пастбище коров, а коз выгоняли пастись мальчишки с длинными

палками и маленькими медными рогами. Вот мальчик поднес рожок к губам и выдул ноту, на которую немедленно ответил козел, степенно вышедший со двора в сопровождении свиты из нескольких козочек и козлят — и вместе они удалились в туман летнего утра.

Я оделся и пошел в трактир завтракать. Мужчины во дворе напротив заплетали гриву жеребцу, который, видимо, отправлялся на лошадиную ярмарку, а зал в трактире был заполнен пастухами в беретах и вельветовых жилетах, сжимавшими толстые посохи. Перед каждым стояла дымящаяся чашка с какао и большой ломоть хлеба с хрустящей коркой. Они ломали хлеб, крошили его в какао и ели все это ложкой. Некоторые из пастухов пропускали стаканчик *anis*, многие доставали кисеты и скручивали себе сигареты. От пронзительного звука автомобильного клаксона комната внезапно опустела: коренастые суровые баски похватали посохи и сбежали по лестнице вниз, где их ждали два грузовика с лошадьми.

Какао — видимо, сдобренное корицей и увенчанное взбитыми сливками — было превосходно. По всей Испании какао хорош, что в кружках, что в пакетах, — и этот напиток, который привезли в Испанию конкистадоры из дворца Монтесумы, лишь недавно сдал позиции кофе в некоторых областях страны; а чай, как известно всем, кто пытался заказать его вне гостиницы, все еще считается в Испании одним из самых отвратительных растительных лекарств. Форд говорит, что в его время кофе только «вползал в моду», поскольку арабам Испании он был, конечно же, неизвестен — и в самом деле, арабский мир принял кофе уже после изгнания мавров.

К тому времени солнце встало и туман рассеялся. С нескольких маленьких запертых сараев сняли засовы, и они явили взору самодельные сельскохозяйственные орудия: грабли, деревянные вилы и достаточное

количество метел, чтобы экипировать всех ведьм в мире. Как ни желал я остаться в этой славной деревушке, я все же чувствовал, что не осмелюсь посмотреть в глаза своим друзьям в Мадриде, если не увижу хоть что-нибудь из праздника Сан-Фермин. Когда я доехал до Памплоны, город уже протрезвлялся от возбуждения и готовился узреть торжественную процессию, текущую по улицам со статуей святого покровителя — самого Фермина. Теперь у меня сложилось впечатление, что я в средневековом городе. Колокола звонили, мужчины на деревянных лошадках, вооруженные пузырями на палках, гонялись за всеми встречными девушками и скакали за стайками восторженных детишек, которые уворачивались от них, но не раньше, чем получали удар пузырем по головке. Модные одетые женщины собирались на балконах общественных зданий, городские сановники в парадных костюмах и офицеры в орденах и медалях пробирались сквозь толпу. В боковой улочке я наткнулся на одного из великанов, крючконосого вельможу, выраженного в великолепный костюм из старинной парчи, — его голова из папье-маше была, я совершенно уверен, карикатурой на герцога Веллингтона. Всех *Cabezudos* и *Gigantones* вытащили из собора, и они шествовали по улицам. Сначала я не видел великанов, но *Cabezudos* попадались везде и пугали куда больше, чем любой великан, потому что были слишком живыми пародиями на человеческие существа. Люди, наряженные этими «большеголовыми», носили костюмы восемнадцатого века, а лица огромных масок либо были совершенно лишены выражения, либо застыли в ужасных усмешках. В узкой улочке я столкнулся с восемью великанами Памплоны: великолепно раскрашенные и одетые, они ковыляли вереницей, неуклюже поворачиваясь из стороны в сторону, медленной семенящей походкой, будто человек внутри плетеного каркаса делал

обычные человеческие шаги. Великаны изображали Фердинанда и Изабеллу, четырех мавров и двух южноамериканских индейцев. Лицо у Фердинанда было кирпично-красным, волосы и борода — цвета воронова крыла, а корона золотой. Поверх голубой формы блестел серебряный нагрудник панциря, король сжимал серебряной латной рукавицей рукоять огромного меча. Изабелла красовалась в желтокрасном — цветах Испании — и кружевной мантилье размером с ковер. Мавры выглядели свирепо в своих тюрбанах; один был султаном, другой — султаншей, а остальные два — воинами, завернутыми с головы до пят в белые бурнусы; индейцы оказались эбеново-черными, с перьями в волосах. Толпа встретила эти фигуры воплями восторга: мальчишки восхищенно бежали перед ними, а те малютки, которые видели их впервые, преисполнились удивлением. Насколько хорошо средневековые люди знали, как впечатлять тех, кто не умеет читать!

Я занял место на краю мостовой и в ожидании святого Фермина прочитал его некролог в специальном выпуске утренней «Arriba España». Это свежайшая новость в Памплоне каждый июль! Святой жил во времена правления императора Деция (201-251) в Испании, тогда полностью римской. Он был сыном известного сенатора Памплоны — точнее, Помпейополиса, как город в те времена назывался, — и после крещения его послали миссионером в Галлию. Фермин стал первым епископом Амьена, где его до сих пор почитают и где он принял мученичество — вероятно, во время Дециевых гонений.

Я услышал приближающийся оркестр и увидел, как из-за угла медленно появляется процессия, призванная раскрыть и воплотить любовь испанцев к церемониям и формальностям, а также, необходимо добавить, культ достоинства: я ни разу не видел события подобного рода, настолько лишенного юмора и пафоса, часто

вкрадывающихся в торжественные ритуалы. Первыми шли восемь великанов под предводительством Фердинанда и Изабеллы — собственной неофициальной процессией, окруженной маленькими мальчиками, бьющими в барабаны. Было восхитительно смотреть на этих испанских родственников Гога и Магога, ковыляющих в солнечном свете, и мне иногда удавалось разглядеть внутри куклы мужское лицо, глядящее сквозь проем в каркасе чуть ниже пояса великана. Перед началом настоящей процессии образовался перерыв; к этому времени великаны свернули в узкий переулок, и видно было, как они неуклюже поворачиваются из стороны в сторону, словно отвечая на приветствия людей на балконах, стоящих на одном уровне с их головами.

Маршируя под музыку духового оркестра, вышел отряд юношей в полной форме кавалерийского полка: короткие тяжелые кожаные сапоги, лосины, голубые куртки с белыми поясами, ремни наперекрест и золотые аксельбанты, золотые шлемы, из которых поднимались изумруднозеленые плюмажи из петушиных перьев. Толпа, смеявшаяся и отпуская шуточки, пока проходили великаны, сделалась серьезной и торжественной — средневековый переход от комедии к обряду. За эффектными солдатами шествовала группа юношей в белых костюмах, отделанных красным кантом. Они напомнили мне великолепно разряженных танцоров морриса. Двубортные жакеты заканчивались на уровне талии, а бриджи с зубчатым краем — под коленками, и каждый юноша нес короткий жезл, обернутый спиралью желтой и белой ткани. Мужчина из толпы сказал мне, что это баскские танцовщики в традиционном наряде; похожесть этих юношей на танцоров морриса напомнила мне о распространенном воззрении, что на самом деле «моррис» значит «мавританский», а сам танец пришел в Англию из

Испании — как утверждают некоторые, благодаря Джону Гонту. Деревянные лошадки и шуты с пузырями, танцоры с жезлами, которые ударялись друг о друга во время танца, суть элементами английского праздника Майского дня, и я смутно помню их из собственного детства. Но интересно, сколько времени прошло с тех пор, как в Англии слышали настоящий моррисовский барабан — то есть тот, в который бьет простой деревенский житель, а не член фольклорного кружка?

Солнце поблескивало на крестах для процессий — взятых как из собора, так и из по меньшей мере двенадцати приходских церквей, — несомых крестоносцами в розовых одеяниях; когда они прошли во главе с ризничим собора, одетым в красную мантию и белый парик, ниспадающий до плеч, я увидел вдалеке статую святого. Фермин восседал на массивном серебряно-золотом троне, взгроможденном на паланкин, который несли мужчины в белых париках и красно-голубых ливреях. По обеим сторонам от святого, чеканя шаг под мелодию гимна, шагали солдаты в хаки и стальных касках, сжимавшие белыми перчатками винтовки с примкнутыми штыками. Провинциальные и муниципальные чиновники шествовали перед паланкином в белых перчатках и парадных мундирах, а с ними военные офицеры в униформе. Вблизи святой оказался настоящим произведением искусства. На нем красовалась усыпанная драгоценностями митра, риза была расшита золотом, в левой руке он держал епископский посох, воздев два пальца правой руки — серебряные, прекрасной работы — в жесте благословления. Вес серебряно-золотого трона угадывался по готовности, в какой носильщики в париках, несущие трости паланкина на плечах, помогали себе посохами. Сразу позади святого шли епископ и высшие чины церкви, потом праздничный оркестр, еще солдаты; замыкал процессию отряд

кавалеристов в золотых шлемах. Вот так римлянин, умерший семнадцать сотен лет назад, проходит каждый год по улицам Памплоны.

После торжественной мессы в соборе город предался веселью. Те же самые мужчины — не смешиваясь с женщинами, — одетые в белое и с красными шарфами, бродили по улицам, останавливались сделать пару танцевальных па, с поднятыми над головой руками, как в шотландской пляске, а потом счастливо и бесцельно брели дальше, наслаждаясь главной *fiesta* года. Мне сказали, что почти все здесь пребывают в некотором подпитии целую неделю, но никогда не бывает ни драк, ни скандалов.

Пока я сидел у кафе, молодой француз из Ирурсуна подошел и присел рядом. Он был совершенно доволен сегодняшним утром. *Encierro de los toros*, или запирание быков, полностью оправдало все его ожидания.

— Мне досталось чудесное место около арены, — рассказывал он. — Вдруг слышу крики! Женщины визжат! Крики и визг все приближались, и я увидел бегущих людей — бегущих изо всех сил — без шляп, в рубашках и штанах, может, пятьдесят, а может, и сотню. Потом, прямо за ними, быки — шесть или восемь, огромные, черные, несутся, как лошади, мотают головами вправо и влево. Ужасно увлекательно! Иногда человек понимает, что бык его нагоняет, и тогда он падает ничком, а быки проносятся мимо; или он может спрятаться в дверной нише и замереть — но есть шанс, что бык заметит его и поднимет на рога! Когда люди падают, женщины просто заходятся визгом — такого в жизни не услышишь, — и все это такое варварское, такое языческое...

— Кстати, вы видели процессию, которая только что прошла?

— Ага, видел. Очень христианская и очень языческая! Это Испания! Вся Испания в этом городе. Христианство утром и язычество днем! Будет великолепный бой быков. Почему бы вам не посмотреть? Ах да, я забыл рассказать самое забавное. Когда быков вели в загоны, в толпу выпустили коров. На рогах у них были резиновые шарики, и они бодались во все стороны, сшибая людей. Необычайное зрелище! Испанцы просто бредят боями быков, они у них в крови. Всюду видишь маленьких мальчиков, пытающихся играть с коровами платками, рубашками, чем угодно, — и если они делают хорошую проводку, толпа с ума сходит от восторга. Их сбивают с ног, но им все равно. Был ли кто-нибудь ранен? Думаю, да. Я видел, как человека унесли на носилках. Все это страшно увлекательно, вы пропустили чудесное зрелище...

Так продолжается в Памплоне всю неделю. Здесь собирается половина Страны басков со своими *botas*. Мне рассказывали, что в полночь последнего дня, когда *fiesta* Сан-Фермин заканчивается, мужчины и мальчики проходят по улицам с горящими свечами. Они поют песню, которая завершается словами: «Святой Фермин умирает», — и когда они пропевают этот стих, то ложатся на мостовую, а потом встают и продолжают петь.

§ 12

Дорога от Памплоны до Ронсевала — двадцать три мили Швейцарии: коровьи колокольчики и шале, зеленые луга и шиповник, сосны и белые потоки воды, текущие с отвесных скал через заросли венериного волоса. А флегматичные баски на дороге платят таможенную пошлину со скоростью щелчка кастаньет. Пожалуй, действительно поездка в Гранаду дает столь

же резкую смену впечатлений людям из Наварры, как Неаполь — абердинцу.

Я неуклонно поднимался из долины Арги в горы, и с одной стороны дороги нередко возникала пропасть, в которую я не трудился заглядывать. Это огромное ущелье ведет на плато с фермами и полями пшеницы; потом снова начинается ущелье: оно петляет и изгибается — и внезапно за изгибом холма открываются громадные голые пики, унылые и ужасные. Где-то впереди лежал Ронсеваль — одно из знаменитейших названий, подобное Тинтагелю и Авалону.

Дорога кружила по Пиренеям; иногда я двигался на север, иногда на юг; а потом вдруг проехал последние несколько деревушек с испанской стороны ущелья — и наконец очутился в деревне Ронсеваль. Я всегда представлял, что она должна прятаться в расселине, где можно уничтожить армию камнями, сброшенными с гор, — как, по легенде, и случилось с арьергардом Карла Великого. Но ничего подобного. Ущелье даже не походило на известнейший горный проход в мире. Дорога внезапно свернула в маленькую деревушку, где несколько каменных домиков сгруппировались около большого, мрачного на вид монастыря, а кругом расстилались поля и горы, заросшие елями. Хотя Ронсеваль находится на высоте около трех тысяч пятисот футов, меньше половины высоты перевала Большой Сен-Бернар, было очень холодно, а в воздухе висела сырость. Неподалеку от монастыря стоял маленький трактир, оказавшийся вполне уютным. Единственными гостями, кроме меня, были французские ботаники, которые разбирали свои образцы на столах в небольшой столовой и возбужденно спорили насчет хилого растеньица, показавшегося мне похожим на клевер. Горячий суп, от которого валил пар, омлет, жареная баранина и красное вино взбодрили всех, и пока мы ели, подполз ветхий автофургон, нагруженный

овощами и фруктами с далеких равнин. Один из французов заметил, что баски — величайшие, самые дерзкие и изобретательные контрабандисты в мире; мол, он знавал нескольких басков, умудрившихся протащить контрабандой в Испанию рояль!

Таков оказался Ронсеваль, великий путь в Испанию, дорога, выбранная Карлом Великим, дорога паломников в Компостелу, маршрут армий, посольств, королевских свадебных процессий и курьеров с начала истории. Здесь Роланд трубил в волшебный рог Олифант, который добыл у великана Ютмунда, предупреждая ушедшего вперед Карла, что арьергард в опасности. На третьем зове Олифант разломился пополам, но звук был столь громок, что птицы падали мертвыми, а врага обуяла паника. Тогда Роланд вытащил свой меч Дюрандаль, который когда-то принадлежал Гектору и был добыт, как и Олифант, у великана. В рукояти меча хранилась нить из одежды Богоматери, зуб святого Петра, волос из бороды святого Дионисия и капля крови святого Василия. Но в тот день святые, видимо, отвернулись от героя, поскольку Роланд получил смертельную рану и пытался сломать Дюрандаль о камень, чтобы тот не попал руки врага. Но меч было нельзя сломать, и — так же поступил сэр Бедивер с мечом короля Артура Эскалибуром — Роланд бросил его в воду, где, как говорит песнь, он останется скрытым навеки.

Монастырь был погружен в полуденную дрему. Даже рабочие, чинившие кровлю, покинули свои лестницы и ушли. Я побродил вокруг и решил, что никогда не видел более сырого и неприветливого места. Мох рос на всех стенах, в темных бессолнечных уголках пробивались кустики папоротника; камень в старинных двориках потрескался от дождей и горного тумана. Как велика должна быть любовь к Господу, подумал я, чтобы давать человеку чувство

удовлетворенности в этом аквариуме; или, может быть, тело, разбитое ревматизмом и согнутое ишиасом само собой превращается в лестницу для духа? Я наткнулся на могилу Санчо Сильного Наваррского, который сражался при Лас-Навас-де-Толоса и похоронен здесь вместе со своей супругой Клеменсией. Их гробницы уже успели потемнеть от возраста, когда через ущелье пришел Черный Принц с английскими рыцарями и лучниками; и я представил, что принца, наверное, привели сюда посмотреть на могилы, как всякого туриста.

Я прошел по дороге и добрался до старинной церкви, которая оказалась засыпанной камнями и мусором. Я смог только заглянуть внутрь; интересно, когда здесь служили последнюю мессу и почему вседневная связь веры с домом Верхней горницы разорвалась, ведь снаружи здание выглядело достаточно прочным. Бессчетные тысячи паломников, должно быть, преклоняли здесь колени за всю историю этой церкви, но горные туманы, видимо, разъедали ее, как и все прочее в Ронсевале. Сейчас Ронсеваль создает ощущение крайнего запустения. Наполеоновские армии проходили тут последними; паломники забросили этот путь намного раньше. Это была одна из главных дорог на карте веры, а теперь — последнее почтовое отделение в Испании. Я верю, что зимой Ронсеваль живет по словам трубадура: «Хребет высок, в ущельях мрак царит, чернеют скалы в глубине теснин»^[121]; видят ли когда-нибудь те, кто живет здесь круглый год, тени, движущиеся в тумане, слышат ли в завываниях ветра из Франции крик: «Монжуа!», эхом отдающийся в мокрых скалах? Как во всех местах, где совершались великие дела и слагались великие песни, в этом ущелье духовидцы никогда не жалуются на одиночество.

Мое собственное призрачное видение в этот день не было ни мрачным, ни воинственным: веселая пятнадцатилетняя Елизавета Валуа, которая прибыла в Ронсеваль во время метели в первые дни 1560 года, чтобы выйти замуж за тридцатитрехлетнего Филиппа II Испанского. Мария Английская уже два года как умерла, и Филипп решил примерить в третий раз то, что один писатель назвал «нарядом брачных мук». В Прадо есть очаровательный портрет Елизаветы, который показывает, что она была высокой и красивой девушкой: на ней черное платье, плотно облегающее талию, длинная двойная нитка жемчуга, прорезные рукава и дерзкая шляпка с красным пером, припиленная сбоку. Плиссированный воротник от уха до уха и лицо задумчивого мальчика-пажа. Картина, увы, не показывает ума и образованности принцессы — она переписывалась изящными стихами с Марией, королевой Шотландии, с которой вместе воспитывалась — и также не сообщает, что всю жизнь Елизавета находилась под контролем своей талантливой и расчетливой матери, Екатерины Медичи, которая готовила ее к роли циничной правительницы. (Последнее, впрочем, все же немного заметно.)

Сочувствуешь этим юным девушкам, оторванным от увеселений двора и обреченным на жизнь среди унылого этикета, ибо едва они становились королевами Испании, каждый их шаг был расписан с почти китайской скрупулезностью. Елизавета прибыла в Ронсеваль полузамерзшей от снега и ледяного дождя, и ее впустили в монастырь вместе с горами багажа, дамами и толпой гордых французских вельмож, готовых затеять ссору с испанцами по малейшему поводу или вообще без такового. Их раздражению не было предела, потому что испанские посланцы Филиппа, отправленные за невестой, ждали кортеж в деревне в пяти милях от монастыря. Французам пришлось

укрыться в Ронсевале, чтобы уберечь юную королеву от тягот церемонии посреди бурана; но поскольку Ронсеваль не был назначенным местом, испанские вельможи отказались сниматься с места. Высокопарный дипломатический язык изобретен именно для таких затруднительных положений, и большая часть обмена любезностями происходила между захваченными метелью французами в Ронсевале и захваченными метелью посланниками Филиппа в пяти милях от них. Наконец Елизавета, потеряв терпение, решила, к ужасу и смятению французов, встретиться с испанцами; но в последний миг, как раз когда она уже выслала кортеж с багажом вперед, испанцы прибыли в Ронсеваль — повинувшись, как они сказали, зову своей королевы. В превеликом смущении, поскольку платья, мебель и богатые гобелены ползли по извилистой дороге к Испании, провели поспешный обряд; и в тусклом свете зимнего вечера кардинал Мендоса и герцог Инфантадо, перед которыми шествовали шестьдесят испанских вельмож в парадном платье, вошли в зал монастыря, где под флагом, расшитым лилиями Франции, юная Елизавета встала им навстречу. Торжественная церемония проходила при свете факелов и сопровождалась множеством неуместных стычек; когда же последняя речь была произнесена, последняя рука поцелована, последний табурет принесен, и французские дворяне встали на колени, чтобы попрощаться с юной королевой, девушка бросилась, заливаясь слезами, в объятия Антонио Наваррского.

Ее увели вельможи, и когда испанский паланкин двинулся вперед под падающим снегом, его провожали бой барабанов и громкий рев гобоев и труб. Брак оказался удачным, и когда Елизавета умерла через восемь лет, в двадцать три года, Филипп скорбел о ней и ждал положенные два года, прежде чем примерил наряд брачных мук в четвертый и последний раз.

Глава девятая

Север и святой Яго

Сан-Себастьян. — Сантильяна-дель-Мар и ее дворцы. — Пикос-де-Эуропа. — Пещера Ковадонга. — Овьедо и ярмарка. — Могила сэра Джона Мура. — Сантьяго-де-Компостела и храм Святого Иакова.

§ 1

Тихий дождь падал на Сан-Себастьян. Это был мой первый дождь в Испании, и он пришелся мне по сердцу. Детей звали под крышу с роскошной полосы песка, море выглядело по-английски серым, а многие кафе в этом прелестном курортном городке заполнились теми, кому было нечего делать, кроме как ждать, пока снова выйдет солнце.

Первое впечатление говорило, что Сан-Себастьян, похоже, — штаб-квартира испанского бруммелизма. Я никогда не видел столько магазинов для мужчин в городке такого размера; думаю, они превосходили числом женские в соотношении три к одному. В этом мужском Париже я наткался каждые десять ярдов на витрину, полную мужской одежды или обуви. Может быть, мужчины, проводящие отпуска в Сан-Себастьяне, по какой-то причине, не слишком для меня очевидной, преисполнены страсти к самолюбованию; или члены правительства, которым удастся ускользнуть из Мадрида, поглощены стремлением хорошо выглядеть — наверное, не только в глазах генерала Франко? А может, французы считают, что дешевле покупать одежду за границей? Я припомнил, как француз,

которого я встретил в Ирурсуне, сказал мне, что сотни его соотечественников приезжают в Испанию с пустыми чемоданами и скупают всю одежду, какую могут себе позволить.

Я наткнулся на прекрасный образчик испанской аптеки — характерной черты Испании, которую стоило бы упомянуть раньше. В этих аптеках есть торжественность и степенность, отсутствующие в той оргии патентованных лекарств, которые называют аптекой в большинстве других стран. *Farmacia* — дань художественному вкусу испанцев, а также их любви к драматизму и тайне: ибо что может быть более привлекательным, чем огромные бутылки, наполненные — словно некой приятной на вкус панацеей — красной, голубой, зеленой и желтой водой, которые украшают витрины и волшебно выглядят по ночам, подсвеченные сзади. И что более драматично, чем красивые баночки, подписанные словами вроде «*Arsínico*»^[122] или более таинственно, чем сотни маленьких ящичков красного дерева, каждый из которых помечен надлежащим иероглифом? Настоящий старомодный фармацевт — правильнее «аптекарь» — явно выбрасывает все открытки и рекламы пухлых младенцев и красивой кожи; хотя он держит у себя в лавке большую часть популярных причуд массового производства, они хранятся в глубине лавки, а непосредственное окружение принадлежит магии более древней, чем пенициллин и всякие «-мицины». В самом помещении ощущается нечто, поражающее даже случайного покупателя упаковки аспирина, — некое смутное подозрение, что в задней комнате, может быть, все еще пытаются получить философский камень.

На склонах холма, глядящего на старую гавань, я обнаружил великолепный аквариум, где забавлялся около часа, разглядывая рыб и людей, наблюдающих за

рыбами; но в Испании невозможно созерцать рыб, и особенно *crustaceo*^[123] так долго, не заинтересовавшись их вкусом. От живой рыбы я перешел к *pescaderia*, рыбному рынку, где торговала превосходная команда самых симпатичных роулендсовских рыбачек и их румяных, как наливные яблочки, дочерей, которые буквально лучились здоровьем. Здесь не было гибких Кармен, только мускулистые женщины, вроде тех, кто шел с Кортесом на Мехико. Есть в рыбе нечто, наделяющее всех, кто имеет с нею дело, бодростью и жизнелюбием, поскольку я никогда не видел унылого рыбного рынка. Эти баскские женщины за бастионами омаров и камбалы были великолепным примером грубой северной витальности; понимаю я хоть немного баскский диалект, я получил бы от рыбного рынка еще большее удовольствие.

Я зашел в музей старого города, который оказался красиво оформлен — и полон интереснейших вещей. Здесь был гойевский портрет Марии Луизы (как же ему не хотелось ее писать! или она действительно так выглядела?), а также много современных испанских картин и — невероятно для музея Сан-Себастьяна — меч Боабдила, последнего мавританского короля Гранады. Также имелась коллекция деревенских инструментов: плуги, вилы, лопаты, прялки, ткацкие станки итак далее — и красивый оловянный шлем Мамбрина. На веревке висела фигурка *bruja*, ведьмы, верхом на метле. Длинный нос, коническая шляпа, очки, когтистые руки — она походила на английскую ведьму, но присутствовало и важное отличие: на английской метле летят вперед ручкой, а на испанских, видимо, вперед прутьями. Так что если вам случится увидеть силуэт на фоне луны, сидящий на метле задом наперед, вы сразу поймете, что это испанская *bruja*, или *meiga*,

как назвал ее один из хранителей музея — таково обозначение ведьмы в его родной провинции Галисия.

Хотя хорошо известно, что союзники не всегда непременно связаны узами сердечной дружбы, можно проехать по всей Испании, не представляя себе, что британские армии под командованием герцога Веллингтона сражались здесь во время войны на Пиренейском полуострове и не грабили церкви, не вскрывали гробницы, не вывозили золото и серебро. С удивлением я вошел в зал, полностью посвященный войне на полуострове: гравюры и акватинты изображали британские «красные мундиры» и моряков, сражающихся с французскими солдатами в синих мундирах в Пиренейских ущельях и наводящих пушку на утесы. Здесь был и портрет Железного герцога в синем мундире, верхом на коне, окруженного гарцующими штабными офицерами в красном.

К тому времени, как я все это осмотрел, уже вышло солнце. Бухта Сан-Себастьян была волшебна — прекрасная, как Уэймутская бухта, она изгибалась к далекому дворцу, куда короли Испании обычно выезжали на морской отдых. Как я уже писал, в сотнях городков по всей Испании есть улицы, где запрещен проезд транспорта — обычно это главная торговая или самая фешенебельная улица; следуя этой манере, Сан-Себастьян убрал транспорт со своей великолепной набережной, так что широкий бульвар, затененный арками подстриженных тамарисков, огибает бухту плавно, спокойно и безопасно.

Пляж снова кишел детьми, а море курчавилось барашками. Было чудесно наблюдать за детьми: они хоть и «избалованы» в английском смысле этого слова, но безыскусны, и простые недорогие вещи не заставляли их скучать. Порадовал меня вид продавца каштанов, жарившего их в котле игрушечного паровозика — антикварного потомка стефенсоновской

«Ракеты» — с высокой трубой, из которой шел настоящий дым. Рядом прогуливались мужчины, увешанные гроздьями воздушных шаров; еще были тележки, наполненные анисовыми шариками, палочками лакрицы, конфетами, похожими на морские камешки, и маленькими сетями, набитыми шоколадными монетками в золотой фольге, а также крошечными наручными часами. То и дело маленькая девочка, какую могла бы описать Дафна дю Морье, подходила с песетой и — с достоинством взрослой женщины — тщательно выбирала шарик или яблоко в глазури.

Простота, которую мы ассоциируем с иными временами, и есть, в конце концов, одна из составных частей притягательности Испании. Она уходит куда глубже, чем старомодность или нехватка иностранной валюты: она показывает состояние ума. Возрождение, Реформация, Французская революция, промышленная революция и американизация жизни не сыграли определенной роли в истории Испании; мы чувствуем здесь старый мир и восхищаемся им. В каком-то смысле простые лакомства и игрушки Сан-Себастьяна — часть того мира.

Я поддался бесстыдному чревоугодию Сан-Себастьяна и шел по старому городу от одного ресторанчика к другому, как ходят от картины к картине в Прадо. Баски, пожалуй, величайшие любители поесть в Испании, и никто — даже во Франции — не умеет лучше и разнообразнее готовить рыбу. Старый город усеян ресторанчиками, которые предлагают каждый свое коронное блюдо, и я нашел здешнюю кухню лучшей из всех, что мне встречались. И это, должен добавить, в один из худших месяцев года, поскольку был не сезон устриц, венерок, мидий и *anguilas a la bilbaína* — икры угря, жаренной в масле. Я также с разочарованием узнал, что сейчас не время для

миног — маленьких угрей, которых едят по всей Испании: их я мечтал попробовать с тех пор, как учился в школе и изнывал от смертельного любопытства отведать блюдо, погубившее, по преданию, Генриха I.

Зато к моим услугам были форель, кумжа и семга, омары, *langostinos*, камбала, *chipirones*, то есть каракатицы, свежие сардины, жареный тунец и знаменитое баскское блюдо *bacalao a la bilbaína* — сушеная треска, которую вымачивают двадцать четыре часа и готовят в масле с луком и другими ингредиентами.

Одна из особенностей Испании — скромный ресторанчик или винная лавка, которые для иностранца выглядят как логово банды грабителей и в чьем темном нутре, заполненном винными бочками и бутылками, можно смутно различить чеснок и всевозможные колбасы, свисающие с потолка, а также деревянные скамьи и столы на козлах, выскобленные добела. Иногда наемный убийца подходит к двери и обращает к боязливому иностранцу очаровательную улыбку. Но нет ничего необычного в том, что чем грубее внешность, тем приятнее обхождение. Я нашел на старинных улочках зловещую декорацию для убийства, но, привлеченный написанным мелом на окне объявлением, что здесь есть свежие сардины, запеченные на решетке, все же вошел и был включен, с восхитительной любезностью, в счастливую семейную сцену. Хозяин и его жена, окруженные множеством детей, обедали в приделах сумрачного бочоночного собора в присутствии двух собак и нескольких кошек; когда я спросил свежих сардин, девушка поставила на стол на козлах кувшин белого вина и буханку хлеба, а потом прибыли сардины размером с кильку. Ни ножей, ни вилок; есть сардины следовало так: брать за голову и хвост и обгрызать вокруг хребта. Я решил, что это придает сардине новый вкус.

Чуть больше смелости требуется, чтобы попробовать *chipirone in su tinta* — каракатицу в собственных чернилах. Она появляется перед вами, имея такой вид, словно кто-то вылил бутылку индийских чернил на блюдо черной трески; несомненно, требуется привычка. Вареная треска, одно из печальнейших воспоминаний об Англии, возносится басками до горных высот эпикурейства. Вот благородный и прекрасный способ ее готовить. Возьмите куски трески и замаринуйте их в небольшом количестве оливкового масла, потом слегка обжарьте. Положите каждую порцию на отдельную тарелочку, на которой потом будете ее подавать. Готовится особый соус: две унции сливочного масла вылейте на сковороду и слегка обжарьте в нем немного ветчины и грибов, нарезанных маленькими кусочками, а пока они жарятся, обсыпьте их десертной ложкой муки, чтобы загустить соус. Добавьте немного бульона, томатов и белого вина. Оставьте соус кипеть две минуты, а потом залейте треску. Поставьте тарелки в духовку, пока рыба не приготовится, и перед тем, как подавать, положите на каждый кусок трески маленький шарик масла. Ручаюсь, если вы приготовите это блюдо правильно, то никогда не вернетесь к соусу из петрушки.

Я не представляю, сколько всего ресторанов в Сан-Себастьяне, но наверняка почти на каждой улице старого города найдется хотя бы несколько. Мне сказали, что баски принимают пищу настолько всерьез, что в городке есть клубы-столовые, члены которых могут пользоваться кухней и готовить свои любимые блюда. В городе, где мужчины — не только гурманы, но и повара, понимаешь, почему ресторанам приходится всегда быть на высоте.

По дороге из Памплоны я чувствовал, что оставил Испанию позади и попал в Шотландию из музыкальной комедии. Чем был Сан-Фермин, как не более солнечным

и менее пьяным кануном Нового года?! А в Сан-Себастьяне упрямые голубоглазые лица под голубыми или красными беретами, крепко сбитые мужчины и цветущие девицы — все напоминало о севере; и мне подумалось, что огромная разница между кастильцами и андалусийцами не больше пропасти, отделяющей тех и других от басков. Я припомнил ленивые плодородные равнины Андалусии и ее усыпанные оливами холмы, высокие голые утесы Кастилии и засыхающие летом просторы Ла-Манчи; ныне мне открывалась зеленая влажная смесь гор и моря, где в июле идет дождь, а урожай, на юге уже собранный и увезенный несколько недель назад, только поспевает для серпа.

Есть в атмосфере Страны басков и то же чувство принадлежности к своей расе, какое ощущается, когда въезжаешь в пределы Шотландии; стоит только посмотреть на лица вокруг, чтобы понять: баски — а также кастильцы, андалусийцы и, наверное, все другие типы испанцев — являются в собственном представлении единственными обладателями истины и центром мира.

Here's tae us!
Wha's like us?
De'il the yin!

Я уверен, что должен быть и баскский вариант этого девиза: «Что ж, за нас! Кто с нами сравнится? Мы лучшие!» Как и шотландцы, баски любят деньги; они упрямые, практичны и на первый взгляд простоваты, однако способны на истинный религиозный пыл. Святой Игнатий Лойола был баском, как и святой Франциск Ксаверий.

В Стране басков меня посетило приятное ощущение, столь необычное в Испании, что если я напишу кому-

нибудь письмо, то с большой вероятностью получу ответ.

§ 2

Дождь с Бискайского залива набросил непроницаемое серое покрывало на весь пейзаж, когда я проезжал через Бильбао и Сантандер. У пристани Сантандера стоял корабль, грузившийся товарами для Южной Америки. Это порт, в котором высадился Карл V, когда прибыл из Фландрии, чтобы принять регентство над Испанией от имени своей несчастной матери Хуаны Безумной; и здесь другой Карл, принц Уэльский, поднял паруса после мадридского ухаживания. В надежде увидеть гавань я остановился на каком-то пригорке за пределами города, но смог различить только окутанный туманом крутой мыс, выступающий в море, на котором стоял королевский дворец, — и на заднем плане очертания огромных Кантабрийских гор.

Пятьдесят миль морского побережья с Сантандером в центре представляют собой, как ни странно, старую Кастилию. Это единственный выход Кастилии к морю: провинция втискивается между баскской областью Бискайя на востоке и старинным королевством Астурия на западе; но почему она называется «*la montaña*», я не понимаю — она ничуть не более гориста, чем другие части Кастилии, дальше на юг. Кастильцы из *la montaña* — владельцы зеленых полей и тучных коров; они живут в домах, похожих на шале, с деревянными балкончиками; они играют в пелоту, как баски — иногда даже об стену церкви. Здесь вы найдете множество чудесных романских церквушек, посвященных святым, о которых вы никогда не слышали; как увлекательно было бы проехать по этой кантабрийской границе Испании, выискивая небольшие, но массивные строения,

которые, подобно многим греческим иконам, выглядят куда старше, чем есть на самом деле. На севере романо-вестготская традиция строительства продолжалась еще в тринадцатом веке. Это красивая и величественная область — и, как сказал один испанец, описывая ее, «очень европейская»; его замечание вызвало у меня улыбку, но это правда, поскольку именно здесь европейское христианство собиралось с силами для долгой борьбы с исламом.

До самого полудня солнце не выходило, а к тому времени я уже подъезжал к Сантильяна-дель-Мар, которая расположена недалеко от пещер Альтамира, где можно увидеть знаменитые доисторические рисунки. На вершине крутого холма я наткнулся на самый странный городок, какой только можно вообразить: городок коров, гербов и множества маленьких каменных дворцов, стоящих в ряд, как улица Рыцарей на Родосе. Жители словно исчезли, отчего создавалось впечатление средневекового городка в тот миг, когда бароны, рыцари и оруженосцы уехали на турнир. Такой оказалась Сантильяна-дель-Мар, интересная любителям выслеживать призраки выдуманных персонажей как место рождения Жилия Бласа.

На одной стороне маленькой пласы стоит дом — старинный дворец, — превращенный в одну из самых романтичных гостиниц, «Parador Gil Blas»; и там мне предоставили баронскую спальню со слегка средневековыми светильниками и мебелью и современной ванной — в зеленых тонах, — в которой имелось все за исключением горячей воды.

С балкона в конце холла я смотрел на маленькую мощеную площадь, окруженную старинными дворцами: один с маленькой средневековой башенкой и воротами, как в соборе, другой черно-белый, с деревянными балкончиками, увешанными ползучими геранями —

сцена великолепно подготовлена к спектаклю, но актеров нет! Я никогда не бывал в месте, где жизнь текла бы медленнее и приглушеннее. Это тот абсолют покоя, который иногда прописывают доктора. Единственными представителями жизни, иногда медленно пересекавшими пласу, были пыльный фургон, развозивший почту и бакалею, или машина, полная туристов, которые восклицали на разных языках: «Как чудесно!»; каждый вечер появлялось еще стадо черно-белых коров. Это были самые аристократично расквартированные коровы на свете, поскольку у многих коровников над воротами красовались гербы благородных семейств.

В книге об Антонио Пересе доктор Мараньон рассказывает, что провинция Сантандер всегда отличалась чрезмерной любовью к геральдике. Описывая деревню Эскобедо, доктор Колиндрес говорит: «Здесь он имел дом, густо усыпанный гербами, по обычаю этой провинции, где люди склонны доходить до высот ребячества в своем тщеславии касательно геральдики». Как это верно в отношении Сантильяны! Если бы геральдика могла быть вульгарной, я бы сказал, что гербы, вырезанные почти на каждом здании — особенно огромные гербы на маленьких домиках, — перекрикивают друг друга, словно рекламные плакаты на доске объявлений.

Я не смог найти никого, кто бы рассказал мне, как текла здесь жизнь, когда все эти маленькие дворцы были заняты надменными владельцами. Они, наверное, слишком гордились собой, чтобы заниматься какой-либо работой на ферме, и я не могу вообразить, чем они занимали себя — разве только сидели по дворцам, размышляя над родословными. Схожее восхитительное ощущение безделья исходило и от нынешних обитателей дворцов, хотя им, по крайней мере,

приходилось убирать хлеб и кукурузу, заготавливать сено и доить коров.

Прекраснейшее место в Сантильяне — ее первые постройки, великолепный романский монастырь, ныне приходская церковь; вход в него точнее всего назвать норманнским. Это величественная арка, которая была бы чудом в любой другой стране, кроме Испании — слишком их здесь много. Первую церковь построили, чтобы принять кости святой девственницы Юлианы, которая, по легенде, была замучена в Вифинии в шестом веке; название «Сантильяна» — искаженное латинское «Санта-Юлиана». Позади церкви открываются старинные клуатры из приземистых круглых арок, и каждая капитель покрыта готической резьбой, которая тоньше и изящнее, чем на многих более известных готических памятниках Испании. Здесь также есть архаическая каменная Богородица с Сыном, совершенно римские по духу. Богоматерь держит Дитя не на одном колене, как в большинстве статуй, но на обоих, и смотрит прямо перед собой, а Он изображен юным королем лет десяти.

Мне рассказали, что в придачу к крестьянам и коровам в городе имеется население из отсутствующих дворян, изредка навещающих свои особняки, за которыми присматривают верные хранительницы. Этих женщин можно увидеть по вечерам — они сидят на стульях и скамейках у ворот дворцов за вязанием или плетением кружев. Странное чувство возникает, когда осматриваешь прекрасно обставленные дворцы, содержащиеся в чистоте и идеальном порядке (в некоторых даже стоят на рояле цветы, словно хозяина ждут домой сегодня вечером). Я спросил одну женщину, когда владелец в последний раз останавливался здесь. Она подсчитала и сказала, что это было около пятнадцати лет назад. Я посетил три таких дворца, и на меня произвели глубочайшее

впечатление честность и надежность хранительниц. Мебель начищена до блеска, как и полы. Повсюду расставлены семейные фотографии, на полках — хозяйские книги, на стенах — картины, и даже за садиками приглядывали. Отрадно знать, что честность и преданность еще сохранились в мире; и легко представить радость, которая засияет на крестьянских лицах, если герцог или герцогиня внезапно приедут и велют снять постельное белье и проветрить простыни.

Один из самых красивых дворцов, какие мне показали, принадлежит эрцгерцогине донье Маргарите из Габсбургов-Лорренов и Бурбонов. Это был когда-то дом настоятеля монастыря, и старейшие его части относятся к тринадцатому веку, но его перестраивали и переделывали в более поздние времена, а нынешняя владелица удачно модернизировала. Душераздирающая тишина — поистине призрачная — царит в доме, чей хозяин отсутствует многие годы; и какой сверхъестественной она становится, когдаходишь в комнату и видишь, что все осталось на своих местах, точно так же, как во времена прощания хозяина или хозяйки с домом! Фотография Франца Иосифа в военной форме все еще стоит в рамке на пианино; король Альфонсо XIII на журнальном столике — краснощекий, но изящный кадет в белой форме; вот королевские свадебные фотографии; принцессы с детьми в крестильных платьицах; смеющиеся семейные группы в нарядах шестидесятилетней давности; охотничья фотография какого-то забытого представителя королевской крови, который стоит в гетрах и шляпе с пером, горделиво попирая ногой убитого вепря...

Чудовищная тирания мертвых позволяет человеку завещать потомкам то, чем они не смогут воспользоваться, но должны передать своим наследникам, предполагая, что это столь же драгоценно для всех, как было для мертвеца. Думаю,

многие из старых дворцов передавались таким образом, что объясняет, почему некоторые из них нынешние владельцы до сих пор иногда — возможно, неохотно — посещают.

§ 3

Я поехал в пещеры Альтамира, находящиеся всего в пяти милях от Сантильяны, чтобы увидеть доисторические наскальные рисунки зубров, кабанов и других животных, которые сейчас воспроизводят чуть не в каждой книжке о доисторическом искусстве. Пещеры расположены в холмистой местности, и вниз меня отвел один из тех крестьян-археологов, чей энтузиазм не поддается никакому описанию. Он рассказал мне, что пещеры были обнаружены в 1868 году доном Марселино де Саутуола, владельцем летней виллы неподалеку; он охотился с собакой, и та загнала лису в пещеры. Дон, который не был археологом, забыл о пещерах на семь лет, а потом взял с собой туда младшую дочь Марию — и, вероятно, несколько свечей, поскольку пока они исследовали пещеры, маленькая девочка заметила на потолке рисунки и обратила на «бычков» внимание отца. С того мгновения пещеры приобрели известность во всем мире, и в Сантильяну стали приезжать ученые, чтобы увидеть эту удивительную художественную галерею пятнадцатитысячелетней давности. Мы спустились в холодную сырую пещеру, дурно освещенную электричеством. Мой гид направил фонарь на потолок; луч выхватывал большие цветные изображения животных, блестящие от влаги. Моей первой мыслью было: насколько лучше рисунки выглядели в книжках! Они оказались значительно больше, чем я ожидал, и плохо узнаваемыми, поскольку были нарисованы на

неровном потолке, и их рассекали многочисленные трещины и разломы. Древние художники вырубали в камне очертания животного и потом раскрашивали картину бурой и красной охрой и оксидом марганца. В пещере всегда было темно, так что художник — или художники — наверняка работали при искусственном освещении; каменные лампы, заполненные жиром — общепринятое в науке объяснение. Многие из рисунков мне пришлось просто принять на веру, поскольку свет был неподходящим; но больше всего меня поразило подлинное ощущение живого свидетельства, которое, кстати, оказалось столь трудно воспроизвести фальсификаторам. Самым необычным из всех рисунков мне показался дикий кабан, которого художник пытался показать в движении: он сделал это, нарисовав животное с восемью ногами — лишние ноги выделяются более светлым тоном и положением как в беге. Было любопытно видеть, как художник пытался создать трехмерный эффект для некоторых животных, используя выступающий камень. Фантастическое ощущение — стоять в этих пещерах и осознавать, что рисунки сделаны в то время, когда Великобритания была соединена с континентом сушей, а на юге Европы еще случались холода и бродили стада северных оленей и зубров. Ни северный олень, ни дикий кабан, кажется, совсем не изменились с тех давних пор, но лошадь стала куда более величавым животным.

Подделка — одно из тех особых преступлений, подобных самозванству, которые не являются преступлением, пока из нее не пытаются извлечь выгоду. Вы можете, к примеру, нарисовать картину и приписать ее Вермееру; но никто не посадит вас в тюрьму, пока вы не продадите ее как работу Вермеера. Доисторические древности часто привлекали фальсификаторов того типа, которые делают каменные топоры и другие предметы — обычно не с финансовой

целью, а из чистой любви к искусству; и весьма часто, думаю, ради той ерунды, которую напишут археологи, когда обнаружат подобную «находку». В девятнадцатом веке жил некий Эдуард Симпсон, известный как «Кремневый человек» — бич ученых Англии; Швейцария тоже произвела на свет многих из тех, чье любимое дело, вероятно, премного способствовало увеличению осторожности археологов. К счастью, пещеры Альтамира столь хорошо исследованы в течение прошлого века, что их можно осматривать с полной уверенностью в подлинности рисунков.

§ 4

Примерно в десяти милях к западу от Сантильяны красивая лососевая река Дева стекает с Кантабрийских Альп и впадает в море. Река — граница между Кастилией и Астурией, и я пересек ее, сознавая, что въезжаю в ту горную твердыню, где когда-то укрывалась христианская Испания, чтобы позже начать и осуществить долгий крестовый поход против ислама.

Дорога бежала вверх; по обеим ее сторонам расстилались поля, а на заднем плане вставали высокие горы, головами в облаках. Иногда дорога, с насыпями и зарослями вереска, выглядела странно похожей на тропу на западе Англии. Мне попадались мужчины, идущие в моем направлении и выгуливающие коров. Очевидно, одна корова здесь — большое богатство, и владельцы, казалось, гордились упитанными животными, которых вели на пастбище. Я обогнал ослика с коробами, полными свежего хлеба, а по другой стороне прошла девушка с завитыми волосами и ниткой мальоркского жемчуга на шее. Прабабки этих девушек носили изящные костюмы, описанные первыми

путешественниками в Испании; но сегодня крестьянская девушка одевается в старинное великолепие только по праздникам, а местные костюмы собираются танцевальными и фольклорными обществами, музеями и плакатными художниками.

Дорога стала узкой и крутой и вошла в дикое ущелье, по которому текла одна из самых красивых форелевых речек, какие я когда-либо видел — вода струилась по камням, словно стекло, падая каждые пятьдесят футов в глубокие чернильно-черные ямы, усеянные пятнами пены; и нигде ни дерева, чтобы поймать муху для рыбалки! Я наткнулся на двух парней с удочками, пристегнутыми к велосипедам, и они сказали мне, что река называется Карее и полна лосося, да и форели много, почти такой же крупной.

Дорога продолжала идти в гору; еще десять миль альпийского пейзажа — и я очутился в горной деревушке под названием Арена де Кабралес. Начал опускаться туман, и в воздухе повисла тонкая морось дождя, почти как в Уэльсе. Деревня состояла из парочки лавок, каменных домишек и маленького трактира, именовавшегося весьма претенциозно: «Fonda de los Picos de Europa». Это была одновременно гостиница, сельский магазин, кафе и бар. Когда я сказал *patrón*, что хотел бы что-нибудь съесть и выпить, он предложил мне яблочный сидр, форель холодного копчения и сыр — местную достопримечательность. Среди резиновых сапог, костюмов, клеенки, бакалеи, сладостей, табака, лисьих шкур и мехов выдры через несколько минут хозяин поставил передо мной форель и сыр с фунтом деревенского масла и ломтем свежего хлеба. Взяв стакан и держа бутылку примерно в двух футах над ним, он налил сидр так, что напиток вспенился и дал обильную шапку. Я сначала подумал, что он проделал ловкий трюк, и похвалил его сноровку, но именно таким способом сидр наливают по всей Астурии. Едва пена

осядет, то, что остается в стакане, выливают — винные лавки смердят прокисшим сидром, и полы всегда мокры, — а потом снова наполняют стакан с высоты.

Копченая форель обладала изысканным ароматом, а сыр хоть и выглядел как рокфор, на вкус был больше похож на стилтон; но сидр оказался немного резковат — или заборист, как говорят в Девоне — на мой вкус (и без того не лучший напиток для холодного дня с туманом, сползающим по склонам гор). Когда я сказал *patrón*, что держу путь к *Nuestra Señora de Covadonga*, его лицо изменилось, и с этого момента он выказывал мне всяческое уважение, как человеку, исполняющему святую миссию.

Посетителями трактира были в основном рыбаки и альпинисты, поскольку здесь собирались те, кто желал осмотреть горы, сгрудившиеся вокруг местного гиганта — Наранхо-де-Бульнес, около восьми тысяч футов высотой, который впервые покорили в 1904 году, и с тех пор на него взбирались не слишком часто. Первым *conquistador* — именно такое слово использовал хозяин — был дон Педро Пидаль-и-Бернальдо де Кирос, маркиз де Вильявисиоса, который достиг вершины 4 августа 1904 года; и, оставив самую драматичную часть повествования на закуску, *patrón* прибавил: когда он умер, его тело вознесли в облака и похоронили на покоренной им горе.

Дождь прекратился, и я поехал дальше по ущелью. Там, где дорога отходила от реки, я остановил машину и исследовал темные глубокие затоны с помощью бинокля в надежде увидеть рыбу. Никогда прежде я не встречал лучших рыбных тоней и более красивого места для рыбалки; и я, видимо, был не одинок в этой мысли, поскольку в поле моего зрения внезапно появилась темная тень, выскользнувшая из реки и присевшая на секунду на камень. Это оказалась крупная блестящая выдра — по-испански *nutria*, — и я мог различить

каждый волосок ее шкуры и маленькую кошачью мордочку. Посидев, она снова бросилась в затон змеистым волнообразным движением, почти не встревожив поверхность рябью. Я видел огромные горы вокруг и разглядел за ними, в серости неба, могучие Пикос-де-Эуропа, на чьих вершинах снега лежат круглый год. Я покинул ущелье Кареса и въехал в *еще более высокие* пустоши, где на склонах распадков стояли строем сосновые леса; снова горы, и наконец я различил на фоне неба далекую белую наклонную линию — несколько миль летнего снега.

Ничто из того, что я видел в Испании, не произвело на меня такого впечатления, как взгляд на Астурию — непокоренную землю горцев, естественную школу партизанской войны. Воины Пелайо, которые сбрасывали камни на головы мавров и запирали армии в ущельях, были предками тех астурийских шахтеров, которые завоевали зловещую славу во время гражданской войны своим бесстрашием и небрежной фамильярностью со взрывчаткой. *Dinamitero*^[124] тех дней с бруском динамита в каждой руке, поджигающий запал от окурка своей сигареты, был самым упорным из бойцов. Это поистине странная Аркадия: с динамитом и яблочным сидром, воспоминаниями о Пелайо и Ларго Кабальеро^[125].

Пещера Ковадонга, ныне храм Святой Девы Ковадонгской, которая, как считается, даровала победу Пелайо, расположена у начала живописной долины, среди распадков и сосновых лесов. Дикая местность вокруг — теперь национальный парк, где можно встретить серну и дикого оленя, диких кошек и волков, скоп, коршунов и медведей. Медведи не опасны, если не травить их собаками — тогда они могут дать яростный отпор. В те дни, когда медведи встречались не столь редко, как сейчас, я думаю, астурийцы

нередко готовили копченые медвежьи окорока — говорят, восхитительные на вкус.

Подъезд к Ковадонге не мог бы быть более языческим: горная пещера и ручей, выбивающийся из-под скалы. Когда я добрался до вершины холма и выехал на террасу над распадком, то увидел четыре или пять автобусов, стоящих около базилики, посвященной Мадонне Ковадонга — Мадонне Битв. Я вошел в церковь и обнаружил, что она забита до самых дверей. Здесь царило буйство света и свечей. Я протиснулся внутрь достаточно, чтобы понять: как раз закончилась сложная церемония великой мессы в присутствии епископа. Внезапно двери открылись, толпа повалила из церкви и встала на террасе, ожидая появления епископа. Он вышел, сердечно благословляя всех направо и налево. Женщины подбегали и подавали ему своих детей, епископ делал знак креста над головками, улыбался и шел дальше. Среди людей не было ни одного туриста — в основном деревенские жители в воскресной одежде, старые крестьяне с толстыми посохами в руках и женщины в черном с маленькими кружевными церковными вуалями на лицах.

Как только епископ уехал, люди бросились к лавкам, где можно было купить медали с Мадонной Битв и другие сувениры храма, а другие поспешили в каменный туннель, ведущий в знаменитую пещеру. Здесь, на каменной площадке над скальной стеной стоит алтарь, обрамленный двумя свисающими каменными полками, на котором замерла в сиянии свечей маленькая, увешанная драгоценностями и укутанная парчой Мадонна. Толпа подходила ближе, чтобы преклонить колени и перекреститься. Набожность некоторых крестьян, особенно старух, была поистине прекрасна. Они приближались к алтарю на коленях, а некоторые даже ползли так по всему

длинному туннелю, невзирая на грязь и сырость, и взбирались по ступенькам, отказываясь от помощи. И когда заползали на верхнюю ступеньку и видели перед собой безмятежную Мадонну Битв среди свечей, их старые лица озаряло выражение, которое будет на них, когда эти женщины подойдут к воротам рая. Эти старые крестьяне обладали тем, чего их возрасту так недостает и так необходимо — я смотрел на них, посрамленный и тронутый, радуясь, что вера все еще жива в нашем печальном и разочарованном мире.

Пещера, в которой, по легенде, укрывался Пелайо, находится у алтаря. В ней две старые могилы, считающиеся могилами Пелайо и его жены Гаудиосы; но кем был этот воитель, никто точно не знает, и легенда покрыла его таким же толстым слоем золота, как на готической короне, которую он носил. Кажется наиболее вероятным, что Пелайо был готским вождем, который объединил остатки армии готов и научил диких горцев старому уроку Киликийских ворот: несколько человек с камнями на вершине могут уничтожить целую армию внизу. Легенда гласит, что три сотни христиан под предводительством Пелайо убили примерно сто пятьдесят тысяч неверных, хотя это вряд ли возможно; но исторический факт остается фактом: успешная акция Пелайо около 716 года в ущелье Ковадонга не пустила мавров в Астурию, которую они больше никогда не пытались завоевать. Победа стала началом Реконкисты и привела к рождению первого из христианских королевств — королевства Астурия. Еще одна могила в пещере — могила Альфонсо I Астурийского, который, возможно, был зятем Пелайо и напал на мавров в Галисии, отвоевав у них старинный римский город Луго. Нет в Испании вида более будоражающего и улаждающего воображение, чем эта пещера, в которой, можно сказать, родилась целая нация.

По пути в Овьедо я проехал через маленький городок, носящий название Кангас-де-Онис, где Пелайо, по преданию, держал свой двор. Сейчас там единственный достойный внимания объект — красивый мост, который перекрывает реку Селья огромной каменной аркой. Потом следуют пятьдесят миль холмов и долин, яблоневых садов, маленьких каменных городков, где женщины на коленях стирают в реке белье, шахтеров на велосипедах, гвардейцев, ходящих по двое, коров, бредущих рядом с владельцами, телег, запряженных быками, и наконец появляются башни собора старинной столицы Астурии, города Овьедо.

§ 5

Блюдо, которое я порекомендую каждому гостю Овьедо, — *fabada*^[126], астурийская версия *cocido*, или жаркого, которое можно найти по всей Испании в стольких же вариантах, сколько в стране областей. Основными ингредиентами *fabada* являются жирная свинина, фасоль, острая колбаса и, конечно же, чеснок. Я решил, что это одно из благороднейших *cocidos* — такое жаркое, пожалуй, едал сам Пелайо после уничтожения нескольких тысяч неверных.

Одним мокрым воскресным днем я ел *fabada* в маленьком ресторане в задней комнате бара, поражаясь количеству еды, которое способны вместить в себя испанцы. За соседним столиком сидела семья из четырех человек: она умяла огромную миску *fabada*, после этого — форель и жареную баранину, а закончила чашками с *fraises du bois*, причем каждая чашка была увенчана полуфунтом взбитых сливок. Молодой человек, сидевший рядом со мной, наклонился и с тем чрезмерным и липким дружелюбием, от которого у англичан сводит зубы, произнес: «Вы британец, я

угадал?» Он был для меня загадкой. Выглядел как испанец, однако в нем чувствовалось что-то иностранное, а говорил он с сильнейшим американским акцентом. Мужчина оказался пуэрториканцем, изучающим медицину в Мадриде. Он выглядел довольно взрослым для студента-медика, и я спросил, почему он приехал в такую даль, когда мог отправиться в Соединенные Штаты.

— Здесь гораздо дешевле, — ответил он.

Я забыл, сколько точно его земляков-пуэрториканцев учатся в Мадридском университете, но число он назвал изрядное. Если не считать туристов и человека, которого мне показали, кажется, в Севилье как богатого мексиканца, этот студент был первым живым обломком испанской колониальной империи, которого я встретил.

Овьедо в дождливый воскресный день выглядел не лучшим образом. Это большой, хорошо спланированный промышленный город, центр горнодобывающего района, но в нем осталось мало напоминаний о великом прошлом. Когда преподобный Джозеф Таунсенд посетил город в 1787 году, его, кажется, в основном поразило количество пожертвований, раздаваемых церковью, в результате чего «нищие, одетые в лохмотья и покрытые паразитами, кишат на всех улицах». Он выговорил местному епископу за поощрение праздности и спросил, не думает ли тот, что щедрость церкви приносит вред. «Несомненно, — был ответ. — Но очищать улицы от нищих — работа городских чиновников, а мой долг давать подаяние всем, кто просит». Удивительно прочитать рассказ Таунсенда о полном нищих городе, который не произвел на него впечатления своими богатствами, а потом узнать, что всего двадцатью годами позже войска маршала Нея грабили Овьедо три дня! Можно только

подивиться, что же они нашли в этом городе после того, как вынесли церковную утварь.

Я побродил по пустынному собору Сан-Сальвадор, где увидел восхитительную статую святого Антония Великого со свиньей, которая символизировала плотские желания, им побежденные; вокруг изваяния висели маленькие восковые поросята, пожертвованные деревенскими жителями, которые успешно молились святому за собственных свиней! Это очаровательное смешение идей радовало меня еще долго.

Я полагал, что один в соборе, пока, поднявшись по ступенькам, не увидел за столом старуху в черном, словно написанную Рембрандтом. Она оказалась хранительницей одного из самых священных сокровищ Испании, реликвий и драгоценностей, спасенных от мавров в 711 году и спрятанных в астурийских горах. Я заплатил у стола, и старая леди вручила мне билет. Я подошел к освещенной решетке, за которой искусно расставлены эти замечательные предметы.

Легенда такова: когда арабы вторглись в Испанию, сокровища положили в сундук и тайно вывезли из Толедо. Их, без сомнения, спрятали в горных пещерах и позабыли, где именно, поскольку, когда сундук обнаружили снова, три века спустя, никто не знал, что в нем лежит. По преданию, некие клирики, которые пытались это выяснить, были ослеплены необычным светом. Только после того как в Овьедо приехал с должной помпой Альфонсо VI и вместе со своими рыцарями молился и постился несколько недель, сундук открыли на третье воскресенье Великого поста в 1075 году. Пораженные люди увидели великое множество готских и византийских ларцов-реликвариев, содержавших предметы, опознанные — не говорится, каким образом — как два кусочка Истинного креста, капли крови Исккупителя, обрывки Его одежд, остатки Тайной вечери, реликвии Богородицы, двенадцати

апостолов и святых, чьи римские имена говорили об их древности. Альфонсо заказал сундук из кедра, отделанный чеканным серебром, чтобы хранить самые драгоценные из реликвий, и этот сундук выставляется сейчас в соборе. Сторона, обращенная к зрителям, показывает Спасителя, сидящего на троне и заключенного в рамку, которую держат четыре ангела, а по бокам, под классической колоннадой, стоят двенадцать апостолов; вокруг этого христианского сундука бежит вязь куфического письма.

Ближе к вечеру кто-то мне сказал, что сегодня день святого Антония Падуанского и примерно в миле от Овьедо проходит празднество. Мечтая о местных костюмах и народной музыке, я поспешил туда — чтобы обнаружить картину, с которой не мог бы сравниться по скучности даже английский церковный праздник в дождливое воскресенье. Несколько сотен человек прогуливались по спортивной площадке пивоварни, чьи здания виднелись на заднем плане. В центре площадки стоял помост на бочках, с которого городской духовой оркестр играл современную танцевальную музыку, чудовищно искажаемую репродукторами. Несколько парочек неловко держались друг за друга и кружились по траве, а многие девушки танцевали одна с другой. Я стал свидетелем события, которое не могло бы случиться в менее индивидуалистической стране. Один из музыкантов, узнав свою *novia* в толпе, отложил корнет и спустился потанцевать с ней; закончив, он непринужденно забрался обратно на сцену и продолжил играть. Дирижер не обратил внимания на это дезертирство — и действительно, подумал я, что он мог сделать, кроме как остановить оркестр и устроить скандал?

Было сшибание кокосовых орехов, игра в кегли и состязания в ловкости; старухи жарили лесные орехи, сладости, маленькие пирожные и оливки; столы на

козлах манили легкими напитками и светлым пивом; и всякий раз, как начинался дождь, все бежали под каштаны, опоясывавшие площадку. Я услышал вой астурийской волынки, и двое мужчин вывели телку. У первого на лямке, перекинутой через спину, висел барабан, в который он бил одной рукой; другой он прижимал к губам волынку. Его товарищ продавал лотерейные билеты по песете штука. Я купил один, тешась мыслью о международных осложнениях и переписке с министерством сельского хозяйства, а может, и финансов, если мне случится выиграть телку и захочется взять ее с собой!

Я пришел к заключению, что индустриализация простерла свои черные крылья над Овьедо и что эти северные люди куда более флегматичны, чем южане. Немыслимо, чтобы какой-нибудь город в Андалусии устроил такое унылое действо.

Я въехал на холм на окраине города, чтобы посмотреть на две знаменитые готические церкви, которые считаются построенными Рамиро I в 848 году. Это приземистые массивные здания, очень оригинальные и красивые, но сильно пострадавшие от бурь и изъеденные лишайником. Их построили, когда Этельвульф еще был королем Англии, а Альфред Великий — мальчишкой. Я разглядывал их и размышлял об Испании с ее маврами и Англии с ее викингами. Бродя вокруг церквей, я стал свидетелем необычайного происшествия. Семейная компания расстелила покрывало на траве у одной из церквей и устроила пикник. Там было семь женщин и двое мужчин. В какой-то момент мужчины встали и удалились за угол церкви, где начали поносить друг друга последними словами. Когда один исчерпывал запас брани, вступал другой. Они притворялись, что расходятся, потом внезапно оборачивались и начинали ругаться еще яростнее. Их темные глаза горели, руки делали роскошные

театральные жесты. Невероятно, сколько эмоций может выразить руками разгневанный испанец! Они разрывали воображаемые предметы на куски и разбрасывали их; воздевали сжатые кулаки и душили пригоршни воздуха; припадали к земле, словно бойцовые петухи; подходили друг к другу совсем близко и, сверкая глазами, шипели противнику в лицо ужасные слова. Я никогда не видел, чтобы двое мужчин достигли такой степени гнева, не перейдя к драке. Недостаток словесной сдержанности при поразительном телесном обуздании стоил того, чтобы на это посмотреть. Сцену делали еще более странной женщины, сидящие неподалеку за углом церковной стены, мирно сплетничающие и поедающие бутерброды.

§ 6

Я уехал из Овьедо рано утром и скоро смог убедить себя, что еду из Аберистуита в Трегарон. Временами в Астурии словно проступает Уэльс, но сходство исчезает в холмах, покрытых кукурузой. Главная особенность ландшафта — маленькие шале с деревянными балкончиками, поднятые на несколько футов над землей на каменных столбах, похожих на те, что поддерживают столь многие английские амбары. Стены этих шале прорезаны щелями, а шиферные крыши часто утяжелены камнями. Они показались мне слишком маленькими, чтобы хранить в них зерно, и я мог бы принять их за голубятни, если бы на них сидели какие-нибудь птицы. После созерцания великого множества этих маленьких, абсолютно одинаковых строений я остановил какого-то старика и спросил его, что это такое. Он посмотрел на меня в изумлении. Невежество иностранца — то, над чем смеются даже боги!

— Это же *hórreo*^[127], *señor*, — ответил он.

— *Hórreo* — это *granero*?^[128] — спросил я.

Да, *caballero* совершенно прав, но это называется *horreo* и используется для хранения кукурузы. Старик объяснил мне, что срезанные початки развешивают сушить на маленьких деревянных балкончиках, а потом убирают внутрь; и *caballero* должен заметить, что *hórreos* стоят на каменных столбах, чтобы *ratas*^[129] не смогли добраться до кукурузы. Старик добавил, что буханки свежего хлеба часто кладут в эти амбары до следующего пекарного дня. Большие сыры и фрукты тоже хранят там. К этому времени мы уже почти сделались закадычными друзьями, и скоро было бы невозможно отказаться заглянуть в *hórreo*, не обидев старика; так что, поблагодарив *compañero* за любезность и ясность, с которой он все объяснил, и выразив надежду, что мы встретимся снова — не здесь, так в лучшем мире, — я пожал ему руку и отбыл; думаю, тогда он и дал волю веселью, которое вежливо не выказывал раньше.

Я приехал в деревню, где целые семьи работали в лугах, на заготовке сена, а вокруг них расстилались акры кукурузы, еще не созревшей для сбора. То и дело мимо проезжала телега, запряженная быками, выскрипывая эклогу на каждом ярде; быки в шапках из овчины качались из стороны в сторону, словно шествуя на какую-нибудь Вергилиеву жатву. В одной из деревень я заметил, как и позже по всей Астурии, женщин в деревянных сабо, или *ziesos*, приподнятых над землей дюйма на два на маленьких деревянных подпорках, или кулачках.

Одна из замечательных особенностей Испании — перемены от одной области к другой. Внезапно местность повышается. Понимаешь, что здесь другая

геологическая формация, растительность изменилась, и домики выглядят иначе; и нигде эта разница не заметна так, как на границе между Астурией и Галисией. Приходит осознание, что ты оставил высокие горы позади и въехал в туманную страну вересковых пустошей, пологих холмов и болот, где белые домики уносят твои мысли в Ирландию. Пока я ехал на запад по дороге в Ла-Корунью, мне все напоминало графство Голуэй, и дело было не только в зелени земли, каменных стенах, открытых всем ветрам речных дельтах, маленьких и больших холмах, белых каменных хижинах — но еще в осанке и взглядах людей.

Как и в Астурии, крестьяне Галисии ходят по тропам и дорогам с единственной своей коровой, хотя здесь корову часто сопровождала овца. Иногда корову вел мужчина, иногда — женщина, а овца-спутница трусила позади, как барашек Мэри из детского стишка. Тянулись мили кукурузы и множество отличных пастбищ, порой у самой дороги. Амбары Галисии, *hórreos*, отличались от астурийских, и я миновал некую точку на дороге, когда они вместо маленьких шале с деревянными балкончиками стали длинными каменными строениями, прорезанными вентиляционными щелями — и каждое венчал крест. Они выглядели как склепы, особенно когда я наткнулся на группу из четырех или пяти амбаров, стоящих в ряд и обрамленных каменной стеной.

Я приехал в деревушку, где вовсю шла ярмарка скота. Крестьяне прошли многие мили со своими лошадьми, коровами и свиньями; и теперь эта взбудораженная мычащая, хрюкающая и визжащая тьма животных маялась под изящными копьевидными листьями огромных каштанов, пока их владельцы, опираясь на посохи, критически обсуждали товар. Как часто я видел подобные сцены в Ирландии! Крестьянки, втиснутые в большие деревянные сабо, держали на

веревке корову или теленка и выглядели достаточно компетентными, чтобы проверить даже самую трудную сделку. Я тщетно искал персонаж, всегда встречающийся в базарные дни в Англии — богатого фермера. Люди на этой ярмарке выглядели мелкими арендаторами, «однокоровниками», каких я встречал везде вдоль побережья.

Здесь я увидел множество *zuecos*, которые для крестьян северной Испании — то же, что резиновые сапоги для английского фермера. Они прекрасно сделаны, и я заметил, что у некоторых крестьян сабо отличались особенно большим размером и их носили поверх обычной обуви, как галоши. Я попытался купить пару, но мне сказали, что их делают только на заказ. Изготовитель *zuecos* — не сапожник, который работает с кожей, но столяр, называемый *zoqueiro*. Впрочем, некоторые мастера явно посягали на вотчину сапожников, поскольку я заметил много *zuecos* с кожаными бортами — фактически кожаные башмаки на деревянной подошве.

Я нырнул в прелестную речную дельту. Был отлив, и красивый каменный мост стелился пролетами через огромные просторы мокрого песка.

Я намеревался посмотреть Ла-Корунью, ибо ни один другой город в Испании не имеет таких интересных связей с Англией. Это порт, в котором высаживались паломники к святому Иакову Компостельскому после четырехдневного путешествия из Плимута или Бристоля; Филипп II садился в Ла-Корунье на корабль, чтобы ехать в Англию и жениться на Марии Тюдор; Непобедимая армада в последний раз поднимала паруса в Ла-Корунье; на бастионах похоронили «в полночный час гробовой»^[130] сэра Джона Мура.

Город построен на узкой полосе земли, местами лишь несколько сотен ярдов шириной, с гаванью по обеим сторонам. Зимой это наверняка одно из самых сырых и ветреных мест на Земле, и жители пытаются защитить себя застекленными балконами. Я не был готов к большому и оживленному морскому порту, с трамваями, кинотеатрами и фешенебельными отелями — он выглядел особенно жизнерадостно в солнечном свете, когда толпы людей заполняли улицы и сидели в кафе. Ла-Корунья только что оправилась от ежегодного праздника, довольно необычного, в память знаменитой амазонки Марии Питы, которая во время ответного удара Дрейка по Армаде сражалась бок о бок со своим мужем и убила английского знаменосца — чем, говорят, переломила ход битвы и спасла старый город. Испанские женщины бывали не только политическими лидерами — многие все еще помнят *La Pasionaria* Ибаррури времен гражданской войны, — но часто сражались в битвах, иногда в мужской одежде. Доблестную Марию де Эстрада — Марию Дамбы — во время отступления Кортеса из Мехико видели сражающейся против ацтеков с мечом и щитом; а донья Мария де Гаусин покинула монастырь, чтобы стать тореадором! Есть свидетельства, что когда она сделалась выдающейся *torera* и сполна вкусила славы, она внезапно забросила все и вернулась в монастырь; также говорят, что монахини чрезвычайно гордились известностью, которую ее подвиги придавали их монастырю. Кальдерон ничуть не преувеличивал, сделав героиней своей пьесы «Поклонение кресту» монахиню, покинувшую монастырь, чтобы стать атаманшей бандитов. Я подозреваю, что испанских женщин, которые обычно и мухи не обидят, можно сподвигнуть взяться за меч и убить любого, кто угрожает чему-либо, во что они верят. А независимость испанок, которые могут остановить тебя на

деревенской дороге или посмеяться без малейшей тени кокетства или желания произвести впечатление, — то, что обязательно отмечают все иностранцы. Куда более типичной для Испании, чем *señorita*, флиртующая веером, является девушка, описанная Бласко Ибаньесом в его «Майском цветке». Она могла встречать «дерзкие предложения оскорбительными жестами, щипок — ударом, а нежеланное объятие тайком — превосходным пинком, какой не однажды отправлял наземь здоровенных парней, сильных и крепких, как мачты их лодок». В любом случае, мне показалось типично испанским, что такой знаменитый порт, как Ла-Корунья, должен раз в год прекращать работу и чтить память женщины, убившей знаменосца Дрейка.

Я пообедал в маленьком ресторане, от пола до потолка увешанном плакатами бычьих боев. Свирепые животные, того размера и драчливости, какие встречаются только на подобных плакатах, наносили удары во всех направлениях, а еще там была особая комната с фотографиями известных *matadores*. Групповые снимки показывали *cuadrilla*, готовую выйти на арену в нарядных костюмах, подбородки вверх, все дерзки и полны *españolismo*. Были также фотографии момента истины, — на одной момент оказался лживым, и быкоборца пронзал рог, а на следующей бедняга лежал в гробу, выставленном для торжественного прощания, весь покрытый цветами, и вокруг него горели свечи. *Patrón*, стоявший за стойкой и подававший восхитительные *moules marinière*, выглядел как *torero* на пенсии — каковым он, полагаю, и являлся. Несомненно, в Испании «маленький ресторан» фигурирует в мечтах *matador*, как «маленький паб» — в мечтах английских боксеров и прочих гладиаторов.

Я спустился к нарядной сверкающей гавани и попытался вообразить отплытие Непобедимой армады. Генеральный план предполагал, что английский флот

будет разгромлен и испанские корабли высадят в Маргейте армию из Нидерландов. Это был один из самых широко известных секретов шестнадцатого века. Несколько лет солдаты обсуждали планы вторжения в тавернах по всей Европе.

Окутанный дымовой завесой интриг и подкупов, внимая советам нескольких беглых английских католиков, не имевших представления о новом елизаветинском духе Англии, Филипп Испанский трудился за своим столом в Эскориале, словно какой-нибудь заваленный делами государственный чиновник, боящийся потерять работу. Он продумал операцию до мельчайших деталей, и приготовления заняли несколько лет. Корабельные сухари сгнили, запасы воды испортились, корпуса кораблей обросли ракушками, и многие величественные с виду галеоны дали течь. А Филипп все обдумывал планы, издавал секретные приказы, беседовал с послами и шпионами, поручал обновить запасы — и даже набрасывал для испанских моряков правила поведения, которые, как сказал один писатель, больше бы подошли монастырской школе. Морякам не подобало ругаться, болтать попусту и играть в азартные игры. Приказы предписывали вознесение молитв и месс ежедневно, и каждый из тридцати тысяч человек в Армаде должен был пройти исповедь и получить отпущение грехов перед отплытием флота. Каждому следовало осознать, что он идет священным крестовым походом на врагов Господа. Несмотря на это, папа римский вел себя чрезвычайно уклончиво и хитроумно отказался дать хоть пенни на Армаду, покуда испанская армия не утвердится на британской земле; он явно не желал, чтобы Филипп становился королем Англии. Если бы Армада добилась успеха, то кандидатом на трон Елизаветы стала бы дочь Филиппа, донья Клара Евгения, которая обосновывала свои притязания на

престол происхождением — через Филиппа — от Джона Гонта.

Нас учат в школе, что все в Испании верили, что Армада непобедима, но это не так. Окажись мы в Ла-Корунье в июле 1588 года, мы бы слышали, как командир Армады, герцог Медина Сидония говорит в узком кругу о неготовности флота. Несчастный человек, ничего не знавший о море и великих дерзаниях и признававшийся королю, что его всегда тошнит, когда не видно земли, был принужден к командованию бюрократам, который знал, что герцог не отличается инициативой и будет слепо следовать приказам, отданным в Эскориале. Накануне отплытия герцог писал Филиппу, что «...флот сейчас сильно уступает английскому; команды ослаблены болезнями, и все новые люди заболевают каждый день из-за дурной пищи... Провизия сгнила, вода протухла, а наши запасы не продержатся и двух месяцев при самых выгодных условиях... Поверьте мне, Ваше Величество, мы очень слабы; молю, не позволяйте никому убедить Вас в обратном».

Но Филипп разрабатывал планы самолично и, кроме того, верил, что на его стороне Господь. Так что 12 июля 1588 года жители Ла-Коруньи столпились у воды посмотреть, как огромные корабли с золочеными носами отплывают навстречу гибели — с длинными вымпелами, выющимися по ветру, и распятиями на баке. Далеко в Эскориале король преклонил колени перед святым причастием, по всей Испании зазвонили церковные колокола, и народ молил Господа о победе.

Несмотря на годы планирования, великий бюрократ не знал, что в самый опасный миг английские католики, представленные ему как люди, жаждущие переворота, поднимут мечи за Англию.

Старинный город лежит на крутом холме над гаванью, и узкие улочки ведут к бастионам, где

похоронен сэр Джон Мур. Мраморная урна покоится в тени пальм и буков — кто-то даже пытался разбить здесь английский садик с маргаритками, фуксиями, геранями и изгородью из бирючины. С бастионов открывается прекрасный вид на воды, которые видели столько прибытий и отплывов. Дети с окрестных улочек играют у могилы сэра Джона Мура, а няньки катают коляски по садику, потому что там больше тени, чем где-либо еще в старом городе. Иногда приходит английский турист, делает фотографию и вслух цитирует несколько строк из стихотворения, известного каждому англичанину — по крайней мере, первые его строки. Когда Муру помогали подняться на ноги после того, как французское ядро разворотило ему левое плечо, меч запутался в ногах, и адъютант начал его снимать. Мур его остановил. «И так хорошо, — сказал генерал. — Я бы предпочел, чтобы он вышел с поля вместе со мной». Последние слова Мура были обращены к капитану Стэнхоупу: «Передайте мою любовь вашей сестре». Сестрой капитана была Эстер Стэнхоуп, и если бы Мур выжил и женился на ней, то, как полагают некоторые, Англия несомненно потеряла бы одну из величайших своих сумасбродок.

Прежде чем покинуть Ла-Корунью, я отправился на самый конец высокого мыса, чтобы посмотреть на римский маяк, известный как Башня Геркулеса, — и счел его одним из самых интересных памятников Испании. Он более трехсот футов высотой и до сих пор используется как маяк. В основании он квадратный, какими считаются и первые этажи Фаросского маяка в Александрии, и нижняя часть — римской постройки. Во время реконструкции много лет назад был разрушен наклонный пандус, по которому заводили вьючных животных с дровами для бакена на вершине. Я постучал, потом поколотил в дверь в надежде увидеть здание изнутри, но не смог никого дозваться.

В сорока милях от Ла-Коруньи лежит Сантьяго-де-Компостела — место, которое я всегда мечтал увидеть: храм святого покровителя Испании, чьим символом является раковина морского гребешка. «Сантьяго» — это конечно же «Сант-Яго», святой Иаков; и некоторые полагают, что «Компостела» — искаженное «*campus stellae*»^[131], отсылка к звезде, которая, по преданию, воссияла над могилой апостола.

§ 7

Я часто размышлял о сценке, которой стал свидетелем в отеле в Сантьяго-де-Компостела через час после прибытия туда. Дождь падал с унылой настойчивостью, и, не имея ни малейшего желания выходить наружу, я забрел в комнату отдыха — большое мрачное помещение, — которая оказалась пустой. Я размышлял, как чудесно было бы сейчас выпить чашечку чая, но — увы! — здесь нет для него замены; и тут в комнату вошли две пожилые дамы. Сначала я решил, что они пришли что-нибудь продавать: две крестьянки с корзинами через руку, облаченные в сборчатые черные юбки, рифленые шерстяные чулки, которые отвисали на лодыжках и *alpargatas*^[132], почерневшие от дождя. У одной седые волосы разделял посередине пробор, и у обеих кожа была морщинистой и побуревшей, словно скорлупа грецкого ореха. Гостиница строилась для туристов, епископов, священников и церковных съездов, а эти две старые крестьянки, сидящие очень прямо за полированным столиком, придавали обстановке восхитительно необычный вид. Они сидели безмятежно и терпеливо, сложив руки на коленях и не произнося ни слова.

Через несколько минут элегантно одетый испанец средних лет, человек явно светский и притом успешный, вошел в комнату отдыха и поспешил к старухам с распростертыми объятиями. Они вскочили с тихими возгласами радости, и мужчина обнял сначала одну, потом другую, целуя их лица и волосы. Я с любопытством наблюдал за сценой и заметил слезы на глазах у всех троих.

Они сдвинули стулья поближе и, склонив головы друг к другу, принялись быстро-быстро говорить — иногда все трое одновременно. Мужчина рассказывал какую-то долгую историю, но то первая, то вторая старуха клала ему руку на колено и прерывала, и он тогда давал какое-то объяснение. Пока он говорил, старухи зачарованно смотрели на него, их лица выражали умиление и даже благоговение, которые, кажется, нисходят сами собой на некоторых старых крестьян.

Закончив объяснения, мужчина сунул руку в нагрудный карман и вытащил две огромных пачки денег. Он вручил по пачке каждой старухе, которые смотрели на банкноты с изумлением и держали их так, словно не знали, что с ними делать. В каждой пачке было, наверное, несколько сотен фунтов стерлингов, и пока старухи сидели с полными горстями денег, мужчина продолжал говорить, явно отмахиваясь от благодарности и отвечая на вопросы, которые они все еще задавали. Мне стало любопытно, куда они положат деньги — ведь не в базарные же корзины! Наконец мужчина встал, а старухи подняли свои черные юбки и аккуратно засунули банкноты в карманы черных нижних юбок. Снова поцелуи и объятия — и все вышли.

Это была прелестная сцена, преисполненная эмоций. Был ли мужчина сыном одной из старух, добившимся успеха в Америке и вернувшимся, чтобы осыпать стариков богатствами? Я не смог придумать

лучшего объяснения. Чудесно наткнуться на такую счастливую встречу в дождливый день в Сантьяго.

Я вышел в макинтоше, горя нетерпением увидеть знаменитый город, столь ярко сияющий в легендах и истории, но показавшийся мне наяву печально похожим на средневековый аквариум! Чуть позже мне сказали, что осадки здесь составляют шестьдесят шесть дюймов в год. Я вспомнил, как в нескольких сотнях миль отсюда кастильцы задыхаются от жары, эстремадурцы созерцают Гуадиану, журчащую только под двумя арками большого моста в Мериде, а Андалусия, должно быть, похожа на раскаленную сковородку. Зато последние десять дней, с тех пор, как я направился на запад из Сан-Себастьяна, почти непрерывно лил дождь, и я подумал, что неверно называть Испанию сухой страной — на самом деле дождь в ней просто неравномерно распределен.

Средневековый Сантьяго начинался у двери отеля паутиной гранитных улочек, слишком узких для транспорта и окаймленных гранитными зданиями невероятной мощи, чьи верхние этажи возносились на круглых гранитных арках, образующих аркады, под которыми не замочив ног прогуливались местные жители, словно по бесконечным клуатрам. Они напомнили мне Ряды в Честере, но эти колоннады в Сантьяго создают у иностранца, в зависимости от настроения, впечатление, что он идет не то по огромному собору, не то по колоссальному винному погребу.

Под аккомпанемент журчащей воды я праздно прогуливался под аркадами, разглядывая ярко освещенные магазины, и заинтересовался серебряных дел мастерскими, которые ныне, как и в средние века, предлагают паломнику ассортимент гребешков, мечей святого Иакова и статуэток самого святого с мечом в руке, восседающего на коне. Когда-то считалось

святотатством, наказуемым отлучением от церкви и запрещенным несколькими папскими буллами, делать и продавать эти предметы вне города — их могли купить только истинные паломники, которые действительно посетили храм Святого Иакова. Я увидел серебряную статую святого на коне и припомнил, что такая статуя, купленная в Сантьяго, когда-то считалась исцеляющей от лихорадки и защитой владельца от грабителей. Сколь необычно видеть, что сувениры, подобные тем, что века назад увозили домой пилигримы, изготавливаются теперь в виде запонок, булавок для галстуков и брелоков для ключей от машины. Я купил цепочку для ключей с брелоком в виде меча святого Иакова и еще одну — с медальоном святого Иакова на коне, помещенного в раковину гребешка, того же самого дизайна, какой был популярен семь и более веков назад.

Сантьяго — небольшой город, однако на маленьком пространстве сгрудилось больше сорока церквей, а также здесь есть женские и мужские монастыри, больницы и университет; большинство из них — старинные здания, любое из которых создало бы архитектурную репутацию обычному городку. Подойдя к собору, я преисполнился восторгом, хотя лил дождь и каждая статуя, башенка и ваза истекали влагой, а серая простыня воды хлестала по западному фасаду. *El Obradoiro* — так называется этот вход, с башенками-близнецами и огромным барочным фронтоном между ними, поднимающимся в изысканном экстазе к статуе святого Иакова — показался мне самым вычурным строением, какое я видел в Испании. Я был не в настроении входить внутрь в мокрой одежде, поэтому ушел обратно, под массивные колоннады.

Вид из окна моей спальни не имел никакой связи со средневековым городом, который я только что увидел. Я смотрел на площадь, где происходила основная часть

жизни Сантьяго. Здесь, у почтенно выглядящих бензиновых насосов, располагалась автобусная станция, куда то и дело прибывали автобусы под фанфары клаксонов, а затем отбывали под залпы выхлопов. У станции было «Кафе-бар Галисия», а напротив стоял жизнеутверждающий «Отель Аргентина», с навесами и стульями на мостовой. Толпы людей стекались к отъезжающему автобусу со всех уголков площади, на крышу привязывали престранные свертки и тюки. Старые крестьяне в воскресной сарже, девушки в лучших платьях (кажется, здесь мода на вишнево-красные пуловеры), священники и монахи, женщины и дети — все столпились вокруг входной двери, поскольку испанцы не станут стоять в очереди. Я заметил, что лишь немногие уступают дорогу людям божьим, а многие священники пропускали вперед других и были вынуждены стоять. Также я впервые увидел способность испанских женщин носить тяжелые грузы на головах. Подошла опрятно одетая девушка, несущая на голове швейную машинку в деревянном футляре. Она поставила машинку на землю не раньше, чем появилась другая молодая женщина, в черном платье и белом фартуке, которая грациознейшим образом несла на голове огромный кофр размером с сундук Сида; и когда двое сильных мужчин поставили его на землю, девушка с улыбкой поблагодарила их и сняла маленькую подкладку, на которой несла сундук.

Ночью я понял, что суровый Сантьяго столь же романтичен, как Авила и Толедо. Свет театрально падал сквозь колоннады и освещал мокрые мостовые. Я видел колонны и арки, тронутые светом фонарей, а над ними — возвышающуюся в ночи фантастическую башню, инкрустированную святыми; на некоторых улицах, тихих, словно церковь в полночь, шаги другого ночного странника звенели почти зловеще. Если в Авиле и Толедо можно ожидать встречи с рыцарем в кольчуге

или панцире, то в Сантьяго, кажется, можно увидеть шайку гуляк эпохи Возрождения в масках и плащах, торопящихся с горящим факелом к какому-нибудь мраморному дворцу; или Ромео с мандолиной под плащом, спешащего спеть серенаду Джульетте. Фруд^[133] где-то писал, что между нами и прошлым лежит бездна, через которую ни одно перо не перекинет мост; наши предки не могут прийти к нам, а наше воображение лишь слабо проникает к ним. Только в приделах собора, говорил он, когда мы смотрим на их молчаливые фигуры, дремлющие на гробницах и плитах, всплывает перед нами бледная тень понимания того, какими были эти люди при жизни. Возможно, также мы можем расслышать эхо тех дней в звоне церковных колоколов — уникальном творении средних веков, — который отдается в ушах эхом исчезнувшего мира.

Бывают, однако, времена и места, когда те, кто жил раньше, будто почти касаются нашего плеча, и полночь — такое время, а Сантьяго — одно из таких мест. Можно думать о легковерии Средневековья и его невежестве, но можно также поразмыслить о вере и красоте мира, где временами земля и небо будто соприкасались; и позавидовать той эпохе искренней веры, как в средних летах мы иногда с грустью припоминаем экстазы и восторги детства. Мы знаем, что среди тех, кто приезжал в Сантьяго, попадались безумцы и блудницы, а также просто цинические путешественники, но было много искренних мужчин и женщин, которые клали к ногам святого Иакова «небесный веры дар»^[134].

Я бродил по Сантьяго, пока не пришел в маленький парк, в котором опознал парк Аламеда. Здесь Борроу встретил смертельного зануду Бенедикта Молла, искавшего зарытые сокровища. Потом последний автобус с ревом тронулся с площади, и предположив,

что сон теперь возможен, я отправился в постель в своем номере с видом на площадь. Я решил, что долгая традиция паломнических неудобств достигла своей высшей точки в прикроватном светильнике: он не работал.

§ 8

Святым покровителем Испании является Иаков, сын Зеведея, член внутреннего апостольского круга, который, как нам рассказывают «Деяния апостолов», был предан в руки иудеев Иродом Агриппой и убит мечом. Можно датировать это событие последующей смертью Агриппы в 44 году н. э. Испанская легенда гласит, что за несколько лет до мученической смерти Иаков проповедовал Евангелие в Испании, а после его смерти группа преданных испанских учеников увезла останки морем из Палестины в Испанию в мраморном саркофаге. Когда они проходили мимо португальского побережья, святой спас жизнь человеку, которого унесла в море взбесившаяся лошадь — всадник с конем выплыли, покрытые раковинами морских гребешков, которые, как утверждают, с тех пор стали эмблемой святого Иакова. Останки святого были погребены неподалеку от нынешнего Сантьяго, утеряны и позабыты до 813 года, когда их указали хор ангелов и яркая звезда. Альфонсо III Леонский построил небольшую церковь над могилой, а позже она разрослась до собора.

Когда свирепый мусульманский визирь Аль-Мансур совершал свои набеги на атлантическое побережье в 997 году, городок Сантьяго существовал уже почти век; хроники говорят, что Аль-Мансур сжег его дотла и разрушил церковь, но не могилу святого Иакова. Раннехристианские писцы сообщают, что жестокий

мусульманин въехал в церковь на коне и попытался заставить того пить из купели, но несчастное животное «разорвалось на части и умерло» — как согласятся все любители животных, это было чудовищно несправедливо. Говорят, могила апостола обязана своей сохранностью престарелому монаху, который молился там, не обращая внимания на ужасную суматоху вокруг. «Кто ты и что ты здесь делаешь?» — спросил Аль-Мансур. «Я слуга святого Иакова и возношу свои молитвы», — ответил старик. «Молись, — молвил Аль-Мансур, — молись сколько пожелаешь. Никто не станет тебе докучать». И приставил к могиле и старому монаху стража из своих свирепых воинов.

Гиббон отметил «огромную метаморфозу», преобразившую мирного рыбака с моря Галилейского в доблестного рыцаря, который поражал неверных во главе испанской конницы; и действительно, это событие стало одним из важнейших в ранней истории Испании. То, что один из главных апостолов сам пожелал приложить руку к выдворению неверных из Испании и вдохновлению маленьких христианских королевств севера, имело в те дни такое же политическое и стратегическое значение, как взрыв водородной бомбы сегодня. Внимание христианской Европы немедленно приковала страна, находившаяся несколько в стороне от главных путей христианства; а мудрые и дальновидные клюнийские монахи, хранители западного общественного сознания, быстро поняли, что главная европейская дорога должна пройти через Испанию в Сантьяго и заполниться паломниками из всех стран, которые создадут живой мост с Европой. С тех пор Иерусалим, Рим и Сантьяго-де-Компостела — в таком порядке — сделались тремя наиболее почитаемыми святыми местами Европы.

Из всех символов, которые пилигримы уносили с собой из Европы и с Востока, раковина морского

гребешка святого Иакова была в Англии самой привычной, причем настолько, что в более поздние времена люди ошибочно полагали — а некоторые полагают и сейчас, — будто она является символом паломничества вообще. Но для человека средних веков она означала только одно: ее носитель побывал в Сантьяго. Несомненно, Сантьяго приобрел такую популярность у английских паломников, потому что был самой действенной святыней, до которой легко добраться из Англии; кроме того Иаков имел репутацию проворного и отзывчивого святого, который хорошо присматривает за своими паломниками. Выдаваемые в Сантьяго-де-Компостела индульгенции были почти так же хороши, как римские, а стоили куда дешевле. Корабли добирались до Ла-Коруньи из Англии около четырех дней, хотя порой и дольше. Желаящие пройти трудный путь ради спасения души, конечно, всегда могли отправиться через Францию, забраться в Пиренеи к Ронсевалу и спуститься по «французской дороге», как ее называли, в Испанию. Но, пожалуй, неверно думать, что путешествие по суше было труднее, чем морское. По крайней мере, здесь была приятная компания в трактирах по ночам, еда и вино по дороге, а некоторые паломники проделывали в своих посохах отверстия, так что могли играть на них, как на флейтах, и развлекать себя и товарищей в темных ущельях и на унылых пустошах. Те же, кто отправлялся морем, как мы узнаем от человека, проделавшего этот путь во время правления Генриха VI, часто страдали от морской болезни, их высмеивали и дразнили моряки, они служили потехой капитану, и им приходилось спать на палубе, часто даже без соломы. Родился такой стишок:

Ты оставишь веселье и игры оставишь,
Коль к святому Иакову парус направишь.

И все же огромное число людей отправлялось в путь, и для истинно верующих трудности были существенной и необходимой частью паломничества. Регулярно корабли паломников отправляли из Англии в Ла-Корунью, известны и названия судов, и имена их владельцев, и даже количество пассажиров. Средняя несущая способность этих кораблей была шестьдесят человек, но самые большие, вроде «Святой Анны» из Бристоля, принадлежавшей человеку со зловещим именем Ричард Сторми^[135], могли увезти две сотни. В 1434 году Генрих VI дал разрешение отправиться в Сантьяго двум тысячам четверемстам тридцати трем паломникам, при этом пилигримам запрещалось вывозить из страны золото и раскрывать ее секреты.

Одним из самых интересных паломников того периода был Уильям Уэй, первый член Итонского колледжа, который постоянно разъезжал ради удовольствия по всевозможным святым местам. Он отправился морем в Сантьяго в марте 1456 года на корабле под названием «Мэри Уайт» из Плимута и написал рассказ о своем путешествии, который дошел до нас. Он плыл в караване из нескольких кораблей: один был из Портсмута, другой из Бристоля, третий из Уэймута, а четвертый из Лаймингтона. Пока Уэй ожидал отплытия в Плимуте, к нему подошел человек из Сомерсета и попросил совета. Мол, он дал обет отправиться в Сантьяго, но добрался до Плимута и так разболелся, что опасается умереть. Он сказал Уэю, что предпочел бы умереть в кругу своей семьи, и спрашивал, вернуться ему домой или нет. «Я посоветовал ему, — говорит Уэй, — ехать к святому Иакову и сказал, что лучше умереть в пути, чем дома, ибо у святого Иакова паломникам дают индульгенции». Пилигрим, как и большинство просящих совета, остался недоволен услышанным, потому что ответ не совпадал с

его мнением, и немедленно уехал домой. Уэй продолжил путешествие и, к своему удивлению, услышал продолжение этой истории в Испании, когда увидел того же человека в доминиканской церкви в Ла-Корунье. Оказалось, проковыляв мучительно по дороге в Сомерсет около двадцати миль, бедняга остановился, ужасно страдая от боли, в трактире, и полагал, что смерть уже рядом; но утром он пробудился совершенно исцелившимся от хвори и немощи. Он понял, что это дело рук святого Иакова, благодарно поспешил обратно в Плимут и возобновил свое паломничество.

Когда Уильям Уэй добрался до Сантьяго с другими английскими паломниками, в Троицын день он держал столбы балдахина с тремя англичанами по именам Остилл, Гейл и Пэлфорд; а на пути домой насчитал тридцать два английских корабля среди восьмидесяти четырех, стоявших в гавани Ла-Коруньи. И среди английских лиц в Сантьяго мы не должны забывать одного, с веселой улыбкой, — лицо неутомимой туристки, чосеровской вдовушки из Бата, которая, конечно же, побывала «в Галисии у святого Якова».

Фруассар, восхитительно описывающий сухую, любезную и деловитую манеру, в какой рыцарские дела обычно решались в средние века, предлагает забавный рассказ о вторжении Джона Гонта в Галисию — забавный из-за хитроумного поведения несчастных городков, которым без вооруженного гарнизона приходилось выбирать, закрыть или открыть ворота перед иностранцем, вдруг объявившим себя их законным владыкой. Английская армия насчитывала четырнадцать сотен копий, тринадцать сотен лучников, многочисленных рыцарей и много дам, включая испанскую супругу Джона Гонта Констанцию Кастильскую, дочь Педро Жестокого. Ее маленькая дочь Екатерина тоже была там, как и Филиппа, дочь Джона

Гонта от первой жены, Бланки Ланкастер. Дав отдых людям и лошадям в Ла-Корунье в течение месяца, англичане выступили к Сантьяго, который немедленно закрыл ворота. Фруассар пишет:

Предводитель выслал вперед герольда, чтобы послушать, что скажут горожане. Герольд нашел на крепостных валах капитана стражи именем дон Альфонсо Сене и сказал ему: «В нескольких шагах отсюда стоит предводитель моего господина, командира Ланкастерской армии, который желал бы поговорить с тобой». «Я очень рад этому; пусть он приблизится и я поговорю с ним». Герольд вернулся к предводителю с этим ответом.

Предводитель оставил свою армию, и всего с двадцатью копьями поскакал к валам, где нашел капитана и нескольких горожан в ожидании. Предводитель спешил, с двенадцатью другими, среди которых были лорд Бассет и сэр Уильям Фаррингдон, и обратился к нему так: «Капитан и вы, люди Сантьяго, герцог и герцогиня Ланкастерские, ваша королева (она старшая дочь дона Педро, вашего последнего короля), посылают меня узнать, как вы собираетесь поступить: открыть ворота и принять их словно ваших законных владык, как и следует поступать добрым вассалам; или вынудите меня атаковать ваши стены и взять ваш город приступом. Но знайте, что если вы выберете штурм, все в городе будет предано мечу, чтобы прочие вняли предупреждению и уstraшились». Капитан ответил: «Мы желаем следовать доводам рассудка и верно выполняем свои обязательства перед теми, кому мы должны подчиняться. Мы

хорошо знаем, что герцогиня Ланкастерская — дочь дона Педро Кастильского; и что если бы этот король правил мирно в Кастилии, она стала бы наследницей его короны; но все изменилось: ибо королевство принесло присягу его брату королю Энрике после успеха в битве при Монтейле — мы все поклялись ему в верности; и он был признан королем до конца жизни, а после его смерти мы все поклялись слушаться дона Хуана, его сына, который будет править с этого мига. Расскажите нам, как поступили люди в Ла-Корунье; ибо невозможно, что после месяца, посвященного вами этому городу, не были совершены никакие переговоры и соглашения». Сэр Томас Моро ответил: «Вы говорите истинно: мы и правда переговаривались с людьми в Ла-Корунье, иначе мы бы не дошли досюда, хотя тот город по силе вдвое больше вашего. Я расскажу вам, что они сделали: они вступили в сделку с нами, объявив, что поведут себя так же, как и вы; но если вы принудите нас на этот штурм, они не последуют примеру. Если Галисия покорится моему лорду-герцогу и его даме, они тоже сдадутся; потому они дали нам такие залогов, которые нас удовлетворили».

«Хорошо, — ответил капитан, — мы соглашаемся на это: есть много больших городов в королевстве: так езжайте вперед и оставьте нас в покое; либо мы поступим, как они, и дадим вам хорошую поруку, что мы выполним это». «О, такому не бывать, — сказал предводитель. — Такой договор ни в коей степени не удовлетворит герцога и герцогиню, ибо они намерены обосноваться в этом городе и держать свою власть, как держат ее монархи в

своих королевствах. Ответьте мне кратко, что вы намерены делать: покориться или подвергнуть себя и город гибели?» «Мой господин, — сказал капитан, — дайте нам немного времени посоветаться, и вы быстро получите ответ». «Я согласен», — сказал предводитель.

После этого горожане провели совет и согласились принять Джона Гонта и Констанцию как своих короля и королеву, и скоро английская армия «приближалась в боевом строю к городу Сантьяго», пока другая процессия уходила из города.

Клирики, несущие реликвии, кресты и вымпелы, и толпы мужчин, женщин и детей, и городские главы, с ключами от города, которые они поднесли на коленях, выказывая добрую волю. «Но, — саркастично замечает Фруассар, — была ли она искренней, я не знаю». Было много торжеств и увеселений, а также, говорят, крепкого напитка, «которого лучники выпили столь много, что провели большую часть времени в постели пьяные. И часто от вина, коего они выпивали слишком много, у них бывала лихорадка, а утром такие головные боли, кои мешали им делать что-либо весь остаток дня; ибо это было самое старое вино».

Среди приятнейших особенностей средних веков — прелестная вера в то, что громы войны можно заставить умолкнуть навеки звоном королевских свадебных колоколов, и прошло немного времени, прежде чем политика отправилась к алтарю Филиппу, а потом и младшую Екатерину. Как все женщины того времени, они вообще не имели права выбора мужа и продавались отцом, словно лошади, в обмен на звонкую монету или союзы. Филиппе повезло: Жуан Португальский оказался красивым юношей двадцати с небольшим лет и выглядел королем до мозга костей в неизменных белых,

отороченных алым одеждах и с зеленым крестом святого Георгия у сердца. На большом совете между молодым королем и Джоном Гонтом этот брак, впоследствии оказавшийся столь выгодным для Португалии, был заключен, и Фруассар рассказывает, как Джон Гонт сообщил новости своей жене, когда вернулся в Сантьяго.

«И что же было сделано в отношении брака?» — спросила герцогиня. «Я отдал ему одну из своих дочерей». «Которую?» — спросила герцогиня. «Я предложил ему на выбор Екатерину и Филиппу; за что он премного благодарил меня и выбрал Филиппу». «Он поступил правильно, — сказала герцогиня, — ибо моя дочь Екатерина слишком мала для него».

Бракосочетание юной Екатерины Ланкастер произошло позже. Ее выдали замуж за восьмилетнего наследника Кастилии, которым стал Энрике III. С этим браком Джон Гонт и Констанция отказывались от претензий на Кастилию. Первым требованием Джона Гонта, когда прибыли кастильские посланцы, было: «Мои расходы должны быть возмещены, ибо я хочу, чтобы вы знали, что моя экспедиция в Кастилию стоила Англии свыше пятисот тысяч франков. Поэтому я желаю услышать, что вы скажете о возмещении». Ни один банковский управляющий не смог бы сформулировать свои условия более прямо и недвусмысленно! В результате сделки герцог и герцогиня Ланкастерские отдали свою дочь и заключили мир между Англией и Кастилией в обмен на ежегодный доход в размере пятидесяти тысяч франков, ради чего несколько невезучих испанских городов были обложены новыми налогами; вдобавок герцогиня получила на

хозяйственные расходы шестнадцать тысяч франков. Также постановили, что молодые должны получить Галисию, а для имитации титула принца и принцессы Уэльских им будет присвоен титул принца и принцессы Астурийских. Контракты были составлены и торжественно подписаны, и так закончилась экспедиция Джона Гонта в Испанию.

Королевские контакты с Сантьяго, естественно, увеличили число английских паломников в храм Святого Иакова. До недавнего времени память о великом паломничестве неосознанно воспроизводили лондонские детишки, которые строили на улицах маленькие храмы, украшенные устричными и гребешковыми раковинами. Я хорошо помню, что видел их в Лондоне на день Святого Иакова, и почти слышу пронзительный крик: «Помните о пещере!», которым прохожих приглашали пожертвовать пенни. Эти представления, конечно же, были памятью об уличных храмах Англии до Реформации, которые украшались в определенное время года раковинами гребешков, чтобы напомнить тем, кто не мог поехать в Испанию, о поклонении святому Иакову.

§ 9

Я с удивлением обнаружил, что человек, с которым я встречался только раз в Мадриде, озаботился написать в Сантьяго своему другу, попросив его присмотреть за мною. Если бы я сам это предложил, вероятно, ничего бы не получилось. Мне кажется, испанцы часто поступают, повинаясь порыву — и обладают женской способностью спорить не доводами разума, но эмоционально, создавая у человека беспомощное ощущение, которое охватывает мужчину, пытающегося спорить с разгневанной женщиной.

Человек, который ждал меня в отеле, оказался приятным компаньоном. Мы гуляли вместе по Сантьяго, и такого Сантьяго я еще не видел. Светило солнце! Как сказочно выглядел старый город под светом солнца, гладившим темные колоннады и согревающим рыжевато-бурые башни и стены цвета меда!

— Вы, галисийцы, напоминаете мне ирландцев, — сказал я.

— А почему нет? — ответил он. — Мы кельты, как ирландцы.

Я попросил его рассказать галисийскую байку о привидениях, и он поведал о *Santa Compañía* — Святой компании. Когда путешествуешь ночью по Галисии, в некоторых болотистых местах можно увидеть мерцающие огоньки, которые летают туда и сюда над унылым ландшафтом. Надо быть очень осторожным. Может статься, ты обнаружишь, что кто-то невидимый пытается вставить тебе в руку горящую свечу, и если возьмешь ее, ты пропал: присоединился к Святой компании душ, обреченных скитаться по чистилищу с горящими свечами, пока они не смогут всунуть свою свечу в руку ничего не подозревающего странника. И может случиться так, что ты просто исчезнешь из жизни и проведешь вечность, пытаясь избавиться от свечи, бродя по болотам и пустошам, где мерцают призрачные огоньки, пока наконец не заманишь кого-нибудь в Святую компанию, а сам не освободишься!

— Да, — сказал я, — это прямо как в Голуэе.

Он добавил, что в Галисии всегда помнят о тяжелой доле душ в чистилище и что крестьяне верят, будто эти души становятся видимыми темной зимой — длинная процессия людей с пламенем у ног и светом над головами. Всегда можно определить, что здесь прошла Святая компания, по сильному запаху свечного воска и горелого оливкового масла.

— Хотя я совершенно не суеверен, — сказал мой компаньон, — но когда я хотел проснуться в непривычный час, а будильника при мне не было, я всегда молился за душу, чье искупление подходило к концу — скажем, за такую, которой нужна всего одна молитва «Отче наш», чтобы освободиться; и это никогда не давало сбоев. Я всегда просыпался, когда хотел, но, как я уже сказал, я ни в малейшей степени не суеверен.

Он, однако, согласился, что большинство крестьян глубоко суеверны и верят в магию.

— Однажды ночью несколько лет назад, — сказал он, — я ехал в Пуэбла-дель-Караминьяль на машине. Был конец августа, полнолуние. Перед городком есть каменный мост, и я заметил несколько человек, стоявших рядом, и подумал, что тут, наверное, несчастный случай, поскольку, когда я подъехал, они подняли руки и остановили меня. Это оказались четыре девушки и с ними мальчик, крепко связанный веревками и носовыми платками, которые они умоляли меня развязать. Я был очень озадачен и спросил зачем. Они сказали, что мальчик онемел, и считается, что если четыре девушки отведут его к мосту при полной луне, свяжут и попросят первого встречного его развязать, он снова заговорит. Конечно же, я сделал то, что они просили. Когда я навел справки, то выяснил, что это старинное суеверие в тех краях, причем девушки должны быть девственницами.

Тем временем мы остановились перед величественным западным фасадом собора, где дон Иньиго обратил мое внимание на высокие колокольни: в одной на фоне неба виднелись колокола, другая была закрыта, и на ней висел деревянный гонг, или «хлопушка» — *carraca*, которая использовалась на Страстной неделе, когда все колокола молчат.

— Это странный звук, — сказал он, — когда его слышали французы, они задали стрекача, потому что

решили, что это шум приближающихся крестьян в деревянных *zuecos*.

Мы обошли собор, и я увидел ряд лавок серебряных дел мастеров и кузниц, в которых серебряные ракушки и другие сувениры отливали или ковали молотом; и снова подумал, что в Испании, где каждый постоянно думает о смерти, ничто словно не умирает. Эти кузницы наверняка стоят на том же месте с одиннадцатого века, а может, и дольше. Я купил красивую маленькую ракушку, которая, будь она обнаружена в могиле, отправилась бы прямо в музей.

Интерьер собора — величайший сюрприз Сантьяго. Я-то ожидал войти в огромное пространство барокко, но вместо этого шесть веков опали у дверей, и я вступил в величественный романский собор, который мог бы быть родственником Даремского. Как и большинство испанских церквей, он оказался темен и мрачен, круглые арки поднимались к своду в семидесяти футах над нефом; это была та самая церковь, на которую устремлялись взоры наших предков, совершавших паломничество в «Галис». Служили мессы в боковых капеллах, где несколько коленопреклоненных фигур виднелись силуэтами на фоне свечей, и не слышалось ни звука, кроме бормотания священника у алтаря и внезапного звона санктуса^[136]. Поперечный неф был огромен, и мой товарищ указал на механизмы и цепи на своде, использующиеся в работе гигантского кадила, *e/ botafumeiro*, которое в дни праздников качается из одного нефа в другой. Перед собой, в *capilla mayor*, над алтарем мы увидели посеребренную статую святого Иакова, сидящего на троне с паломническим посохом в руке.

Лестница за алтарем поднималась к статуе и спускалась с другой стороны. Я взобрался по ступенькам и оказался позади статуи, глядя на неф

собора; забавное и любопытно ощущение — стоять, положив руки на серебряный плащ святого Иакова, и рассматривать обратную сторону раковины гребешка, истонченную и выглаженную поцелуями бесчисленных паломников. Под алтарем есть освещенный склеп, в котором можно увидеть серебряный гроб, содержащий, как считается, мощи апостола.

В одном из трансептов мы обнаружили красивую статую святого на лошади, походящего на святого Георгия, только вместо дракона он пронзал мавра.

— Когда Франко пришел сюда со своими марокканскими частями, — иронично заметил мой товарищ, — мы решили, что будет вежливо припрятать статую нашего святого покровителя!

Мы зашли в ризницу посмотреть на *botafumeiro* высотой шесть футов — невероятное зрелище! Оно используется только в дни великих праздников и в святой год, который бывает, когда день Святого Иакова — 25 июля — выпадает на воскресенье. Тогда кадило выносят на перекрестье нефов и подвешивают за цепи, свисающие с потолка; потом в нем разводят огонь на углях и добавляют благовония. Требуется семь человек, чтобы управлять движением кадила. С каждым рывком цепи оно поднимается все выше и выше, качаясь от северного нефа к южному и обратно, уголь светится, и облака благовонного дыма вылетают, когда кадило застывает в воздухе, прежде чем качнуться в обратную сторону. Наконец качание замедляется, пока не наступает момент, когда семь человек повисают на кадиле и останавливают его.

— Оно летит, словно бомба! — сказал мой товарищ. — Вы бы видели, как люди разбегаются и освобождают ему путь!

Бывали случаи, когда *botafumeiro* вылетало на пласу снаружи, но, судя по всему, никого ни разу не убило. Так произошло, например, когда Екатерина Арагонская

посещала Сантьяго на пути в Ла-Корунью, откуда отплывала в Англию. Это было дурное предзнаменование.

У моего товарища имелась забавная привычка, когда мы говорили о чем-нибудь легендарном, поднимать плечи, пока его шея совсем не пропадала, и разводить руками, ладонями вверх, в почти восточном жесте, выражая беспомощную обреченность. «Я не знаю, — словно говорил он, — но такова традиция». Он никогда не отрицал ничего, но прибавлял: это предание, легенда или притча. Не в первый раз я встречал такую точку зрения в Испании и гадал, занимает ли сейчас традиция место веры. Разговаривая с испанцами на религиозные темы, я часто ощущал тень инквизиции, парящую над нами.

Мы отдали визит красивейшему месту собора, *portico de la Gloria*^[137] который известный мастер Матео закончил в 1188 году после двадцати лет работы. Дж. Э. Стрит назвал его «одной из вершин славы христианского искусства»; и я стоял, пораженный гением скульптора, который населил эти арки примерно ста тридцатью фигурами ангелов, апостолов и святых, изваянных с вдохновением, каковому более поздние века могли лишь пытаться подражать. Мой товарищ провел меня через заднюю дверь, где указал на скромную коленопреклоненную фигуру, которую, как он сказал, традиция считает самым мастером Матео. Великий Генрих II был королем Англии, когда Матео начал свою работу. Это был, кстати, тот самый год, когда принцесса Элеонора Английская приехала в Испанию, чтобы выйти замуж за Альфонсо VIII, и она, возможно, видела этот шедевр, когда его еще только начинали строить. Мастер Матео отложил резец, когда весь христианский мир погрузился в траур по утрате Латинского королевства в Иерусалиме; а Ричард

Львиное Сердце, брат юной королевы Испании, собирал войска для крестового похода.

Глава десятая

От Саламанки до Барселоны

Маршрут отступления сэра Джона Мура. — Красоты Леона. — Вальядолид. — Английский колледж. — Золотая Саламанка. — Конгресс поэтов. — Барселона. — Танцуя сардану. — Черная Мадонна Монтсеррата.

§ 1

Должно быть, пока я находился в Сантьяго, здесь выпала изрядная доля ежегодного дождя, но день моего отъезда был сверкающе ясным и почти теплым. Дон Иньиго пришел проводить меня и дал мне письмо к своему другу в Вальядолиде, обладателю христианнейшего из испанских имен: его звали Хесус, то есть Иисус.

Дорога привела меня в зеленую холмистую местность, где высокие, аристократического вида мужчины с длинными посохами шагали рядом с телегами, запряженными быками. Зеленая кукуруза блестела на полях после недавнего дождя — удивительный чужеземный урожай, уносящий мысли в прошлое, к Кортесу и Писарро, которые даже не подозревали, что истинным богатством Америки было не золото, но картофель, маис, табак и какао. В обмене растительностью Америка преуспела, получив пшеницу и другие злаки, которых не знала прежде. История первой американской пшеницы довольно любопытна. Сводная сестра Писарро по имени Инес Муньес, страстная садовница, как-то раз просеивала бочонок

риса, прибывший из Испании. Заметив несколько зерен пшеницы, случайно попавших туда, она выбрала их и посадила на цветочных клумбах с такой заботой, словно сажала побеги резеды или базилика; одно время все урожаи пшеницы в Перу можно было проследить до клумб Инес Муньес. Эта история столь же прелестна, как легенда о султанине, посадившем гранатовые зерна, ставшие родоначальниками всех гранатов Испании.

Мой путь лежал из Галисии обратно в Кастилию. Сколько разных Испаний я повидал: Испания, похожая на Швейцарию, на Ирландию, на Африку — и из всех них галисийская Испания показалась мне самой примечательной и, вероятно, самой понятной. Недолгий гость весь во власти случайных встреч и всегда склонен делать из них неверные умозаключения; поэтому, быть может, по одной лишь случайности на моем пути оказывались *gallego*, галисийцы, расторопные и деловые, оставившие у меня впечатление бодрости, восприимчивости и живости ума. У меня сложилось ощущение, что этот северо-западный уголок Испании все еще лежит на пересечении главных маршрутов мира. Как и в Ирландии, в Галисии имеется долгая традиция эмиграции за море. Как никогда не удивляешься фотографии статуи Свободы в хижине в Коннемаре, так же не удивишься, увидев фотографию Мехико или Буэнос-Айреса в любом крошечном галисийском домике. Часто говорят, что кельт эмигрирует, потому что сам он беден, а его родина камениста и уныла, но это далеко не все причины: кельт рождается с непоседливыми ногами и поэтической тоской по чему-то неизвестному за горизонтом. На Галисии лежит такая же меланхолия — здесь ее называют «*morriña*», — как и на Ирландии: она или приковывает человека к земле некими чарами безнадежности, или ведет его на край света. Но при всей своей неотмирности галисиец — человек

сообразительный, хитроумный и нередко оказывается проницательным политиком. Франко — галисиец, и часто слышишь, как люди говорят о нем: «Он ведь ловкий галисиец — единственный, кто перехитрил Гитлера!» Исторический факт: после спора с Франко в течение девяти часов Гитлер сказал Муссолини: «Пусть мне лучше вырвут три-четыре зуба, чем пройти через такое еще раз». Также часто слышишь, как люди спрашивают: «Что, интересно, Франко будет делать теперь?» — и ответ всегда один: «Ничего. Он же *gallego*!»

В тумане и дожде Галисии, белых домиках, готических церквушках, людях, то веселых, а то полных *morriña*, было нечто, вызывавшее во мне огромную симпатию и интерес — и трогавшее мое сердце, как не смогла его тронуть жаркая и романтическая Андалусия.

Я пересек самую красивую реку, какую видел в Испании, Миньо — широкую, чистую и великолепную, как Уай, и, взобравшись на крутой холм, узрел столицу Галисии, город Луго, стоящий за римской стеной. Есть ли в мире стена красивее? Она в милю с четвертью длиной и около сорока футов высотой. Некоторые ее части толщиной до двадцати футов, и хотя ее понижали — то есть вершины восьмидесяти пяти полукруглых бастионов разобрали до общего уровня стены, — это не умаляет ее мощи и величия; я решил, что она так же хороша, как авильская.

Я нашел ресторанчик, где мне подали галисийский суп *caldo*^[138] и омлет, напичканный креветками и грибами. За столиком в углу сидела семья с толстым маленьким *nino* лет восьми, которого, видимо, никогда в жизни не воспитывали. Его индивидуальность оставалась неприкосновенной и в тот день достигла огромных высот. Он гонял еду по тарелке ложкой и вилкой, выпрашивал кусочки с тарелок родителей,

которые ему послушно давали, и привлекал внимание людей за соседними столиками. Юная парочка рядом была совершенно очарована ребенком, и он, выделив их как идеальную публику для самовыражения, начал делать им знаки, пытаясь подружиться, и наконец слез со стула и прошел к их столику — к веселью родителей и восторгу незнакомцев, которые накормили мальчугана мороженым. Неужели юных испанцев никогда не шлепают? Я терялся в догадках.

Я дошел до собора, чтобы посмотреть на Святую Деву Большеглазую — *Nuestra Señora de los Ojos Grandes*, — о которой столько слышал от верующих испанцев. Церковь, большая и красивая, имеет редкостную особенность: просфоры для причастия здесь постоянно *manifestado*, то есть выставлены, и два священника находятся в непрерывном бдении. Поскольку главный алтарь всегда занят причастием, проблема выставления знаменитой Мадонны Больших глаз была решена постройкой круглой дамской часовни позади *capilla mayor*. Когда я приблизился к этому темному уголку церкви, я увидел, как две невозможно старые и хрупкие дамы совершают обход вокруг алтаря на коленях. Одетые в черное, с закрытыми черными церковными вуалями лицами, они ползли друг за дружкой, стискивая пергаментные руки. Старухи скрывались за алтарем и появлялись вновь, бормоча молитвы. Иногда одна останавливалась перед Богородицей на несколько минут и смотрела вверх на статую, задерживая другую, терпеливо ожидавшую товарку, а потом обе опять продолжали обход. Они, видимо, дали обет обойти статую Святой Девы на коленях определенное число раз, и старушка, закончившая первой, поднялась и ушла, на мгновение открыв моему взгляду иссохшее лицо, преображенное верой.

Мадонна Большегоглазая стоит, озаренная мягким светом, в нише над алтарем, которая образована сотнями резвящихся и кувыркающихся барочных ангелочков. Это высокая фигура из раскрашенного дерева; она отличается от всех прочих Богородиц, каких я видел в Испании. На ней длинное платье до самых стоп и плащ почти такой же длины, ниспадающий с плеч. Головная накидка под громадной золоченой короной не скрывает, как обычно у испанских Мадонн, линию щек и шеи. Два завитка волос спускаются на плечи по сторонам лица, в ушах видны большие серьги, а на шее ожерелье; и ее лицо хранит суровое застывшее выражение, а глаза следуют за тобой, куда бы ты ни пошел.

Покинув собор и направившись к римской стене — всего в нескольких шагах от западного входа, — я остановился посмотреть на чудесное собрание глиняной посуды, какую часто видишь расставленной на мостовой в Испании; старуха, вышедшая ко мне в надежде продать горшочек-*jarro*, оказалась одной из двух молеельщиц, обходивших статую Мадонны на коленях.

Дальнейшую поездку из Луго в Леон я всегда буду помнить как самую красивую и самую утомительную из всех, что я совершал в Испании; и ни за что не стану ее повторять — или советовать кому-либо сделать это — между полуднем и наступлением ночи. Для летящего ворона расстояние всего около ста двадцати миль, но это горная дорога под чудовищными уклонами, а особенно волосы поднимаются дыбом от испанской привычки залезать на встречную полосу и срезать углы на шестидесяти милях в час. Я никогда не знал, какого противника встречу на изгибе дороги или какой отчаянный *suerte* мне придется сделать, чтобы избежать столкновения. По счастью, машин стало мало, как только я выехал из ближайших окрестностей Луго,

но зато попадалось много *bravos camiones*^[139] и несколько чрезвычайно *bravos* автобусов на спусках, так что я не мог расслабиться ни на секунду. Также встречалось изрядное количество *obras públicas*^[140], которые велись на каждом важном повороте: с паровыми катками и красными флажками, а также ватагами землекопов, никогда не слышавших об отбойном молотке и мужественно атаковавших склоны гор кайлом и лопатой.

Но что за райский денек мне выпал! Я весь промерз в Сантьяго, а теперь с каждой милей лето словно сгущалось в воздухе. Великолепная река Миньо текла в долине по правую руку от меня, еще больше напоминая Уай. Коровы утопали в сочной зелени лугов, а иногда на глаза попадался удачливый рыбак. Поля разделяли невысокие стенки из шифера и камня, как в Камберленде и некоторых областях Ирландии, а серые каменные дома были крыты камнем, красиво обветренным и расцвеченным мхом и лишайником. По обеим сторонам тянулись акры капусты и кукурузы. У дороги росла наперстянка и кусты ежевики. Казалось, здесь легенда об Испании с плаката наконец потеряла силу.

Потом я оставил прелестную долину Миньо и стал забираться в пустынную глушь южной оконечности Кантабрийских гор, чьи северные высоты я проезжал на пути в Ковадонгу. Я поднимался по горным ущельям, потом снова спускался — и решил, что это самая пустынная дорога, какую я видел в Испании. Я ехал по милям вереска и причудливых клочков возделанной земли, прилепившихся к склонам гор под такими углами, что я удивлялся, как здесь вообще можно пахать; и конечно, жать возможно только серпом.

В этом ужасном одиночестве мои мысли вернулись к невеселой главе в истории британской армии,

отступлению сэра Джона Мура в Ла-Корунью — это была та самая ужасная дорога, по которой шли его армии через потоки дождя и снег на некоторых перевалах. Я проехал Пуэрто-де-Пьедрафита, границу между Галисией и Леоном, у самой высокой точки *sierra*, где отступающая армия оставила двадцать пять тысяч фунтов стерлингов — их скатили по склону в бочонках. Эта дорога в декабре, под ветром, дождем и снегом, с французской кавалерией, нагоняющей группы дезертиров и рубящей направо и налево, наверняка была чудовищна. Дисциплина была забыта. Британские солдаты думали, что испанские союзники их предали; дезертиры громили винные погреба в деревнях и городках; испанские погонщики бросали вьючных мулов и быков с телегами, и, поскольку животные не понимали английских команд, запасы приходилось оставлять на дорогах. В Ногалесе, который я проехал высоко в горах, нашли тела двух солдат и испанской женщины, допившихся до смерти: они лежали в снегу. Проезжая по этой дороге даже в летний день, поражаешься, как армии Джона Мура вообще удалось добраться до Ла-Коруньи, а ландшафт объясняет, почему более многочисленные отряды Наполеона не окружили и не вырезали англичан. Хотя некоторые дезертиры падали у дороги — точнее, у придорожных таверн, — французы не смогли взять ни одного британского флага или ружья, а арьергарды все время держали их на расстоянии и даже наносили потери вражеской кавалерии. Люди, которыми командовал Мур, очень любили генерала, и когда шотландцы несли его, умирающего, на одеяле в Ла-Корунье, по их щекам текли слезы. Думаю, будь за плечами у Мура любовная история, он бы занял куда более высокое место в сердцах нации, для которой, как мудро заметил Филип

Геделья^[141], «одно громкое романтическое поражение стоит трех обычных побед».

Я спустился в прелестную деревушку Вега-де-Валькарель с огромными ореховыми деревьями, растущими повсюду, стадами коз и еще одной красивой речкой. Прекрасное место для жизни, рыбалки и изучения испанского! И снова вверх, в горы: дорога петляет и извивается, и прямые участки длятся едва ли больше двадцати футов. Но вот наконец залитая закатным светом Понферрада с горделивым замком рыцарей-тамплиеров, возносящимся над мощеными улочками.

Здесь произошла очередная смена ландшафта, столь же резкая и драматическая, как повсюду в Испании. Дальше росли тополя и виноград, простиралась огромная равнина, чья почва была кирпично-красной. Шахтеры разъезжали на велосипедах. Потом потянулась полоса унылых болот. Хотя уже почти стемнело, крестьяне все еще трудились на сенокосе, и запряженные быками телеги медленно катились к деревням. Уже стемнело, когда я приехал в Асторгу, где остановился выпить *café con leche* и потом обнаружил, что следовало заказать какао — здешнее коронное блюдо. Это странный маленький болотный городок с пласой, обрамленной аркадами, и старинной ратушей, где отбивают часы две механические фигуры, марагато и марагата^[142], в мешковатых штанах и серебряных побрякушках, какие Форд описывал столетие назад, но теперь их уже не увидишь. Эти таинственные люди все еще существуют, но никто не знает их корней, хотя некоторые полагают, что они произошли от берберов.

Стало совсем темно, и я начал раскаиваться в своем решении попасть в Леон сегодня вечером, потому что дорога шла через пустоши и болота, которые я скорее

чувствовал, чем видел. Я приехал в темную деревушку, где фары выхватили из мрака молодых людей, торжественно совершающих вечерний *paseo*: девушки группками по трое-четверо, юноши вместе — будто в городе. Отсутствие фонарей необычно для испанской деревни, и я задумался, не отключилось ли электричество. Потом я нырнул к огням Вегельины и пересек мост над Орбиго. Это была декорация к нелепому подвигу 1434 года, известному как *raso honroso*^[143]: тогда истинный Дон Кихот с железной цепью вокруг шеи — залогом покорности желаниям возлюбленной — удерживал мост с девятью товарищами и вызывал на смертный бой любого проезжающего рыцаря, который отказывался согласиться, что дама порабощенного страстью прекраснее всех в мире. Станным кажется, что такой рыцарский архаизм, обычный для тринадцатого века, мог проявиться всего за восемьдесят пять лет до открытия Америки. Но еще более странно, что этого странствующего рыцаря следовало принимать всерьез: как рассказывают, в итоге за тридцать дней, пока он с друзьями удерживал мост, произошло не менее семисот двадцати семи стычек, в ходе которых один рыцарь был убит, а несколько ранены. Так обычаи тринадцатого века продержались в Испании до пятнадцатого; и даже в столь близкие к нам времена, как семнадцатый век, севильский дон вызывал на бой любого благородного мужа, который сомневался в Непорочном зачатии.

Наконец я увидел огни Леона, и только подписывая гостиничные бумаги, которыми в конце концов наверняка будут растапливать камин в полицейских участках по всей Испании, я ощутил, насколько устал. Вот одна из радостей нелепого режима дня, существующего в Испании: когда ты приезжаешь в одиннадцать часов, зевающий официант не говорит

тебе, что хотя с кухни «все ушли», он, пожалуй, сможет раздобыть бутерброд с сыром — напротив, ты находишь ресторан набитым битком, а официант указывает тебе столик с поклоном и улыбкой.

Я чувствовал себя слишком усталым, чтобы спать. Когда же я наконец забылся, меня захватили сны о сэре Джоне Муре и его отстающих солдатах, о Суэро де Киньонесе, удерживавшем мост у Вегельины, и о двух старушках в черном, ползущих на коленях. Я проснулся чуть позже пяти и выглянул в окно. Леон выглядел молчаливым и сонным.

Большое кафе на пласе было закрыто, но все еще светилося, стулья уносили внутрь и ставили вверх ногами на столы. Я посмотрел налево и увидел незабываемое зрелище. Башни Леонского кафедрального собора поднимались на фоне ночного неба, которое только начинало бледнеть, а над ними сияли Венера, Юпитер и один из гигантов — наверное, Альдебаран, — все в ряд, словно три огромных фонаря рассвета.

§ 2

По легенде, Господь однажды созвал святых покровителей Европы и предложил пожаловать любые добродетели, какие они только пожелают для своих стран. Святой Иаков попросил, чтобы испанцы обладали большим умом и красотой, чем любой другой народ в мире, и Бог выполнил его просьбу. Но так велика была любовь святого Иакова к Испании, что он не смог устоять и не попытаться получить еще немного — и добавил: «И лучшее правительство на земле». Это разгневало Всемогущего, который провозгласил: «Нет! В Испании вообще никогда не будет никакого правительства!»

Тем не менее Испания может похвастаться большим количеством столиц, чем любая другая страна Европы: Овьедо, Леон, Бургос, Толедо, Севилья и Вальядолид все в разное время были резиденцией двора и правительства. Это придает испанской истории ощущение движения и атмосферу военной кампании, словно штаб армии перемещался во время наступления — впрочем, примерно так и происходило. Королевское достоинство Леона появляется в истории довольно рано — когда христианские королевства почувствовали себя достаточно сильными, чтобы спуститься с гор и немного продвинуться на юг. Увы! Жестокий аль-Мансур, разрушивший Сантьяго, превратил Леон в руины, и его муэдзины сзывали мавров на молитву с минаретов, сложенных из трупов. Но с живучестью римского легионерского лагеря — название «Леон» есть память о *Legio Septima*^[144] — старый город поднялся из пепла и снова храбро стал столицей. Это произошло в 1001 году — в то время, когда в Англии Этельред Неразумный планировал резню данов.

Я нашел город неинтересным и бесформенным, за исключением нескольких зданий. Величие Леона, как и Овьедо, осталось в прошлом, слишком отдаленном, чтобы сохранилось много видимых следов; и, в отличие от Бургоса, он не поражает мгновенно взор и разум. Пятиминутная прогулка от отеля привела меня к кафедральному собору, где я повосхищался богато украшенными резьбой западными дверями с изображением последствий Трубного гласа, каковые наверняка волновали многих средневековых крестьян. Ангелы и бесы энергично снуют среди могил, отделяя хороших людей от плохих. Праведники стоят слева, красиво наряженные и явно довольные собой, а мальчик играет им на переносном органе. Неспасшихся грешников, совершенно обнаженных, вытаскивают из

могил бесы и либо кланяются им, как важным персонам, либо швыряют ненасытным демонам, которые, не в силах ждать, пожирают бедняг с головы. Замечательна центральная композиция — молодой мужчина монаршего облика грациозно, словно в этом не может быть сомнений, идет к спасшимся, но ангел останавливает его с любезным и почтительным видом свадебного шафера, явно говоря: «Пожалуйста, сэр, пройдите на другую сторону».

Я вошел через западные двери — во Францию! Леонский собор — один из величайших сюрпризов Испании. Я оказался в оранжерее средневековых витражей, чьи архитекторы старались использовать как можно меньше камня, чтобы оставить как можно больше места для стекла. После темных соборов Испании эффект ошеломительный. Повсюду огромные окна, так что посетитель застывает, пораженный разнообразием и яркостью цветов. Здесь собраны все чудесные краски настоящего старинного церковного стекла: кобальтовая синева, медная зелень, марганцевый пурпур, оттенки желтого и великолепный рубиновый красный и красно-коричневый. Я был совершенно очарован этим сияющим величием красоты и дивился, как вышло, что Леон решил построить собор, столь непохожий на что-либо в Испании — церковь, которая вместо того, чтобы изгонять свет, как большинство испанских церквей, приглашает его внутрь. Как архитекторы, которые воспитывались в традициях Сен-Дени, Шартра и Реймса, должно быть, ждали мгновения, когда смогут увидеть игру яркого испанского солнца на стекле! Когда я был в соборе, как раз светило солнце, разливая мозаику цвета по всему храму. Можно было протянуть руку и смотреть, как пальцы окрашиваются в пурпурный, желтый и красный. Это самая радостная и нарядная церковь в Испании — и, в своем роде, самая красивая. Там словно все время

играет музыка. В соборе есть чудесные вещи: старинные гробницы, скульптуры и так далее, но я мог смотреть только на сказочные цветные стекла.

Я подумал, как нередко думал в Испании, что одной из главных функций средневековой церкви было наставлять неграмотных и давать им картины, которые они смогут понять, чтобы они восприняли историю евангелий и легенды о святых — романы средневекового мира. Можно ли представить лучшую книжку с картинками, чем эта церковь, чьи иллюстрации озарены Божьим светом?

Выходя наружу, я снова рассмотрел Страшный суд и заметил, что злых еще и варили, а не только пожирали живьем. Вийон представлял сцену вроде этой, когда вложил в уста своей матери этот трогательный стишок, который начинается так:

Нища я, дряхла, старостью согбенна,
Неграмотна и, лишь когда идет
Обедня в церкви с росписью настенной,
Смотрю на рай, что свет струит с высот,
И ад, где сонмы грешных пламя жжет.
Рай созерцать мне сладко, ад — постыло... [\[145\]](#)

Еще я видел в Леоне участок римской стены, протянувшийся вдаль так же смело, как в Луго. Мне показали склеп святого Исидора, покрытый византийскими фресками, где первые короли и королевы Леона спят в своих могилах — безымянных, поскольку здесь побывали французы Наполеона. А на алтаре этой же церкви я увидел серебряную урну, содержащую мощи великого и мудрого святого Исидора Севильского, выкопанные с разрешения мусульманского короля аль-Мутамида, который, произнеся подобающую прощальную речь, отослал их на христианский север.

Дорога в Вальядолид тянулась под солнцем по равнине цвета хаки. Пропали зеленые холмы Галисии, хрустальные ручьи, бегущие с гор, темные и глубокие реки. Зной царил над безводным ландшафтом. Речушки едва струились среди камней под величественными мостами. На границе неба деревни — цвета пыли, как и сама равнина — виднелись четко и резко в собственных тенях.

§ 3

Дон Хесус, к которому у меня было письмо, оказался одним из тех фантастически занятых испанцев с дюжиной работ, готовых бросить их немедленно, словно время не имело никакого значения. Весь день мы пробродили по Вальядолиду, который я нашел очаровательным, но довольно хаотичным городом — чарующим больше своим прошлым, чем настоящим. Мы видели здание, где сочетались браком Фердинанд и Изабелла, где родился Филипп II, музей полихромной скульптуры и громоздкий незаконченный собор, в ризнице которого я обнаружил пару старинных лондонских часов: одни работы Дэвида Сэмюела с улицы Гудменс-Филдс, а вторые — «Хиггса и Диего Эванса» со Свитингс-элли. Было уже девять часов, почти время ужина. Улицы были заполнены людьми, а воздух казался почти таким же горячим и неподвижным, как в Мадриде. Два цветных фонтана поднимали струи в ночь; медленно фланируя вместе с *paseo*, мы торжественно приподнимали шляпы каждые два-три ярда перед друзьями дона Хесуса.

Мы обосновались в уголке небольшого баскского ресторанчика. Мой компаньон был большим ценителем и знатоком Вальядолида, которому, по его мнению, следовало стать столицей Испании. Ни один город не

мог с ним сравниться. Страстная неделя в Севилье? Фи, это ерунда! Всего лишь пародия, организованная для туристов. Если вы действительно хотите увидеть Страстную неделю, вам надо приехать в Вальядолид. Здесь вам покажут нечто особенное! Лучшие в Испании *pasos*. Вы увидите «Бичевание Христа» Грегорио Фернандеса, «Воздвижение Креста» Франсиско де Ринкона, «Распятие» Франсиско де ла Масы и знаменитую «Мадонну Скорбей» с пятью кинжалами в сердце, работы Хуана де Хуни; все они медленно движутся в темноте, освещенные лишь тысячами свечей — вот тогда, *señor*, вы видели Страстную неделю.

Он вытащил бумажник и достал фотографию *passo*, окруженную членами братства в капюшонах. Он указал на маленькую фигурку в линии совершенно одинаковых инквизиторов — все в белых рясах и черных остроконечных капюшонах — и гордо сказал:

— Это я.

Его *cofradía*^[146] — одна из самых престижных и закрытых в городе, объяснил он. Мальчики вступали туда в детстве, почти как мы отдаем детей в частные школы. Я посмотрел на невысокого спутника с новым интересом, размышляя, как странно, что на неделю каждый год он превращается в мрачную средневековую фигуру, которую не сможет узнать даже семья. Он рассказал мне, как сражался с националистами, был взят в плен красными в Мадриде и брошен в тюрьму. Его пленители кидали кости на жизни пленников и ставили несчастных без предупреждения перед расстрельной командой. Чудовищные события он видел в Мадриде и рассказывал о них уже после кофе, чтобы не портить мне аппетит. «Есть ли что-нибудь ужаснее, чем гражданская война?» — вопрошал он. Его брат, которому он был очень предан, оказался на стороне

республиканцев — его застрелили националисты. Сводный брат тоже был республиканцем и сейчас жил во Франции. «Может, когда король вернется, будет амнистия для политических беженцев, — сказал он. — Кто знает? Будем надеяться».

После ужина он поведал мне о преступлениях коммунистов. Я слышал то же самое с другой стороны. Иностранцу не следует судить о подобных вещах.

— Вы хотите, чтобы король вернулся?

— Это великая надежда моей страны.

Я задумался, согласились ли бы с этим испанцы за соседним столиком. Мы расстались на углу, и он ушел в темноту и непроницаемую тайну своей личной жизни. Мой путь в отель лежал через Пласа Майор, которая, хотя еще не было полуночи, практически опустела. Я с любопытством оглядывался, поскольку именно здесь официально начал свое правление Филипп II, посетив огромное *auto-de-fe* — известный эпизод, когда король, говорят, ответил несчастному, который взмолился, когда его вели на костер: «Будь мой сын еретиком, как ты, я бы с радостью подносил дрова, чтобы сжечь его».

Сейчас существует тенденция преуменьшать ужасы инквизиции, что мне кажется странным для поколения, помнящего гестапо и сражавшегося, чтобы предотвратить распространение тирании. Современные диктатуры, сознают они это или нет, обязаны многими методами Святой палате: шпионы, тайные информаторы, роковое неосторожное слово, ничего не подозревающая жертва, внезапный налет, часто в глухую полночь, обыск жилища, исчезновение подсудимых и, если человек упорствовал, пытки и преследование его семьи. Все это мы увидели снова в наши дни. Даже если мы рассматриваем инквизицию в историческом контексте и принимаем, что пытки были обычными методами в то время, она все равно остается одной из самых чудовищных организаций в истории. Ее

огромные богатства вырастали из конфискованной собственности жертв — иного источника дохода у нее не было. Она бы обанкротилась без узников, и чем больше людей она обрекала на смерть, тем богаче становилась. Каждый раз, как ее прислужники шли арестовывать, с ними был нотариус, который составлял описание собственности арестованного; таким образом под управление Святой палаты отошли громадные владения. У инквизиции было отличное чутье на бизнес, и она не проклинала деньги, которые следовало бы считать нечистыми и запятнанными грехом. Поскольку она всегда держала уши на макушке и легко верила самому худшему, это давало значительные возможности завистникам, злоумышленникам и невеждам повергать и уничтожать тех, кого они ненавидели или не могли понять.

Существует популярное верование, что инквизиция — сугубо испанское изобретение, что неправильно. Во всех средневековых странах были такие суды. Следует припомнить, что, с одобрения англичан, французская инквизиция сожгла Жанну д'Арк как ведьму. Испания оживила инквизицию после падения Гранады — в других странах она уже более или менее отмирала — с целью наказания еретиков-христиан, которые многие века прожили под мусульманским владычеством, и выслеживания притворных христиан из числа евреев и мавров: говорят, некоторые из них после крещения шли домой и принимали ванну, чтобы смыть святую воду. Подъем протестантизма обеспечил новое топливо для костров.

Неправда, как считают многие, что Филипп II и другие короли злорадно любовались, как еретиков сжигают заживо, поскольку на *auto-de-fe* никого не сжигали. Ужасная церемония была только парадом людей, которых испытал суд, и они потом либо публично «примирялись» с церковью, либо

«отпускались» в руки гражданских властей для казни. Во всем этом сквозило невероятное лицемерие. С притворным сочувствием инквизиция передавала осужденного гражданским властям, обязуя тех обращаться с грешниками «любезно и милосердно», хотя все прекрасно понимали, что законным наказанием за ересь станет смерть на костре. Зрители знали, что жертв отведут на *quemadero*, «жаровню», за городские ворота, где уже были приготовлены дрова и собиралась огромная толпа смотреть, как еретики умирают. «Здесь выставлялся на публику ужасный и злорадный садизм, — пишет В. С. Притчетт, — освященный церковью и одобренный правителями. У испанцев крепкие желудки».

Auto-de-fe, или акт веры, наверняка был чудовищным спектаклем, проводившимся со всей пышностью и театральностью церкви, чтобы произвести впечатление на зрителей и утратить тех, кто мог иметь опасные мысли. Эти церемонии бывали двух видов: *auto particular*, который проводился в церкви, и *auto público*, дорогостоящее действо, которое иногда не устраивалось несколько лет. За недели до него плотники превращали главную площадь города в огромный театр. Если собирался присутствовать король, на балконе устраивали королевскую ложу и ложи для придворных. Центр площади занимал помост с кафедрами, по бокам обнесенными трибунами для зрителей и увешанными гобеленами и драпировками. В шесть часов утра все церковные колокола начинали бить, и собиралась публика. Те, кто получал приглашение от инквизиции, без сомнения, гадали, похвала это или предупреждение. Но никто в здравом уме не смел отказаться от приглашения.

Когда король и двор занимали свои места и трибуны заполнялись представителями инквизиции, епископами и настоятелями, а также представителями каждого

рода деятельности в королевстве, несчастных узников вызывали из камер и темниц и одевали для церемонии. Каждому давалась уродливая желтая рубаха из грубой ткани, называемая *sanbenito*, вокруг шеи обвязывался кусок веревки, а на голову водружался картонный шутовской колпак, разрисованный рептилиями и насекомыми. Узников выстраивали в колонну, в руки каждому совали зеленую свечу и выводили вперед, с «родственниками» в колпаках по обеим сторонам, шпионами и подручными инквизиции, которые набирались из всех слоев общества и неизменно присутствовали в каждом уголке и закоулке испанской жизни. Упорствовавших узников сопровождали также духовники, призывавшие их покаяться. «Закоренелым», как это тогда называлось, часто затыкали рты деревянными кляпами, чтобы они не могли выкрикивать поношения или ересь. Последними шли отвратительные пугала, изображающие тех, кто обманул инквизицию и скрылся, и ящики с костями — останки тех, кто обманул ее своей смертью. И пугала, и кости сжигались на *quemadero*.

Процессия вступала на площадь под торжественное пение *Miserere*, качание кадил и блеск крестов; потом появлялись огромное зеленое знамя инквизиции и вереница гротескных фигур в картонных колпаках и желтых рубахах. Процессии иногда продолжались с шести утра до полудня. После религиозной церемонии и проповеди обвинение против каждого узника зачитывали вслух, пока он неловко преклонял колени в своем униженном наряде. Часто оказывалось, что мужчина или женщина, вошедшие в темницу много лет назад сильными и крепкими телом, еле ковыляли, и им приходилось помогать, потому что пытки, и особенно дыба, выворачивали суставы, тогда как у *aselli*, пытки водой, были другие последствия. В конце длиннейшей процедуры «примирившихся» вели обратно в тюрьму,

где они совершали покаяние, а «отпущенных» передавали слугам закона и, усаженных на ослов, увозили сквозь орущую и насмехающуюся толпу на место сожжения. К тому времени, не сомневаюсь, те, кто совершал акт веры с шести утра, желали только вырваться оттуда и что-нибудь съесть — и, если получится, забыть зрелище, которое видели. Немногие на самом деле имели желание следовать за гротескной процессией на *quemadero* и наблюдать ужасы агонии, когда тех, кто покался в последний момент, душили, прежде чем швырнуть в огонь.

Идя в отель той ночью, я размышлял, не инквизицией ли порождены нехватка интеллектуальной любознательности, иногда ощущаемая в испанской жизни, отсутствие книжных магазинов и вера, возможно, бытующая у некоторых испанцев, что догма важнее нравственности, а церковные ритуалы — все, что необходимо для жизни христианина.

§ 4

Несколько лет назад я собирал материал для романа, который так и не написал, о том интереснейшем периоде в английской истории времен Елизаветы, когда английские католики, изгнанные на континент, планировали реставрацию католической веры у себя на родине. Старинные католические семейства устраивали тайные убежища для священников в своих домах: за стенными панелями, в трубах, погребах и на чердаках — чтобы прятать иезуитов, которые тайно пересекали Ла-Манш, неся верным святыне дары церкви. Любопытный персонаж того времени — невысокий хромоногий человек, известный как «Маленький Джон», пользовавшийся огромным спросом в качестве строителя «поповских

нор». Настоящее его имя было Николас Оуэн. Он работал строителем до того, как стал иезуитским братом-мирянином, и поэтому мог придать конструкции тайников профессиональную надежность, которой обычно им не доставало. Однако нередко случалось, что люди, которых заставляли врасплох со священником в доме, убеждали беднягу залезть на крюки для копчения окороков в большую трубу, а охотники за католиками, следуя процедуре, зажигали в печи огонь, прежде чем начинать поиски. «Маленький Джон», которого голод наконец выманил из укрытия в Вустершире, умер под пытками в лондонском Тауэре, но не выдал своих сообщников.

Это была чрезвычайно интересная эпоха, столь же эмоционально насыщенная, как и наша. Священники, въезжавшие в Англию инкогнито, в основном обучались в Английских колледжах: во французском Дуэ, в Риме и в Вальядолиде. Их готовили к опасным миссиям почти так же, как во время недавней войны мы тренировали молодых людей, которых потом сбрасывали темной ночью с парашютом на оккупированную территорию. Пойманного католического священника шестнадцатого века ожидала та же судьба, что и офицера разведки в двадцатом веке.

После таких воспоминаний мне было чрезвычайно интересно узнать, что Английский колледж в Вальядолиде все еще существует и по-прежнему обучает английских священников. Его основал в 1589 году замечательный представитель ордена иезуитов отец Роберт Парсонс, обладавший энергией десятерых человек и не только написавший невообразимое количество книг и брошюр, но также оставивший массу документов, которые до сих пор не изучены до конца.

Когда я позвонил в колокольчик Английского колледжа, меня попросили подождать в холле, который мог бы находиться в Англии — например, в

Стоунихерсте или в Бирмингемской орактории. Я бы поражен английскостью всего окружения, вплоть до манеры расставлять стулья вдоль стен, линолеума и картин. Меня охватило чувство, что будь сейчас более подходящее время суток, мне бы могли предложить — приятнейшая мысль в Испании — чашку чая и вместительное скрипучее плетеное кресло-качалку, мода на которые бытовала в Оксфорде много лет назад. Пока я наслаждался английскостью этого места и искал изображения Колизея и кардинала Ньюмена в полной уверенности, что они здесь есть, мой взгляд привлек предмет, которого я, как ни странно, не видел раньше нигде в Испании. Это была большая фотография в рамке — фотография папы римского.

Я осознал, что, проехав много сотен миль по всей Испании и посетив множество лавок, где продаются предметы католического культа, а также церковных ризниц и монастырей, впервые вижу в этой стране изображение его святейшества, — и подумал, что иностранец, не понимающий традиционной испанскости здешней церкви, может проделать весь этот путь в полной уверенности, что Испания не имеет никакой связи с Ватиканом и папским престолом. Это, конечно же, не так, поскольку всем известно, что Испания — одна из самых преданных дочерей церкви; и все же она явно не испытывает особенного желания созерцать лик понтифика. И хотя здешние священники, монахи и набожные миряне весьма подробно рассказывали об испанских храмах, никто из них ни разу не упомянул Рима.

Ректор монсеньор Хенсон провел меня по всему интереснейшему старинному зданию, которое становилось своего рода домом для тех, кто покинул Англию. Наверху мы посетили прекрасную библиотеку, основанную в шестнадцатом веке, для которой ректор составил каталог; также он оказал огромную услугу

истории английского католицизма, опубликовав списки учеников колледжа всех времен. Взяв книгу записей за 1677 год, он открыл ее на том месте, где был вырван лист. Оказывается, во время правления Карла II гнусный Титус Оутс, притворившийся католиком, просочился в колледж с целью шпионажа за молодыми людьми, проживавшими здесь. Впоследствии его исключили, согласно книге записей, «*ob pessimos mores*» — фраза, которая в его случае означала «противоестественные пороки», — но прощальным жестом негодяя стала вырванная из этой книги страница с теми именами, которые он считал полезными для себя.

В небольшой красивой часовне я заметил изящную раскрашенную статую Святой Девы над алтарем и спросил, почему у нее отсутствует часть лица и откуда взялись другие следы повреждений. Ректор сказал, что эта статуя известна как *Vulnerada* — Раненая. Ее подобрали на улицах Кадиса в 1596 году, после того, как Дрейк и Рэли грабили город шестнадцать дней и превратили собор и другие церкви в пепел. Пока я слушал эту историю, ко мне вернулись воспоминания из школьных лет: душный класс, неудобные парты, запах резины и пятна красных чернил, — но все забывалось в славной истории о подпаленной бороде короля Испании. В присутствии *Vulnerada* эта история перестала казаться такой уж чудесной.

Галерея часовни разделена любопытными решетчатыми перегородками, похожими на те, что можно увидеть в восточных соборах или в ложах театров, куда мусульманские властители приводили дам из своего гарема. Мне сказали, что эта перегородка была поставлена в давние времена, чтобы скрывать лица семинаристов от людей вроде Титуса Оутса.

Я чувствовал, как возвращается мой прежний интерес к истории этого периода, беседуя с монсеньором Хенсоном в комнатах, где учили иезуитов

перед их «заброской» на вражескую территорию и куда отъявленные интриганы вроде отца Парсонса приезжали пошептаться за закрытыми дверями. Благожелательная улыбка монсеньора Хенсона изгнала большинство этих призраков, но темные переходы и уголки еще оставались!

Английская миссия провалилась по нескольким причинам, и самой интересной, пожалуй, была перемена в мыслях англичан в период между восшествием на престол Елизаветы и поздними годами ее правления. Парсонс и его сообщники не угнались за модой, устарели. Они думали об Англии Марии Тюдор, в которой росли и воспитывались, но не имели представления — или отказывались его иметь — об Англии, где католики будут защищать свою страну от католического завоевателя, особенно испанца. Возможно, не все знаменитые колебания Филиппа II вызывались его осторожным характером, но также основывались на более четком понимании происходящего в елизаветинской Англии, чем у его ссыльных советчиков.

В нескольких сотнях ярдов находится звено шотландской связи со старой верой: Шотландский колледж, основанный в 1627 году сэром Уильямом Семпиллом, или Семплом, учебное поле для шотландских священников. Мне показали портреты основателя и его испанской жены, доньи Марии де Ледесма. Семпилл был одним из тех шотландских солдат удачи, кого разметало по всей Европе три века назад, предшественников шотландских инженеров и дельцов, которых теперь можно встретить в любой части света. В молодости он принадлежал ко двору Марии Стюарт и умер в глубокой старости во время правления Карла I, проводя бурную жизнь среди войн и интриг того периода.

В 1941 году старая часовня Шотландского колледжа была превращена в испано-американский храм, известный как Национальный храм Великого обета. Это отсылает к видению молодого иезуита, отца Ойоса, в 1753 году, когда ему, как утверждается, явился Христос и сказал: «Я буду править в Испании более, чем в любой другой части света». В те дни, конечно, Испания включала в себя большую часть Южной Америки.

Две из Мадонн этой церкви имеют уникальную историю, притом сильно отличную от историй старинных изображений, которые находили в пещерах и тайниках. Они прилетели в Испанию по воздуху: одна из Южной Америки, а вторая — с Филиппинских островов. Южноамериканская Святая Дева Гуадалупская — картина, размещенная в часовне, выстроенной для нее всеми бывшими испанскими владениями в Америке (названия двадцати одной республики написаны на стенах часовни), а филиппинская Мадонна прибыла с великой помпой на самолете, в сопровождении епископа Филиппинских островов. Ее часовня украшена тихоокеанским пейзажем с пальмами и голубой водой.

Церковь Великого обета — прекрасный памятник современной политике *Hispanidad*, культурной и духовной связи всех людей мира, говорящих на испанском языке.

По пути в Саламанку я видел город Тордесильяс, стоящий высоко над рекой Дуэро, и вспомнил несчастную Хуану Безумную, которая умерла здесь после почти полувекового заточения.

§ 5

Распаковывая вещи в Саламанке, я услышал треск фейерверков на улице снаружи и решил, что балуются

мальчишки. Мне дали один из лучших номеров в отеле, прямо над входным портиком, с прекрасным видом на улицы, ведущие на знаменитую Пласа Майор. Всегда восхищаешься, когда тебе показывают такой номер днем: он дает великолепную панораму происходящего вокруг. И только ночью обнаруживаешь ловушку, когда лежишь без сна, слушая выхлопы мотоциклов, скрежет передач и пронзительные пожелания спокойной ночи в два часа утра.

Я приехал, когда один из ржаво-красных африканских закатов превращался в темноту, и поспешил сменить свою пыльную одежду, чтобы выйти и увидеть знаменитую площадь, которую считают самой красивой в Испании. Я снова услышал фейерверки, на этот раз в сопровождении духового оркестра — звук, который всегда побуждает меня подойти к окну. Было уже почти темно, стояла жаркая, неподвижная ночь без единого глотка свежего воздуха. Выглянув с балкона, я увидел прекраснейшее зрелище. Через улицу напротив, которая вела на Пласа Майор, шли люди, торжественно распеваящие гимн, и каждый держал в руке зажженную свечу. Я не мог разглядеть, откуда и куда идут эти люди: они просто переходили улицу, словно пересекали сцену. Потом я заметил, что все это женщины, и почти с каждой шла маленькая девочка в белом платье первого причастия. Здесь собрались сотни этих миниатюрных невест со свечами — огоньки озаряли смуглые торжественные лица. Казалось, процессии не будет конца, и то и дело приходской священник — ибо шествующие группировались по приходам, все с знаменами и крестами — выбивался из такта, чтобы побудить сопрано громче воссоединиться в хвале *Nuestra Señora del Carmel*, Святой Деве горы Кармел, чей день сегодня праздновался.

Я поспешил вниз, на Пласа Майор, и увидел это чудо Европы, медленно окружаемое булавочными головками

огней. Сотни маленьких белых фигур продолжали двигаться. Огоньки свечей поднимались, не мигая, в безветренной ночи. В какой-то миг горящие свечи очертили половину площади, потом три ее стороны, и наконец она вся оказалась окружена. Это было неожиданно чудесное зрелище: детские лица, юные голоса, тысячи движущихся огней и благородный фон восемнадцатого века, высокие дома с арками. Когда огни полностью окружили площадь, ввезли на телеге сидячую статую Святой Девы горы Кармел, облаченную в голубую мантию — большая серебряная корона на ее голове качалась оттого, что статуя вздрагивала при каждом повороте колес. Площадь пришла в движение: все, кто сидел за столиками кафе, вскочили на ноги — и многие вставали на колени, когда повозка проезжала мимо.

Я последовал за процессией с Пласа Майор на темные улицы Саламанки. Иногда я шел рядом со статуей Мадонны, которая, казалось, кивала и улыбалась в свете свечей. Иногда я опережал ее, чтобы снова увидеть какое-нибудь маленькое лицо, привлекавшее мое внимание. Это была ежегодная процессия, проходящая во многих католических странах, но здесь ее проводили с тем испанским чувством стиля, которое так меня восхищает. Девочки, которым позволили надеть платья первого причастия, держали себя — даже самые младшие — как гордые юные королевы, и среди них взгляд иногда упирался в чьего-то братца, нарядного, словно маленький адмирал.

Одна мысль приводит другую, и моя память вернулась к горе Кармел на плоскогорье близ Хайфы, к монастырю, так похожему на крепость со своими толстыми стенами и зарешеченными окнами, к жизни монахов, с которыми я однажды провел некоторое время — и к гроту с прекрасным храмом Святой Девы Скапулярия. Я припомнил то, что давно забыл: как

однажды поехал с четырьмя кармелитами на старом «форде», чтобы отвезти почту в женский монастырь, затерянный в горах. Мы тряслись по ужасным дорогам — оторванные целлулоидные козырьки на ветровом стекле хлопали на ветру, — пока не приехали наконец в белый монастырь, стоящий среди сосен. Помню свои размышления о том, как интересно наблюдать за встречами монахов и монахинь: монахи сели, чопорно вытянувшись, на кухонные стулья и отпускали шуточки, и даже самая неудачная из них с радостью принималась монахинями, суетившимися вокруг, совавшими нам маленькие пирожные и подававшими блюда варенья из розовых лепестков, сиявшими улыбками и задававшими сотни вопросов...

Повозка Святой Девы горы Кармел остановилась на вершине крутого холма, и я увидел внизу петляющую змейку огней, медленно спускающуюся и поворачивающую к кармелитской церкви, полной света и людей, желавших поприветствовать Богородицу после ее странствия. Распахнули обе западные двери, статую ловко внесли внутрь — верхушка ее серебряной короны почти коснулась арки — и пронесли в свете свечей к алтарю.

Я решил, что более красивого знакомства с Саламанкой быть не может.

§ 6

Этот прекрасный золотой город — одна из жемчужин Испании. Здесь путешественник снова понимает, в сотый раз, что испанцы — величайшие архитекторы и строители со времен Рима. В Саламанке нет ни одного здания, любого возраста, на которое не стоило бы полюбоваться. Здешняя Пласа Майор восемнадцатого века — потомок Пласы Майор

семнадцатого века в Мадриде, но она не утратила былого величия, как ее предшественница. Я не могу представить более красивый и изящный памятник восемнадцатому веку в Европе: здесь этот век предстает взору не в тоге, как в Бате, но в атласном камзоле и с табакеркой из боливийского серебра в руке.

В свежести утра я шел по римскому мосту к месту напротив Саламанки, где женщины всегда стоят на коленях в поклонении богу чистоты, пока стирают белье в реке Тормес. Солнце поднималось над сказочным городом, касаясь башен двух соборов, стоящих бок о бок, и проникая лучами в старинные улочки, где университет, церкви, мужские и женские монастыри и дворцы слагают камни цвета Парфенона. Дождь веков не смыл с этих золотых стен творения студентов средних веков, которые после получения степени брали лестницы и писали свои имена красной охрой на стенах домов.

Потом я вернулся в Саламанку и отправился на утренние рынки посмотреть на разгрузку машин с рыбой, прибывающих с побережья. Я зашел на первую мессу в маленькую церковку двенадцатого века, посвященную святому Мартину, над дверями которой красуется готическая скульптурная группа, изображающая, как святой делится своим плащом с нищим. На обратном пути в отель на завтрак я наткнулся в боковой улочке на камнереза, восседавшего на желтом каменном блоке с резцом и деревянным молотком в руках. Он ремонтировал одно из старых зданий, и, глядя на него, я восхищенно размышлял о врожденном, наследственном мастерстве, направляющем его резец. Заметив мой интерес, старик слез с камня и в пять минут выдал мне секрет платересковых^[147] и чурригересковых^[148] украшений, обычных для этой части Испании. Сколь часто я замирал

перед воротами или фасадом, покрытым тысячей причудливых фигур такими как *Escuelas Mayores*^[149] в Саламанке и *Colegio de San Gregorio*^[150] в Вальядолиде — поражаясь, как художнику удалась такая филигранная вышивка по камню. Ответ прост — вода! Старик показал мне блок сухого камня, твердый, как сталь — и тот же самый камень, но пропитанный водой: он режется легко, словно сыр.

Час или два спустя, прогуливаясь по Пласа Майор, чьи кафе выглядели необычно заполненными для этого времени суток, я услышал, как кто-то зовет меня по имени, и увидел аристократическую фигуру, отделившуюся от группы мужчин и идущую ко мне с изъявлениями радости и удовольствия. Меня приветствовал один из эль-грековских вельмож: это был дон Мариано, мой друг из Мадрида.

— Мой дорогой, — воскликнул он, — это великолепно! Ты прибыл как раз в нужный момент. Если бы я только знал, где ты, я послал бы тебе приглашение и попросил приехать сюда. Мы проводим ежегодный Поэтический конгресс. Пойдем, познакомишься с поэтами!

Поэтический конгресс! Что за странная идея! Большинство поэтов, которых знал я, были одиночками, не отличавшимися духом общности. Мне не удалось припомнить ни одного, кого можно было бы уговорить посетить конгресс — и меньше всего конгресс других поэтов! Очевидно, испанские поэты более общительны и дружелюбны. Пока дон Мариано вел меня к поэтам, я думал, что во всем этом есть нечто опереточное: хор поэтов в Саламанке, которая сама — поэма, высеченная в золотом камне на фоне кастильских небес. Я был представлен нескольким молодым людям и паре мужчин среднего возраста — и поскольку они все выглядели весьма жизнерадостными и состоятельными,

я решил, что у них наверняка имеются другие источники дохода. Они съехались с разных концов Испании. Один, выдающийся итальянский поэт, синьор Унгаретти, приехал из Италии; известный каталонский поэт Карлес Рибра прибыл из Барселоны; и едва мы заняли свои места, как прибежал секретарь конгресса, размахивая телеграммой от Роя Кэмпбелла, гласившей, что он в пути. Все заплодировали.

— Расскажи мне, в чем тут дело, Мариано, — попросил я.

— Конгресс поэтов в Сеговии, — ответил он, — имел такой успех в прошлом году, что мы решили провести свой. Идея его наполовину политическая. — Тут он принял мудрый дипломатический вид. — Мы свели вместе кастильскую и каталонскую группы. И, скажу тебе, это прекрасно сработало. Они здорово подружились.

— А что, не должны были? — спросил я.

Он с сожалением посмотрел на меня.

— Но это же Каталония и Кастилия! — сказал он. — Недоверие из-за недостаточности личных контактов с обеих сторон. Конгресс творит чудеса. Они прекрасно ладят.

Регионы Испании! Как Фердинанд и Изабелла вообще их объединили? Я посмотрел на поэтов, представляя их не испанцами, но галисийцами, басками, кастильцами, каталонцами и андалусийцами — какими, очевидно, они считали себя сами. Вне всяких сомнений, они прекрасно ладили: все перекрикивались на пределе голоса. Кастильский, как и его предок латынь, — прекрасный язык для крика и риторики. Один молодой человек открыл свой портфель и вытащил бумажное доказательство в виде интеллектуального ежеквартального журнала.

— *A señorita?* — прошептал я. — Она тоже?..

Мариано шепнул в ответ, что она *poetisa*^[151].

Потом пришел секретарь и сообщил, что мы опаздываем на прием во дворце и нужно поторопиться. Он пережил несколько ужасных минут, сгоняя в кружок молодых поэтов, которые провели всю ночь в беседах и теперь разбрелись по Саламанке гасить похмелье. Некоторые, лихорадочно возбужденные и красноглазые, явно были готовы написать оду чему угодно.

Мы двинулись через площадь, то и дело останавливаясь поговорить маленькими группками, ибо мало кто из испанцев умеет ходить и говорить одновременно, и пришли наконец на крутую улочку, ведущую к роскошному дворцу, который архиепископ Фонсека построил около 1500 года. Ступени вели в большой ренессансный зал, параллельный улице, где официанты в парадном облачении стояли позади накрытого а-ля фуршет стола. Здесь нас приветствовали мэр Саламанки и ректор университета, а затем передали нас толпе профессоров и советников с женами. Были речи, фотографии со вспышкой и коктейльная вечеринка, которая могла бы происходить в Лондоне или Нью-Йорке. Я оказался втиснутым в угол бойкой маленькой женщиной, убежденной, что я итальянский поэт, а я счел меньшим злом позволить ей верить этому; на самом деле, думаю, это хорошее правило: никому не возражать на вечеринке с коктейлями.

Даже сквозь беседу сотни испанских поэтов я слышал звук барабана и волынки во двореке внизу. Протиснувшись сквозь толпу, я выглянул из галереи во дворик, где увидел очаровательное зрелище: четырнадцать танцоров, восемь женщин и шесть мужчин, одетых в великолепные традиционные костюмы Саламанки. Женщины были в черных платьях, густо, словно куртка *espada*, усеянных вышитыми

цветами, гвоздиками и розами, которые выступали на четверть дюйма от фона, почти как настоящие цветы. У одних танцовщиц были синие, у других розовые, а у третьих красные вставки на юбках спереди, и когда они кружились, сверкали алые нижние юбки. На всех красовались мантильи из белых кружев, а вокруг шеи — обручи из крупных золотых бусин размером с бараний горох, а невероятных размеров ожерелья из тех же бусин спадали петлями почти до талии. Мужчины были коренастые, в черных бархатных куртках до пояса и почти облегающих штанах, оканчивающихся черными петлями, которые надевались на туфли — как у епископа. Также они носили черные шелковые кушаки и черные шляпы с широкими полями и маленькими коническими тульями. Лидером группы оказался чудесный старик с брюшком, который прекрасно выглядел в своем костюме и был, сказали мне, деревенским портным и известным танцором. Он держал барабан и волынку, а мужчина помладше — майский шест.

Когда поэты собрались на балконах или расселись на дворцовых ступеньках, танцоры заняли позицию в центре двора. Сначала они представили кадрили: мужчины и женщины лицом к липу, а вместо кастаньет использовали *tapaderos*, маленькие цимбалы с ручками. Пока они танцевали, старик стоял поодаль, бил в барабан и играл на волынке. Потом, передав инструменты другому, он внезапно выскочил с удивительной ловкостью в центр, а одна из красивейших девушек встала с ним лицом к лицу. Они танцевали историю о мужчине, достоинства которого насмешливо отвергаются женщиной; потом он выходит из себя, смешивает ее, и наконец подходит к ней с подарком, и тогда она сдается и покоряется. Старик был великолепен. Он скакал, словно древний петушок, выпятив грудь, топтал в ярости, его обтянутые черным

ноги работали, как поршни, и когда танец закончился, мы наградили его градом аплодисментов. Потом танцоры вынесли майский шест и исполнили вокруг него танец, точно такой же, как в Англии. Все, мужчины и женщины, кружились, держась за желтые и красные ленты, пока шест не был аккуратно ими обмотан.

Две американки с камерами, которые заглядывали в патио сквозь железные ворота, вошли и спросили меня по-испански, можно ли им пофотографировать. Я отослал их по-английски к секретарю, а они поблагодарили меня и похвалили мой акцент.

§ 7

Мне встретился бедный и довольно захолустный приход под названием Санто-Томас — по имени святого, которым был, как я обнаружил, не кто иной, как Томас Бекет. Маленькая романская приходская церковь со скругленными, византийского вида окнами вполне могла быть одной из массивных золотистых церквей Сирии. Ее построили в 1179 году, то есть через девять лет после убийства Томаса Бекета в Кентерберийском соборе и через пять лет после того, как Генрих II вошел туда босой в рубище кающегося грешника. Мне нравится думать, что дочь Генриха Элеонора, которая была королевой Кастилии в то время, возможно, построила эту церковь, чтобы угодить своему отцу и помочь очистить его душу.

Как-то днем мы с доном Мариано отправились искать дом, где жил в Саламанке Веллингтон, и с некоторыми затруднениями обнаружили его в редко посещаемой части города, в доме № 3 на площади Сан-Боаль. Это старый дом с деревянной галереей, окружающей дворик, и выглядит он так, словно ничего не изменилось со времен войны за Пиренейский

полуостров. В нашем воображении дворик словно помнил прибытие разгоряченных юных гусар и драгунов с депешами, лязг палашей по каменным ступеням и звон шпор; и я предположил, что некоторые из поэтов захотели бы прийти сюда и написать запоздалую хвалу человеку, который выпроводил Наполеона из Испании.

Дом Ракушек оказался для меня одной из самых запоминающихся достопримечательностей Саламанки. Стены этого старинного дворца покрыты раковинами морских гребешков, красиво вырезанных в камне и размещенных в тринадцать симметричных рядов, один над другим, на весь фасад, и таких выпуклых, что каждая ракушка отбрасывает длинную тень. Этот дом бесчисленных солнечных часов, триумфальное решение проблемы разбиения сплошной стены тенью — трудность, с которой сталкивается каждый, кто строит в солнечной стране.

Потом, в числе многих других зрелищ, я увидел старинный лекционный зал Луиса де Леона^[152] в университете, который сохранили таким, каким он был четыреста лет назад. Вы садитесь на жесткую деревянную скамью, и вам рассказывают известную историю возвращения Луиса де Леона после пяти лет заключения в тюрьмах инквизиции. Его лекционный зал был набит битком. Все гадали, что он скажет. Оглядев публику, которую не видел пять лет, он начал: «Dicebamus hesterna die...» («В прошлый раз мы остановились...»)

Я снова возвращался в мадридское пекло. Там оказалось даже жарче, чем я помнил, если такое возможно. Ничто не могло утолить моей жажды. Я пил *horchata de chufas*^[153], пробовал *helados*^[154] и заказывал *granizada*, но жажда не уходила. Люди сидели в неподвижном воздухе до рассвета, музыка *flamenco*

вопила из окон пятого этажа многоквартирного дома, и ни дуновения ветерка не прилетало со Сьерры по ночам.

Ожидая день или два рейса в Барселону, я сделал то, о чем мечтал несколько недель: снова поехал в Эскориал и остался ночевать в тамошнем отеле. Воспоминания об этом сером дворце преследовали меня. Он запал мне в душу. Чем больше я думал о нем, тем полнее уверялся, что это одно из величайших строений в Испании. Теперь я увидел разный Эскориал: в утреннем свете, в палящем зное дня и под звездами — перед ним прогуливались люди, смеясь и болтая в ночном *paseo*. Эскориал больше не отталкивал меня и не был ни жесток, ни надменен; и я понял, что это — возможно, лучшее в Испании выражение кастильского духа.

§ 8

Я летел в Барселону рядом со светловолосым юношей, который, похоже, учился английскому у Мориса Шевалье^[155]. Он был разговорчив, неуемн и трогательно юн. Он раздражал меня своим обхождением: так брат милосердия, надеющийся на вознаграждение, мог бы обращаться с почтенным инвалидом, балансирующим на краю могилы. Но когда я разъяснил, что вполне способен нести свой багаж, люблю сидеть на сквозняке и могу сам получить все, что захочу, он успокоился и стал вполне приятным мальчиком. Он оказался швейцарским студентом-медиком, и ему было восемнадцать лет. Года три назад родители взяли его на каникулы в Испанию, которая произвела на него такое впечатление, что единственной мечтой юноши стало вернуться сюда. Однако отец противился этому и не дал ему ни гроша.

Тогда юноша решил добыть необходимые деньги во время каникул и более двух лет работал в свободное время. Он продавал мороженое на улицах и работал на кухне в гостинице, разносил почту под Рождество и помогал на стоянке для автомашин — брался за все случайные работы и наконец собрал достаточно денег. Здесь юноша остановился у испанских друзей и на этом значительно сэкономил. По железным дорогам он путешествовал третьим классом, и полет в Барселону стал его единственной роскошью.

Непредсказуемость человеческого рода — одна из его величайших притягательных сил. Я бы ни за что не поверил, что в этом тощем юнце могут скрываться такой душевный порыв и энергия, и сказал, что отец должен гордиться им.

— Мой отец! — воскликнул он. — Да он даже не станет разговаривать со мной.

Я просил, что так привлекает его в Испании.

— О, все. Люди и то, как они живут, сама страна, старые города, церкви, бои быков. Это для меня новый мир. Он так отличается от Швейцарии.

— А ты католик? — спросил я.

— Нет.

— Может быть, *señorita*? — предположил я.

— Да нет, ничего подобного! — возразил он.

— Ты находишь Испанию романтической страной?

— Наоборот, она хладнокровная, деловая и реалистичная. Это-то мне и нравится.

Что ж, Испания получила истинного новообращенного. Я бы хотел поближе познакомиться с этим странным юношей, но самолет приземлился в Барселоне, и я вышел в одну из самых очаровательных Испаний. Была обычная долгая поездка из аэропорта в город, потом такси до отеля у начала *Ramblas*. Здесь мне дали номер с балконом над этой прелестной улицей. Я постоял, глядя вниз, на панораму,

становящуюся восхитительно знакомой: широкий бульвар с платанами, скамьи, газетные киоски, чистильщики обуви, постоянно движущаяся толпа, а напротив виднелся странный фонтан, который выглядел как эталон железной лампы; молодые мужчины наполняли из него кувшины и бутылки, словно из деревенского колодца. И среди многих людей под моим окном я заметил одного, пожилого чистильщика обуви, который порылся в кармане, вытащил горсть сухарей и стоял, облепленный голубями, слетевшимися к нему отовсюду. По обеим сторонам широкого бульвара отходили узкие улочки с односторонним движением, с маленькими голосистыми трамвайчиками, трезвонившими, словно злобные маленькие джаггернаути — а такси подхватывали этот звон клаксонами, будто им предлагали возможность попасть к месту назначения в рекордное время.

Моим первым впечатлением было, что жители Барселоны ходят в два раза быстрее всех прочих испанцев. Мадрид прогуливается не спеша, даже в разгар дня — Барселона идет быстро, словно куда-то торопится.

§ 9

Было удивительно обнаружить идеально сохранившийся средневековый город, запрятанный в сердце Барселоны. Никто не говорил мне об этом. Промышленный рост Барселоны в течение прошлого века был столь значителен, что чаще подчеркивается именно ее современность. Тем не менее он есть, затаившийся прямо рядом с *Ramblas*, целый средневековый город с соборами, дворцами, петляющими улочками и даже вполне работающей канализацией — почти как если бы в центре Лондона до

сих пор существовал город, знакомый Чосеру. Я могу объяснить эту необычайную сохранность, только исходя из предположения, что Барселона сочла невозможным убрать или разбить огромные черные камни, из которых сложен старый город. Сеть похожих на крепости трущоб в центре невозможно вообразить. Некоторые из улиц выглядят простыми расщелинами в каменном каньоне — трещинами, где с железной скобы свисает кривой фонарь, а две почтенные каменные стены, на которые никогда не светит солнце, смотрят друг на друга мрачными окнами и балконами. В старом городе есть много улиц, буквально плачущих по Жоржу Сименону. Все готово для его пера: зловещий вход в переулок, фигура, исчезающая за углом, граммофон, хрипло выводящий старинную мелодию, женщина, стоящая на фоне освещенного окна съемной квартиры, и несколько пьяниц, бражничающих в погребе.

Это не та средневековая Испания, которую я видел раньше. Она нисколько не напоминала ни Авилу, ни Сеговию, ни прочие рыцарские города Кастилии и еще меньше отношения имела к барочной Испании, где тают на солнце колокольни, увенчанные куполами, а курчавые фасады завершаются галереями ваз и святых — и все такое светло-коричневое и хрусткое, словно свежее печенье. Здесь же присутствовало нечто темное и довольно зловещее — примерно таким представляешь себе средневековый Париж.

Кафедральный собор в старом городе венчает широкую лестницу. Это самый темный и таинственный собор Испании. Минуту стоишь, ничего не видя; потом замечаешь свечи, горящие в боковой капелле, и витражное окно высоко в могучей стене. Первая часовня справа залита светом, и люди всегда преклоняют колени в молитве перед чудотворным Христом Лепанто. Это большое распятие, почти в натуральную величину, было, как считается, укреплено

на грот-мачте флагмана дона Хуана Австрийского. Фигура странно искривлена, и вам расскажут, что во время битвы она уклонялась от выстрелов.

Вы продолжаете идти и приходите к хорам — словно к маленькой церкви внутри церкви. Они заперты, и вы всматриваетесь в темноту, различая едва видимую резьбу, позолоту и картины. Если поблизости найдется слуга, а у вас — электрический фонарик, то можете войти внутрь и посверкать фонарем по креслам рыцарей Золотого руна, пока не придете к королевскому гербу Англии и месту, оставленному для Генриха VIII. Эти гербы были нарисованы для собрания ордена, проведенного в 1518 году молодым Карлом I Испанским, который тогда еще не был Карлом V Священной Римской империи; на самом деле весть о том, что он избран императором, пришла к нему в том же году, пока он был в Барселоне. Генрих VIII не приехал на собрание, но они с Карлом встретились позже в Англии, где к двадцатилетнему императору относились почти как к наивному и неопытному племяннику — и ни дядюшка Генрих, ни тетюшка Екатерина не догадывались, какой холодный и блестящий ум таится в этом неказистом юном Габсбурге.

На выходе из *coro* можно заметить странный предмет, висящий под органом. Да, это голова чернокожего и бородатого мавра в тюрбане. Может быть, это память о свирепом аль-Мансуре — не знаю. Говорят, до недавних пор по определенным праздникам рот мавра набивали сладостями для детей, словно он их выплевывает. Странно, что мавров увековечили в городе, который терпел их владычество меньше, чем любая другая область Испании. В то время как остальная Испания сражалась с мусульманами восемьсот лет, Барселону они оккупировали всего на восемьдесят восемь, с 713 по 801 год, а потом их

прогнали франки. Это само по себе делает Барселону — и Каталонию — отличной от прочей Испании. Барселона могла себе позволить повернуться к захваченной Испании спиной и смотреть через Средиземное море на Александрию, Геную, Пизу, Венецию и Константинополь, своих верных друзей. Бургос был более чуждым городом для Барселоны, чем любой из великих портов Средиземноморья, и она успешно простояла к Испании спиной много веков. Разногласия, которые до сих пор разделяют Каталонию и Кастилию, уходят корнями в те далекие времена.

Я зашел в великолепный клуатр, где веками держат гусей. Эти откормленные птицы, белые, как снег на древнем камне, плавают в маленьких прудах, размещенных по углам двора, или медленно ходят вразвалку, обращая задумчивый взгляд на тех, кто рискнет предложить им хлебные крошки. Я бы скорее предложил канонику Барселоны арахис, чем пытаться накормить этих священных птиц хлебом! Их называют «капитолийскими гусями», никто не смог сказать мне, почему — или хотя бы объяснить происхождение этого обычая. Возможно, их далекими предками были римские гуси, которые жили на этом же самом месте, когда полное название Барселоны звучало как Колония Фавентия Юлия Августа Пиа Барсино. Здесь есть маленький гусятник, или гусиный храм, где птицы спят, а сходни оттуда ведут к воде. Голуби и белки, живущие на пальме во дворе, помогают избавляться от лишнего хлеба.

Еще одно интересное зрелище в клуатре — новая Богородица, Мадонна Света, святая покровительница электриков. Пока я наблюдал, как кладут последние штрихи на ее часовню, один из гидов, которые, словно призраки, населяют подобные места, подошел ко мне и заговорил на прекрасном английском. Это был тощий мужчина средних лет с заискивающими манерами,

которые ему шли, как плохо прикрепленная маска, готовая упасть в любой момент. Мне стало любопытно, что скрывается за ней, и я нанял его на час. Не потребовалось много времени, чтобы маска упала.

Человек оказался ярким антифранкистом, антиклерикалом — анти-всем. Он получал удовольствие, показывая мне церкви, которые были сожжены во время гражданской войны, высокомерно шагал мимо купелей для святой воды и решительно отказывался совершать хоть какие-то жесты почтения, даже перед распятием. О гусях он сказал, что их держат в церкви, потому что духовенство не может иначе завлечь в церковь детей!

— Знаете, почему церкви здесь такие темные? — спросил он. — Это потому что у священников монополия на торговлю свечами.

Этот человек считал Франко разрушителем Испании. Среди бесчисленных грехов Франко — запрещение газет на каталонском языке. Не будет ничего хорошего, пока не уйдет Франко! Я спросил, улучшит ли положение король. Гид яростно сплюнул в сточную канаву. Его ожесточение было таково, что я начал гадать, не член ли он какой-нибудь подпольной группы. Он был неприятным человеком, и я с огромным удовольствием заплатил ему за час и распрощался.

Римский слой Барселоны лежит примерно в тридцати футах под современными улицами. Когда под средневековыми зданиями проводили раскопки несколько лет назад, кому-то пришла гениальная идея сохранять находки *in situ*^[156], поддерживая здания бетонными стенами и позволив таким образом современным людям пройти по римским улицам. Я считал это одним из самых странных экспериментов Барселоны. Вы спускаетесь по лестнице и оказываетесь в пространстве, которое выглядит как пол-акра

довольно аккуратных следов бомбежки, освещенных электричеством. Деревянные мостки положены над неровной почвой, тропа ведет по переулкам, использовавшимся римскими жителями, и мимо нескольких зданий и рабочих на вид канализационных труб. Спуск в эту могилу времени и прогулка там, где люди ходили так давно, куда больше будоражили воображение, чем ряд витрин в музее.

Когда снова выходишь в современный мир, оказываешься на Пласа дель Рей — Королевской площади, — которая окружена высокими и мрачными средневековыми зданиями из черного камня. В одном углу красивая лестница поднимается к дверям величественного зала, который был вестибюлем старого дворца графов Барселонских. Я смог припомнить по меньшей мере два необычайных события, происходивших в 1479 году, когда тело Хуана II Арагонского, отца Фердинанда, выставили для торжественного прощания: придворные въехали в зал на лошадях и скакали вокруг катафалка, плача и рыдая, бросая штандарты наземь и даже выбрасываясь из седла в преувеличенной горе. Четырнадцать лет спустя, в апреле 1493 года, Фердинанд, Изабелла и их двор собрались в этом зале, чтобы услышать из уст Колумба историю открытия Нового Света. Как сказал Сальвадор Мадариага, Колумб, живи он сегодня, стал бы превосходным министром пропаганды. Его прибытие в Барселону было настолько же помпезным и зрелищным, насколько отплытие из Испании за год до того — скромным. Он прибыл из Севильи, словно владелец цирка, с так называемыми «индийцами» в кортеже — первыми уроженцами американского континента, ступившими на землю Европы, — с золотом, попугаями, деревьями и незнакомыми плодами Вест-Индий. И, говорят, вся эта экзотическая процессия, которая притягивала любопытные взгляды, где бы ни

проходила, поднялась по ступенькам в углу Пласа дель Рей и вошла под сень старинного дворца.

Какое мгновение в жизни Колумба! Многие годы он, словно призрак, болтался при дворе, отвергаемый и высмеиваемый многими как пустомеля, — а теперь вернулся с доказательством, что Новый Свет существует или, точнее (поскольку сам Колумб верил в это до самой смерти), что он нашел «черный ход» в Китай и Японию. И также он верил, что нашел золото в несметных количествах, хотя ни сном ни духом не ведал о золоте ацтеков и инков, которые ждали Кортеса и Писарро. Когда Колумб вошел в зал, Фердинанд и Изабелла поразили двор, встав, пока он целовал им руки. Потом, к удивлению и возмущению двора, они послали за тем знаком королевского благоволения, который жалуют только лицам королевской крови или величайшим людям в стране. Они велели принести табурет, чтобы Колумб мог сесть. Даже Колумб наверняка посчитал это таким же замечательным и важным событием, как открытие Нового Света. Для него действительно открылся новый свет — мир, о котором он всегда мечтал: мир славы, богатства и знатности. Когда мореплаватель закончил свой рассказ, певчие Королевской капеллы запели «Te Deum»; и тем вечером, по королевскому приказу, весь двор провожал Колумба к его жилищу. Дальнейшим доказательством величия стало приглашение на обед к кардиналу Мендосе — и в первый раз в жизни Колумба его пищу пробовали на наличие яда. Таковы мера и цена славы!

§ 10

Хотя открыватели Нового Света чуть ли не все до единого происходили из Эстремадуры, а портом, который больше всех нажил на открытии Америки,

была Севилья, Барселона воздвигла Колумбу огромный столп — он лишь на несколько футов ниже Нельсоновской колонны, хотя кажется значительно выше.

На вершине колонны — огромный золотой глобус, на котором стоит колоссальная статуя Колумба, указывающего на море. Маленький лифт из красного дерева поднимает вас внутри колонны на галерею под шаром, которая, как и все подобные места, наполняет человека острым чувством незащищенности. И действительно, кажется, что в любой момент колонна может медленно наклониться и растянуться на земле во всю длину. Я вышел наружу и обнаружил — такие причудливые совпадения иногда случаются в путешествии, — что делю верхушку Колумбова монумента с японцем.

Вид потрясающий в обе стороны. Вы видите Барселону, протянувшуюся до холмов, где стоит гора Тибидабо, а также черный шпиль и странные башни собора, поднимающиеся в центре старого города. Прямо внизу — одна из самых любопытных древностей Барселоны, которая выглядит как ряд чрезвычайно длинных дворов, расположенных бок о бок. Это старинные верфи и сухие доки, где строились и куда отгонялись флоты Барселоны с четырнадцатого по восемнадцатый века. Их великолепно отреставрировали и вычистили, и теперь там морской музей, иллюстрирующий великую историю испанского владычества над морями. Залы полны ростров, всевозможных моделей, картин, карт и морских реликвий. Я заинтересовался сундуками, расписанными испанскими моряками в дни плаваний, когда, вероятно, у них была куча времени, чтобы покрывать эти сундуки чрезвычайно оригинальными масляными рисунками; и почти все, что любопытно, иллюстрировали одну и ту же тему — старую морскую байку об опасностях песен

сирен! Некоторые картины мог бы нарисовать святой Антоний.

С другой стороны колонны видишь берег моря и полномасштабную модель, пришвартованную рядом с учебным кораблем — «Санта-Мария», флагман Колумба. Эта изящная маленькая каравелла, кажущаяся карликом на фоне окружения, была построена по точным чертежам для Всемирной выставки 1929 года. Она, очевидно, годна для мореплавания, поскольку со времени постройки находится на воде. За несколько песет посетители могут подняться на борт, все осмотреть и восхититься, как кто-то смог пересечь Атлантику на такой скорлупке: всего-то сто двадцать футов в длину, двадцать пять в ширину и примерно в сотню тонн грузоподъемностью. Но по-настоящему замечательно то, что люди, которые провели этот кораблик через Атлантику, сделали это, несмотря на опасения, что они могут свалиться с края мира или попасть в иную столь же ужасную катастрофу. Для нас почти невозможно вообразить страхи, царившие на нижней палубе, и забавно читать в «Дневнике», как Колумб тайно укорачивал лаг, записывая меньше, чем корабль покрывал в день, чтобы длина путешествия не вызвала паники у команды.

Другая прекрасная модель «Санта-Марии» была построена в Испании для Чикагской выставки 1893 года, и этот кораблик действительно провела через Атлантику под парусом испанская команда, следуя тем же курсом, что и Колумб в первом путешествии. Переход занял тридцать шесть дней (у Колумба — семьдесят), максимальная скорость составила шесть с половиной узлов. Корабль, говорят, был отвратительно просмолен. Оригинальная же «Санта-Мария» никогда не возвращалась в Испанию. В полночь под Рождество 1492 года, пока Колумб и остальные спали, штурман, вопреки приказу и правилам, передал штурвал

мальчишке, и корабль отнесло сильным течением и прибило к острову Гаити. Из его дерева Колумб построил форт.

Лифт вернулся с несколькими солдатами и *señoritas*, и мы с японцем спустились на землю.

Я нашел себе стул на *Ramblas* и стал наблюдать за каталонцами, зачарованный их внешним отличием от других испанцев. Женщины не обладали превосходной осанкой мадридских дам: они ходили не так, словно несли на головах невидимые кувшины, но будто опаздывали на свидание. Здесь по-другому одевают детей, скорее как современных французских детей. Барселона сходит с ума по домашним животным. В палатках под платанами можно купить мармозетку или черепаху, котенка, золотую рыбку. Здесь любят цветы. Лотки на *Rambla de las Flores* роскошно отражают смену сезонов, а под белыми, красными и голубыми зонтиками от солнца, где импрессионист Рамон Касас нашел любимую модель, которая стала его женой, стоят цветочницы, готовые продать охапку роз. Одна из печальных черт Лондона в наше время — что мы позволили выгнать цветочниц с Пикадилли-серкус из-за какого-то гнусного указа, и мое сердце потеплело к каталонцам, которые гордо отдали часть своей главной улицы цветам. Полагаю, если бы какой-нибудь жалкий чиновник попытался запретить эти палатки, каталонцы прогнали бы его пинками по всему городу, как нам следовало бы проучить тех, кто одним оттиском печати изгнал маленький кусочек красоты из Лондона.

Означают ли все эти цветы, черепахи, золотые рыбки и дети, что домашняя жизнь каталонцев отличается от других районов Испании — возможно, менее скрытная и восточная, чем та, что знакома нам по северу Пиренеев? Как может иностранец судить о подобных вещах? Он может только строить

предположения. Но я не удивлюсь, если узнаю, что века пребывания между Средиземноморским миром и Парижем сделали жителей Барселоны наибольшими космополитами из всех испанцев.

Чудесное занятие: наблюдать жизнь города, который торговал с Тиром и Сидоном во времена, когда разливы Темзы доходили до пустующего Ладгейт-Хилл. Все испанские толпы создают впечатление смешанного происхождения, и здесь отличий никаких. Думаю, в этих активных, деятельных, бодрых людях наверняка есть финикийская и карфагенская жилка. В Барселоне бывают мгновения, когда можно поверить, что ты в Марселе, только сам город неизмеримо более привлекателен; полагаю, это самый красивый и приятный современный промышленный город, какой я видел.

Нет необходимости говорить на каталанском или кастильском или прожить здесь долгое время, чтобы почувствовать жизненную силу Каталонии. Это неотъемлемая, корневая энергия, которую не смогли уничтожить никакие бедствия. Захват Константинополя и превращение Средиземного моря в мусульманское наверняка были жесточайшим ударом, но Барселона его пережила. Открытие Америки, сосредоточение всего испанского в Мадриде, должно быть, тоже нанесли урон, случались и другие беды; и все же она вынесла все. Барселона всегда была очагом инициативы и авантюры. Что могло быть более необычным, чем банда каталонцев в четырнадцатом веке, которая шесть лет бросала вызов Византийской империи, встала лагерем в Галлиполи и закончила постройкой укреплений вокруг акрополя?

Среди моих счастливейших воспоминаний об Испании будет Барселона и *Ramblas* летним вечером. Чуть вниз от цветочных палаток находится один из тех прелестных испанских рынков, где рыба и фрукты

соперничают друг с другом по цвету. Я никогда не уставал бродить по ним, иногда покупал пакет персиков или груш, восхищался любезными манерами рыночных продавцов и их чувством красоты — красоты обычных вещей, как я уже писал о рынке в Мадриде. Здесь невозможно сказать, что ярче и красивее: рыба или фрукты, смотревшие друг на друга через проходы. Рынок занимал центр площади и совершенно ее скрывал. Но, обойдя его сзади, вы видели спрятавшуюся группу величественных домов, построенных более века назад Франсиско Даниэлем Молиной, который был так очарован Риджентс-парком и нэшевской Пикадилли-серкус, что построил маленькую площадь эпохи Регентства в Барселоне.

С наступлением темноты иностранцы в Барселоне начинают слоняться у газетных киосков на *Ramblas* в ожидании газет, прибывших с самолетом. Иноязычное население, должно быть, велико, потому что здесь можно купить английские, американские, французские, немецкие, итальянские, швейцарские и другие газеты. Когда я впервые попросил «Таймс», человек, работавший в киоске, озадаченно улыбнулся и покачал головой. Он никогда о такой газете не слышал. Когда я указал на экземпляр в стопке, его лицо расцвело сияющей улыбкой. Ах, «El Teemis»! После этого я знал, что просить, и проблем больше не возникало.

§ 11

Святой Георгий — покровитель Англии, Португалии, Арагона и, в Греции, патрон умалишенных. Я знаю греческие церкви в Леванте, где все еще приковывают по ночам сумасшедших, веря, что святой Георгий исцелит их во сне. Святой Георгий, известный арагонцам и каталонцам, — это привычный нам

победитель драконов. В истории Арагона он появляется довольно рано, вдохновляя христианские армии против неверных, как святой Иаков вдохновлял армии Кастилии. Самое великолепное здание в Барселоне полно статуй святого Георгия. На ваших глазах он убивает драконов огромных и свирепых и драконов более мелких пород; в одном случае, пеший и в полном доспехе — все литого серебра, — он вонзает копье в очаровательного дракончика размером едва ли больше терьера. Это замечательное здание — дворец *Diputacion Provincial*, где совет провинции заседает в средневековой пышности.

Величественная лестница ведет в готическую колоннаду и что-то вроде средневекового сада на крыше, где растут апельсиновые деревья, в маленьких квадратах травы, вставленных в облицовку пола. И здесь стоит самый восхитительный святой Георгий из всех. Он невелик и гарцует на вершине фонтана. Дракон под копытами его коня поднимает голову, и из разверстой пасти выстреливает тонкая струйка воды, которая загибается вверх и разбивается о ноги святого.

Испанский дворец дождей дает некоторое представление о блеске и богатстве средневековой Барселоны. Есть некий тяжеловесный и роскошный викторианский комфорт в комнатах этого дворца — пышности здесь, пожалуй, даже многовато. Зал совета похож на массивную шкатулку для драгоценностей с крышкой из позолоченного и отделанного дерева и боковинами из бледных и прекрасных фламандских гобеленов. В одном конце зала стоит трон, окаймленный двумя рядами тяжелых стульев, словно хоры церкви. Здесь также есть великолепный холл и красивая церковь; но трудно долго созерцать абсолютное величие, так что я с радостью вышел к солнцу и апельсиновым деревьям и любовался, как дракон плюется водой в святого Георгия.

Как-то воскресным вечером я возвращался из района доков, куда ходил, чтобы отыскать ресторанчик, который мне рекомендовали из-за его превосходной *zarzuela* из моллюсков. Слово «*zarzuela*» означает оперетту или представление варьете, а *zarzuela de mariscos* — это блюдо, состоящее из всех моллюсков сезона, обжаренных и подаваемых в густом соусе. Она сильно разнится от места к месту и, естественно, от месяца к месяцу. Наверняка совершенства она достигает к ноябрю.

Возвращаясь на *Ramblas*, я подумал, что стоит на пару минут заглянуть в собор, и, свернув в хитросплетение боковых улочек, подошел к Пласа де Сан-Хайме. Я услышал духовой оркестр, играющий жизнерадостную мелодию, и с удивлением увидел, что пласа полна танцующих людей. Здесь были, наверное, тысяча человек, а может больше. Они танцевали, держась за руки в кругу, мужчины и женщины попеременно, одни круги большие, другие маленькие. На первый взгляд сцена походила на какое-то из творений Ханса Андерсена и напомнила мне о странной танцевальной мании, которая охватывала целые городки в средние века; но когда я присмотрелся получше, то в картине не оказалось ничего ненормального — ни чар, ни безумия. Просто обычные жители Барселоны в воскресных нарядах пришли потанцевать под зажигательную музыку оркестра, угнездившегося на помосте в углу площади. Это была знаменитая *сардана*, самый популярный из всех каталонских танцев.

Лучшими танцорами и теми, кто, видимо, все это устраивал, была группа молодых мужчин и женщин, чье мастерство и работа ног предполагали, что они принадлежат к какому-то фольклорному обществу — и это оказалось правдой. Но поскольку каждый каталонец знаком с этим танцем, к ним очень быстро

присоединились другие. Люди, случайно проходившие мимо, втягивались в танец. Танцующих прибывало, они либо присоединялись к уже существующим кругам, либо образовывали новый. Я видел, как мать с сыном, мальчиком лет четырнадцати, начали танцевать, взявшись за руки. Через пару минут к ним присоединились еще двое — и так далее, пока в их круге не собралось по меньшей мере двадцать человек. Меня позабавило, как одна женщина поставила сумку на мостовую в центре круга, положила сверху перчатки и присоединилась к танцу. Не нарушалось только правило разделения полов — у женщины по обеим сторонам должны стоять мужчины.

Танец прост и изящен и, как большинство проявлений испанского духа, формален и имеет строгие правила. Он напомнил мне греческий танец, который я видел много лет назад на острове Фасос: ряды девушек, положив руки на плечи друг другу, танцевали сначала вправо, потом влево, как и в сардане.

Внезапное усиление в музыке обозначает конец танца, и группы отдыхают и ждут следующей мелодии. Существуют сотни разных мелодий, и каждый день сочиняются новые. Я бы посоветовал любому, кто посетит Барселону, купить граммофонную запись «Angelina», «Cobla Emporium», «Al Quines Noies», «La Font de l'Albera» или «La Noir Alegre Que No Sap Plorar» — все это красивые мелодии для сарданы. В этой музыке сильны отголоски деревенской волынки и деревянных духовых.

Когда оркестр решает, что танцоры уже достаточно отдохнули, звучит предупредительная нота на *flabiol*^[157], и танец начинается снова. Танцоры встают лицом к центру круга, взявшись за руки, а потом, когда вступает музыка, делают короткие шаги, называемые *curts*, вбок и назад, потом длинные шаги, называемые

llargs; на *curts* руки держат внизу, а на *llargs* поднимают на уровень плеч. С последней нотой танцоры внезапно выбрасывают руки к центру круга, смыкая их в жесте благодарности и дружбы.

Очаровательная особенность сарданы в том, что каждого незнакомца побуждают улыбками и кивками присоединяться. Я видел, как это сделала юная американская парочка — к восторгу танцующих. Любой, кто видел сардану, согласится, что достоинство и удовольствие, с какими тысячи людей танцуют в Барселоне каждое воскресенье, — одно из самых восхитительных воспоминаний об Испании. Как и многое здесь, этот танец будто бы случается сам собой. Вы можете наводить справки о нем, и никто ничего не будет знать — а потом, по чистой случайности, как вышло со мной, вы наткнетесь на него.

Я унес с собой незабываемую картину благородства и изящества на величественном фоне дворцов, веселой музыки, в которой деревенская волынка резвилась, словно юный фавн, и воспоминание о старом фонарщике, который прошел мимо кругов танцующих, неся на плече длинный шест и зажигая фонари.

Моя келья в монастыре Монтсеррат была маленькой, белой и опрятной. В ней имелись только солдатская кровать, умывальник, стул и небольшой стол. В комнате по другую сторону коридора жила юная парочка, проводившая медовый месяц в чудесном порыве любви. Они бродили везде, держась за руки, звали друг друга взволнованно, словно птички, если ненадолго разлучались, и обнявшись высовывались из окон. Насколько это по-испански: привезти свою любовь к Мадонне Монтсеррат — «розе апреля, черной Деве горы».

Этот монастырь находится милях в тридцати от Барселоны, высоко на горе, посреди дикого и

невероятного ландшафта. Горы формировались долгими веками эрозии: слои мягкого камня исчезли, оставив скалы твердых пород торчать диковинными конусами и башнями — пейзаж, словно упавший с луны. Такие сверхъестественные места, на вид никак не связанные с окружающим ландшафтом, но словно ведущие отдельное существование, всегда были магнитом для отшельников. Высочайшие пики Монтсеррат усеяны пещерами отшельников, живших здесь давным-давно. Средневековые германские легенды помещали в этих горах замок священного Грааля; именно эти легенды вдохновляли Вагнера, когда он писал «Парцифалья».

Для Испании гора Монтсеррат священна на протяжении уже одиннадцати веков, как и храм Черной Мадонны, которая является святой покровительницей Каталонии. Бенедиктинский монастырь, в котором хранят ее образ, стоит на уступе в трех тысячах футов над уровнем моря и со всех сторон окружен зубчатыми вершинами Монтсеррата — *Mons Serratus*, — вздымающимися еще на тысячу футов. Когда приезжаешь в монастырь, он кажется довольно большим: но если смотреть с далекой равнины, его трудно найти, он выглядит маленьким, словно ласточкино гнездо, ненадежно прилепившееся к выемке громадного утеса.

Зато довольно большая деревня сгрудилась возле базилики Черной Мадонны. В ней есть собственное почтовое отделение, отель и магазины, где можно купить еду, фотопленку и свечи. Там и сям под странными углами, из-за необычного рельефа, разбросаны гостиницы, которые могут принять две тысячи паломников. Вы можете остаться здесь на три дня без вопросов и на более долгий срок с разрешения настоятеля; а когда будете уезжать, здесь ожидают, что вы оставите, сколько можете себе позволить; но

никто не будет требовать от вас заплатить определенную сумму.

В храм каждый паломник приносит с собой проблемы из того мира, что лежит внизу. Одних пилигримов можно увидеть на коленях в церкви, других встретить на прогулках по горным тропам — возможно, они исследуют свое сознание; но особое счастливое ощущение придают Монтсеррату, как мне показалось, юные молодожены, которые приезжают просить Святую Деву благословить их союз. Вы видите их после мессы утром, идущих вдвоем, смеющихся и распевающих песни, словно в целом мире не существует таких бед, как печаль или ответственность, и желаете, чтобы такое состояние счастья смогло продлиться всю жизнь.

Черная Мадонна темна от времени и свечного дыма веков. Как многие иконы и статуи, она считается творением святого Луки, и снова удивляешься, как, по легенде, у него нашлось время, чтобы написать «Деяния апостолов» и также быть скульптором, да еще и врачом. Возможно, это просто способ утвердить ее древность. Жаль, что благочестие иногда ведет к беспечной небрежности, как в маленьком путеводителе, продаваемом в монастыре и превосходном с других точек зрения. В нем утверждается, что «у Мадонны Монтсеррат нет ни капли сходства с другими изображениями». Но это не так. Она типична для готических мадонн Испании и очень похожа на *Santa Maria la Real* в Нахере. Ее история почти такая же, как у многих известных испанских статуй: ее спрятали монахи, когда в Испанию вторглись арабы, и через много лет после того, как место убежища позабыли, она была найдена с помощью чудесных знаков и звуков.

На протяжении всего Средневековья с каждой общественной и личной проблемой в истории Арагона и Каталонии шли в храм Богоматери. В трудный миг

Педро III Арагонский переоделся обычным паломником и просидел у ног Святой Девы целую ночь; Педро IV приехал просить у Богоматери поддержки вторжения на Майорку и одолжил одно из ее колец, которое взял с собой; добрая королева Виоланта, жена Хуана I, взошла на гору босой — поражаюсь, как она пережила подъем — и упала, изможденная, перед храмом. Когда Кастилия и Арагон объединились, Мадонну Монтсеррат стала почитать вся Испания. Карл V был одним из ее известнейших поклонников. Он посетил храм по меньшей мере девять раз и находился здесь, когда ему принесли вести о завоевании Мексики. На смертном одре Карл держал в руке свечу из храма Богородицы, и то же самое сделал его сын Филипп II. Дон Хуан Австрийский просил, чтобы его похоронили в Монтсеррат, если он никогда не сможет лежать рядом со своим отцом в Эскориале.

Но самым замечательным из всех паломников был мужчина лет тридцати, который взошел, хромя, на гору в мартовский денек 1522 года. Он был одет, как богатый дворянин, на боку его висела шпага, а за поясом прятался кинжал. Паломник оказался солдатом, а ногу ему раздробило во время осады Памплоны. Пока он лежал беспомощный, его терзала единственная мысль: как он будет выглядеть в глазах своих любовниц. Дважды он приказывал хирургам оперировать ногу: один раз сломать и вновь соединить кости, а второй — вырезать торчащий кусок кости; все муки он претерпел без обезболивания и без единого стога. Ожидая, когда срастется нога, он стал читать жития святых, и в его душе началась сложная борьба: в один миг он тосковал по своей прежней жизни, а в другой желал посвятить себя Господу. Наконец, как он говорит в своем «Жизнеописании», воспоминания о любовницах уничтожил образ Святой Девы. При первой же возможности он оседлал мула и поехал к

Монтсеррату. По пути он наткнулся на мавра, и беседа свернула на Непорочное зачатие. Мавр насмеялся над этой доктриной, и солдат решил, что долг христианского рыцаря велит его убить. Однако он решил предоставить выбор судьбе. Когда они подошли к перекрестку, воин позволил мулу выбирать путь: если он пойдет по той же дороге, что и мавр, мавр должен умереть; если нет — будет решено иначе. Мул выбрал другую дорогу, и мавр уехал невредимым.

Когда солдат добрался до Монтсеррата и принес обеты Святой Деве, он положил свои шпагу и кинжал на алтарь и всю ночь смотрел на них, словно рыцарь прежних времен, посвящая себя навсегда в Христовы воины. Это был конец его прежней жизни. Он раздал все свои одежды и, облачившись в потрепанное одеяние из грубой ткани, похромал по длинной дороге к городу Манреса, дремавшему в знойной дымке далеко на равнине. Здесь он поселился в келье и начал наказывать и дисциплинировать свою плоть. Он морил себя голодом, бичевал себя, унижался и просил милостыню на улицах. Его аскезу больно даже представлять. Дважды он чуть не умер. Таким было начало новой жизни святого Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса.

Слава Монтсеррата велика, но так же велики его бедствия. Во времена наполеоновских войн французы разграбили монастырь и увезли накопленное великолепие веков; во время Карлистской войны он был закрыт, а в гражданскую понес серьезный ущерб. Но об этом ни за что не догадаешься. Никто не упоминает о невзгодах в Монтсеррате. Монахи всегда возвращались, своей отвагой и трудолюбием исправляя повреждения и исцеляя шрамы.

Будучи там, я бродил по горам и иногда целыми днями не заговаривал ни с одной живой душой. В Монтсеррате человека оставляют в абсолютном и

чудесном одиночестве. Я был благодарен за то, что увидел в Испании, и узнал много такого, чего не знал раньше. Я думал о достоинстве Испании. Это чувство основано на ощущении тайны жизни и на вере, что человек создан по образу и подобию Бога. Бесценно и благородно в Испании то неуловимое, что было спасено из старого мира. «Я чувствую, моя душа средневекова, — сказал Мигель де Унамуно, — и душа моей страны тоже средневекова: я чувствую, что она вынужденно прошла через Ренессанс и Реформацию, революцию, учась у них, но никогда не позволяя своей душе быть затронутой ими. Испанское донкихотство — не что иное, как отчаянная борьба средних веков и Возрождения».

Самый прекрасный миг в Монтсеррате — время вечерни. Статуя Богоматери, лучащаяся светом над алтарем, заливает сиянием темную маленькую церковь. Хористы из музыкальной школы, существующей со средних веков, просачиваются в ризницу, пряча руки под стихарями. Алтарь освещен, и между подсвечниками стоят охапки розовых гладиолусов. Хор поет самую красивую из всех католических молитв, «*Salve Regina*». Когда я слышу ее, то вспоминаю, что в прежние дни у всех моряков Испании был обычай собираться во время плавания на закате и петь эту молитву. Колумб рассказал нам, как «*Salve Regina*» пели каждый вечер по дороге в Америку. Именно после пения этой молитвы, когда солнце садилось и на кораблях зажигались фонари, Колумб заговорил с командой и рассказал им о Божьей милости, подавшей им знак приближающейся земли: они подобрали палки и обломки дерева в море, — и велел хорошо нести вахту сегодня.

Когда «*Salve Regina*» заканчивается, хор запекает «*Violai*», которым заканчивается каждый день. Это каталонский гимн, написанный монахом из Монтсеррата

в честь Святой Девы. Юные голоса светло взлетают под своды тихой церкви:

«Rosa d'abril, Morena de la serra,
De Montserrat estel;
Illuminau la catalana terra,
Guaiu-nos cap al cel...»[\[158\]](#)

Снаружи на равнине лежит тьма, но высокие пики гор все еще розовеют. Свет медленно гаснет, зажигается первая звезда. Я выхожу в сумрак, размышляя, что есть еще в мире такие уголки, где ненависти — чудовищному греху и несчастью нашего времени — не найдется места.

Благодарности

Приношу благодарность за огромную практическую помощь Его превосходительству Мариано де Урсаис-и-Сильве, герцогу де Луна, генеральному директору Туристического бюро Испании, и генеральному секретарю этой организации, почтенному Габриэлю Гарсия-Лойгорри. Также хочу поблагодарить дона Аурелио Валью и дона Мануэля де Брандика-и-Уагона из министерства иностранных дел; его преподобие монсеньора Эдвина Хенсона из Английского колледжа в Вальядолиде; дона Эваристо Рон Виласа, консула Испании в Кейптауне; мистера Дугласа Янга из Сомерсет-Уэста, Капская провинция, бывшего консула Великобритании в Малаге.

Г. В. М.

Фотографии



Мадрид: памятник М. Сервантесу и его знаменитым героям на площади Испании



Мадрид: королевский дворец



Мадрид: арена для боя быков



Мадрид: памятник символу города — земляничному дереву (мадроньо)



Эскориал: главное здание и сады



Авила: крепостные стены



Толедо: вид на старый город и алькасар



Толедо: кафедральный собор



Толедо: вид на мост и церковь Святого Хуана де ла Крус



Вальядолид: главная площадь — Пласа Майор



Саламанка: университет и памятник Луису де Леону



Саламанка: главные ворота университета



Саламанка: стена знаменитого Дома Ракушек



Кордова: развалины крепостной стены и памятник Сенеке



Кордова: интерьер Мескиты — собора, построенного над мечетью



Кордова: колокольня собора



Кордова: улица Цветов — Кайе де лас Флорес



Севилья: собор с колокольней Хиральда



Севилья: гробница Колумба в соборе



Гранада: вид на Альгамбру и сады Хенералифе



Гранада: знаменитый Львиный дворик Альгамбры



Гранада: внутри Альгамбры



Тобосо: приходская церковь



«Модернистский уголок» в парке «Каталония в миниатюре»



Барселона: дом Каса Мила, или Ла Педрера



Барселона: дом Эль Батльо



Барселона: памятник Х. Колумбу



Барселона: вход в парк Гюэль



Макет завершенного собора Святого Семейства в парке «Каталония в миниатюре»



Монастырь Монтсеррат на фоне горного массива

notes

Примечания

1

Благороден сложением (*исп.*).

2

Квадрилья, куадрилья — группа участников корриды под началом матадора (*исп.*).

Надувная спасательная куртка летчика, создающая впечатление большой груди, как у кинозвезды Мэй Уэст.

Легенда из семейной истории английской королевы-матери — Елизаветы Бауэ-Лион, дочери лорда и леди Глэмис. По легенде, в 1821 г. у лорда и леди Глэмис родился уродливый первенец — Томас Глэмис — и его всю жизнь продержали взаперти в тайных комнатах семейного замка.

5

Острота ($\phi p.$).

6

Помойная яма (*исп.*).

Закуски (*исп.*).

Парагвайские, парагвайцы (*исп.*).

Махо, маха — красавчик, красотка (*исп.*).

Историческое: боевой конь (*фр.*).

Головорезы (*исп.*).

12

Букв.: соус (исп.).

Джон Джоррокс — персонаж произведений художника и писателя Р. С. Сертиза, азартный спортсмен и остроумец.

Королевская академия художеств (*исп.*).

15

Он прекрасен! (*фр.*)

Боже, как он красив! (*фр.*)

Пикник (*фр.*).

18

Очень шумно (*исп.*).

Крестьянская избушка (*исп.*).

Олья — блюдо из мяса и овощей (*исп.*).

Испанский квартал (*фр.*).

Эннен (*фр.*) — очень (зачастую чрезмерно) высокий головной убор с длинной, иногда до пола, прозрачной вуалью; вуаль могла закрывать и лицо. Каркас делался из накрахмаленного полотна или твердой бумаги, обтягивался шелком или другими дорогими тканями. Волосы, выбивавшиеся из-под эннена, выбривали, оставляя лишь маленький треугольник на лбу. Введен Изабеллой Баварской в 1395 году; видоизменяясь, просуществовал почти столетие.

Креветка (*исп.*).

Сардина (исп.).

25

Человек, мужчина (*исп.*).

Императорский вальс (*исп.*).

Удача, везение (*исп.*).

Лавки, кафе и туалеты (*исп.*).

Патио, внутренний дворик (*исп.*).

Имплювий (от лат. *impluvium* — водосток), четырехугольный неглубокий бассейн в центре внутреннего двора в древнеиталийском и древнеримском жилище. В имплювий через прямоугольное отверстие в крыше (комплювий) стекала с крыши дождевая вода.

Пеплум (*лат.*) — женская верхняя одежда в Древнем Риме, аналог греческого пеплоса.

Пояс (*лат.*).

Хоры (*исп.*).

Главная, большая капелла (*исп.*).

Ретабло (*исп.*) — заалтарный образ больших размеров в испанских и латиноамериканских церквях XV—XVIII вв., часто украшенный резьбой.

Виола да гамба (ит., «ножная виола») — старинный струнный смычковый музыкальный инструмент семейства виол, близкий по размеру и диапазону современной виолончели. На виоле да гамба играли сидя, держа инструмент между ног или положив боком на бедро — отсюда название.

Цитата из поэмы Уильяма Морриса «Рай земной».

Длинные шпаги, эстоке (*исп.*).

Перевод М. А. Кузмина.

Перевод М. Л. Лозинского.

41

Начальный псалом.

Пс 42:3-4. Цитируется по русскому синодальному переводу.

1 Пар 21:15; 2 Пар 24:22.

Ис 41:14-15.

Мораг (*древнеевр.*) — молотильные сани, состоявшие из досок с вделанными в них острыми камнями (2 Пар 24:22; 1 Пар 21:23).

Эстремадурцы (*исп.*).

Вечеринка; праздник (*исп.*).

Франсиско Сурбаран (1598—1664), испанский живописец севильской школы, для которого характерен строгий монументализм композиций и образов. Примечателен его цикл картин из жизни св. Бонавентуры.

Ниша для статуй святых (*исп.*).

Уильям Хиклинг Прескотт (1796–1859) — американский историк и литературовед. Сочинения: «История завоевания Мексики» (1843; сокращенный рус. пер., т. 1–2, 1885), «История завоевания Перу» (1847; сокращенный рус. пер. 1886), «История Фердинанда и Изабеллы» (1838), «История правления Филиппа II» (1855–1888).

Боевой клич Реконкисты, с которым христиане бросались в атаку на мусульман. «Santiago» — обращение к святому Иакову, покровителю Испании; «cierra» — команда «сомкнуть ряды, в атаку»; «España» — призыв к испанцам.

Здесь и далее перевод Д. Н. Егорова, А. Р. Захарьяна.

Герой «Приключений Оливера Твиста» Ч. Диккенса.

Идальго, дворянин (*исп.*).

Баррагания (исп.) — форма внебрачного союза между мужчиной и женщиной, распространенная в Испании во время и после Реконкисты, договор о дружбе и товариществе, главными условиями которого были постоянство и верность. Этот обычай распространялся в том числе и на духовных лиц и женатых людей, а вдовы, вступившие в барраганию, иногда приравнивались к законным женам.

Зд.: конструкция (*лат.*).

Военный лагерь (*лат.*).

Поска (*лат.*) — напиток из воды, уксуса и взбитых яиц, входивший в обязательный рацион римского legionera.

Спина — невысокий барьер посередине арены римского цирка, которую на состязаниях огибали колесницы.

Дворец графов Корбо.

Жених (*исп.*).

Дубинка (ирл.).

Дробь, выбиваемая каблуками (*исп.*).

Обанские игры Хайленда — ежегодные национальные собрания шотландских кланов, включающие спортивные, музыкальные и танцевальные состязания, в том числе и конкурс волынщиков. Проводятся с 1871 г. в городке Обан графство Аргайллшир, на западном побережье Шотландии.

Кувшины (исп.).

Ботинки, штиблеты (*исп.*).

Табльдот, общий стол (*фр.*).

Большие деревянные статуи святых, которые носят на Страстной неделе. Название происходит от «paso» (*исп.*: шаг), поскольку статуи с каждым шагом кажутся все тяжелее.

Братия, братство (*церк., исп.*).

Саэта (*исп.*) — народная андалусская песня.

Праздник (*исп.*).

Киоски (*исп.*).

Магнолия большецветковая (*лат.*) — вечнозеленое лиственное дерево, цветущее красивыми крупными очень душистыми белыми цветами.

Очень симпатичный (*исп.*).

Испанский характер (*исп.*).

Прекрасный, драгоценный (*исп.*).

Тореро, матадоры (*исп.*).

Трогательно (*исп.*).

Костюм матадора (*исп.*).

Ей-богу (*исп.*).

Оконная решетка (*исп.*).

Телетуза — по преданию, танцовщица из Гадеса, которая послужила моделью скульптору, изваявшему Венеру Каллипигу.

Бык, выращенный специально для участия в корриде; как правило, не старше четырех лет.

Любители чего-либо (*исп.*); здесь «любители корриды».

Излюбленное место (*исп.*).

Загон для быков (*исп.*).

Собаки (*исп.*).

Библиотека Колумба (*исп.*).

Галантерея; превосходные вина и настойки (*исп.*).

«Генрих IV». Перевод Е. Бируковой.

91

Букв.: белесая (*исп.*).

Лафкадио Херн (полное имя — Патрисио Лафкадио Тессима Карлос Херн) (1850–1904) — писатель, переводчик. Родился на греческом острове Санта Маура, сын ирландца-хирурга и гречанки, получил образование в Англии и Франции. Работал репортером в Бостоне и Нью-Йорке. С 1889 г. жил в Японии. Там Херн натурализовался под именем Коидзуми Якумо и женился на японке. Среди наиболее известных произведений о Японии, помимо «Бликов незнакомой Японии», можно назвать «С Востока», а также книгу «Потытка интерпретации» (1904).

Дорогая (*исп.*).

Букв.: святой образ, лик (*исп.*).

Наши (*исп.*).

Розовое вино (*фр.*).

Цыгане (*исп.*).

Святой (исп.).

Свершившийся факт (*фр.*).

Дж. Ширли. Смерть-уравнитель. Перевод Я.
Фельдмана.

101

Постоялый двор, трактир, гостиница (*исп.*).

Харчевня (*исп.*).

Друг, товарищ (*исп.*).

Хуан Браво (ок. 1483–1521) — лидер комунерос в Кастильской войне городских общин. 23 апреля 1521 г. его войска потерпели поражение в Вильяларской битве, Хуан Браво был схвачен и обезглавлен на следующий день.

«Алый первоцвет», «Странная история мисс Энни Спрэгг», «Приключения Гекльберри Финна», «Безжалостный яд».

Перевод Л. Винаровой.

Барашек (*исп.*).

Поросенок (*исп.*).

Куропатка (*исп.*).

110

Монотонное жалобное пение (разновидность пения фламенко) (*исп.*).

Грандиозная драма в трех актах (*исп.*).

«Очищающее клеймо» — пьеса Хосе Эчегарая (1895).

Камбалео — старинная испанская бродячая труппа XVI–XVII вв., состояла из актеров и певцов, разъезжала по селениям и городам. Обычно в камбалео входили 5 мужчин и одна женщина. Камбалео разыгрывали интермедии, комедии и ауто (одноактное драматическое представление на религиозные сюжеты).

Бохиганга — бродячая театральная труппа в Испании XVI в. По свидетельству писателя А. Рохаса, бохиганга состояла из 2 женщин, мальчика и 6—7 мужчин, в ее репертуар входили 6 комедий, 3—4 ауто, 5 интермедий. Труппа имела свои костюмы и различные сценические аксессуары.

Здесь и далее перевод Ю. Корнеева.

Партизан (*исп.*).

С поднятой передней лапой, морда обращена к зрителю.

118

Легкая обувь, тапочки (*исп.*).

Испанские хроники сообщают, что король Энрике скончался через шесть дней после удара, однако это опровергает лондонский врач, светило в области хирургии мозга, которому я показал фотографию королевского черепа. Он пишет: «Снимок поистине удивительный. Не подлежит ни малейшему сомнению, что обладатель этого черепа прожил после операции весьма долго... По форме и размеру отверстия можно предположить повреждение верхних продольных пауз. Должно быть, пациента лечили врачи, принадлежавшие к Салернской школе». Таковые, прибавлю я, несомненно встречались среди толедских арабов и евреев. — *Примеч. автора.*

120

Кофе с молоком (*фр.*).

«Песнь о Роланде». Перевод Ю. Корнеева.

122

Мышьяк (*исп.*).

123

Ракообразные (*лат.*).

Динамитчик (*исп.*).

Франсиско Ларго Кабальеро (1869–1946) — испанский политик-синдикалист, глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и Всеобщего союза трудящихся.

Фабада (*исп.*) — астурийское блюдо из фасоли или бобов с кровяной колбасой.

127

Хлебный амбар (*исп.*).

Зернохранилище (*исп.*).

Крысы (*исп.*).

Вулф Ч. Похороны сэра Джона Мура. Перевод И. Козлова.

Равнина звезд (*лат.*).

132

Обувь из пеньки (*исп.*).

Джеймс Энтони Фруд (1818-1894) — английский историк. Наиболее известная его работа — «История Англии от падения Уолси до поражения Испанской Армады» в 12 томах.

Водсворт У. Прощальный сонет реке Даддон.

135

Stormy (*англ.*) — штормовой, бурный.

Колокольный звон во время четвертой части мессы и реквиема.

Портик славы Господней (*исп.*).

138

Густой бульон, консоме (*исп.*).

Отважные, лихие грузовики (*исп.*).

140

Дорожные работы (*исп.*).

Филип Геделья (1889–1944) — английский писатель и историк. Важнейшие труды: «Вторая империя», «Палмерстон», «Сто дней», «Сотый год», «Два маршала: Базен и Петен» и «Ближний Восток».

Марагато — народность, вероятно германского происхождения, проживающая в горах испанской провинции Леон, в области под названием Марагатерия.

Проход чести (*исп.*).

В 70-х гг. н. э. город Леон был основан как военный лагерь римского Седьмого легиона «Близнец» (Legio Septima Gemina), где он был расквартирован вплоть до позднего периода Империи. В 540 г. Леон был захвачен королем вестготов Леовигильдом, а в 717 г. — маврами. Однако в ходе Реконкисты его освободили одним из первых, и в 742 г. он стал частью королевства Астурия, а в 913 г. — столицей нового независимого королевства Леон.

Баллада Богородице. Перевод Ю. Корнеева.

Братство (*исп.*).

Платереск — оригинальный стиль раннего испанского Возрождения первой трети XVI века, в основе которого лежит испано-мавританское искусство, готические традиции, мусульманское искусство и каноны итальянского Ренессанса. Стиль получил свое название по ассоциации с работами серебряных дел мастеров, украшавших свои произведения мелкими прихотливыми узорами.

Чурригереск — стиль испанского барокко рубежа XVII–XVIII вв. Название получил от фамилии самых ярких представителей: семьи архитекторов Чурригера, особенно Хосе Бенито Чурригеры (1665–1725). Особенностью стиля является предельная насыщенность фасада декоративными скульптурными деталями при общей простоте композиции.

Старшая школа (*исп.*) — одно из зданий университета Саламанки.

Колледж Святого Георгия (Сан-Грегорио) (*исп.*) — доминиканское учебное заведение, основанное в 1488 г. в Вальядолиде отцом Алонсо де Бургосом, епископом Паленсии, духовником Изабеллы-католички. В 1808 г. здание было сильно повреждено французами, и от него сохранились только роскошный готический фасад (предположительно работы Хилья де Силоэ) и дворик с арками. Позже здание отреставрировали и отдали Национальному музею скульптуры (1933), первоначально располагавшемуся в колледже Санта-Крус.

Поэтесса (*исп.*).

Луис Понсе де Леон (1528–1591) — испанский поэт-мистик, религиозный писатель, переводчик священных текстов и литературных сочинений. Учился в университете Саламанки философии и богословию, позднее (с 1561 г.) преподавал в нем. В 1544 г. вступил в орден августинцев. Получил степень бакалавра в Толедо и доктора богословия в Саламанке. В 1572—1576 гг. был заключен инквизицией в Вальядолидскую тюрьму за перевод Библии на народный язык и ее еретическое толкование. С 1576 г. вернулся к преподаванию в университете Саламанки и литературной деятельности и продолжал их до смерти в 1591 г. Умер в монастыре Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес.

Миндальный оршад (*исп.*) — прохладительный напиток из миндального молока с сахаром.

Мороженое (*исп.*).

Морис Шевалье, настоящее имя Морис-Эдуар Сен-Леон (1888-1972) — французский эстрадный певец и актер.

156

На месте (*лат.*).

Флабиоль (*исп.*) — каталонская флейта.

Роза апреля, черная Дева горы,
Звезда Монтсеррата святая!
Над Каталонией свет свой небесный простри,
Веди нас к Божьему раю! — *Примеч. автора.*